



ПОРТРЕТ

ДОРИАДА

ГРЕЯ

СБОРНИК

ОСКАР УАЙЛЪД



Annotation

Под этой обложкой собраны лучшие произведения классика мировой литературы, гениального писателя, поэта и драматурга Оскара Уайльда – человека, который не боялся бросить вызов обществу и для которого Искусство стало спасением от скуки, пошлости и лицемерия викторианской Англии. Его единственный роман «Портрет Дориана Грея» о декадансе, двуличии и красоте, который стал своеобразной проповедью теории эстетизма, остроумнейшая из когда-либо шедших на британской сцене комедия «Как важно быть серьезным», чудесные сказки и яркие ироничные рассказы – небольшая, но любимая многими часть блистательного творческого наследия Оскара Уайльда.

- [Оскар Уайльд](#)
 -
 - [Портрет Дориана Грея](#)
 - [Предисловие](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10](#)
 - [Глава 11](#)
 - [Глава 12](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14](#)
 - [Глава 15](#)
 - [Глава 16](#)
 - [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)

- [Кентервильское привидение](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Глава 7](#)
- [Преступление лорда Артура Сэвила](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
- [Портрет г-на У. Г.](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
- [Натурщик-миллионер](#)
- [Сфинкс без загадки](#)
- [Перо, полотно и отравы](#)
- [Принц и Ласточка](#)
- [Соловей и роза](#)
- [Великан-эгоист](#)
- [Преданный друг](#)
- [Кичливая Ракета](#)
- [Молодой Король](#)
- [День рождения Инфанта](#)
- [Рыбак и его душа](#)
- [Дитя-Звезда](#)
- [Как важно быть серьезным](#)
 -
 - [Действие первое](#)
 - [Действие второе](#)
 - [Действие третье](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)

Оскар Уайльд

Портрет Дориана Грея. Сборник

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2016

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2016

© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2016



Портрет Дориана Грея



Предисловие

Художник – человек, создающий прекрасное. Цель искусства состоит в том, чтобы показать себя и спрятать художника. Критик – человек, который может по-новому отразить свои впечатления от прекрасного. Высшей и в то же время самой бездарной формой критики является автобиография. Люди, которые находят отвратительные черты в прекрасном, испорчены. У них самих не осталось ничего прекрасного. И это ошибка.

Те, кто видит в прекрасном только прекрасное, – избранные. Для них еще остается надежда. Они одни из немногих, для кого прекрасные вещи означают красоту.

Нет моральных или аморальных книг. Есть хорошо написанные книги, а есть плохо написанные книги. Вот и все.

В девятнадцатом столетии людям не нравится реализм: он делает их злыми, как Калибан^[1], когда тот в зеркале видит свое лицо.

Нравственная жизнь человека – это часть работы художника, однако мораль искусства заключается в совершенном использовании несовершенных средств. Художник не стремится ничего доказывать. Даже то, что истинно может быть доказано. У художника не может быть этических пристрастий. Они приводят к недопустимой манерности стиля. Художник не воспринимает вещи болезненно. Он способен выразить все что угодно. Мысль и слово для художника – рабочий материал. Порок и добродетель для художника – рабочий материал. С точки зрения формы музыка становится прототипом всех искусств. С точки зрения чувств им становится актерская игра. Любое искусство одновременно лежит на поверхности и таит в себе символ. Те, кто пытаются углубиться в него, рискуют. Те, кто раскрывают символ, рискуют не менее. На самом деле искусство отражает зрителя, а не жизнь. Если произведение искусства вызывает разные мнения, это значит, что это произведение новое, сложное и нужное. Если критики расходятся во мнениях, то художник остался верен самому себе. Мы терпим человека, который сделал что-то полезное, пока он не начинает этим увлекаться. Единственным оправданием создания бесполезной вещи может стать страстная любовь к своему творению.

Искусство, по сути, бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава 1

Мастерскую художника наполнял чудесный запах роз, а когда легкий летний ветерок проникал через открытые двери, он приносил с собой из сада то насыщенный аромат сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника. Лорд Генри Уоттон, по своему обыкновению, лежал на персидском диване и курил сигареты одну за другой. Отсюда он мог поймать взглядом блики солнца на золотисто-медовом цвете ивняка, хрупкие ветви которого едва держали на себе такую красоту; на шелковых портьерах, что закрывали огромное окно, время от времени появлялись странные тени птиц, которые пролетали мимо. Возникало впечатление, что портьеры японские. Это заставляло его задуматься о несчастных художниках Токио, которые пытаются средствами неизменно неподвижного искусства воспроизвести движение и скорость. Густое монотонное гудение пчел, которые пробивали себе путь сквозь некошеную траву или просто настойчиво кружили вокруг цветов в саду, делало тишину невыносимой. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

В центре комнаты, закрепленный на вертикальном мольберте, стоял портрет невероятно красивого юноши в полный рост, а перед ним, немного поодаль, сидел автор картины, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад вызвало в свое время такой ажиотаж и породило столько странных домыслов.

Художник смотрел на то, как удачно он сумел отразить красоту и грацию в своем творении, довольная улыбка не оставляла его лица. И вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

– Это твоя лучшая картина, Бэзил, лучшее из того, что ты когда-либо делал, – небрежно пробормотал лорд Генри. – Ты просто обязан выставить ее в галерее Гросвенор в следующем году. Академия искусств великовата и слишком банальна. Когда бы я туда не пришел, там или так много людей, что я не в состоянии посмотреть на картины, что просто ужасно, или так много картин, что мне некогда смотреть на людей, а это еще хуже. Так что Гросвенор – это единственное подходящее место.

– Не думаю, что выставлю ее где-либо, – ответил художник, странным движением откидывая голову назад, из-за чего друзья в Оксфорде смеялись над ним. – Я не буду ее нигде выставлять.

Лорд Генри поднял брови и в изумлении посмотрел на него сквозь

тонкие голубые кольца дыма, причудливо выющиеся от его пропитанной опиумом сигареты.

– Нигде не выставят? Мой дорогой друг, почему? У тебя есть на это какие-то причины? Какие же вы, художники, все же чудаки. Вы идете на все, чтобы завоевать репутацию. А заработав ее, делаете все, чтобы от нее избавиться. Ты делаешь глупость, ведь хуже, чем когда о тебе говорят, бывает только тогда, когда о тебе не говорят. Этот портрет возвысил бы тебя над всеми молодыми художниками Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще способны испытывать какие-либо чувства.

– Я знаю, тебе это покажется смешным, – ответил он, – но я действительно не могу выставить его. Я вложил в него слишком большую часть себя.

Лорд Генри вытянулся на диване и захохотал.

– Слишком большую часть себя? Честное слово, Бэзил, зря ты так говоришь: я действительно не могу найти ничего общего между твоим грубым, сильным лицом, твоими черными как смоль кудрявыми волосами и этим юным Адонисом, который, кажется, изваян из слоновой кости и лепестков роз. Действительно, дорогой Бэзил, он же Нарцисс, а ты – нет, ну у тебя, конечно, умное выражение лица и тому подобное. Но красота, подлинная красота заканчивается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начинает мыслить, его лицо превращается в сплошной нос, сплошной лоб или еще какой-то ужас. Посмотри на людей, достигших успеха в умственной работе. Ну они же абсолютно гадкие! Единственное исключение – это, конечно, церковь. Но в церкви им не надо думать. Епископ в восемьдесят лет говорит то же самое, что ему велели говорить, когда он был восемнадцатилетним юнцом, и поэтому вполне естественно, что он прекрасно выглядит. Твой таинственный молодой друг, имя которого ты никогда не называл мне, но чей портрет меня так завораживает, никогда не думает. Я полностью в этом уверен. Он – волшебное безмозглое создание, которое следует иметь при себе зимой, когда нет цветов, чтобы порадовать глаз, и летом, когда нужно что-то, чтобы расслабить ум. Не льсти себе, Бэзил: ты на него ничуть не похож.

– Ты не понимаешь меня, Гарри, – ответил художник. – Конечно, я на него не похож. Я это прекрасно знаю. На самом деле я бы и не хотел быть похожим на него. Ты пожимаешь плечами? Я говорю серьезно. Людей, которые так отличаются физически или умственно, преследуют несчастья, именно те несчастья, которые на протяжении всей истории ставят королей

на колени. Лучше не отличаться от других. Дураки и уроды живут лучше всех. Они могут спокойно сидеть сложа руки. Они не знают вкуса побед, но и поражений никогда не испытают. Они живут так, как следовало бы жить нам всем: их ничто не беспокоит, они нейтральны, и главное – в их жизни нет тревог. Они не разрушают чужие жизни и не получают зла в ответ. Твой статус и богатство, Гарри, мой ум, каким бы он ни был, мои картины, чего бы они ни стоили, красота Дориана Грея – за все, что подарил нам Господь, нам придется страдать, очень сильно страдать.

– Дориан Грей? Так вот как его зовут... – переспросил лорд Генри, подойдя к Бэзилу Холлуорду.

– Да, это его имя. Я не хотел тебе говорить.

– Но почему?

– Не знаю, как это объяснить. Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать часть его самого. Со временем я полюбил таинственность. Кажется, это единственное, что может сделать современную жизнь увлекательной и загадочной. Обыкновенная безделица приобретает удивительные черты, стоит только скрыть ее. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда я направляюсь. Если бы признавался, я потерял бы всякое удовольствие. Это глупая привычка, смею заметить, но почему-то это приносит много романтики в жизнь. Ты, наверное, считаешь меня полным дураком из-за этого, не так ли?

– Нисколько, – ответил лорд Генри, – нисколько, дорогой Бэзил. Ты, кажется, забыл, что я женат, а одна из прелестей семейной жизни заключается в том, что она делает обман необходимым для обоих. Я не знаю, где моя жена, и моя жена никогда не знает, что я делаю. Когда мы встречаемся, а это приходится делать время от времени, чтобы вместе пообедать или посетить герцога, мы рассказываем друг другу всякие небылицы с самым серьезным видом. Моя жена преуспела, это у нее получается намного лучше, чем у меня. Она никогда не путается в своих рассказах, а вот со мной такое случается всегда. Однако, когда она выводит меня на чистую воду, то не устраивает ссор. Иногда мне даже хотелось бы этого, но она просто смеется надо мной.

– Я не люблю, когда ты так говоришь о супружеской жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я считаю, что ты замечательный муж, но почему-то упорно стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек. Ты никогда не говоришь ничего нравственного и никогда не делаешь ничего безнравственного. Весь твой цинизм – это просто игра на публику.

– Быть естественным – это бездарная игра на публику, и самая раздражающая, – воскликнул лорд Генри со смехом, и двое молодых людей вышли в сад и устроились на длинной бамбуковой скамье, которая стояла в тени высокого лаврового куста. Солнце скрывалось за гладкими листьями. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Помолчав, лорд Генри посмотрел на часы.

– Боюсь, мне пора идти, Бэзил, – пробормотал он, – но перед тем как я уйду, ты должен ответить на мой вопрос.

– Какой именно? – спросил художник, не поднимая глаз от земли.

– Ты знаешь, о чем я.

– Не думаю, Гарри.

– Что ж, я повторюсь. Я хочу, чтобы ты объяснил, почему не собираешься выставлять портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

– Я уже назвал тебе настоящую причину.

– Нет, ты сказал, что вложил в портрет слишком большую часть себя. Но это же несерьезно.

– Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, глядя ему прямо в лицо, – любой портрет, написанный с чувством, – это портрет художника, а не натурщика. Натурщик – это лишь случайность. Это не тот, кто изображен художником; скорее, художник отражает на холсте самого себя. Я не буду выставлять эту картину, потому что боюсь, что показал в ней тайну своей души.

– И что же это за тайна? – расхохотался лорд Генри.

– Я расскажу, – смущенно ответил Холлуорд.

– Я весь внимание, Бэзил, – продолжил его собеседник, не сводя с него глаз.

– На самом деле здесь нечего долго рассказывать, – ответил художник, – боюсь, ты вряд ли поймешь меня. Вполне возможно, даже не согласишься.

Лорд Генри улыбнулся, наклонился, чтобы сорвать маргаритку с розовыми лепестками, и начал рассматривать ее.

– Я вполне уверен, что смогу это понять, – ответил он, внимательно глядя на маленький золотистый с белой опушкой пестик. – А что касается веры, то я могу поверить во что угодно, при условии, что это невероятно.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев, и звездочки цвета сирени наконец встревожили застывший воздух. У стены застрекотал кузнечик, и, как длинная тонкая голубая нить, мимо проплыла стрекоза на прозрачных коричневых крылышках. Казалось, лорд Генри слышит, как бьется сердце Бэзила, и он спросил, что же было дальше.

– История простая, – сказал художник через несколько минут. – Два

месяца назад мне пришлось посетить прием у леди Брэндон. Ты же знаешь, нам, бедным художникам, приходится время от времени показываться в свете, просто чтобы напомнить общественности о том, что мы не дикари. Я был во фраке и белом галстуке, которые, как ты когда-то мне говорил, могут даже биржевому брокеру придать вид приличного человека. После десяти минут разговоров со многими нарядными вдовами и скучными академиками я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел Дориана Грея. Когда наши глаза встретились, я почувствовал, что бледнею. Какой-то необъяснимый ужас напал на меня. Я знал, что мне пришлось столкнуться лицом к лицу с тем, чья личность была настолько увлекательной, что если я поддамся его обаянию, то он поглотит всю мою сущность, всю мою душу и даже мое искусство. Я не хотел никаких посторонних влияний на свою жизнь. Ты же знаешь, Гарри, насколько у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин, по крайней мере, пока не встретил Дориана Грея. Затем... не знаю, как это объяснить. Мне показалось, что я нахожусь на грани ужасного кризиса в моей жизни. У меня было странное ощущение, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Я испугался и отвернулся, чтобы уйти из комнаты. Не совесть заставила меня поступить так, это была своего рода трусость. Я осуждаю себя за попытку к бегству.

– Совесть – это то же самое, что и трусость, Бэзил. «Совесть» просто лучше звучит. Вот и все.

– Я в это не верю, Гарри. Я не думаю, что ты и сам веришь в это. В конце концов, какие бы мотивы не двигали мной в тот момент – а это могла быть и гордость, ведь я очень тщеславен, – я отправился к выходу. А там, конечно, я наткнулся на леди Брэндон. Она сразу закричала: «Мистер Холлуорд, не собираетесь ли вы сбежать так рано?» Ты же знаешь, какой у нее удивительно резкий голос?

– Да, она настоящий павлин во всем, кроме красоты, – согласился лорд Генри, нервно разрывая маргаритку своими длинными пальцами.

– Я не мог от нее избавиться. Она знакомила меня с королевскими особами, людьми со звездами и наградами и пожилыми дамами в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Она рассказывала обо мне как о своем лучшем друге. Мы встречались лишь однажды, но она решила сделать из меня знаменитость. Я думаю, что тогда какая-то из моих картин имела большой успех, во всяком случае, о ней болтали в дешевых газетах, что для девятнадцатого века является стандартом бессмертия. И вдруг я очутился лицом к лицу с молодым человеком, чей облик вызвал в моей душе столь странное волнение. Мы стояли очень близко, практически касались друг

друга. Наши взгляды снова встретились. С моей стороны это было безрассудно, но я все же попросил леди Брэндон представить меня ему. В конце концов, возможно, это было не так уж и опрометчиво. Это было просто неизбежно. Мы поговорили бы и без официального знакомства. Я в этом уверен. Позже Дориан говорил мне то же самое. Он также почувствовал, что нам суждено познакомиться.

– А что же леди Брэндон рассказала тебе об этом очаровательном юноше? – спросил его собеседник. – Я знаю, что она любит рассказывать о своих гостях как можно подробнее. Помню, как однажды она подвела меня к мужчине в возрасте с угрюмым красным лицом (он был весь в лентах и орденах) и начала в трагической манере нашептывать мне на ухо наиболее пикантные детали о нем. Скорее всего, каждый в комнате прекрасно слышал, что она рассказывала. Я просто бежал. Я хочу искать для себя людей сам. А леди Брэндон относится к своим гостям так же, как аукционист обращается со своими товарами. Она или рассказывает о них абсолютно все, или рассказывает все, кроме того, что действительно хотелось бы услышать.

– Ты слишком строго относишься к бедной леди Брэндон, Гарри, – безразлично ответил Холлуорд.

– Дорогой мой, она хотела устроить у себя салон, а преуспела только в открытии ресторана. Как я могу восхищаться ею? Но скажи мне, что она говорила о Дориане Грее?

– Что-то вроде «прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыть то, что он делает... ничего не делает... ах да, играет на рояле или на скрипке, дорогой мистер Грей». Ни один из нас не мог сдержать смех, и мы сразу же стали друзьями.

– Смех – это далеко не худшее начало дружбы и точно лучшее ее окончание, – отметил юный лорд, сорвав еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

– Ты не понимаешь, что такое дружба, Гарри, – пробормотал он, – или что такое вражда, а это важно. Ты такой же, как и все, то есть безразличный ко всем.

– Это ужасно несправедливо с твоей стороны! – возмутился лорд Генри, сдвинув шляпу на затылок и взглянув на мелкие облака, которые плыли в бирюзовой пустоте летнего неба, как мотки блестящего шелка. – Да, ужасно несправедливо. Я нахожу большую разницу между людьми. Я выбираю друзей за их внешность, знакомых – за хороший характер, а врагов – за ум. Человек не может быть слишком осторожным в выборе своих врагов. Среди моих, например, нет ни одного дурака. Все они люди

мыслящие, и, следовательно, все меня оценят. Пожалуй, это слишком высокомерно с моей стороны. Я высокомерен, правда?

– Я должен был бы согласиться, Гарри. Однако, согласно твоей классификации, я должен быть просто знакомым.

– Мой дорогой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем просто знакомый.

– И гораздо меньше, чем друг. Некий брат, я полагаю?

– Братья! Мне нет дела до братьев. Мой старший брат никак не умрет, а младшие братья, кажется, не делают ничего другого.

– Гарри! – воскликнул Холлуорд, нахмутив брови.

– Я шучу, мой дорогой друг. Но мне противны окружающие. Я ничего не могу с этим поделать. Думаю, это потому, что мы не можем терпеть людей с теми же недостатками, что и у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, гневающимся на то, что они называют «пороками высших классов». Массы чувствуют, что пьянка, тупость и безнравственность должны принадлежать только им, и если кто-либо из нас ведет себя, как осел, он как бы узурпирует их права. Было просто удивительно наблюдать их возмущение, когда бедняга Саузварк разводился с женой в суде. И все же, я не думаю, что хотя бы десятая часть пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

– Я не верю ни единому слову из того, что ты только что сказал. Кроме того, Гарри, я чувствую, что ты и сам во все это не веришь.

Лорд Генри провел рукой по своей клинообразной бороде и постучал тростью из черного дерева по носку кожаного лакированного ботинка.

– Как же это по-английски, Бэзил! Ты уже второй раз обращаешь на это внимание. Если кто-то выскажет идею перед настоящим англичанином, а это всегда опрометчивый поступок, тому и в голову не придет подумать, верна эта идея или, возможно, ошибочна. Единственное, что имеет для него значение: верит ли этот кто-то в то, что он говорит. Смотри, значимость идеи никоим образом не связана с искренностью того, кто ее высказывает. На самом деле есть большая вероятность того, что чем менее этот человек искренен, тем более интеллектуальной будет эта идея, поскольку на нее не повлияют потребности, желания или предубеждения этого лица. В конце концов, я не хочу обсуждать с тобой политику, социологию или метафизику. Я люблю личности больше, чем принципы, но больше всего я люблю личности без принципов. Расскажи мне еще о Дориане Грее. Как часто вы видитесь?

– Каждый день. Я не смогу быть счастливым, если не буду видеть его каждый день. Он абсолютно необходим мне.

– Это невероятно! Я думал, ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

– Теперь он стал для меня моим искусством, – ответил художник серьезно. – Иногда я думаю, Гарри, что в истории мира бывает только два важных события. Первое – это появление нового средства искусства, а второе – появление новой личности в искусстве. Однажды Дориан Грей станет для меня тем, чем для Венеции стала живопись масляными красками, или чем лицо Антиноя стало для скульптуры античной Греции. Я не просто рисую его, делаю эскизы. Хотя я именно этим и занимаюсь. Но для меня он гораздо больше, чем просто модель или натурщик. Я не могу сказать, что я не доволен своей работой или что живопись не может передать его красоту. Нет ничего, что не могла бы передать живопись. И я знаю, что картины, которые я написал с тех пор, как встретил Дориана Грея, хорошие, лучшие за всю мою жизнь. Но каким-то странным образом, даже не знаю, поймешь ли ты меня, его личность открыла передо мной совершенно новую модель искусства. Я вижу вещи иначе, я осмысливаю их иначе. Я теперь могу воссоздать мир способом, о котором раньше и не догадывался. «Мечта о форме в царстве мысли» – кто это сказал? Неважно, это именно то, чем стал для меня Дориан Грей. Одно только присутствие этого парня – для меня он уже более чем парень, хотя ему лишь немного за двадцать, – одно только его присутствие, эх! Не знаю, сможешь ли ты понять всю значимость этого. Где-то на подсознательном уровне он указывает мне направление новой школы – школы, которая соединит в себе страсть романтизма и совершенство греческого стиля. Гармония души и тела – вот что это значит! Мы разделили их в порыве безумия и, как следствие, создали вульгарный реализм и пустой идеализм. Гарри! Если бы ты только знал, что для меня значит Дориан Грей! Помнишь мой пейзаж, за который Агню предлагал мне довольно кругленькую сумму, но я решил не расставаться с ним? Это одна из моих лучших картин. А знаешь почему? Потому что, когда я писал ее, рядом сидел Дориан Грей. Он придавал мне незримую силу, благодаря которой я наконец-то увидел в обычном лесу удивительную красоту, которую всегда искал, но она избегала моего взгляда.

– Бэзил, это поразительно! Я должен встретиться с Дорианом Греем.

Холлуорд поднялся с кресла и пошел в сад. Через некоторое время он вернулся.

– Гарри, для меня Дориан Грей – это просто источник вдохновения. Ты можешь и не найти в нем ничего примечательного. Для меня же он особенный. Он наиболее присутствует в тех моих картинах, на которых нет

его изображения. Как я уже говорил, он указывает мне новое направление. Я вижу его в определенном изгибе линий, в красоте и нежности определенных цветов. Вот и все.

– Почему же ты не хочешь выставлять его портрет? – спросил лорд Генри.

– Потому что я неумышленно выразил в нем это свое странное идолопоклонство, о котором я, конечно, никогда не рассказывал Дориану Грею. Он ничего не знает об этом. И никогда не должен узнать. Но люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Я не позволю рассматривать собственное сердце под микроскопом. На портрете слишком много меня, Гарри, слишком много меня!

– Даже поэты не так стыдливы, как ты. Они знают, как полезна страсть к публикации. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

– Я ненавижу их за это, – взорвался Холлуорд. – Художник должен создавать прекрасные вещи, но не вкладывать в них свою жизнь. В наше время люди так относятся к искусству, как будто оно предназначено быть разновидностью автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Однажды я покажу миру, что это значит; и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

– Я думаю, ты не прав, Бэзил, но я не стану с тобой спорить. Только люди скудного ума прибегают к спорам. Скажи, ты очень нравишься Дориану Грею?

Художник задумался на несколько минут.

– Я нравлюсь ему, – ответил он после паузы. – Я знаю, что нравлюсь. Конечно, я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, о которых, я знаю, буду жалеть. Как правило, он обаятелен со мной, и мы сидим в студии и говорим о тысяче вещей. Однако время от времени он ведет себя бездумно, и, кажется, ему даже нравится причинять мне боль. В такие моменты я чувствую, что отдал свою душу человеку, который обращается с ней, как с цветком, который можно приколоть к своему пиджаку, – небольшое украшение, тешащее его тщеславие, украшение на один летний день.

– Летние дни проходят медленно, Бэзил, – пробормотал лорд Генри. – Быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Это грустно сознавать, но нет сомнения, что гений долговечнее красоты. Об этом свидетельствует тот факт, что мы все так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим иметь что-то, что будет

оставаться неизменным, поэтому мы забиваем свои головы разным мусором и фактами в отчаянной надежде сохранить место под солнцем. Современный идеал – всесторонне образованный человек. А сознание всесторонне образованного человека – это ужасная вещь. Это как антикварная лавка, где полно пыли и чудовищ, а цены на все завышены. Несмотря ни на что, я думаю, что ты пресытишься первым. Однажды ты согласишься на своего друга, и он станет казаться тебе несколько неподходящим, чтобы писать с него картину, или тебе не понравится цвет его кожи, или что-то в этом роде. Ты с горечью пересмотришь отношение своего сердца к нему и поймешь, что он вел себя плохо по отношению к тебе. В следующий раз, когда он появится, ты будешь сухим и безразличным к нему. Жаль, что это произойдет, ведь это тебя изменит. Твой рассказ окутан романтикой, я бы назвал ее романтикой искусства, но хуже всего то, что когда она покидает человека, то от нее не остается ни малейшего следа.

– Гарри, не надо так говорить. Пока я жив, личность Дориана Грея будет господствовать надо мной. Ты не сможешь почувствовать то, что чувствую я. Ты слишком изменчив для этого.

– Эх, дорогой Бэзил, именно поэтому я и смогу почувствовать это. Преданные люди видят банальную сторону любви, а вот предатели способны познать ее трагедию.

Лорд Генри закурил с таким самоуверенным и довольным видом, будто рассказал обо всем мире одним предложением. В зеленых листьях плюща раздавался шорох и чириканье воробьев, а голубые тени облаков гонялись по траве, словно ласточки. Как хорошо было в саду! И как упоительны чужие эмоции! Чувства казались ему гораздо приятнее, чем идеи. Наиболее интересными вещами в жизни он считал свою душу и страсти друзей. Он с тихим удовольствием представлял скучный обед, который пропустил, потому что так задержался у Бэзила Холлуорда. Если бы он пошел к своей тете, то непременно встретил бы там лорда Гудбоя и они говорили бы только о том, что нужно помогать бедным, и о важности аренды жилья. Богачи говорили бы о необходимости экономить и соревновались бы в красноречии на тему достоинства труда. Избежать всего этого было настоящим счастьем! Пока он думал о своей тетушке, к нему пришла одна мысль. Он повернулся к Холлуорду и сказал:

– Дорогой мой, я только что вспомнил.

– Что ты только что вспомнил, Гарри?

– Где я слышал имя Дориана Грея.

– И где же это? – спросил Холлуорд, несколько нахмурившись.

– Не надо сердиться, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказала мне, что познакомилась с замечательным юношей, который согласился помогать ей в Ист-Энде, и что его зовут Дориан Грей. Должен сказать, она ничего не говорила о его красоте. Женщины не ценят красоту, по крайней мере, хорошие женщины. Она говорила, что он очень искренний и имеет прекрасный характер. Я сразу представил покрытое веснушками создание в очках, с редкими волосами, которое громко топает своими длинными ногами. Мне следовало бы знать, что это твой друг.

– Я рад, что ты этого не знал, Гарри.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы ты его встретил.

– Ты не хочешь, чтобы я встретился с ним?

– Нет.

– Мистер Грей в мастерской, – сказал дворецкий, войдя в сад.

– Теперь тебе придется представить меня ему, – сквозь смех сказал лорд Генри.

Художник повернулся к своему слуге, который стоял и щурился от солнца:

– Попроси мистера Грея подождать. Я подойду через несколько минут.

Дворецкий поклонился и пошел по тропинке к дому. Затем Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

– Дориан Грей – мой близкий друг, – сказал он. – У него простой и замечательный характер. Твоя тетя была права относительно его. Не надо его портить. Не пытайся повлиять на него. Твое влияние не пойдет ему на пользу. Мир велик, в нем много интереснейших людей. Не надо отнимать у меня единственного человека, который придает очарование моим произведениям, – моя жизнь как художника зависит от него. Помни, Гарри, я тебе доверяю. – Он говорил очень медленно, будто слова вырывались наружу вопреки его воле.

– Что за глупости ты говоришь! – с улыбкой сказал лорд Генри, он взял Холлуорда под руку и почти силой повел к дому.

Глава 2

Войдя в мастерскую, они увидели Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и листал страницы «Лесных сцен» Шумана.

– Ты должен одолжить мне их, Бэзил, – не удержался он. – Я хочу их разучить. Они совершенно очаровательны.

– Это зависит только от того, как ты будешь сегодня позировать, Дориан.

– Мне уже надоело позировать, я уже не хочу иметь собственный портрет, на написание которого уйдет целая жизнь, – капризно ответил юноша, своенравно повернувшись на музыкальном стуле. Заметив лорда Генри, он на мгновение смутился и резко встал. – Простите. Бэзил, я не знал, что ты не один.

– Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый оксфордский приятель. Я рассказывал ему, какой замечательный из тебя натурщик, а теперь ты все испортил.

– Однако это отнюдь не уменьшило моей радости от встречи с вами, мистер Грей, – заверил лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. – Моя тетушка часто рассказывала мне о вас. Вы один из ее любимцев, и, боюсь, одна из ее жертв.

– Сейчас я в немилости у леди Агаты, – ответил Дориан, приобретая при этом забавно озабоченный вид. – Я обещал посетить клуб в Уайтчепеле с ней в прошлый вторник и совершенно забыл об этом. Мы должны были сыграть дуэтом, кажется, должно было быть даже три дуэта. Прямо не знаю, что она теперь мне скажет. Я очень боюсь попасться ей на глаза.

– О, я помирю вас с тетей. Она очень предана вам. Кроме того, я не думаю, что ваше отсутствие действительно было заметно. Публика, скорее всего, решила, что это и был дуэт. Когда тетушка Агата садится за рояль, она способна наделать шума за двоих.

– Это ужасно по отношению к ней и не слишком приятно по отношению ко мне, – сквозь смех ответил Дориан.

Лорд Генри посмотрел на него. Да, он был, конечно, удивительно красив, с изящной формы красными губами, откровенными голубыми глазами и золотистыми кудрями. Было в его лице что-то такое, что вызывало доверие с первого взгляда. В нем чувствовалась искренность и непорочная страсть молодости. Казалось, он не позволял мирским заботам испортить себя. Неудивительно, что Бэзил Холлуорд обожал его.

– Вы слишком хороши, чтобы заниматься благотворительностью, господин Грей, слишком хороши. – С этими словами лорд Генри устроился на диване и открыл свой портсигар.

В этот момент художник был занят смешиванием красок и готовил необходимые кисти. У него был взволнованный вид, а когда он услышал последнюю фразу лорда Генри, взглянул на него и после кратких раздумий сказал:

– Гарри, я хотел бы закончить работу над этой картиной сегодня. Ты ведь не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана Грея.

– Мне уйти, мистер Грей? – спросил он.

– Не надо, лорд Генри, пожалуйста. Я вижу, Бэзил в плохом настроении, а я не выношу, когда он дуется. Кроме того, я хочу, чтобы вы рассказали мне, почему мне не следует заниматься благотворительностью.

– Даже не знаю, стоит ли мне рассказывать вам об этом, мистер Грей. Это скучная тема, которую приходится обсуждать серьезно. Однако я точно не уйду после того, как вы попросили меня остаться. Ты не будешь возражать, Бэзил? Ты часто говорил мне, что тебе нравится, когда натурщик может с кем-нибудь поболтать.

Холлуорд закусил губу:

– Если Дориан так хочет, то, конечно, ты должен остаться. Приходи Дориана – закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

– Как бы ты ни настаивал, Бэзил, боюсь, я должен идти. У меня встреча в Орлеанском клубе. Всего хорошего, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. Я почти всегда дома в пять часов. Напишите мне, когда решите прийти. Мне будет жаль не встретиться с вами.

– Бэзил, – закричал Дориан Грей, – если лорд Генри уйдет, то и я уйду. От тебя не услышать ни слова, пока ты работаешь, а это очень скучно – стоять на платформе и еще хорошо при этом выглядеть. Попроси его остаться. Я настаиваю.

– Останься, Гарри. Дориан и я будем перед тобой в долгу, – сказал Холлуорд, глядя на свою картину. – Я действительно никогда не разговариваю, да и не слушаю, пока пишу картины, и это, видимо, несносно утомляет моих несчастных натурщиков. Умоляю, останься.

– А как же моя встреча в Орлеанском клубе?

Художник рассмеялся:

– Я не думаю, что возникнут какие-либо трудности. Садись, Гарри. А теперь, Дориан, становись на платформу, и не двигайся слишком много, и

не обращай внимание на то, что говорит лорд Генри. Он очень плохо влияет на всех своих друзей, кроме меня.

Дориан Грей ступил на платформу с видом юного греческого мученика и разочарованно посмотрел на лорда Генри, который ему весьма приглянулся. Он был так не похож на Бэзила. Они составляли восхитительный контраст. И у него был такой волшебный голос. Через несколько минут он обратился к нему:

– Вы действительно очень плохо влияете на людей, лорд Генри? Бэзил прав?

– Не существует такой вещи, как плохое влияние. Любое влияние безнравственно – безнравственно с научной точки зрения.

– Почему же?

– Потому что влиять на человека – значит навязывать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями и пылать не своими страстями. Его добродетели перестанут быть настоящими. Его грехи, если все же существует такая вещь, как грехи, будут заимствованными. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – самосовершенствование. Каждый из нас здесь для того, чтобы понять свою сущность. Сейчас люди боятся самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они кормят голодных и помогают нуждающимся, в то время как их собственные души голодны и беспомощны. Наша раса потеряла смелость. А возможно, ее у нас никогда и не было. Страх перед обществом, на котором базируется мораль, и страх перед Богом, который является основой для религии, – вот две вещи, которые управляют нами. Но...

– Поверни голову немного вправо, Дориан, будь хорошим мальчиком, – сказал художник.

Он был погружен в работу и обратил внимание лишь на то, что раньше никогда не видел такого выражения на лице юноши.

– Однако, – продолжил лорд Генри, сопровождая свой низкий голос, звучащий будто музыка, характерным взмахом рук, который отличал его от других еще со времен учебы в Итоне, – я считаю, что если бы хоть один человек смог прожить свою жизнь целиком и полностью, смог почувствовать каждое чувство, выразить каждую мысль и осуществить каждую мечту, то мир получил бы такой огромный заряд радости, что мы смогли бы забыть о чуме Средневековья и вернуться к эллинистическому идеалу или, возможно, даже к чему-то лучшему и более высокому, чем эллинистический идеал. И самые смелые из нас боятся самих себя.

Уродство дикаря отчаянно пытается выжить, несмотря на отказы самим себе, которые разрушают наши жизни. Каждый порыв, который мы сдерживаем, бродит в нашей голове, отравляя наш разум. Тело грешит, и на этом грех заканчивается, ведь действие – это способ очистки. Ничего не остается на потом, кроме упоминания об удовлетворении или роскоши почувствовать угрызения совести. Единственный способ избавиться от искушения – поддаться ему. Если же ему сопротивляться, то душу будет разрушать желание того, что она сама себе запретила, жажда к тому, что она с помощью собственных уродливых правил объявила уродливым и неправильным. Говорят, что самые выдающиеся события случаются в голове. Так же и грехи существуют в голове, и только в голове. Да и вы, господин Грей, в вашей цветущей, будто роза, юности уже чувствовали страсти, которые вас пугали, к вам приходили мысли, что вызывали у вас ужас, вы видели сны, одно лишь упоминание о которых заставляет вас краснеть.

– Подождите! – воскликнул Дориан Грей. – Подождите! Вы запутали меня. Я не знаю, что сказать. Я должен что-то вам ответить, однако не могу подобрать слова. Не говорите. Дайте подумать. Или, скорее, позвольте мне попробовать не думать.

Он стоял так, с открытыми устами и огнем в глазах, около десяти минут. Он смутно осознавал, он видел, что подвергается воздействию чего-то совершенно нового, однако чувствовал, что источник этого влияния находился внутри него. Те несколько слов, которые сказал ему друг Бэзила, слова, сказанные, без сомнения, случайно, но в которые лорд Генри намеренно вложил парадокс, задели тайную, не потревоженную ранее струну в его душе. Однако сейчас он чувствовал, как эта струна вибрирует и пробуждает в нем что-то новое.

Подобным образом его тревожила музыка. Музыка часто его тревожила. Однако музыка не членораздельная речь. Она создавала внутри не новый мир, а скорее – новый хаос. Слова! Всего лишь слова! Как же ужасны они были! Как же понятны, живы и жестоки! От них не было спасения. И в то же время в них была какая-то едва ощутима магия! Казалось, они могли придать форму бесформенным телам и несли в себе музыку, не менее прекрасную, чем звук скрипки или флейты. Пустые слова! Разве существовало что-то реальнее и весомее слов?

Да, в его юности были вещи, которых он не понимал. Он понял их теперь. Вдруг его жизнь словно охватило пламя. Ему казалось, что он идет по этому пламени. Почему же он не знал этого раньше?

Лорд Генри смотрел на него с легкой улыбкой. Он точно знал, когда

психология требовала молчать. Ему было очень интересно. Он был поражен, какое внезапное впечатление произвели его слова. Он вспоминал книгу, которую прочитал, когда ему было шестнадцать и которая открыла ему глаза на многие вещи, которых он до того не знал. Ему было интересно, переживал ли Дориан Грей нечто подобное в тот момент. Он выпустил стрелу вслепую. Неужели она попала в цель? Как же увлекательно было наблюдать за парнем!

Холлуорд тем временем рисовал чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые в искусстве, во всяком случае, исходит только от силы. Он не обращал внимание на молчание.

– Бэзил, я устал стоять, – вдруг пожаловался Дориан Грей. – Я должен выйти и посидеть в саду. Здесь слишком душно.

– Мой дорогой друг, прости меня. Когда я рисую, то не могу думать больше ни о чем. Но ты позировал лучше, чем когда-либо. Ты был совершенно неподвижен. И я уловил желаемый эффект – полуоткрытый рот и огонь в глазах. Не знаю, что там тебе наговорил Гарри, но он вызвал замечательное выражение на твоём лице. Видимо, он делал тебе комплименты. Тебе не следует верить ни одному его слову.

– То, что он сказал, – точно не комплименты. Наверное, именно поэтому я ему и не верю.

– Вы знаете, что во все это верите, – сказал лорд Генри, глядя на него своими томными, мечтательными глазами. – Я выйду в сад с вами. В студии ужасно жарко. Бэзил, дай нам чего-то попить, чего-нибудь со льдом и клубникой.

– Конечно, Гарри. Позвони в колокольчик, и, когда придет Паркер, я скажу, что вам принести. Мне надо поработать над фоном, так что я присоединюсь к вам позже. Не задерживай Дориана надолго. Я еще никогда не был в такой прекрасной форме, как сегодня. Это будет мой шедевр. Это уже шедевр.

Лорд Генри вышел в сад и нашел там Дориана Грея, который утопил лицо в цветы сирени и жадно упивался их ароматом, будто вином. Он подошел ближе и положил руку ему на плечо.

– Вы все делаете правильно, – тихо проговорил лорд Генри. – Только ощущения могут исцелить душу, и только душа может исцелить ощущения.

Юноша вздрогнул и отступил на несколько шагов. На нем не было шляпы, ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. В его глазах читался страх, который испытывает человек, если его вдруг разбудить. Его будто высеченные из мрамора ноздри расширились, а скрытое напряжение украло красный цвет его губ и оставило их дрожать.

– Именно так, – продолжил лорд Генри, – в этом состоит один из величайших секретов жизни – исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души. Вы удивительный. Вы знаете больше, чем думаете, но меньше, чем вам хотелось бы.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему нравился высокий грациозный молодой человек, стоявший перед ним, и он ничего не мог с этим поделать. Романтическое, оливкового цвета лицо лорда Генри с выражением усталости вызвало в Дориане Грее интерес. В его низком томном голосе было что-то захватывающее. Даже его холодные белые руки несли в себе очарование. Пока он говорил, они двигались, будто в такт музыке, будто изъясняясь на своем собственном языке. Но Дориан Грей все больше боялся его и чувствовал стыд за свой страх. Почему незнакомец должен открыть ему глаза на самого себя? Он знал Бэзила Холлуорда уже несколько месяцев, однако дружба с ним не меняла его. Вдруг в его жизни появился кто-то, кто, кажется, раскрыл перед ним тайну жизни. И все же, чего же тут бояться? Он был уже не школьник. Пугаться было бессмысленно.

– Давайте пойдем присядем где-то в тени, – сказал лорд Генри. – Паркер уже принес напитки, если мы еще немного постоим под солнцем, то это вас испортит, и Бэзил больше никогда не станет вас рисовать. Вам действительно следует избегать солнечных ожогов. Это было бы недопустимо.

– Какое это имеет значение? – со смехом воскликнул Дориан Грей, приседая на скамью на краю сада.

– Это должно иметь огромное значение для вас, мистер Грей.

– Почему же?

– Потому что вы владеете очарованием молодости, а молодость – это единственная вещь, которая стоит того, чтобы ее иметь.

– Я не чувствую этого, лорд Генри.

– Конечно, сейчас вы этого не чувствуете. Но однажды, когда вы уже будете старый, сморщенный и уродливый, когда мысли оставят полосы на вашем лбу, а страсть обожжет ваши уста своим губительным огнем, вы это почувствуете, вы это невыносимо почувствуете. Сейчас, куда бы вы ни пошли, вы очаровываете весь мир. Но будет ли так всегда?.. У вас на удивление красивое лицо, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота – это форма гениальности, на самом деле она даже выше гениальности, ведь ее не нужно объяснять. Это одно из величественных явлений природы, таких как солнечный свет, весна или отражение серебристой луны в темных водах. Ее невозможно подвергнуть сомнению.

Она удивительна в своей независимости. Она превращает тех, кто ею владеет, в принцев. Вы смеетесь? Что будет, если вы ее потеряете? Полагаю, вам будет не до смеха... Иногда люди говорят, что красота поверхностна. Может, и так, но она не столь поверхностна, как о ней думают. Люди, которые не судят по внешнему виду, не способны на глубокие суждения. Настоящая тайна мира состоит скорее в видимых вещах, чем невидимых... Да, мистер Грей, боги сделали вам щедрый подарок. Но боги быстро забирают свои подарки. У вас есть всего несколько лет, чтобы жить настоящей, совершенной и полной жизнью. Когда ваша молодость пройдет, красота пройдет вместе с ней, и потом вы вдруг поймете, что для вас больше не осталось побед, или вам придется довольствоваться подлыми победами, которые воспоминания о вашем славном прошлом сделают даже горче поражений. Каждый уходящий месяц на шаг приближает вас к ужасу. Время вам завидует и идет войной на цвет вашей юности. Вы станете бледным, с впалыми щеками и пустыми глазами. Вы будете несказанно страдать... Эх! Узнайте свою молодость, пока не поздно. Не теряйте богатство ваших дней, прислушиваясь к скучным людям, пытаясь исправить безнадежные ошибки или отдавая свою жизнь неблагодарным, простым и пошлым людям. Это неправильные цели, фальшивые идеалы нашего времени. Живите! Живите собственной прекрасной жизнью! Не упустите ничего в ней. Всегда ищите для себя новые ощущения. И ничего не бойтесь... Новый гедонизм – вот что нужно людям нашего века. Вы можете стать его живым символом. Для такой личности, как вы, нет ничего невозможного. На данный момент мир принадлежит вам. Как только я вас увидел, сразу понял, что вы не знаете, кто вы на самом деле, кем можете стать. Вы так захватили меня, что я почувствовал необходимость рассказать вам самому кое-что о вас. Я подумал о том, какой трагедией стало бы, если бы вы потеряли себя. Ведь молодость продлится так недолго. Обычные цветы вянут, но цветут снова. В следующем июне так же зажелтеют эти волшебные цветы. Через месяц зацветет ломонос, и его зеленые листья будут поддерживать пурпурные звездочки год за годом. А вот наша молодость никогда не вернется к нам. Радость, что пульсирует, когда нам двадцать, постепенно ослабевает. У нас отказывают конечности, наши чувства притупляются. Мы превращаемся в неуклюжие куклы, которых преследуют воспоминания о страстях, которых мы боялись, и искушениях, подвергнуться которым нам не хватало смелости. Молодость! Молодость! Нет в мире ничего лучше, чем молодость!

Дориан Грей слушал, широко раскрыв глаза. Веточка сирени, которую

он держал в руках, упала на гравий. Прилетевшая пушистая пчела некоторое время кружила и жужжала вокруг нее. Затем она решила залезть на маленький шарик из звездочек. Он наблюдал за этим с тем странным интересом, с которым мы относимся к обыденным вещам, когда какие-то более важные вещи пугают нас, когда нас возбуждает новая эмоция, которую мы не можем выразить, или когда ужасная мысль берет наше сознание в осаду, требуя капитуляции. Через некоторое время пчела улетела. Он увидел, как она пытается залезть в пурпурный цветок выюнка. Она задрожала, а потом легонько заколыхалась.

Вдруг в дверях мастерской появился художник и коротким взмахом руки позвал их к себе. Они обернулись друг к другу и улыбнулись.

– Я жду, – крикнул он. – Идите уже сюда. Освещение просто замечательное, так что забирайте свои напитки.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо них пролетели две зелено-белые бабочки, а на грушевом дереве в углу сада запел дрозд.

– Вы рады, что познакомились со мной, мистер Грей? – спросил лорд Генри, взглянув на него.

– Да, сейчас я рад. Не знаю, буду ли я радоваться этому всегда.

– Всегда! Это ужасное слово. Я содрогаюсь, когда слышу его. Женщины так любят его использовать. Они портят каждый роман, пытаясь заставить его продолжаться всегда. К тому же это слово не имеет значения. Единственная разница между прихотью и страстью на всю жизнь состоит в том, что прихоть длится несколько дольше.

Когда они вошли в мастерскую, Дориан Грей положил руку лорду Генри на плечо.

– В таком случае, пусть наша дружба будет прихотью, – пробормотал он, пораженный собственной смелостью. Затем он встал на платформу в той же позе, что и раньше.

Лорд Генри устроился в большом кресле и наблюдал за ним. Единственными звуками, наполнявшими тишину, было шуршание кистей по полотну и шаги Холлуорда, когда тот отходил, чтобы взглянуть на свое творение на расстоянии. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в которых плясали золотые пылинки. Тяжелый аромат роз, казалось, плавал в воздухе.

Примерно через четверть часа Холлуорд прекратил рисовать. Он долго смотрел на Дориана Грея, а потом так же долго смотрел на картину, прикусив кончик кисти и нахмутив брови.

– Готово! – сказал он в конце концов и наклонился, чтобы подписать левый нижний угол картины ярко-красными буквами.

Лорд Генри подошел и осмотрел портрет. Несомненно, это было великолепное произведение искусства, к тому же имеющее удивительное сходство с моделью.

– Дорогой мой, прими мои искренние поздравления, – сказал он. – Это лучший портрет нашего времени. Мистер Грей, подойдите и посмотрите на себя.

Юноша оглянулся, будто только что проснулся.

– Уже готово? – спросил он, ступая вниз с платформы.

– Именно так, – ответил художник. – А ты сегодня просто прекрасно позировал. Я твой должник.

– Это все благодаря мне, – перебил лорд Генри. – Правда, мистер Грей?

Дориан ничего не ответил. Он молча подошел к портрету. Увидев его, он отошел, а его щеки покрылись румянцем удовольствия. В его глазах появилась радость, как будто он впервые узнал себя. Он стоял неподвижно и очарованно, он понимал, что Холлуорд обращается к нему, но не мог уловить смысл его слов. Ощущение собственной красоты пришло к нему как откровение. Он никогда не чувствовал его раньше. Compliments Холлуорда всегда казались ему просто дружеским преувеличением. Он слушал их, смеялся над ними и забывал о них. Они не влияли на его сущность. А потом появился лорд Генри Уоттон с его странной речью над могилой молодости, с его ужасным предупреждением о ее быстротечности.

Это взволновало его тогда, а теперь, когда он смотрел на тень собственной красоты, он осознал всю правдивость слов лорда Генри. Да, однажды его лицо покроют морщины, глаза потеряют свой цвет, его грациозная осанка покинет его. Его уста потеряют свои красные краски так же, как волосы – золотые. Жизнь, призванная создать его душу, уничтожит его тело. Он станет ужасным, отвратительным и неуклюжим.

Когда он подумал об этом, острая боль пронзила его, будто нож, и внутри дрожала каждая жилка. Глаза его потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Он чувствовал себя так, словно ледяная рука легла ему на сердце.

– Тебе не нравится? – в конце концов воскликнул Холлуорд, несколько пораженный молчанием юноши, ведь он не понимал, что это значит.

– Конечно, ему нравится, – сказал лорд Генри. – Кому это может не понравиться? Это же одно из величайших произведений современного искусства. Я готов отдать за него все, что пожелаешь. Портрет должен быть моим.

– Он принадлежит не мне, Гарри.

– А кому же он принадлежит?

– Конечно, Дориану, – ответил художник.

– Ему повезло.

– Как же жаль! – воскликнул Дориан Грей, не сводя глаз с собственного портрета. – Как же жаль! Я состарюсь, стану противным и страшным. А этот портрет навсегда останется молодым. Он никогда не станет старше этого июньского дня... Если бы все было наоборот! Если бы это я всегда оставался молодым, а портрет старел! За это я отдал бы все, что угодно! Именно так, во всем мире нет вещи, которой мне было бы жаль за это! Я за это свою душу отдал бы!

– Ты вряд ли имел бы что-то против такого соглашения, Бэзил, – засмеялся лорд Генри. – Тебя больше беспокоят линии на твоих картинах.

– Я бы очень возражал, Гарри, – сказал Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и посмотрел на него.

– Думаю, именно так и произошло бы, Бэзил. Твое искусство для тебя важнее, чем твои друзья. Я для тебя не более, чем бронзовая фигурка. Я бы даже сказал, гораздо меньше.

Художник смотрел на него в изумлении. Это было так не похоже на него. Что случилось? Он выглядел довольно злым. Его лицо покраснело, а щеки горели.

– Именно так, – продолжил Дориан Грей, – я для тебя значу меньше, чем твой Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Они будут нравиться тебе всегда. Как долго тебе буду нравиться я? Подозреваю, что до первой морщины. Теперь я знаю, что, как только человек теряет свою красоту, какой бы она ни была, он теряет все. Твоя картина рассказала мне об этом. Лорд Генри абсолютно прав: молодость – единственная вещь, которую стоит иметь. Когда я пойму, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд помрачнел и схватил его за руку.

– Дориан! Дориан! – воскликнул он. – Не говори так! У меня еще никогда не было такого друга, как ты, и уже никогда не будет. Ты же не можешь завидовать вещам, правда? Ты же прекраснее любой вещи!

– Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую собственному портрету, который ты написал. Почему он будет иметь то, что я должен потерять? Каждое мгновение отнимает что-то у меня и отдает это ему. О! Если бы это было наоборот! Если бы портрет мог меняться, а я мог оставаться таким, каков я сейчас! Зачем ты его написал? Наступит день, когда он станет безжалостно насмехаться надо мной.

Горячие слезы наполнили его глаза, он вырвал руку и упал на диван, нырнув в подушки, будто хотел помолиться.

– Это ты во всем виноват, Гарри, – с горечью сказал художник.

Лорд Генри пожал плечами:

– Это настоящий Дориан Грей, вот и все.

– Нет.

– Если нет, то какое я имею к этому отношение?

– Тебе стоило уйти, когда я просил, – процедил он.

– Я остался, когда ты меня просил, – ответил лорд Генри.

– Гарри, я не могу ссориться сразу с двумя своими лучшими друзьями, но вы заставили меня возненавидеть лучшую картину из тех, что я написал, и я ее уничтожу. Это же только полотно и краски. Я не позволю ей испортить отношения между нами троими.

Дориан Грей поднял голову. Лицо его было бледно, а глаза – полны слез. Он увидел, как Бэзил подошел к рабочему столу, который был установлен под высоким занавешенным окном. Что он там делает? Его пальцы перебирали разбросанные оловянные тюбики с красками и сухие кисти в поисках чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. Наконец он нашел его. Он собирался порезать полотно.

Приглушенно всхлипнув, Дориан Грей вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду, вырвал нож из его руки и бросил его в противоположную сторону мастерской.

– Нет, Бэзил, нет! – кричал он. – Это будет убийством!

– Я рад, что ты наконец оценил мою работу по достоинству, Дориан, – холодно ответил художник, после того как справился с удивлением. – Я уже думал, что не дождусь этого.

– Оценил по достоинству! Да я просто влюблен в этот портрет, Бэзил. Он – часть меня. Я это чувствую.

– Что же, в таком случае, когда ты высохнешь, тебя покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. А потом можешь делать с собой все, что пожелаешь. – С этими словами он пересек комнату и позвонил в колокольчик, чтобы Паркер принес чаю. – Ты выпьешь чаю, Дориан? Ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

– Я обожаю простые удовольствия, – ответил лорд Генри. – Они последнее прибежище для сложных натур. А вот сцены, разыгранные передо мной не в театре, мне не нравятся. Какие же вы оба абсурдные создания! Мне интересно, кто назвал человека рациональным животным. Это в высшей степени необоснованное утверждение. Человек может многое, но он не является рациональным. В конце концов, я даже рад этому, однако я хотел бы, чтобы вы, ребята, не ссорились из-за портрета. Лучше бы ты отдал его мне, Бэзил. Этот глупый мальчишка не хочет иметь его на самом деле, а вот я хочу.

– Если ты не отдашь его мне, я тебе никогда этого не прощу, Бэзил! – воскликнул Дориан Грей. – И я не позволю называть себя глупым мальчишкой.

– Ты же знаешь, портрет твой, Дориан, я подарил его тебе еще до того, как написал.

– Кроме того, господин Грей, вы понимаете, что вели себя глупо, и не возражаете против напоминаний о вашем весьма юном возрасте.

– Сегодня утром мне казалось, что я безумно стар, лорд Генри.

– Ах, сегодня утром! Вы так много пережили с тех пор...

В дверь постучали, и вошел дворецкий. Он поставил поднос с чаем на маленький японский столик. Раздавался звон чашек и блюдец, старинный чайник все еще шипел. Дворецкий принес две тарелки из китайского фарфора, накрытые полукруглыми колпаками, тоже фарфоровыми. Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Двое мужчин лениво поплелись к столу и осмотрели то, что было под колпаками.

– Давайте сходим в театр сегодня вечером, – сказал лорд Генри. – Где-то должны показывать что-то интересное. Правда, я уже пообещал одному старому другу, что пойду вместе с ним на ужин к Уайту, но я могу написать ему телеграмму, что я заболел или что у меня появились другие планы. Думаю, благодаря своей неожиданной откровенности это станет прекрасным оправданием.

– Как же это надоедает, когда кто-то надевает на себя театральный костюм, – пробормотал Холлуорд. – И именно этот наряд выглядит ужасно.

– Ты прав, – мечтательно ответил лорд Генри. – Наряды девятнадцатого века просто отвратительны. Они такие тусклые, такие мрачные. Грех – это единственная яркая вещь, которая осталась в нашей жизни.

– Тебе не следует говорить такие вещи при Дориане, Гарри.

– В присутствии которого из Дорианов? Того, что наливает нам чай, или того, что на портрете?

– В присутствии обоих.

– Я бы с радостью сходил с вами в театр, лорд Генри, – сказал юноша.

– Тогда пойдемте. Ты пойдешь с нами, Бэзил, правда?

– Я не могу, честно. И еще не скоро буду иметь такую возможность. У меня много работы.

– Что же, в таком случае мы с вами пойдем вдвоем, мистер Грей.

– Я был бы этому очень рад.

Художник прикусил губу и подошел к портрету с чашкой в руке.

– Я останусь с настоящим Дорианом, – мрачно сказал он.

– Это настоящий Дориан? – воскликнул оригинал, приблизившись к портрету. – Я действительно именно такой?

– Да, это твоя точная копия.

– Это прекрасно, Бэзил!

– По крайней мере, на вид ты такой же. Но он никогда не изменится, – вздохнул Бэзил. – Это многое значит.

– Ну почему люди так помешаны на верности? – воскликнул лорд Генри. – Ведь даже в любви это просто вопрос физиологии. Наша воля никак на это не влияет. Молодые люди стремятся быть верными, но предаются, старики хотят быть неверными, но не в состоянии, вот и все.

– Дориан, не ходи в театр сегодня вечером, – попросил Холлуорд. – Останься и поужинай со мной.

– Я не могу, Бэзил.

– Почему?

– Потому что я пообещал лорду Генри Уоттону пойти с ним.

– От того, что ты будешь сдерживать свои обещания, он не станет относиться к тебе лучше. На самом деле он всегда нарушает собственные обещания. Пожалуйста, не ходи.

Дориан Грей засмеялся и покачал головой.

– Умоляю тебя.

Юноша засомневался и посмотрел на лорда Генри, который наблюдал за ними из-за чайного столика с довольной улыбкой на устах.

– Я должен пойти, Бэзил, – ответил он.

– Что ж, – сказал Холлуорд, вернувшись к столику и поставив свою чашку на поднос. – Уже довольно поздно, а вам еще нужно собраться, поэтому лучше не теряйте времени. Пока, Гарри. Пока, Дориан. Приходи навестить меня в ближайшее время. Приходи завтра.

– Конечно.

– Ты не забудешь?

– Конечно нет, – заверил Дориан.

– И... Гарри!

– Что, Бэзил?

– Помни, о чем я просил тебя сегодня утром в саду.

– Я уже забыл об этом.

– Я тебе доверяю.

– Если бы я мог доверять себе, – засмеялся лорд Генри. – Пойдемте, мистер Грей, мой экипаж ждет на улице, я отвезу вас домой. Пока, Бэзил, это был очень интересный вечер.

Когда дверь за ними закрылась, художник бросился на диван, а его

лицо исказилось от боли.

Глава 3

На следующий день в половине первого лорд Генри Уоттон направлялся от Керзон-стрит в Олбани, чтобы навестить дядю, лорда Фермора, добродушного, с несколько грубыми манерами старого холостяка, которого общество называло эгоистом, потому что не получало от него никакой конкретной пользы, а вот бомонд считал его щедрым, ведь он обеспечивал людей, способных его поразить. Его отец был послом в Мадриде во времена, когда Изабелла была еще юной, а о Приме^[2] никто и понятия не имел, но уволился с дипломатической службы из прихоти и обиды на то, что ему не предложили должность посла в Париже – должность, которая, по его мнению, должна была принадлежать ему по праву рождения, лени, прекрасно написанных дипломатических писем и безграничной жажды наслаждений.

Его сын, который работал секретарем у отца, также подал в отставку, что на тот момент казалось глупостью. А унаследовав титул через несколько месяцев после этого, он с головой погрузился в изучение высочайшего искусства аристократов – абсолютного ничегонеделания. Он имел два больших дома, однако предпочитал жизнь в квартире, ведь там было меньше хлопот, а ел, как правило, в клубе. Он интересовался делами на своих угольных шахтах в центральных графствах, объясняя нездоровый интерес к промышленности тем, что джентльмен, который владеет углем, может позволить себе топить свой камин дровами. Что касается политических взглядов, он поддерживал консерваторов всегда, кроме тех времен, когда они были в правительстве. В эти периоды он поливал их грязью за то, что они – стая радикалов. Он был героем в глазах своего дворецкого, который мог на него накричать, и ужасом в глазах своей родни, на которую он сам срывался. Он мог родиться только в Англии, хотя и говорил, что страна катится к черту. У него были устаревшие принципы и целая куча предубеждений.

Войдя в комнату, лорд Генри увидел, как его дядя в охотничьем жакете сидит с сигарой в зубах и грозно бормочет что-то в ответ на очередную публикацию «Таймс».

– О Гарри, – сказал пожилой джентльмен, – что привело тебя ко мне в такую рань? Я думал, что такой денди, как ты, встает не раньше двух и до пяти не выходит.

– Только любовь к своей семье, дядя Джордж, уверяю вас. Мне от вас

кое-что нужно.

– Я так понимаю – деньги, – сказал лорд Фермор, скосив взгляд. – Ну что же, садись и расскажи, что к чему. Сейчас молодые люди считают, что деньги – это самое главное в жизни.

– Действительно, – согласился лорд Генри, поправляя пуговицу на своем жакете, – а с годами они убеждаются в этом. Но мне нужны не деньги. Деньги нужны тем, кто выплачивает свои долги, дядя Джордж, а я этим не занимаюсь. Кредит – это богатство младшего сына, он позволяет жить на широкую ногу. Кроме того, я имею дело с торговцами с Дартмура, поэтому они меня никогда не беспокоят. Мне нужна информация, но не какая-то полезная. Мне нужна бесполезная информация.

– Что ж, я могу рассказать тебе все, что написано в Синей книге^[3], Гарри, хотя в последнее время там пишут много глупостей. Когда я работал дипломатом, дела с этим были намного лучше. Но я слышал, что сейчас дипломатов зачисляют на службу по результатам экзаменов. Чего же еще ожидать? Экзамены, сэр, это полнейшее очковтирательство от начала и до конца. Если человек джентльмен, он знает вполне достаточно, а если он не джентльмен, то его знания все равно не принесут ничего хорошего.

– В Синей книге не пишут о мистере Дориане Грее, дядя Джордж, – вяло сказал лорд Генри.

– Мистер Дориан Грей? А кто это? – спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

– Я пришел как раз для того, чтобы об этом узнать, дядя Джордж. Точнее, я знаю, кто он. Он внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне о его матери. Какой она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали практически всех, поэтому могли быть знакомы и с ней. Меня сейчас очень заинтересовал мистер Грей. Я только недавно с ним познакомился.

– Внук Келсо! – повторил пожилой джентльмен. – Внук Келсо!.. Конечно... Мы были близко знакомы с его матерью. Кажется, я даже присутствовал на ее крестинах. Маргарет Девере была необычайно красива. Мужчины просто взбесились, когда она сбежала с практически голым и босым мальчишкой, он был никто – младший офицер в пехотном полку или что-то вроде того. Действительно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга погиб на дуэли в Спа всего через несколько месяцев после свадьбы. Об этом ходили отвратительные слухи. Поговаривали, что Келсо подослал какого-то жуликоватого авантюриста, какого-то бельгийского грубияна, заплатил ему, чтобы тот публично оскорбил его зятя, а тот свернул парню шею, как птенцу. Это дело замалчивали, однако

Келсо с тех пор обедал в одиночестве. Мне рассказывали, что он забрал дочь к себе, но она так и не заговорила с ним больше. Да, это очень темная история. Менее чем через год девушка тоже умерла. Так что, после нее остался сын, правда? Я уже и забыл об этом. Что он за парень? Если он похож на мать, то должен вырасти симпатичным.

– Он очень красив, – подтвердил лорд Генри.

– Надеюсь, он попадет в хорошие руки, – продолжил старик. – Скорее всего, его ждет приличное наследство, если только Келсо поступил с ним по совести. У его матери тоже были деньги. От ее деда ей досталось имение Селби. Ее дед ненавидел Келсо. Называл его скупердьяем. Таким он и был. Однажды он приехал в Мадрид, когда еще я там был. К сожалению, мне было стыдно за него. Королева расспрашивала меня об английском дворянине, который всегда спорил с погонщиками о цене за проезд. Это стало целой историей. Я целый месяц не решался появиться при дворе. Надеюсь, он поступил с внуком лучше, чем обходился с теми беднягами.

– Даже не знаю, – ответил лорд Генри. – Думаю, с ним все будет в порядке. Он еще несовершеннолетний. Я знаю, что он владеет поместьем. Он рассказывал мне. А... его мать была красавицей?

– Маргарет Девере была одной из самых прекрасных женщин, которых я встречал за свою жизнь, Гарри. Я так и не смог понять, что побудило ее к тому поступку. Она могла выйти замуж за любого. Карлингтон был от нее без ума. Но, как и все женщины в той семье, она была романтической. Мужчины были так себе, но женщины были блестящие! Карлингтон стоял перед ней на коленях. Он сам мне рассказывал. А она смеялась над ним, хотя в то время все девушки в Лондоне были влюблены в него. Кстати, Гарри, насчет безрассудных браков, что это за глупости мне рассказал твой отец, якобы Дартмур хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

– Сейчас модно жениться на американках, дядя Джордж.

– Я буду защищать английских женщин перед всем миром, Гарри, – сказал лорд Фермор, ударив кулаком по столу.

– Сейчас ставят на американок.

– Говорят, они недолговечны, – пробормотал его дядя.

– Длинные дистанции истощают их, однако они созданы для бега с препятствиями. Они схватывают все на лету. У Дартмура нет шансов на спасение.

– А кто ее родня? – буркнул пожилой джентльмен. – У нее вообще есть родня?

Лорд Генри покачал головой.

– Американки так же умело скрывают своих родителей, как англичанки – свое прошлое, – сказал он, поднимаясь, чтобы уйти.

– Может, они торгуют свининой?

– Я на это надеюсь, дядя Джордж, ради Дартмурового же блага. Говорят, что торговля свининой – это второе по прибыльности занятие в Америке, после политики.

– Она хороша собой?

– Ведет себя так, будто она красавица. Большинство американок так себя ведут. В этом секрет их обаяния.

– Почему бы этим американкам не оставаться на родине? Они всегда рассказывают, что там настоящий рай для женщин.

– Так и есть. Именно поэтому они, как Ева, так безумно стремятся убежать отсюда, – произнес лорд Генри. – До свидания, дядя Джордж, я опоздаю на обед, если задержусь еще на минуту. Спасибо, что рассказали то, что меня интересовало. Я люблю знать как можно больше о моих новых друзьях и как можно меньше о старых.

– Где ты будешь обедать, Гарри?

– У тети Агаты. Я приглашен вместе с мистером Дорианом Греем. Он ее последний протеже.

– Хм! Гарри, передай своей тете Агате, чтобы она больше не надоедала мне своей благотворительностью. Почему-то эта старуха решила, что мне больше нечем заняться, кроме как выписывать чеки, чтобы оплатить дурацкие благотворительные затеи.

– Хорошо, дядя Джордж, я передам, но это не поможет. Благотворители теряют всю свою человечность. В этом заключается их отличительная черта.

Пожилой джентльмен одобительно хмыкнул и позвал слугу. Лорд Генри вышел на Берлингтон-стрит и свернул в сторону Беркли-сквер.

Итак, такова была история происхождения Дориана Грея. Короткий рассказ взволновал его, ведь он нашел в нем странную, почти современную романтику. Прекрасная женщина, которая рискнула всем ради безумной страсти. Несколько недель безудержного счастья, оборванные преступлением и ужасной изменой. Месяцы молчаливой агонии, а затем – рожденное в муках дитя. После того как смерть отобрала у него мать, мальчик остался наедине со старым тираном, который не знал любви. И все же это был интересный фон. Он подчеркивал каждую черту лица, делал его еще более совершенным. За спиной всего прекрасного, что существует в нашем мире, стоит трагедия. Мир должен выстрадать цветение малейшего цветка...

Какой же он был волшебный вчера за ужином, когда сидел напротив него в клубе, с огнем в глазах и открытым от робкой радости ртом. Красное пламя свечей подчеркивало удивление на его лице. Разговор с ним напоминал игру на изящной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение и движение смычка... Было что-то увлекательное в том, чтобы так влиять на его разум. Это не было похоже ни на какое другое занятие. Создавать отображения собственной души и на мгновение внушать ее другому, слышать эхо собственных взглядов, к которым добавилась музыка чужой юности и страсти, накладывать собственный темперамент на чужой так, будто это легкая нотка чужих духов. Все это дарило настоящую радость, возможно, наиболее всеобъемлющую радость из тех, что остались нам в наш ограниченный и пошлый век – век, в котором господствуют телесные утехы и общие цели...

Кроме того, он имел сказочный типаж, этот парень, которого он по странной воле случая встретил у Бэзила в мастерской, или же с него в любой момент можно было слепить сказочный типаж. В нем жили чистота, грация мальчика и красота, сравнимая с той, которую хранили для нас скульптуры Древней Греции. С ним можно было сделать все, что угодно. Из него можно было вылепить игрушку или титана. Как же жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как же интересно за ним наблюдать с точки зрения психологии! Новая манера в искусстве, свежий взгляд на жизнь, которые ему странным образом подсказало одно только присутствие того, кто не имеет об этом ни малейшего представления. Молчаливый дух, который жил в темном лесу и оставался незамеченным, гуляя в чистом поле, вдруг проявил себя, будто дриада без страха, ведь его душе, которая ждала ее, открылось видение прекрасных вещей. Благодаря этому видению формы и очертания простых вещей превращаются в символы, как будто они были очертаниями и формами чего-то другого и более совершенного, чью тень они превратили в реальность. Как же все это было необычно!

Он вспоминал подобные примеры из истории. Разве это не Платон был художником мысли, который впервые об этом задумался? Разве это был не Буонарроти, кто описал это в цветных сонетах на мраморе? Но это странно наблюдать в нашем веке... Да, он попытается стать для Дориана Грея тем, чем он, сам того не ведая, стал для художника, который создал его замечательный портрет. Он постарается установить над ним контроль, в конце концов, он уже прошел половину пути. Он присвоит себе этот удивительный дух. Было что-то захватывающее в этом ребенке любви и смерти.

Вдруг он остановился и посмотрел на дома.

Он заметил, что уже немного прошел мимо дома своей тети, и развернулся назад, слегка улыбнувшись. Когда он вошел в мрачного вида прихожую, дворецкий сказал, что все уже ушли обедать. Он отдал шляпу и трость слуге и вошел в столовую.

– Ты, как всегда, опоздал, Гарри, – встретила его тетушка, укоризненно качая головой.

Он пробормотал что-то в свое оправдание и, заняв свободное место рядом с ней, начал рассматривать присутствующих. Дориан скромно поклонился ему с противоположного края стола. На его щеках появился радостный румянец. Напротив сидела графиня Харли, бесконечно добрая леди, с прекрасным характером, за который ее обожали знакомые, и с характерными пропорциями, которые современники называли бы ожирением, если бы речь шла не о графине. Справа от нее сидел сэр Томас Бердон, радикальный парламентарий, который на людях следовал за своим лидером, а в личной жизни – за лучшими поварами, за обедом сидя с консерваторами, а мыслями оставаясь с либералами, согласно общеизвестному мудрому правилу. Место слева от нее занял мистер Эрскин Тредли, пожилой джентльмен, который владел значительным запасом шарма и культуры, однако обзавелся плохой привычкой молчать. Однажды он объяснил леди Агате, что сказал все, что хотел, еще до того как ему исполнилось тридцать. По соседству с ним сидела миссис Ванделер, одна из лучших подруг его тетки, – святейшая из женщин, но одетая так безвкусно и крикливо, что больше напоминала молитвенник в плохом переплете. К счастью, с другой стороны от нее сидел лорд Фодель, крайне эрудированный, но посредственный человек, такой же скучный, как и отчет министра в палате общин. Она разговаривала с ним с упорством, которое представляло собой, как он сам когда-то признал, страшную ошибку, которой не может избежать ни один порядочный человек.

– Мы как раз говорим о бедняге Дартмуре, лорд Генри, – сказала графиня, кивнув ему с противоположной стороны стола. – Как считаете, он действительно собирается жениться на этой очаровательной молодой особе?

– Я считаю, что она уже сделала ему предложение.

– Это ужасно! – воскликнула леди Агата. – Кто-то обязательно должен вмешаться.

– Я узнал из очень надежных источников, что ее отец торгует какими-то безделушками в Америке, – надменно сказал сэр Томас Бердон.

– Мой дядя уже решил, что он торгует свининой, сэр Томас.

– Безделушками! Какими еще безделушками? – спросила графиня, вскинув руки вверх, чтобы подчеркнуть собственное удивление.

– Американские романы, – ответил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Графиня выглядела растерянной.

– Дорогая, не обращайтесь на него внимания, – прошептала леди Агата. – Он никогда не говорит то, что думает.

– Когда открыли Америку, – сказал радикал и начал приводить какие монотонные факты. Как и каждый, кто пытается исчерпать тему для разговора, он исчерпал внимание слушателей. Графиня вздохнула и воспользовалась своим правом вмешаться в монолог.

– Лучше бы ее и не открывали! – воскликнула она. – Теперь наши девушки не имеют ни единого шанса! Это очень несправедливо.

– Возможно, в конце концов, Америку так и не открыли, – сказал мистер Эрскин, – я скорее сказал бы, что ее просто нашли.

– Эх, а я имела возможность пообщаться с людьми оттуда, – вяло ответила графиня. – Должна признаться, что большинство из них очень хорошие. А еще они прекрасно одеваются. Им всю одежду привозят из Парижа. Хотела бы я себе такое позволить...

– Говорят, что, когда порядочные американцы умирают, их души улетают в Париж, – хохотнул сэр Томас, который и сам владел огромным количеством устаревшей одежды.

– Действительно! А куда же попадают души плохих американцев после смерти? – поинтересовалась графиня.

– В Америку, – пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас нахмурился.

– Боюсь, ваш племянник предвзято относится к этой величественной стране, – обратился он к леди Агате. – Я объездил ее всю с лучшими проводниками. Уверяю вас, это было крайне поучительно.

– Мы действительно должны увидеть Чикаго, чтобы чему-то научиться? – жалобно спросил мистер Эрскин. – Я абсолютно не настроен на такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

– Мистер Эрскин Тредли собрал весь мир на своих полках. А мы, практичные люди, больше любим видеть вещи, чем читать о них. Американцы – очень интересный народ. Они вполне рассудительны. Думаю, это их отличительная черта. Именно так, мистер Эрскин, вполне рассудительный народ. Уверяю вас, они не делают никаких глупостей.

– Как же это ужасно! – воскликнул лорд Генри. – Я могу стерпеть

грубую силу, однако грубая рассудительность крайне невыносима. Есть в этом что-то несправедливое. Она превосходит интеллект.

– Я не понимаю вас, лорд Генри, – сказал сэр Томас, багровея.

– А я понимаю, – с улыбкой отозвался мистер Эрскин.

– Каждый парадокс хорош по-своему... – продолжил баронет.

– Разве это парадокс? – спросил мистер Эрскин. – Я так не думаю. Хотя, может, и так. В конце концов, за парадоксами кроется истина. Чтобы понять реальность, нам следует посмотреть, как она идет по тонкому канату. Только когда она выкручивается, что тот акробат, можно ее познать.

– Господи, – сказала леди Агата, – о чем эти мужчины только не спорят! Уверена, мне никогда не понять, что вы там говорите. Кстати, Гарри, я на тебя сердита. Зачем ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Уверяю вас, его присутствие будет просто бесценным. Там хотели, чтобы он сыграл.

– Я просто хочу, чтобы он играл для меня, – с улыбкой сказал лорд Генри, он посмотрел через стол и поймал радостный взгляд в ответ.

– Они же такие несчастные там в Уайтчепеле, – продолжила леди Агата.

– Я способен сочувствовать всему, кроме страданий, – сказал лорд Генри, пожав плечами. – Я не могу им сочувствовать. Это слишком некрасиво, слишком ужасно, слишком огорчает. Есть нечто в высшей степени нездоровое в сочувствии к страданиям. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. Чем меньше говорить о болячках, тем лучше.

– Однако Ист-Энд остается очень важной проблемой, – отметил сэр Томас, мрачно кивнув.

– Вы правы, – ответил юный лорд. – Это проблема рабства, а мы пытаемся решить ее, развлекая рабов.

Политик с интересом посмотрел на него.

– Что же вы предлагаете изменить? – спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

– Я не хочу менять в Англии ничего, кроме погоды, – ответил он. – Мне вполне достаточно философского созерцания. Однако, поскольку девятнадцатый век обанкротился, потратив все свои соборознования, я бы предложил обратиться к науке, чтобы она исправила положение. Преимущество эмоций заключается в том, что они ведут нас в заблуждение, а ценность науки в том, что она не эмоциональна.

– Но мы несем такую огромную ответственность, – скромно вмешалась миссис Ванделер.

– Действительно огромную, – поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри посмотрел на мистера Эрскина.

– Человечество слишком серьезно себя воспринимает. Это его величайший грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, все сложилось бы совершенно иначе.

– Вы меня утешили, – прощепетала графиня. – Раньше, когда я посещала вашу тетю, я чувствовала вину за то, что вовсе не интересуюсь делами в Ист-Энде. Отныне я смогу смотреть ей в глаза и не краснеть.

– Иногда даже полезно немного покраснеть, – отметил лорд Генри.

– Только в молодости, – ответила она. – Когда краснеет такая старуха, как я, это очень плохой знак. Ах! Лорд Генри, я хочу, чтобы вы рассказали мне, как снова стать молодой.

Он на мгновение задумался.

– Вы можете вспомнить страшную ошибку, которую вы совершили в молодости, графиня? – спросил он, не сводя с нее глаз.

– Боюсь, их было немало, – ответила она.

– Тогда совершите их все снова, – сказал он серьезно. – Чтобы вернуться в собственную молодость, достаточно просто повторить собственные глупости.

– Какая восхитительная теория! – не удержалась от восторга графиня. – Я должна испытать ее на практике.

– Опасная теория, – процедил сквозь зубы сэр Томас.

Леди Агата лишь кивнула, не в состоянии справиться со своим удивлением. Мистер Эрскин слушал.

– Да, – продолжил лорд Генри, – это один из самых удивительных секретов жизни. Сейчас большинство людей умирают под тяжестью здравого смысла, и слишком поздно понимают, что единственные вещи, о которых они никогда не будут жалеть, – это их ошибки.

За столом раздался громкий смех.

Лорд Генри играл идеей и получал от этого все больше удовольствия. Он подбрасывал ее в воздух и сразу ловил. Он давал ей бежать и снова ловил. Разрисовывал ее во все цвета радуги и отпускал лететь на крыльях парадокса. Пока он продолжал говорить, восхваление глупостей превращалось в философию, которая, в свою очередь, превратилась в юную девушку, танцевавшую, что вакханка, на холмах жизни и смеявшуюся над Силеном за его трезвость. Факты разбегались от нее, как испуганные лесные звери. Своими босыми ногами она топтала пресс, на котором сидел премудрый Омар, пока виноградный сок не омыл ее ноги и не пролился розовой пеной.

Это была блестящая импровизация. Лорд Генри чувствовал, что взгляд Дориана Грея прикован к нему, и понимание того, что среди публики был именно тот, кого он хотел захватить собой, казалось, придавало живости и красок его воображению. Он был фантастически великолепен и бесспорен. Он очаровал своих зрителей, как факир очаровывает кобру своей музыкой. Дориан Грей не сводил с него глаз, он сидел как зачарованный, время от времени на его лице появлялась улыбка, а в глазах росло удивление.

В конце концов реальность ворвалась в комнату, надев на себя костюм слуги, чтобы сообщить графине, что ее уже ждет экипаж. Она взмахнула руками в притворном отчаянии.

– Как же мне жаль, – сказала она, – что я должна уйти, чтобы забрать мужа из клуба и пойти с ним на какое-то глупейшее собрание в комнатах Уиллиса, где мой муж будет председательствующим. Если я опоздаю, он просто придет в ярость, а я не могу позволить себе ссориться в этой шляпке – она слишком хрупкая. Резкое слово разорвет ее. Поэтому я должна идти, дорогая Агата. Всего хорошего, лорд Генри, вы совершенно восхитительный и ужасно непонятный. Я даже не знаю, что думать о ваших теориях. Вы должны прийти и пообедать с нами как-нибудь вечером. Во вторник? Вы никуда не приглашены во вторник?

– Ради вас, графиня, я отменю любые планы, – сказал лорд Генри, поклонившись.

– Ох! Это так мило и одновременно так некрасиво с вашей стороны, – улыбнулась она, – поэтому имейте в виду, я жду вас. – С этими словами она оставила комнату в сопровождении леди Агаты и остальных дам.

Когда лорд Генри сел на стул, мистер Эрскин подошел к нему, сел рядом и положил руку ему на плечо.

– Вы способны переговорить кого угодно, – сказал он. – Почему же вы до сих пор не написали ни одной книги?

– Я слишком люблю читать книги, чтобы заниматься их написанием, мистер Эрскин. Конечно, я хотел бы написать роман, такой же прекрасный, как персидский ковер, и такой же волшебный. Но английских читателей ничего не интересует, кроме газет и энциклопедий. Из всех народов мира англичане хуже всего чувствуют красоту литературы.

– Боюсь, вы правы, – ответил мистер Эрскин. – Я и сам когда-то хотел писать, но уже давно бросил думать об этом. А теперь, мой дорогой друг, если вы позволите мне так к вам обратиться, я хотел бы спросить, вы действительно верите во все то, что говорили нам за обедом?

– Совершенно не помню, что я говорил, – улыбнулся лорд Генри. – Наверное, очень плохие вещи?

– Действительно, очень плохие. Собственно говоря, я считаю, что вы крайне опасны, и если с нашей дорогой графиней что-то случится, мы возложим вину за это на вас. Но я хотел бы поговорить с вами о жизни. Я представитель скучного поколения. Однажды, когда вам надоест Лондон, посетите меня в Тредли и расскажите о вашей философии наслаждений за бокалом изысканного бургундского, которое я имею счастье держать в погребе.

– Я буду в восторге. Для меня стало бы честью посетить Тредли. Имение имеет выдающегося хозяина и выдающуюся библиотеку.

– Вы ее дополните, – ответил пожилой джентльмен, уважительно поклонившись. – А теперь мне надо попрощаться с вашей прекрасной тетушкой. Мне пора в Атенеум. В это время мы обычно спим.

– Все, мистер Эрскин?

– Да, все сорок в сорока креслах. Так мы практикуемся, чтобы вступить в Английскую академию литературы.

Лорд Генри рассмеялся и встал.

– Я пойду в парк, – сказал он.

Когда он выходил из дверей, Дориан Грей взял его за руку.

– Позвольте мне пойти с вами, – сказал он.

– Но мне казалось, что вы обещали Бэзилу Холлуорду посетить его?

– Я лучше пойду с вами. Я чувствую потребность пойти с вами. Позвольте. И пообещайте все время мне что-то рассказывать. Никто не умеет так увлекательно рассказывать обо всем, как вы.

– Нет! На сегодня я уже наговорился, – с улыбкой ответил лорд Генри. – Теперь я хочу просто понаблюдать за жизнью. Можете пойти понаблюдать вместе со мной, если хотите.

Глава 4

Днем, месяц спустя, Дориан Грей сидел в роскошном кресле в маленькой библиотеке дома лорда Генри в районе Мейфэйр. Это была по-своему волшебная комната, обитая дубовыми панелями, с кремовыми бордюрами и лепниной на потолке. Персидские коврики, разбросанные на красном сукне, довершали образ. На столике из красного дерева стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»^[4], переплетенный Кловис Эв для Маргариты Валуа. На книге красовались маргаритки – эмблема королевы. На каминной полке стояли голубые фарфоровые вазы с тюльпанами, а сквозь маленькие витражные окна струился абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не пришел. Он всегда опаздывал из принципа. Принцип этот заключался в том, что пунктуальность – это кража времени. Дориан сидел угрюмый и лениво листал страницы изысканно проиллюстрированного издания «Манон Леско», которое он нашел на одной из полок. Его раздражало однообразное тиканье часов работы Луи Кваторза. Несколько раз он даже задумался над тем, чтобы уйти.

Наконец он услышал шаги, и дверь открылась.

– Что же ты так опоздал, Гарри? – сказал он.

– Боюсь, это не Гарри, мистер Грей, – ответил резкий голос.

Дориан Грей быстро оглянулся и вскочил на ноги.

– Прошу прощения, я думал...

– Вы думали, это мой муж. А это всего лишь его жена. Позвольте представиться. Тем более что я уже вас хорошо знаю по вашим портретам. Если не ошибаюсь, мой муж приобрел уже семнадцать из них.

– Неужели семнадцать, леди Генри?

– Ну, может быть, восемнадцать. Кроме того, я однажды видела вас с ним в опере.

Она нервно смеялась во время разговора и не сводила с него своих голубых, будто незабудки, глаз. Это была интересная женщина, чей наряд всегда выглядел так, будто его шили в гневе, а одевали во время бури. Она все время была в кого-нибудь влюблена, но, поскольку ее страсть не встречала взаимности, она сохранила все свои иллюзии. Она стремилась выглядеть неотразимо, но удавалось ей выглядеть только неопрятно. Ее звали Виктория и ее болезненно тянуло в церковь.

– Кажется, это был «Лоэнгрин».

– Именно так, прекрасный «Лоэнгрин». Вагнер – мой любимый композитор. Его музыка такая громкая, что можно спокойно разговаривать без страха, что кто-то подслушает. Это огромное преимущество, вы согласны, мистер Грей?

С ее уст сорвался тот же смех, и ее пальцы начали играть с длинным черепаховым ножом для разрезания бумаги.

Дориан улыбнулся и покачал головой.

– Боюсь, я должен с вами не согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю, когда звучит музыка, по крайней мере, хорошая музыка. Если же кто-то слышит плохую музыку, то он просто обязан заглушить ее разговором.

– О! Но это же слова Гарри, правда, мистер Грей? Я всегда слышу, как друзья Гарри говорят его словами. Именно так я о них узнаю. Но я не хочу, чтобы вы подумали, что я не люблю хорошую музыку. Я ее обожаю и одновременно боюсь. Она делает меня слишком романтической. Я просто боготворю пианистов, Гарри говорит, что иногда даже двоих сразу. Я даже не знаю, что в них такого. Может, это потому, что они иностранцы? Они же все иностранцы, не так ли? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, правда? Это так разумно и такой комплимент искусству. Это становится весьма космополитичным, не так ли? Вы же никогда не бывали на моих вечеринках, не так ли, мистер Грей? Вам обязательно следует прийти. Я не могу позволить себе орхидеи, однако у меня достаточно иностранцев. Они так украшают дом! А вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы что-то у тебя спросить, уже и не помню что, и наткнулась на мистера Грея. Мы с ним очень мило поболтали о музыке. У нас с ним одни и те же предпочтения. Хотя нет, думаю, как раз наоборот. Но с ним очень приятно общаться. Я так рада, что познакомилась с ним.

– Я рад, дорогая, очень рад, – сказал лорд Генри, поднимая свои темные изогнутые брови и глядя на обоих с улыбкой. – Прости за опоздание, Дориан. Я заглянул на Вардур-стрит, чтобы приобрести кусок старинной парчи, и мне пришлось целый час за нее торговаться. В наше время люди знают стоимость всего, но ничему не знают цены.

– Боюсь, я должна идти, – сказала леди Генри, оборвав неловкое молчание своим внезапным бессмысленным смехом. – Я пообещала графине составить ей компанию. Всего хорошего, мистер Грей. Всего хорошего, Гарри. Я так понимаю, ты идешь куда-то на обед? Я тоже. Возможно, увидимся у леди Торнбери.

– Так и будет, дорогая, – сказал лорд Генри, закрыв дверь, после того как она, будто райская птичка, попавшая под страшный ливень,

выпорхнула из комнаты, оставив за собой легкий аромат жасмина. Затем он закурил и растянулся на диване. – Никогда не женись на блондинке, Дориан, – сказал он после нескольких затяжек.

– Почему, Гарри?

– Потому что они очень сентиментальны.

– Но я тоже человек сентиментальный.

– Вообще никогда не женись, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины – из любопытства. В результате – оба разочарованы.

– Не думаю, что мне придется жениться, Гарри. Я слишком влюблен для этого. Это один из твоих афоризмов. Я воплощаю его в жизнь, как и все, что ты говоришь.

– В кого ты влюблен? – спросил лорд Генри после короткой паузы.

– В актрису, – сказал Дориан Грей и начал краснеть.

Лорд Генри пожал плечами:

– Вполне типичный предмет первой любви.

– Если бы ты ее увидел, то не говорил бы так.

– Кто же она?

– Ее зовут Сибила Вэйн.

– Ничего не слышал о ней.

– И никто не слышал. Но однажды обязательно услышат. Она гениальна.

– Мальчик мой, среди женщин нет гениев. Женщины – это декоративный пол. Им всегда нечего сказать, и они очаровательно об этом говорят. Женщины олицетворяют триумф тела над разумом, так же как мужчины олицетворяют триумф разума над моралью.

– Гарри, как ты можешь?

– Но это правда, дорогой Дориан. Я изучаю женщин, поэтому кому, как не мне, знать. Предмет не такой непонятный, как мне казалось. Я считаю, что, в конечном счете, есть только два типа женщин: некрасивые и накрашенные. Первые женщины очень полезны. Если нужно заработать репутацию уважаемого человека, достаточно просто пригласить их на ужин. Вторая категория – это крайне очаровательные женщины. Однако они совершают одну ошибку. Они добавляют себе красок, чтобы выглядеть молодыми. Наши бабушки добавляли себе красок, чтобы удачно поддерживать разговор. Румяна и красноречие шли в комплекте. Сейчас этого уже нет. Женщина довольна, пока она может выглядеть на десять лет моложе собственной дочери. А насчет бесед, на весь Лондон только пять женщин, с которыми интересно разговаривать, двух из них невозможно представить в приличном обществе. Но все-таки Расскажи мне о своем

гении. Как давно ты ее знаешь?

- Боже! Гарри, твои взгляды пугают меня.
- Не обращай внимания. Вы уже давно знакомы?
- Около трех недель.
- И где же вы встретились впервые?

– Я расскажу тебе, Гарри, но ты не должен быть таким черствым. В конце концов, этого не случилось бы, если бы я не познакомился с тобой. Ты наполнил меня безудержной жадой узнать все о жизни. После нашей встречи нечто будто запульсировало в моих жилах. Когда я отдыхал в парке или прогуливался по Пикадилли, я рассматривал всех прохожих, мне было очень интересно, что у них за жизнь. Некоторые из них меня захватывали, другие наводили на меня ужас. Воздух был наполнен несравненным ароматом. Я страстно желал новых ощущений... Так однажды вечером, около семи часов, я решил отправиться на поиски приключений. Я чувствовал, что Лондон, это чудовище с его бесконечными толпами людей, с его упорными грешниками и роскошными грехами, как ты когда-то говорил, припас кое-что для меня. Множество вещей захватывали меня. Даже опасность стала удовольствием. Я вспомнил, что ты сказал мне в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе, что поиск красоты есть секрет жизни. Не знаю, чего я ожидал, но я побрел на восток и очень скоро заблудился в лабиринте мрачных улиц и темных переулков, покрытых брусчаткой. Около половины девятого я набрел на жалкий маленький театр с отвратительной афишей, напечатанной отталкивающим шрифтом. Противный еврей в самом удивительном жакете, который я когда-либо видел, стоял перед входом и курил сигару. У него были сальные волосы, а на грязной манишке сверкал огромный бриллиант. Когда он увидел меня, то сказал: «Хотите приобрести билет в ложу, милорд?» – и удивительно услужливо снял передо мной шляпу. Гарри, в нем было что-то такое, что меня поразило. Это было просто чудовище. Знаю, тебе это покажется смешным, но я действительно пошел туда и заплатил целую гинею за ложу перед сценой. Я до сих пор не могу понять, почему я это сделал, однако, если бы все было иначе, дорогой Гарри, если бы все было иначе, я не встретил бы любовь всей своей жизни. Я вижу, ты смеешься. Это ужасно с твоей стороны!

– Я не смеюсь, Дориан, по крайней мере, я не смеюсь над тобой. Но не стоит называть это любовью всей твоей жизни. Лучше называй это первой любовью в твоей жизни. Тебя всегда будут любить, а ты будешь влюблен в любовь. Пламенная страсть – это привилегия людей, которым больше нечем заняться. Это единственное применение для высших слоев общества.

Не стоит бояться. Тебя ждут удивительные вещи. Это всего лишь начало.

– Ты думаешь, я настолько поверхностно вижу мир? – злобно спросил Дориан Грей.

– Нет, я считаю, что ты глубоко чувствующая натура.

– Что ты имеешь в виду?

– Мальчик мой, те, кто влюбляются лишь раз, поверхностно смотрят на мир. То, что они называют преданностью и верностью, я называю летаргией привычки или просто отсутствием воображения. Верность – это то же для эмоциональной жизни, что постоянство для интеллектуальной, – признание собственной неудачи. Верность! Мне следует когда-то ее проанализировать. В ней есть жажда обладать. Мы могли бы выбросить так много вещей, если бы не страх, что их подберет кто-то другой. Но я не хотел тебя перебивать. Продолжай, пожалуйста.

– Что ж, я оказался в неприлично крохотной приватной ложе, а прямо перед моими глазами висели неуклюже раскрашенные кулисы. Я отодвинул ширму, чтобы осмотреть зал – он был безвкусно оформлен: амур и рога изобилия, как на третьесортном свадебном торте. Галерея и задние ряды были полностью заполнены, а вот потрепанные кресла впереди пустовали. На тех местах, которые они называли балконом, не было вообще никого. Между рядами ходили продавцы апельсинов и имбирного пива, и абсолютно все ели орехи.

– Это, наверное, напоминало золотой век британской драматургии.

– Думаю, именно так, но в то же время это было крайне уныло. Я начал думать, что же делать, когда посмотрел на билет. Как ты думаешь, Гарри, что это был за спектакль?

– Скорее всего, что-то вроде «Невинный дурачок»... Думаю, нашим родителям нравились подобные произведения. Чем дольше я живу, Дориан, тем острее чувствую, что то, что подходило нашим родителям, совсем не подходит нам. В искусстве, как и в политике, старики всегда не правы.

– Этот спектакль нам подходил, Гарри. Это был «Ромео и Джульетта». Должен признать, мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой богом забытой дыре. И все же мной овладело любопытство. В конце концов, я решил посмотреть хотя бы первый акт. Ужасный оркестр под управлением молодого еврея, который сидел за разбитым фортепьяно, уже почти прогнал меня оттуда, но вот наконец поднялся занавес, и началось собственно представление. Ромео играл крепкий пожилой мужчина с подведенными бровями, трагическим голосом и фигурой, что у пивной бочки. Меркуцио был так же ужасен. Его играл дешевый комедиант, который вставлял собственные неудачные шутки в реплики, однако

наладил дружеские отношения с задними рядами. Они оба были нелепы, как и декорации, и это выглядело так, будто они явились сюда из сельского балагана. Но Джульетта! Гарри, представь себе девушку, которой едва исполнилось семнадцать, с маленьким, прекрасным, будто цветок, личиком, глазами фиалкового цвета, напоминающими колодцы страсти, изящной головой, как у греческих статуй, на которой красуются заплетенные пряди темно-русых волос, и губами, которые больше напоминают лепестки розы. Она – самое прекрасное создание, которое я когда-либо видел. Ты когда-то говорил мне, что пафос оставляет тебя равнодушным, однако эта красота – красота в чистом виде, даже твои глаза она наполнила бы слезами. Говорю тебе, Гарри, я едва мог разглядеть ее за туманом слез, накотивших на меня. А ее голос – такого голоса я еще не слышал никогда. Вначале он был очень низкий, его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем было трепетный экстаз, что человек слышит только перед рассветом, когда поют соловьи. Позже он иногда нес в себе безудержную страсть скрипки. Ты же знаешь, на какие удивительные вещи способен голос. Голос Сибила Вэйн и твой – это те две вещи, которые я никогда не смогу забыть. Я слышу их каждый раз, когда закрываю глаза, и каждый из них говорит мне разные вещи. Я не знаю, который из них слушать. Почему же мне не следует любить ее? Гарри, я действительно люблю ее. Она стала для меня всем. Я каждый вечер прихожу, чтобы увидеть ее игру. В один вечер она Розалинда, а на следующий – уже Имоджена. Я видел, как она умирает в мрачной итальянской могиле, выпив яд с губ любимого. Я видел, как она бродит лесами Арденна, выдавая себя за прекрасного мальчика, одетого в камзол, панталоны и шляпу. Она впадала в неистовство, приходила к злому королю и давала ему выпить яд с горькими травами. Она была невинной Дездемоной, чью лебединую шею безжалостно сжимали черные руки ревнивца. Я видел ее в любом возрасте и каждом образе. Обычные женщины никогда не будоражат воображение. Они прикованы к своему веку. Ни одно платье не преображает их. Их мнения видно так же хорошо, как и их шляпы. Их всегда можно найти. Ни в одной из них нет тайны. Утром они катаются верхом в парке, а вечером сплетничают за чашкой чаю. У них стандартные улыбки и изысканные манеры. Все в них очевидно. Но актрисы! С актрисами все иначе! Гарри, почему же ты никогда не говорил мне, что если кого и стоит любить, то только актрис?

– Потому что я любил очень многих актрис, Дориан.

– Да, конечно, этих ужасных женщин с крашеными волосами и

разрисованными лицами.

– Не своди все к крашеным волосам и разрисованным лицам. Иногда и в них бывает необыкновенная прелесть.

– Лучше бы я не рассказывал тебе о Сибиле Вэйн.

– Ты не мог удержаться, чтобы не рассказать мне. Ты всю жизнь будешь мне рассказывать обо всем, что делаешь.

– Да, Гарри, думаю, это правда. Я ничего не могу от тебя скрыть. Ты интересным образом влияешь на меня. Если бы я когда-то совершил преступление, то пошел бы и признался тебе. Ты бы меня понял.

– Такие люди, как ты, Дориан, своенравные, подобно солнечным лучам озаряющие жизнь, не совершают преступлений. Но все равно я очень благодарен за комплимент. А теперь скажи мне... будь добр, подай мне спички, спасибо... скажи мне, в каких отношениях с Сибиллой Вэйн ты находишься сейчас?

Дориан Грей вскочил на ноги, его щеки покраснели, а в глазах вспыхнул огонь.

– Гарри! Сибилла Вэйн священна для меня!

– Только к священным вещам и стоит прикасаться, Дориан, – сказал лорд Генри с необычной ноткой пафоса в голосе. – Но что тебя так раздражает? Предполагаю, что однажды она станет твоей. Влюбленные всегда начинают обманывать самих себя, а в результате они обманывают всех остальных. Именно это и называют любовью. В любом случае полагаю, что вы знакомы, ведь так?

– Конечно, мы знакомы. В первый же вечер, когда я был в театре, ужасный старый еврей зашел в ложу по завершению представления и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Это взбесило меня. Я сказал ему, что Джульетта уже сотни лет лежит в могиле в Вероне. Судя по его изумленному взгляду, у него сложилось впечатление, будто я выпил слишком много шампанского.

– Что неудивительно.

– Потом он спросил, пишу ли я в газеты, на что я ответил, что даже не читаю их. Похоже, он был этим крайне разочарован, он признался мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они куплены.

– Я не удивлюсь, если он прав. Но в то же время, судя по их виду, большинство из них продаются почти даром.

– Что же, казалось, он считал, что ему они не по карману, – засмеялся Дориан. – К тому времени в театре уже погас весь свет, и я был вынужден уйти. Он настойчиво угощал меня сигарами, очень хорошими, по его словам. Но я отказался. На следующий вечер я, конечно, снова пришел в

театр. Увидев меня, он низко поклонился мне и заверил, что я щедрый покровитель искусств. Крайне отталкивающий тип, однако он просто выдающийся поклонник Шекспира. Однажды он рассказал мне, что пять раз прогорал только потому, что упорно ставил «Барда». Кажется, он считал это своей отличительной чертой.

– Так оно и есть, дорогой Дориан, – в этом его огромное отличие от других. Большинство людей остаются ни с чем, потому что вкладывают огромные средства в прозу жизни. Потерять все из-за поэзии – это честь. Но когда ты впервые поговорил с Сибиллой Вэйн?

– На третий вечер. Она играла Розалинду. Я просто не мог сдержаться. Я бросил на сцену цветы, а она посмотрела на меня, по крайней мере, я очень хотел, чтобы было именно так. Старый еврей был настойчив. Он, видимо, решительно был настроен отвести меня за кулисы, и я сдался. Это было странно с моей стороны – не хотеть увидеть ее, правда?

– Нет, я так не считаю.

– Почему, дорогой Гарри?

– Я расскажу об этом в другой раз. А теперь расскажи мне о девушке.

– О Сибиле? Ах, она такая нежная и скромная. Есть в ней что-то детское. Она смотрела на меня широко открытыми, полными искреннего удивления глазами, когда я рассказывал, что думаю о ее игре. Казалось, она совершенно не замечала своей власти надо мной. Старый еврей скалился на пороге грязной гримерки и произносил хитроумные речи о нас обоих, пока мы стояли и смотрели друг на друга, будто дети. Он настойчиво называл меня «милорд», поэтому мне пришлось убеждать Сибилу, что никакой я не милорд на самом деле. Она сказала мне прямо: «Ты больше похож на принца, я буду называть тебя Прекрасным Принцем».

– Честное слово, Дориан, мисс Сибилла знает толк в комплиментах.

– Ты ее не понимаешь, Гарри. Я для нее просто персонаж из пьесы. Она ничего не знает о жизни. Она живет со своей угасшей, уставшей матерью, которая играла леди Капулетти в первый вечер. Выглядит она так, будто ее лучшие времена уже прошли.

– Мне знаком этот вид. Он нагоняет на меня тоску, – заметил лорд Генри, разглядывая свои кольца.

– Еврей хотел рассказать мне о ней, но я сказал, что мне это не интересно.

– И правильно сделал. В трагедиях других людей всегда есть что-то чрезвычайно низкое.

– Сибилла – это единственное, что имеет для меня значение. Какая мне разница, откуда она? От головы до маленьких ножек она совершенно и

полностью божественна. Каждый день я хожу смотреть на ее выступления, и с каждым днем она кажется мне все чудеснее.

– Я так понимаю, именно по этой причине ты не останешься сейчас со мной поужинать. Я предполагал, что ты в плену какого-то странного увлечения. Так и есть, но это не совсем то, чего я ожидал.

– Но, дорогой Гарри, мы ежедневно вместе обедаем или ужинаем, и я несколько раз ходил с тобой в оперу, – сказал Дориан с круглыми от удивления глазами.

– Да, но ты всегда опаздываешь.

– Но я не могу не пойти посмотреть на игру Сибилы, – ответил Дориан, – хотя бы в одном действии. Мне ее все время не хватает, а когда я думаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле цвета слоновой кости, меня охватывает трепет.

– Ты можешь поужинать со мной сегодня, Дориан?

Он отрицательно покачал головой:

– Сегодня она Имоджена, а завтра будет Джульеттой.

– А когда же она Сибилла Вэйн?

– Никогда.

– Прими мои поздравления.

– Как же ты невыносим! Она олицетворяет собой всех великих героинь мира. Она больше, чем личность. Можешь смеяться, но говорю тебе: она гениальна. Я люблю ее и должен заставить ее полюбить меня. Ты же знаешь все тайны жизни, так расскажи мне, как завоевать сердце Сибилы Вэйн. Я хочу, чтобы Ромео ревновал. Я хочу, чтобы уже умершие влюбленные всего мира, слыша наш смех, грустили. Я хочу, чтобы дыхание нашей страсти пробудило их прах в сознание, чтоб их пепел почувствовал боль. Боже мой, Гарри, как я ее обожаю!

Дориан ходил взад-вперед по комнате и говорил. Лихорадочный румянец горел на его щеках. Он был очень возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним со скрытым удовольствием. Как же он был сейчас непохож на скромного напуганного мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Его личность раскрывалась, как цветок, и расцветала ярко-красным пламенем. Душа его вышла из своего тайного убежища, и желание поспешило ей навстречу.

– И что ты предлагаешь сделать? – спросил наконец лорд Генри.

– Я хочу, чтобы вы с Бэзилем как-нибудь пошли вместе со мной и увидели ее игру. Я точно знаю, что будет дальше. Вы, без сомнения, согласитесь, что она – настоящий гений. Затем мы должны вырвать ее из лап еврея. Она обязана проработать у него три года, по крайней мере, два

года и восемь месяцев, если считать с сегодняшнего дня. Конечно, придется ему заплатить. Когда все образуется, я устрою ее в один из театров в Вест-Энде. Она поразит весь мир так же, как поразила меня.

– Боюсь, это невозможно, мой дорогой мальчик.

– Поразит, поразит. Она не просто несет в себе искусство, совершенное и инстинктивное, она личность, а ты часто говоришь мне, что это личности, а не принципы меняют эпохи.

– Что ж, когда мы пойдем?

– Дай подумаю. Сегодня вторник. Давай договоримся на завтра. Завтра она играет Джульетту.

– Хорошо. В восемь в Бристоле, я возьму с собой Бэзила.

– Только не в восемь, Гарри, пожалуйста. В половине седьмого. Мы должны быть на месте до того, как поднимется занавес. Вы должны увидеть, как она встречает Ромео в первом акте.

– Половина седьмого! Ну что это за время такое! Это же что-то несносное, словно мясо с чаем или чтение английского романа. Только в семь, ни один порядочный джентльмен не ужинает раньше, чем в семь. Ты увидишь Бэзила к тому времени или мне стоит написать ему?

– Добряк Бэзил! Я уже целую неделю его не видел. Это довольно грубо с моей стороны, ведь он прислал мне портрет в изысканной раме, которую сам сделал для меня. Кроме того, хотя я и завидую немного портрету за то, что он на целый месяц моложе меня, должен признать, что он мне очень нравится. Пожалуй, лучше напиши ему. Не хочу общаться с ним наедине. Он раздражает меня своими разговорами. Он дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся:

– Люди любят раздавать то, в чем сами нуждаются больше всего. Именно это я называю верхом великодушия.

– Эх, Бэзил – замечательный друг, но он кажется мне неким обывателем. Я заметил это, когда познакомился с тобой, Гарри.

– Мальчик мой, Бэзил вкладывает все волшебное, что есть в нем, в свою работу. Как следствие, у него не остается ничего, чтобы жить, кроме его предубеждений, принципов и здравого смысла. Все приятные как личности художники, которых я знаю, – плохие художники. Хорошие художники существуют лишь в том, что они делают, поэтому они совершенно не интересны как люди. Великий поэт, действительно великий поэт, это наименее поэтичное создание из всех. А второстепенные – обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее они выглядят. Сам факт того, что он опубликовал книгу второсортных сонетов, делает

человека совершенно неотразимым. Он живет поэзией, которую не может написать. Другие пишут стихи, но у них нет смелости внести их в жизнь.

– Даже не знаю, действительно ли это так, Гарри, – сказал Дориан, смачивая платок духами из большого флакона с золотой пробкой, который стоял на столе. – Раз ты так говоришь, это должно быть правдой. А сейчас мне пора уходить. Меня ждет Имоджена. Не забывай о завтра. Пока.

Когда он вышел из комнаты, лорд Генри закрыл глаза и задумался. Мало кто интересовал его больше Дориана Грея, и все же юношеская увлеченность кем-то другим не вызывала в нем ни капли раздражения или ревности. Она радовала его. Это сделало еще более интересным исследование природы Дориана. Его захватывали методы естественных наук, однако сам предмет этих наук казался ему обыденным и незначительным. Поэтому он начал заниматься вивисекцией самого себя, а потом стал заниматься вивисекцией других. Он считал, что только человеческая жизнь стоит того, чтобы ее исследовали. Все остальное не имело значения по сравнению с ней. Действительно, увидев жизнь во всем ее многообразии удовольствий и боли, никто не мог продолжать носить стеклянную маску безразличия на своем лице, чтобы уберечься от ужасных фантазий или обманчивых мечтаний. В жизни есть настолько неуловимые яды, что нужно самому пострадать от них, чтобы понять их действие. Есть такие странные болезни, что, только оправившись от них, можно понять их природу. И все же огромная награда ждет того, кто пройдет этот путь. Каким же чудесным становится для него мир! Какая же это радость – заметить странную логику страсти и эмоциональную окрашенность интеллекта, наблюдать, как они объединяются в единое целое, чтобы снова разойтись своими дорогами, замечать моменты, когда они в гармонии и когда диссонируют друг с другом! Какая разница, какой ценой. Любое ощущение – бесценно.

Он понимал, и это понимание придавало радостного блеска его агатовым глазам, что это его слова, музыка его речей, произнесенных его певучим голосом, заставили душу Дориана Грея обратиться к прелестной девушке и преклониться перед ней. Во многом парень стал его творением. Он быстро открыл юноше тайны жизни. Это многое значит. Обычные люди ждут, пока жизнь сама откроет им эти секреты, но немногим избранныкам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда это происходит благодаря искусству, в основном благодаря литературе, которая имеет дело непосредственно с умом и страстями. И время от времени сформировавшаяся личность берет на себя функцию искусства и становится своеобразным его произведением. Жизнь, так же как и

литература, живопись или скульптура, имеет собственные шедевры.

Да, Дориан быстро повзрослел. Он уже собирает урожай, хотя еще весна. Он все еще чувствовал пульс и страсть молодости, однако уже осознавал себя. За ним было приятно наблюдать. Его прекрасные тело и душа делали из него настоящее чудо. Не имело значения, как это все закончится или как должно закончиться. Он был будто участник карнавала или персонаж спектакля, чьи радости кажутся нам далекими, но чьи страдания пробуждают в нас чувство прекрасного, ведь их раны похожи на розы.

Душа и тело, тело и душа, как же они загадочны! Есть что-то животное в душе, а тело также несет в себе долю духовности. Чувственные порывы способны со временем стать утонченными, а разум – угаснуть. Можно ли с уверенностью сказать, когда именно голос души начинает звучать громче, чем голос тела? Определения психологов слишком расплывчатые! Да и к тому же различные школы трактуют одни и те же вещи по-разному. Неужели душа действительно только тень в царстве греха? Или, как говорил Джордано Бруно, тело содержится в душе? Разделение тела и духа – это такая же тайна, как и их объединение.

Ему стало интересно, сможет ли психология когда-либо стать абсолютной наукой, которая объяснит нам каждую мельчайшую частичку жизни. На данный момент мы все еще слишком часто не понимаем самих себя и окружающих. Опыт не имеет никакой моральной значимости. Это только название, которое люди дали своим ошибкам. Как правило, моралисты считают его своеобразным предостережением, полезным для формирования характера, превозносят его, как учителя, который подсказывает, каким путем лучше пойти. Однако опыт не может мотивировать. В нем, как и в сознании в общем, нет движущей силы. Единственное, на что он указывает, это то, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз и с радостью.

Для него было очевидно, что научно проанализировать страсти можно только с помощью эксперимента. Дориан Грей стал для него удобным и перспективным объектом исследования. Его неожиданные безумные чувства к Сибиле Вэйн представляли собой весьма интересный психологический феномен. Несомненно, большую роль в этом сыграл интерес, любопытство и жажда новых ощущений, однако это была не простая, а весьма разносторонняя страсть. То, что было рождено чувственными юношескими инстинктами, самому Дориану кажется чем-то далеко не чувственным, а потому оно крайне опасно. Именно страсти, о

природе которых мы обманываем сами себя, имеют наибольшую власть над нами. Слабее же всего на нас влияют вполне понятные нам мотивы. Часто случается так, что мы проводим эксперименты над самими собой, думая, что экспериментируем над другими.

Пока лорд Генри сидел и размышлял обо всем этом, раздался стук в дверь, в комнату вошел дворецкий и напомнил, что пора собираться на ужин. Лорд встал и выглянул на улицу. Закат окрасил пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив. Стекла сверкали, как листы нагретого металла. Небо над головой было блекло-розового цвета. Он думал о своем молодом друге и его огненного цвета жизни, и ему было интересно, к чему все это приведет.

Вернувшись домой около половины первого, он заметил на столе в гостиной телеграмму от Дориана Грея. Он открыл ее и прочитал, что юноша помолвлен с Сибиллой Вэйн.

Глава 5

– Мама, мама, как же я счастлива! – шептала девушка, склонив голову на колени пожилой женщине с усталым лицом, которая сидела спиной к яркому свету в единственном кресле, стоявшем в их мрачной гостиной. – Как же я счастлива! – повторила Сибила. – И тебе также стоит радоваться!

Миссис Вэйн вздрогнула и положила свои тонкие набеленные руки дочери на голову.

– Радоваться! – тихо проговорила она. – Я, Сибила, радуюсь, только когда наблюдаю за твоей игрой. Тебе не стоит думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс прекрасно к нам относится, мы должны ему денег.

Девушка подняла голову и недовольно поморщилась.

– Деньги, мама? – переспросила она – Что такое деньги? Любовь важнее любых денег.

– Мистер Айзекс дал нам пятьдесят фунтов вперед, чтобы мы могли оплатить долги и приобрести все необходимое для Джеймса. Тебе нельзя об этом забывать, Сибила. Пятьдесят фунтов – это огромная сумма. Мистер Айзекс чрезвычайно благосклонен к нам.

– Он не джентльмен, мама, и мне противна его манера разговаривать со мной, – сказала девушка, вставая и направляясь к окну.

– Но если бы не он, я даже не знаю, что бы мы делали, – мрачно сказала мать.

Сибила Вэйн покачала головой и засмеялась.

– Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашу жизнь будет устраивать Прекрасный Принц.

Затем она замолчала. Кровь ударила ей в лицо, окрасив щеки в розовый цвет. Ее уста разжались и задрожали. Ветер страсти, казалось, встревожил складки ее платья.

– Я люблю его, – выдохнула она.

– Глупенькое дитя! Глупенький ребенок! – повторяла мать в ответ. А движения скрюченных пальцев с дешевыми перстнями на них делали ее слова какими-то бессмысленными.

Девушка снова засмеялась. В ее голосе звучало счастье птицы, попавшей в клетку. Ту же радость излучали ее глаза, она на мгновение закрыла их, будто пытаясь скрыть свою тайну. Когда же они вновь открылись, то были будто овеяны туманом мечтаний.

Из обтрепанного кресла с ней говорила тонкогубая мудрость,

проповедуя осторожность, приводя соображения из книги трусости, которую сама называла здравым смыслом. Но она не слушала. Она чувствовала себя свободной в своей клетке страсти. Ее Принц, ее Прекрасный Принц, был рядом с ней. Она обратилась к памяти, чтобы воспроизвести его образ. Она отправила свою душу на поиски, и та вернула ей Принца. Его поцелуй еще горел на губах. Ее веки еще согревало его дыхание.

Тогда мудрость изменила тактику и заговорила о том, что следует узнать человека как можно лучше. Возможно, этот юноша состоятельный. Если так, надо подумать о браке. Но волны житейской хитрости не достигали берегов ушей Сибилы, а стрелы лукавства летели мимо. Она видела перед собой только его тонкие губы и сияла улыбкой.

Вдруг она почувствовала потребность поговорить. Громкое молчание смутило ее.

– Мама, мама, – сказала она – за что он меня так любит? Я знаю, за что я люблю его – за то, что он похож на саму любовь. Но что же он нашел во мне? Я его не стою. И все же, сама не знаю почему, я не чувствую себя униженной. Я горжусь, очень горжусь. Мама, ты любила моего отца так же, как я люблю Прекрасного Принца?

Старушка побледнела под слоем дешевой пудры, а ее губы скривились от боли. Сибилла подбежала к ней, обняла и прижала к себе.

– Прости, мама, я знаю, что тебе больно говорить об отце. Но ведь тебе больно, потому что ты так сильно его любила. Не стоит унывать. Я так же счастлива, как ты была двадцать лет назад. Так позволь же мне оставаться счастливой всегда!

– Крошка моя, ты еще слишком молода, чтобы влюбляться. Кроме того, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже не знаешь, как его зовут. Вся эта история очень неудобная, да еще и Джеймс отправляется в Австралию, и все это мне как снег на голову. Хочу сказать, тебе стоит получше все это обдумать. Однако, если он все-таки богатый...

– Мама, ну мама, позволь мне быть счастливой!

Миссис Вэйн посмотрела на дочь и обняла ее широким театральным жестом, которые так часто становятся вполне обыденными для актеров. Тотчас в комнату вошел несколько неуклюжий молодой человек с непослушными темными волосами. У него была коренастая фигура, большие руки и ноги. Он ни в чем не был таким изящным, как его сестра. Было даже трудно поверить, что они родственники. Миссис Вэйн посмотрела на него и улыбнулась еще шире. Для нее сын стал зрителем, перед которым они с дочкой разыгрывали интересную сцену.

– Может, мне перепадет несколько твоих поцелуев, Сибила? – сказал юноша с доброжелательной улыбкой.

– Ты же не любишь, чтобы тебя целовали, – ответила она. – Ах ты медведь!

Она подбежала к нему и крепко обняла.

Джеймс Вэйн с нежностью посмотрел на лицо сестры.

– Пойдем прогуляемся, Сиб. Не думаю, что мне еще когда-нибудь придется вернуться в этот страшный город. Да я и не хочу.

– Сынок, не говори таких ужасных вещей, – сказала миссис Вэйн, вздохнув, и взялась латать какое-то театральное платье.

Она немного расстроилась из-за того, что к ним не присоединился ее сын. Это только добавило бы драматизма ситуации.

– Почему бы и нет, мама? Так оно и есть.

– Мне больно это слышать. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не сыскать приличного общества, поэтому, когда заработаешь себе состояние, возвращайся и обустраивай жизнь в Лондоне.

– Приличное общество... – пробормотал юноша. – Мне это не интересно. Я просто хочу заработать достаточно денег, чтобы вам с Сибилой больше не приходилось работать в театре. Я ненавижу театр.

– Эх, Джим, – с улыбкой сказала Сибила, – как же это невежливо с твоей стороны! Ты действительно хочешь погулять со мной? Это было бы прекрасно! Я боялась, что ты пойдешь прощаться со своими друзьями – с Томом Харди, который подарил тебе ту странную трубку, или Недом Лэнгтоном, который всегда смеется над тобой, когда ты ее куришь. Это очень мило с твоей стороны – провести свой последний вечер в Лондоне со мной. Куда пойдем? Давай пойдем в парк.

– Я плохо выгляжу для парка, – ответил он, нахмурившись. – Только хорошо одетые люди ходят в парк.

– Что за глупости ты говоришь, Джим! – Она поправила рукав его пиджака.

Мгновение он колебался.

– Ну хорошо, – сказал он наконец, – только собирайся быстрее.

Она, пританцовывая, выбежала из комнаты. С лестницы раздавалось ее радостное пение.

Он несколько раз обошел комнату, а потом обернулся к неподвижной фигуре в кресле.

– Мама, мои вещи готовы? – спросил он.

– Да, все готово, Джеймс, – ответила она, не сводя глаз со своего

шитья.

Последние несколько месяцев ей было неудобно оставаться наедине со своим жестким и грубым сыном. Ее таинственная натура волновалась, когда они встречались взглядами. Она все время думала: не заподозрил он что-то? В конце концов она не выдержала молчания, которое Джеймс не собирался нарушать. Она начала жаловаться. Женщины защищаются или с помощью нападения, или с помощью внезапной и необъяснимой капитуляции.

– Надеюсь, Джеймс, ты будешь доволен своей жизнью моряка, – сказала она. – Не забывай только, что это был твой выбор. Ты мог бы стать поверенным. Адвокаты – весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

– Я ненавижу офисы и клерков, – ответил он. – Но ты права. Я сам выбрал для себя жизнь. Все, чего я прошу, мама, – береги Сибилу. Не допусти, чтобы с ней что-то произошло. Мама, ты должна о ней позаботиться.

– Ты говоришь странные вещи, Джеймс. Конечно, я позабочусь о Сибиле.

– Я слышал, что какой-то джентльмен каждый вечер приходит в театр и ходит к ней за кулисы. Это правда? Что ты скажешь об этом?

– Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь, Джеймс. Для нашей профессии нормально, когда нам уделяют внимание. Когда-то мне тоже присылали множество цветов. Это было в то время, когда люди действительно знали толк в театре. А насчет Сибилы, так я еще не знаю, насколько серьезно это ее увлечение. Но этот юноша, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда очень вежлив со мной. Кроме того, похоже, он весьма богат, ведь он всегда посылает Сибиле просто замечательные цветы.

– Однако ты не знаешь, как его зовут, – сухо сказал Джеймс.

– Нет, – ответила его мать с невозмутимым выражением лица. – Он все еще не открыл свое настоящее имя. Я считаю, в этом есть что-то крайне романтическое. Он явно аристократ.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

– Позаботься о Сибиле, мама, – сказал он, – позаботься.

– Сынок, ты меня обижаешь. Сибилла всегда находится под моей заботливой опекой. Этот джентльмен состоятельный, так почему бы нам не заручиться его поддержкой. Он, скорее всего, из аристократов, по крайней мере, все на это указывает. Он может стать блестящей партией для Сибиллы. Из них получилась бы отличная пара. Он действительно выдающийся

красавец, это все замечают.

Юноша бормотал что-то про себя и барабанил пальцами по подоконнику. Он как раз обернулся, чтобы что-то сказать, когда дверь отворилась и в комнату вбежала Сибилла.

– Вы такие серьезные! – воскликнула она. – Что произошло?

– Ничего, – ответил он. – Думаю, всем иногда приходится быть серьезными. Всего хорошего, мама. Я пообедаю в пять. Не переживай: весь багаж, кроме рубашек, уже сложен.

– Всего хорошего, сынок, – ответила она и сдержанно поклонилась.

Ее очень раздражало то, как он с ней разговаривал, а его взгляд вызвал в ней страх.

– Поцелуй меня, мамочка, – сказала девушка. Ее нежные, будто лепестки цветов, губы прикоснулись к материнской щеке и на мгновение согрели ее.

– Доченька! Доченька! – воскликнула миссис Вэйн, подняв глаза вверх, чтобы увидеть галерку воображаемого театра.

– Пойдем уже, Сиб, – нетерпеливо позвал ее брат. Он терпеть не мог театральности матери.

Они вышли на улицу, где было ветрено, но солнечно, и пошли вниз по унылой Юстон-роуд. Прохожие с удивлением смотрели на мрачного неряшливо одетого юношу, который сопровождал грациозную и изящную юную леди. Он был похож на простого садовника рядом со своей розой.

Время от времени Джим хмурился, улавливая на себе любопытные взгляды незнакомцев. Он ненавидел, когда его рассматривали. Это ощущение приходит к гениям на склоне лет, но никогда не покидает простых людей. Сибилла же не обращала на это никакого внимания. Ее любовь вызывала улыбку на ее лице. Сибилла думала о Прекрасном Принце, но не говорила о нем, чтобы не отвлекаться от своих мыслей. Вместо этого она рассказывала о корабле, на котором Джим выйдет в море, о золоте, которое он обязательно найдет, и о прекрасной леди, которую он, конечно же, спасет из лап разбойников в красных рубашках. По ее мнению, он не должен был оставаться матросом, или помощником капитана, или кем он там собирался стать. Ни в коем случае! Жизнь матроса просто ужасна. Даже представить страшно этот плен на корабле, пока высоченные волны пытаются опрокинуть его, а неудержимый ветер со свистом ломает мачты и рвет паруса. Прибыв в Мельбурн, он должен сразу покинуть корабль, попрощаться с капитаном и отправиться на золотые прииски. Менее чем за неделю он найдет огромный слиток чистого золота, крупнейший за всю историю, его будут доставлять тележкой в сопровождении шести

полицейских. Трижды на них нападут лесные разбойники и трижды потерпят поражение. Хотя нет, ему вообще не следует отправляться на рудники. Это ужасное место, где мужчины отравляют или стреляют друг в друга в баре, постоянно ругаясь при этом. Он должен вести тихую фермерскую жизнь и разводить овец. Однажды, возвращаясь домой, он заметит прекрасную леди, похищенную каким негодяем. Он догонит их и спасет ее. Понятное дело, они влюбятся друг в друга, женятся и вернутся в Лондон, где будут жить в роскошном доме. Именно так его ожидало прекрасное будущее. Но ему нужно быть добрым и терпеливым и не тратить деньги на всякую ерунду. Хотя она и старше его всего на год, но знает о жизни гораздо больше. Кроме того, он должен обязательно писать ей с каждой почтой и каждый вечер молиться перед сном. Бог милостив, и он ему поможет. Она также будет за него молиться, и через несколько лет он вернется в Лондон богатым и счастливым.

Юноша невнимательно слушал ее и ничего не говорил в ответ. Он покидал дом с тяжелым сердцем.

Однако не только это смущало его и нагоняло на него грусть. Даже его незначительного жизненного опыта хватало, чтобы понять, что Сибила в опасности. Этот юный денди, в которого она влюбилась, не предвещал ничего хорошего. Он был джентльменом, именно за это Джеймс ненавидел его – ненавидел лютой классовой ненавистью, которая была непонятной ему самому, а оттого была еще сильнее. Он также понимал, что удивительная беспечность и тщеславие собственной матери могли стать роковыми для Сибилы. Сначала дети любят своих родителей, потом осуждают их. Иногда они их прощают.

Его мать! Он собирался кое-что у нее спросить, это кое-что не давало ему покоя уже несколько молчаливых месяцев. Случайно услышанная в театре фраза, насмешливый шепот, который он уловил однажды вечером за кулисами, разбудил в нем целую армию ужасающих догадок. Он вспоминал тот момент, когда его будто ударили кнутом по лицу. Он нахмурился так, что глубокая морщина прорезалась между бровями, и с мученическим выражением лица прикусил губу.

– Ты не слушаешь ни слова из того, что я тебе говорю! – возмутилась Сибила. – Я тут строю замечательные планы твоего будущего. Скажи хоть слово.

– Что ты хочешь от меня услышать?

– Что ты будешь хорошим мальчиком и не будешь забывать о нас, – ответила она, улыбаясь.

Он пожал плечами.

– Ты забудешь обо мне быстрее, чем я о тебе, Сибила.

Она покраснела:

– Что ты имеешь в виду, Джим?

– Я слышал, у тебя новый приятель. Кто он такой? Почему ты мне о нем не рассказала? Он не принесет тебе ничего хорошего.

– Остановись, Джим, – сказала она. – Не смей плохо говорить о нем! Я люблю его.

– Да ты же даже его имени не знаешь, – ответил парень. – Кто он такой? Я имею право знать.

– Его зовут Прекрасный Принц. Разве не замечательное имя? Запомни его, глупый мальчишка. Если бы ты только увидел его, то сразу понял бы, что он прекраснее всех на свете. Однажды, когда ты вернешься из Австралии, вы познакомитесь. Он тебе понравится. Он всем нравится, а я люблю его. Как бы я хотела, чтобы ты мог прийти сегодня в театр. Он там будет, а я буду играть Джульетту. О, как же я ее сыграю! Джим, только представь – любить и играть Джульетту! В то время как он будет сидеть в зале! Играть ради его удовольствия! Боюсь, я спугну зрителей или произведу величайшее впечатление на них. Любить – значит вознестись над самим собой. Бедный мистер Айзекс опять будет кричать, что я гений, своими друзьями в баре. Он всегда верил в меня, а теперь уверует. Я это чувствую. И все это благодаря ему и только ему, моему Прекрасному Принцу, моему прекрасному повелителю. Но я такое ничтожество по сравнению с ним. Ну и что? Нищета ползет в двери, а любовь влетает через окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Они были написаны зимой, а сейчас лето. Нет, для меня сейчас весна – мое время, танец цветов под голубым небом.

– Он джентльмен, – мрачно сказал юноша.

– Принц, – радостно воскликнула она. – Чего тебе еще нужно?

– Он хочет сделать из тебя рабыню.

– Меня ужасают мысли о свободе.

– Берегись его.

– Увидев его, нельзя не влюбиться, познакомившись с ним, нельзя ему не доверять.

– Ты просто сошла с ума из-за него, Сиб.

Она засмеялась и взяла его за руку.

– Мой дорогой Джим, ты говоришь так, будто тебе сто лет. Однажды ты сам влюбишься. Тогда ты поймешь, что это такое. Не стоит так расстраиваться. Наоборот, тебе надо радоваться, что хоть ты и уезжаешь, но оставляешь меня счастливее, чем когда-либо до этого. Нам обоим жилось

нелегко, даже очень трудно. Но теперь все изменится. Ты отправляешься в новую жизнь, а я нашла ее для себя тут. Здесь есть свободные места, давай сядем и посмотрим на красивых людей.

Они сели в толпе. Тюльпаны на клумбах горели красным пламенем. Белая пыль будто наполняла воздух туманом. Над головами, будто гигантские бабочки, проплывали цветные зонтики.

Сибилла заставляла брата говорить о себе, своих надеждах и перспективах. Он говорил медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки – фишками. Сибилла чувствовала себя подавленной, ведь она не могла передать свою радость брату. Наибольшим ее достижением была тень улыбки на его мрачном лице. Через некоторое время она замолчала. Вдруг она заметила знакомые золотистые кудри и улыбку на губах. Это Дориан Грей с двумя леди проезжал мимо в открытом экипаже. Она вскочила на ноги.

– Вот же он! – воскликнула она.

– Кто? – спросил Джим Вэйн.

– Прекрасный Принц, – ответила она, глядя вслед экипажу.

Он также вскочил и схватил ее за руку.

– Покажи его мне. Который из них? Укажи на него. Я должен его увидеть! – воскликнул он, однако в тот же миг перед ними проехала карета графа Бервика, и экипаж исчез из поля зрения.

– Он исчез, – грустно сказала Сибилла. – Я так хотела, чтобы ты его увидел.

– Я тоже хотел увидеть. Честное слово, если он тебя обидит, я убью его!

Она с ужасом посмотрела на него. Он еще раз повторил свои слова. Они пронзили воздух, будто кинжал. Люди вокруг начали смотреть на них. Дама, стоявшая рядом с Сибиллой, тихонько засмеялась.

– Пойдем отсюда, Джим, пойдем, – прошептала Сибилла и повела брата через толпу.

Джим шел за ней и радовался сказанному.

Дойдя до статуи Ахилла, она обернулась. В ее глазах было сожаление, а на лице – улыбка. Она покачала головой.

– Какой же ты дурачок, Джим. Мальчишка с отвратительным характером, вот и все. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Ты не знаешь, о чем говоришь. Ты просто ревнуешь и злишься. Эх! Тебе нужно влюбиться. Любовь меняет людей к лучшему, а то, что ты сказал, – ужасно.

– Мне уже шестнадцать, – ответил он. – И я знаю, что говорю. Мать тебе не поможет. Она не понимает, как о тебе следует заботиться. Лучше бы

я вообще не собрался в Австралию. Я всерьез думаю о том, чтобы отменить все. Если бы не были подписаны все бумаги, я бы так и сделал.

– Не будь таким серьезным, Джим. Ты будто герой бессмысленной мелодрамы, в которых так любила играть мама. Я не собираюсь с тобой ссориться. Я его увидела, а один только взгляд на него дарит мне счастье. Мы не будем ссориться. Я знаю, что ты никогда не обидишь того, кого я люблю, правда?

– По крайней мере, пока ты его будешь любить, – ответил Джим.

– Я буду любить его всегда! – воскликнула она.

– А он?

– Тоже всегда.

– Для него же лучше, чтобы так и было.

Она оттолкнула его. Затем засмеялась и положила руку ему на плечо. Он был еще мальчиком.

Вблизи мраморной арки они сели в омнибус, который довез их до неопрятного дома на Юстон-роуд, где они жили. Уже пробило пять часов, а Сибила должна была обязательно полежать несколько часов перед выступлением. Джим настаивал на этом. Он сказал, что лучше попрощается с ней без матери. Она была бы рада разыграть сцену, а Джим ненавидел любые сцены. Поэтому они попрощались в комнате Сибилы. В сердце юноши бушевали ревность и ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда она крепко обняла его и запустила пальцы ему в волосы, его сердце растаяло, и он поцеловал ее с искренней любовью. Когда он спускался по лестнице, в его глазах блестели слезы.

Внизу его ждала мать. Когда он вошел, она сразу же выразила недовольство его опозданием. Джеймс ничего не ответил, а молча сел за скромный обед. Мухи летали над столом и лазили по скатерти. Сквозь урчание омнибусов и стук экипажей он слышал отвратительный голос, который забирал у него его последние минуты дома.

Через некоторое время он отставил тарелку и подпер голову руками. Он чувствовал, что имел право знать. Если его подозрения верны, то он должен был узнать об этом уже давно. Его мать застыла от ужаса и не сводила с него глаз. Слова вылетали из ее уст автоматически. Она нервно то складывала, то раскладывала грязный маленький носовой платок. Затем он обернулся к ней, и их взгляды встретились. В ее глазах он увидел немую мольбу о пощаде. Это разгневало его.

– Мама, у меня к тебе вопрос, – сказал он. Матушка лениво разглядывала комнату. – Скажи мне правду. Я имею право знать. Мой отец

был твоим мужем?

Она глубоко, с облегчением вздохнула. Ужасный момент, которого она боялась ежеминутно, днем и ночью, неделями и месяцами, наконец пришел, и вдруг ее страх отступил. От этого она испытала даже разочарование. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Никто не готовил ситуацию специально. Это напоминало ей неудачную репетицию.

– Нет, – сказала она, удивляясь жестокой простоте жизни.

– Значит, он был негодяем? – воскликнул парень, сжав кулаки.

Она покачала головой:

– Я знала, что у него есть жена. И мы любили друг друга очень сильно. Если бы он был жив, то позаботился бы о нас. Не говори о нем плохо, сынок. Он был твоим отцом и джентльменом. Он был благородного происхождения.

С его уст сорвалось проклятие.

– Я не за себя переживаю, – сказал он. – Не позволяй Сибиле повторить твою ошибку. Тот, кто в нее влюблен или, по крайней мере, говорит, что влюблен, как я понимаю, тоже благородных кровей?

На мгновение женщину охватило гнетущее чувство стыда. Она склонила голову и едва смогла утереть слезы дрожащей рукой.

– У Сибилы есть мать, – всхлипнула она. – У меня же не было.

Джим был тронут. Он подошел к ней, наклонился и поцеловал.

– Прости, что причинил тебе боль вопросом об отце, – сказал он, – но я не мог держать это в себе. Мне пора уходить. До свидания. Помни: теперь ты должна заботиться только об одном ребенке. Если этот человек хоть как-то обидит мою сестру, я узнаю, кто он такой, найду его и прирежу как собаку. Клянусь!

Преувеличенное безумие угрозы, страстные жесты, которые ее сопровождали, безумные слова, полные мелодрамы, – все это словно украсило жизнь миссис Вэйн яркими красками. Ей было знакомо это чувство. Она глубоко вдохнула и впервые за последние несколько месяцев восхищалась сыном, а не боялась его. Она хотела бы продолжить эту эмоционально напряженную сцену, но он оборвал ее. Нужно было снести вниз чемоданы и найти вязаный шарф. По квартире носился дворецкий, надо было еще договориться с кучером о цене. Момент был испорчен вульгарными мелочами. Когда она махала платком своему сыну, в ней возродилось чувство разочарования. Она понимала, какая замечательная возможность была утрачена. Она нашла утешение в том, что рассказала Сибиле, какой пустой стала ее жизнь теперь, когда она должна заботиться

только об одном ребенке. Она запомнила это выражение. Оно ей понравилось. Об угрозе сына мать не вспоминала. Она была произнесена слишком ярко и драматично. Миссис Вэйн надеялась, что однажды они все вместе над ней посмеются.

Глава 6

– Я полагаю, ты уже слышал новость, Бэзил, – сказал лорд Генри в тот вечер, когда Холлуорд вошел в зал ресторана «Бристоль», чтобы пообедать с ним.

– Нет, Гарри, – ответил художник, отдавая свои пальто и шляпу дворецкому. – Что за новости? Надеюсь, это не связано с политикой! Ты же знаешь, политика меня не интересует. На всю палату общин не найдется достойной кандидатуры для портрета, хотя некоторых из них я бы с радостью зарисовал.

– Дориан Грей помолвлен, – сказал лорд Генри, не сводя с него глаз.

Холлуорд на мгновение замолчал и нахмурился.

– Дориан помолвлен! – воскликнул он. – Это невозможно!

– Однако это правда.

– С кем?

– С какой-то актриской или что-то вроде того.

– Не могу в это поверить. Дориан слишком здравомыслящий для такого.

– Дориану хватает мудрости делать глупости время от времени, дорогой Бэзил.

– Вряд ли брак относится к вещам, которые можно делать время от времени, Гарри.

– Если речь идет не об Америке, – лениво отметил лорд Генри. – Но я же не сказал, что он женился. Я всего лишь сказал, что он помолвлен. Это совершенно разные вещи. Я четко помню, что я женат, но не помню, чтобы я когда-либо был помолвлен. Скорее всего, я никогда и не был помолвлен.

– Но учти происхождение, статус и состояние Дориана. Это же глупость – вступать в такой неравный брак.

– Вот так ему и скажи, если хочешь, чтобы он точно женился на этой девушке. Тогда уж его точно ничто не остановит. Люди делают величайшие глупости из благородных побуждений.

– Надеюсь, она хорошая девушка. Не хочу, чтобы Дориан попал в лапы какой-то твари, которая разрушит его прекрасную натуру и светлый ум.

– Не беспокойся, она лучше, чем просто хороша, – она красавица, – сказал лорд Генри, потягивая вермут из бокала. – Дориан говорит, что она прекрасна, а в таких вещах он редко ошибается. Благодаря портрету твоей работы он стал лучше видеть красоту окружающих. Это одна из

замечательных вещей, которые сделал портрет. Мы увидим ее сегодня вечером, если только мальчик не забыл, о чем мы договорились.

– Ты сейчас серьезно?

– Вполне серьезно, Бэзил. Горе мне, если когда-то придется быть еще серьезнее, чем сейчас.

– А ты одобряешь это его решение, Гарри? – спросил художник, закусив губу. – Ты не можешь это одобрять. Это какое-то глупое увлечение.

– Я никогда ни к чему не отношусь положительно или отрицательно. Это абсурдный подход к жизни. Мы живем не для того, чтобы навязывать другим собственные моральные предубеждения. Я никогда не обращаю внимания на то, что говорят простые люди, и никогда не вмешиваюсь в то, что делают люди прекрасные. Если человек меня захватывает, то что бы он ни делал, это приносит мне радость. Дориан Грей влюбился в прекрасную девушку, которая играет Джульетту, и попросил ее руки. Почему бы и нет? Если бы он женился на Мессалине, это было бы не менее интересно. Ты же знаешь, я не сторонник брака. Самый большой недостаток брака в том, что он лишает людей эгоизма. Вместе с эгоизмом люди теряют яркие цвета. Им не хватает индивидуальности. И все же некоторые личности становятся еще более разнообразными в браке. Они сохраняют свою сущность и добавляют к ней новые. Им приходится проживать несколько жизней. Это побуждает их к самоорганизации, а самоорганизация – это, по моему мнению, одна из задач человека в жизни. Кроме того, любой опыт важен, а брак – это огромный опыт, кто бы там что не говорил. Надеюсь, что Дориан Грей женится на этой девушке, будет полгода страстно любить ее, а затем найдет себе новый объект восхищения. За этим будет очень интересно наблюдать.

– Ты так не думаешь, Гарри, я это знаю. Если Дориан испортит себе жизнь, никто не будет сожалеть об этом больше, чем ты сам. Ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри рассмеялся:

– Причина нашего желания видеть добро в других заключается в том, что мы боимся самих себя. Основой оптимизма является ужас. Мы считаем себя щедрыми, когда в мыслях наделяем ближнего качествами, которые пойдут на пользу нам самим. Мы восхваляем банкира в надежде, что тот займет нам денег. Даже в разбойнике мы ищем доброту, благодаря которой он мог бы не ограбить нас. Я имел в виду именно то, что сказал. Я крайне презираю оптимизм. А насчет испорченной жизни, так единственный способ испортить жизнь – это остановить ее развитие. Если хочешь уничтожить природу, ее достаточно просто изменить. Относительно брака,

конечно, это будет ерунда, но есть и гораздо более интересные формы связи между мужчиной и женщиной, чем брак. Я их всенепременно поощряю. Они очаровательны тем, что модны. А вот, собственно, и Дориан. Он расскажет тебе больше.

– Дорогой Гарри, дорогой Бэзил, вы должны меня поздравить, – сказал юноша, сняв шляпу и поочередно пожав им руки. – Я никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Это, конечно, неожиданно, но все приятные вещи неожиданны. И все же, кажется, это именно то, чего мне не хватало в жизни. – Он сиял от радости и возбуждения, и оттого выглядел еще лучше, чем обычно.

– Надеюсь, твое счастье не угаснет, Дориан, – сказал Холлуорд, – однако я оскорблен тем, что ты не сообщил мне о своей помолвке. Гарри же ты рассказал.

– А я оскорблен твоим опозданием на обед, – перебил лорд Генри и с улыбкой положил руку юноше на плечо. – Пойдем за стол, посмотрим, на что способен их новый шеф-повар, а потом расскажешь нам обо всем в подробностях.

– Здесь не о чем особенно рассказывать, – сказал Дориан, когда они сели за небольшой круглый стол. – Произошло вот что. Вчера вечером, Гарри, после того как я ушел от тебя, я пообедал в маленьком итальянском ресторане на Руперт-стрит, который ты мне когда-то посоветовал, и в восемь уже был в театре. Сибила играла Розалинду. Конечно, декорации были ужасные, а Орlando выглядел нелепо. Но Сибила! Вам стоит увидеть ее! Когда она вышла переодетая юношей, она была совершенно потрясающей. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, тонкие, коричневые чулки со скрещенными подвязками, изящная зеленая шапочка с орлиным пером и темно-красный плащ на подкладке с капюшоном. Еще никогда она не казалась такой хрупкой. Своей грацией она напоминала мне изысканную танагрскую статуэтку, которая стоит в твоей мастерской, Бэзил. Темные волосы подчеркивали красоту ее лица, как темные листья подчеркивают красоту розы. А ее игру вы сами сегодня увидите. Она просто прирожденная актриса. Я сидел в крошечной ложе абсолютно пораженный. Я забыл, что нахожусь в Лондоне и за окном девятнадцатый век. Я был вместе с моей любимой в скрытом от людских глаз лесу. После завершения спектакля я пошел за кулисы, и мы разговаривали. Когда мы сидели вдвоем, в ее глазах появился неизвестный мне ранее взгляд. Мои уста сами ринулись ей навстречу. Мы слились в поцелуе. Я не могу передать свои ощущения в тот момент. Казалось, вся моя жизнь свелась к простому счастью. Она дрожала, будто нежный

нарцисс. Затем она упала на колени и начала целовать мне руки. Я чувствую, что не стоило вам об этом рассказывать, но я не могу удержаться. Конечно, наша помолвка – строжайшая тайна. Она еще даже своей матери не говорила об этом. Даже не знаю, что скажут мои опекуны. Вероятно, лорд Рэдли просто придет в бешенство. Но мне все равно. Менее чем через год я стану совершеннолетним и буду сам себе хозяин. Разве это не верно с моей стороны, Бэзил, – найти любовь в поэзии и взять себе жену из пьес Шекспира? Уста, в которые сам Шекспир вложил голос, шептали мне о своих тайнах. Я был в объятиях Розалинды и целовал губы Джульетты.

– Да, Дориан, думаю, ты все сделал правильно, – медленно сказал Холлуорд.

– Ты ее уже видел сегодня? – спросил лорд Генри.

Дориан Грей покачал головой.

– Я оставил ее в Арденнском лесу, а найду в саду в Вероне.

Лорд Генри задумчиво потягивал шампанское.

– А когда же из твоих уст прозвучало слово «брак», Дориан? И что она на это ответила? Ты уже, наверное, и забыл.

– Дорогой Гарри, я не считаю это деловым соглашением, поэтому не прибегал к формальностям. Я сказал, что люблю ее, на что она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Но для меня целый мир ничего не стоит по сравнению с ней.

– Женщины очень практичны, – сказал лорд Генри. – Они гораздо практичнее, чем мы. В подобных ситуациях мы часто забываем сказать что-то о браке, а они всегда нам об этом напоминают.

Холлуорд положил руку ему на плечо:

– Хватит, Гарри, не стоит раздражать Дориана. Он не такой, как остальные мужчины. Он никогда не заставит кого-то страдать, он слишком хорош для этого.

Лорд Генри посмотрел через стол на молодого человека.

– Дориан никогда не сердится на меня, – возразил он. – Я спросил его только по одной причине, по лучшей и самой весомой причине спросить что угодно – из чистого любопытства. Я предполагаю, что это женщины предлагают нам свои руку и сердце, а не мы просим. Конечно, это правило не работает для среднего класса. Но средний класс отсталый.

Дориан Грей засмеялся и покачал головой.

– Ты просто не исправим, Гарри. Но это не страшно. На тебя невозможно сердиться. Когда ты увидишь Сибилу Вэйн, то поймешь, что надо быть бессердечным чудовищем для того, чтобы ее обидеть. Я не понимаю, как можно желать обидеть того, кого любишь. Я люблю Сибилу

Вэйн. Я хочу поднять ее на золотой пьедестал, чтобы весь мир поклонился моей любимой. Что такое брак? Это несокрушимый обет. Ты смеешься над этим. Но я сейчас не смеюсь. Я хочу дать этот несокрушимый обет. Ее доверие делает меня верным, делает меня лучше, чем я есть сейчас. Когда я вместе с ней, то жалею обо всем, чему ты меня научил. Я становлюсь другим, не таким, каким ты знаешь меня. Я меняюсь, одно только прикосновение Сибилы Вэйн заставляет меня забыть о тебе и всех твоих ложных, захватывающих, ядовитых, соблазнительных теориях.

– Что же это за теории такие? – спросил лорд Генри, угощаясь салатом.

– Твои теории о жизни, о любви, об удовольствии. Все твои теории, Гарри.

– Удовольствие – это единственная вещь, о которой стоит иметь теорию, – ответил он своим мелодичным голосом. – Однако, боюсь, я не могу назвать свою теорию собственной. Ее разработала сама природа, а не я. Удовольствие – это испытание природой, признак ее одобрения. Когда мы счастливы, то всегда хорошие, но когда мы хорошие, то не всегда счастливы.

– А что же ты называешь «хорошим»? – воскликнул Бэзил Холлуорд.

– Да, – подхватил Дориан, откинувшись на спинку кресла и глядя на лорда Генри поверх тяжелых пурпурных ирисов, которые стояли в центре стола, – что для тебя значит быть хорошим, Гарри?

– Быть хорошим – значит жить в гармонии с самим собой, – ответил тот, едва коснувшись пальцами своего бокала. – Когда человек вынужден искать гармонию с другими, возникает дисбаланс. Важна только собственная жизнь. Что касается жизней остальных, то если хочешь быть снобом или пуританином, то можно выражать свое мнение относительно них, но они не касаются тебя на самом деле. Кроме того, индивидуализм стремится к высшей цели. Современная мораль базируется на восприятии норм своего времени. Я считаю, что наиболее аморальным поступком для человека или целой культуры является воспринять нормы своего времени.

– Но разве человек, живущий только для себя, не платит огромную цену за это, Гарри? – поинтересовался художник.

– Действительно, в наше время цены на все завышены. Я предполагаю, что настоящая трагедия бедных заключается в том, что они не могут позволить себе ничего, кроме самоотречения. Прекрасные грехи, как и красивые вещи, доступны только богачам.

– Платить приходится не только деньгами.

– А чем же еще, Бэзил?

– Я думаю, угрызениями совести, страданиями... в конце концов,

пониманием собственного морального падения.

Лорд Генри пожал плечами:

– Дорогой мой, средневековое искусство прекрасно, однако средневековые представления уже не актуальны. Конечно, их можно использовать в литературе. Но в литературе можно использовать только то, что мы перестали использовать в жизни. Поверь: ни один цивилизованный человек не жалеет об удовлетворении, а нецивилизованные люди не знают, что это такое.

– Я знаю, что такое удовольствие, – сказал Дориан Грей. – Это любить другого человека.

– Это точно лучше, чем быть обожаемым, – ответил лорд Генри, выбирая себе фрукты. – Обожание раздражает. Женщины обращаются с нами точно так же, как человечество ведет себя со своими богами. Они поклоняются нам и все время надоедают просьбами что-то сделать для них.

– Я должен сказать, что они сначала дают нам все, что потом просят у нас, – мрачно сказал юноша. – Они пробуждают любовь в нашей душе и имеют право требовать, чтобы мы вернули ее обратно.

– Истинная правда, Дориан, – сказал Холлуорд.

– Ничто не может быть истинной правдой, – парировал лорд Генри.

– Но это правда, – перебил Дориан. – Ты должен признать, Гарри, что женщины дарят мужчинам наибольшее богатство в их жизни.

– Возможно, – вздохнул лорд Генри, – но они обязательно требуют, чтобы мы возвращали его мелочью. В этом вся беда. Как сказал когда-то один острый на язык француз, женщины вдохновляют нас на шедевры, однако мешают нам создавать их.

– Какой же ты ужасный, Гарри! Не понимаю, почему я так благосклонно к тебе отношусь.

– Так будет всегда, Дориан, – сказал он. – Выпьете кофе? Официант, принесите кофе, коньяка и сигареты. Нет, не надо сигареты, у меня есть. Бэзил, я не позволю тебе курить сигары. Тебе стоит покурить сигарету. Сигарета – это совершенное воплощение совершенного удовольствия. Она изящна и оставляет курильщика неудовлетворенным. Чего еще можно желать? Именно так, Дориан, ты всегда будешь восхищаться мной. Для тебя я воплощение всех грехов, которые ты никогда не решишься осуществить.

– Что за чушь ты говоришь, Гарри! – воскликнул юноша, закуривая сигарету от серебряного огнедышащего дракона, которого официант поставил на стол. – Пойдем лучше в театр. Когда Сибила выйдет на сцену, в твоей жизни появится новый идеал. Она воплощает в себе нечто, чего ты

раньше не знал.

– Я уже все познал, – сказал лорд Генри с усталым выражением лица, – но я всегда рад новым эмоциям. В конце концов, боюсь, что для меня уже не осталось новых эмоций. И все же, может, твоя очаровательная девушка меня и поразит. Люблю театр. Он гораздо более настоящий, чем реальная жизнь. Пошли. Дориан, ты поедешь со мной. Прости, Бэзил, но в моем экипаже только два места. Тебе придется поехать вслед за нами.

Они встали и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и озабочен. Его охватило мрачное предчувствие. Он не одобрял этот брак, но что-то ему подсказывало, что в случае, если Дориан не женится, могло произойти что-то гораздо худшее. Через несколько минут они спустились по лестнице. Как и договаривались, он поехал отдельно и смотрел на огоньки экипажа лорда Генри впереди себя. Он чувствовал, что что-то потерял. Он знал, что Дориан Грей больше никогда не станет для него тем, кем был раньше. Жизнь встала между ними... В глазах у него потемнело, и уличные огни расплывались перед глазами. Когда кеб прибыл к театру, ему казалось, что он постарел на несколько лет.

Глава 7

По какой-то причине в тот вечер в театре былолюдно, а устроитель-еврей, который встретил их у входа, улыбался от уха до уха. Он провел их в ложу, размахивая своими руками с множеством украшений и все время повышая голос. Дориан Грей презирал его как никогда. Он чувствовал себя так, будто пришел к Миранде, а взамен встретил Калибана. А вот лорду Генри он понравился. По крайней мере, он так сказал и настоял на том, чтобы с гордостью пожать руку человеку, который нашел настоящего гения и несколько раз обанкротился из любви к поэту. Холлуорд развлекался тем, что рассматривал людей на задних рядах. В зале стояла удушающая жара, а огромная люстра пылала, будто гигантский гиацинт. Юноши на задних рядах сняли свои пиджаки и жилеты и развесили их на спинках кресел. Они переговаривались друг с другом через весь зал и угощали апельсинами неуклюже одетых девушек, сидевших рядом. Время от времени раздавался женский смех. Из буфета доносился звук вылетающих из бутылок пробок.

– И в этом месте вы нашли свое божество! – сказал лорд Генри.

– Да! – отозвался Дориан Грей. – Именно здесь я нашел ее, мое волшебное божество. Когда увидите ее на сцене, забудете обо всем на свете. Эти простые неотесанные люди с их мрачными лицами и нелепыми жестами, совершенно меняются, когда она на сцене. Они молча сидят и смотрят. Они плачут и смеются по ее велению. Они откликаются на каждое ее движение, будто скрипка. Она вдохновляет их, и тогда я чувствую, что мы с ними одной крови.

– Одной крови с ними! Не надо, спасибо! – воскликнул лорд Генри, который как раз рассматривал публику на задних рядах.

– Не обращай на него внимания, Дориан, – сказал художник. – Я понимаю, о чем ты говоришь. Я верю в эту девушку. Если ты влюбился, то она должна быть действительно волшебной, а если она имеет такое влияние на публику, то, должно быть, добра и благородна. Вдохновлять людей – это благородное дело. Если эта девушка может разбудить душу тех, в ком она спала, если она может научить людей, чья жизнь была ужасной, видеть красоту, если она может оторвать их от своей самовлюбленности и заставить разделить чужие горести, тогда она стоит твоей любви. Она предназначена для того, чтобы ею восхищался весь мир. Этот брак – верный шаг. Сначала я так не думал, но сейчас признаю это. Сибила Вэйн была создана для тебя. Без нее тебе не хватало бы какой-то частички.

– Спасибо, Бэзил, – сказал Дориан Грей, пожав ему руку. – Я знал, что ты меня поймешь. Гарри просто ужасный циник. А вот и оркестр. Они играют ужасно, но всего несколько минут. Затем поднимется занавес и вы увидите девушку, которой я собираюсь отдать всю свою жизнь, девушку, которой я уже отдал все то хорошее, что есть во мне.

Через пятнадцать минут на сцену под шквальные аплодисменты вышла Сибила Вэйн. «Она действительно прекрасна», – подумал лорд Генри. Это было одно из самых прелестных созданий, которые он когда-либо видел. Своей грацией и несколько испуганным взглядом она напоминала юную лань. Она едва заметно покраснела, увидев, как радостно ее встретил переполненный зал. Она отступила на несколько шагов назад, ее губы, казалось, дрожали. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан Грей сидел неподвижно, словно во сне. Лорд Генри смотрел на нее в бинокль и бормотал: «Очаровательно! Волшебно!»

На сцене были декорации дома Капулетти. Вошел Ромео, одетый в пилигрима, Меркуцио и еще несколько их друзей. Оркестр снова заиграл свою отвратительную музыку, и на сцене начались танцы. Сибила Вэйн кружила между неряшливо одетых бездарных актеров, будто ангел с небес. Изгиб ее шеи напоминал прекрасную лилию, а руки были будто вырезаны из слоновой кости.

Однако она выглядела удивительно равнодушной. Она никоим образом не обрадовалась, когда увидела Ромео, а несколько слов своей реплики:

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей —^[5]

сказала намеренно искусственно. Ее голос был прекрасен, а вот интонации совершенно не те. Они придавали словам другую окраску. Они убили стихи и сделали страсть наигранной.

Глядя на нее, Дориан Грей побледнел. Он был обеспокоен и растерян. Ни один из его друзей не решился сказать ему ни слова. Она казалась им полной бездарностью. Они были очень разочарованы.

Однако они считали сцену на балконе во втором акте настоящим испытанием для Джульетты. Они ждали эту сцену. Если и ее она сыграет бездарно, значит, в девушке нет ни капли таланта.

Без сомнения, она выглядела очаровательно в лунном свете. Но

наигранность в каждом ее движении была невыносимой. Она играла все хуже. Ее жесты стали до нелепости искусственными. Она подчеркивала каждое слово. Она прочитала прекрасные строки:

Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью — [\[6\]](#)

с усердием школьницы, у которой был бездарный учитель декламации. Когда же она наклонилась через балкон и дошла до прекрасных слов:

Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.

Он слишком скор, внезапен, необдуман —
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся... — [\[7\]](#)

то прочитала их так, будто совсем не понимала, что они значат. Это было не из-за волнения. Она не выглядела взволнованной, наоборот, полностью контролировала себя. Это было просто ужасная игра. Она играла совершенно бездарно.

Даже необразованная публика с задних рядов потеряла всякий интерес к спектаклю. Им уже не сиделось, они начали громко разговаривать и свистеть. Еврей, который стоял за кулисами, громко ругался. Только девушке было все равно.

После окончания второго акта зал наполнился шипением, а лорд Генри встал и взял свой пиджак.

— Она очень красива, Дориан, — сказал он, — но она не умеет играть. Пойдем.

— Я досмотрю спектакль, — ответил юноша мрачным голосом. — Мне очень жаль, что я испортил тебе вечер, Гарри. Я хочу извиниться перед вами обоими.

– Дорогой Дориан, возможно, мисс Вэйн просто заболела, – перебил его Холлуорд. – Мы придем в другой раз.

– Если бы она просто заболела, – ответил он. – Но она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Еще вчера она была великой актрисой. Сегодня она просто посредственная актриска.

– Не стоит так говорить о женщине, которую ты любишь. Любовь еще более удивительна, чем искусство.

– И то и другое просто формы подражания, – отметил лорд Генри. – Но давайте пойдем. Дориан, тебе не стоит здесь оставаться. Плохая игра актеров удручает. Да и не думаю, что ты захочешь, чтобы твоя жена играла в театре, так что это не имеет значения. Из нее такая же Джульетта, как из деревянной куклы. Зато она очень красива. А если она знает о жизни столько же, как и об актерской игре, то станет неоценимым опытом для тебя. Есть только две разновидности по-настоящему захватывающих людей: те, которые знают абсолютно все, и те, которые не знают ничего. Господи, мальчик мой, не стоит смотреть на меня так, будто кто-то умер! Секрет вечной молодости в том, чтобы не позволять эмоциям владеть собой. Пойдем в клуб вместе со мной и Бэзил. Мы будем курить сигареты и пить за красоту Сибилы Вэйн. Она прекрасна. Чего еще можно желать?

– Да иди уже, Гарри! – сказал юноша. – Я хочу побыть наедине. Ты также иди, Бэзил. Разве вы не видите, что мое сердце разбилось? – В его глазах появились горячие слезы. Его губы задрожали, он прислонился к стене ложи и спрятал лицо в руках.

– Пойдем, Бэзил, – сказал лорд Генри с удивительной нежностью в голосе, и они оба оставили ложу.

Через несколько минут после этого снова вспыхнули огни ramпы, занавес поднялся и начался третий акт. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен и выглядел равнодушным. Спектакль тянулся, казалось, целую вечность. Половина зала разошлась, громко стуча сапогами и смеясь. Это было полное фиаско. Последний акт играли перед почти пустым залом. Занавес опустился под смех и недовольные возгласы.

Как только закончилось представление, Дориан отправился в гримерку за кулисами. Там была только она. На ее лице светилось торжеством. Ее глаза горели огнем. Она вся сияла. Сибилла улыбалась, будто радуясь собственной тайне.

Когда он вошел, она посмотрела на него, и выражение неопишуемой радости озарило ее лицо.

– Как же плохо я сегодня сыграла, Дориан! – воскликнула она.

– Ужасно! – ответил он, удивленно глядя на нее – Ужасно! Это было отвратительно. Ты заболела? Ты даже не представляешь, какой это был кошмар. Ты даже не понимаешь, сколько боли мне причинила.

Девушка улыбнулась.

– Дориан, – пропела она его имя своим мелодичным голосом, будто это была прекрасная музыка. – Дориан, ты должен был понять. Но сейчас-то ты понимаешь, правда?

– Понимаю что? – спросил он со злостью в голосе.

– Почему я так ужасно играла сегодня. Почему я всегда буду ужасно играть. Почему я больше никогда не сыграю хорошо.

Он пожал плечами.

– Я так понимаю, ты заболела. Тебе не стоит выходить на сцену больной. Ты сделала из себя посмешище. Моим друзьям было скучно. Мне также было скучно.

Казалось, она не слушала его. Ее переполняла радость. Над ней господствовало ее счастье.

– Дориан, Дориан, – сказала она, – пока я тебя не встретила, роли были единственной моей настоящей жизнью. Я жила только в театре. Я считала все это правдой. В один вечер я была Розалиндой, а в другой – Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, а горе Корделии – моим горем. Я верила всему. Простые люди, которые играли рядом со мной, казались мне богами. Моим миром были декорации. Я не знала ничего, кроме теней, поэтому они казались настоящими. А потом пришел ты, моя прекрасная любовь, и освободил мою душу из клетки. Ты показал мне настоящую жизнь. Сегодня я впервые в жизни увидела фальшь, нелепость и бессмысленность бутафории, в которой все время играла. Сегодня я впервые осознала, что Ромео старый и гадкий, что лунный свет в саду ненастоящий, что слова, которые я должна говорить, – не мои слова и это не то, что я хочу сказать. Ты подарил мне нечто большее, то, что может быть только тускло отражено искусством. Ты подарил мне понимание настоящей любви. Моя любовь! Моя любовь! Прекрасный Принц! Принц моей жизни! Мне надоели тени. Ты для меня больше, чем любое искусство. Что мне делать со всеми этими марионетками на сцене? Когда я сегодня вышла на сцену, то думала, что сыграю прекрасно. Но поняла, что не могу ничего сделать. Вдруг моей душе открылось, почему так происходит, и это понимание стало счастьем для меня. Я слышала, как они шипели, и смеялась. Разве они знают что-то о такой любви, как наша? Забери меня, Дориан, забери меня с собой в место, где мы будем в одиночестве. Я ненавижу сцену. Я могу изобразить страсть, которой не чувствую, но я не в

состоянии передать страсть, которая сжигает меня изнутри, будто огонь. Дориан, Дориан, теперь ты понимаешь, что это значит? Даже если бы я могла, это была бы профанация – играть влюбленную. Благодаря тебе я это поняла.

Он сел на диван и отвернулся от нее.

– Ты уничтожила мою любовь, – пробормотал он.

Она удивленно посмотрела на него и засмеялась. Он не ответил. Она подошла к нему и запустила пальцы ему в волосы. Она встала на колени и взяла его руки, чтобы поцеловать. Он вырвался из ее рук и вздрогнул. Затем он вскочил с дивана и пошел к выходу.

– Именно так, – сказал он, – ты уничтожила мою любовь. Ты будоражила мое воображение. Теперь ты мне даже не интересна. Ты мне безразлична. Я любил тебя, потому что ты была гениальной, ты осуществляла мечты великих поэтов и олицетворяла собой само искусство. Ты разрушила все это. Ты глупая и серая. Господи! Какое же это было безумие – влюбиться в тебя! Какой же я был дурак! Теперь ты ничего для меня не значишь. Я больше никогда тебя не увижу. Я больше никогда о тебе не вспомню. Никогда не назову твое имя. Ты даже не представляешь, чем ты когда-то была для меня. Когда-то... Я не могу об этом даже думать! Лучше бы мне было никогда тебя не видеть! Ты разрушила любовь всей моей жизни. Ты ничего не знаешь о любви, если говоришь, что она лишила тебя твоего искусства! Без искусства ты – ничто. Я сделал бы тебя выдающейся, известной, непревзойденной. Мир склонил бы перед тобой голову, а ты носила бы мое имя. А теперь кто ты такая? Третьесортная актриска с хорошеньким личиком.

Девушка побледнела и задрожала, она сжала руки и едва слышно произнесла, будто слова застревали у нее в горле:

– Ты же это не серьезно, Дориан? Это такое представление.

– Я оставлю представления тебе. Ты в них просто великолепна, – холодно ответил он.

Она поднялась с колен и подошла к нему. На ее лице было выражение невыносимой боли. Она положила руку ему на плечо и посмотрела ему в глаза. Он оттолкнул ее:

– Не трогай меня!

Она горько вздохнула и упала к его ногам, подобно сорванному цветку.

– Дориан, не оставляй меня, Дориан! – зашептала она. – Мне жаль, что я плохо сыграла. Я все время думала только о тебе. Но я буду стараться, честно, я буду стараться. Моя любовь к тебе, она так внезапно нахлынула. Я, пожалуй, и не знала бы о ней, если бы ты меня не поцеловал, если бы

мы не целовали друг друга. Поцелуй же меня снова, любимый. Не уходи от меня. Я этого не переживу. Умоляю! Не уходи от меня. Мой брат... хотя нет, не обращай внимания, это он шутил, это он несерьезно. Но ты! Неужели ты не простишь мне сегодняшнюю неудачу? Я приложу все усилия, чтобы исправиться. Не будь таким жестоким, я люблю тебя больше всего на свете. В конце концов, ты остался недоволен лишь однажды. Однако ты прав, Дориан. Мне не стоило забывать, что я актриса. Я вела себя глупо, но не могла ничего с собой поделать. Не оставляй меня, пожалуйста, не оставляй.

Она так часто всхлипывала, что, казалось, вот-вот задохнется. Она свернулась на полу, будто раненый зверь, а Дориан Грей только смотрел на нее своими волшебными глазами, а его прекрасные губы исказило отвращение. Чувства людей, которых мы когда-то любили, всегда выглядят отвратительно. Эмоции Сибилы казались ему нелепыми и слишком драматичными. Его раздражали ее слезы и всхлипывания.

– Я ухожу, – сказал он наконец спокойным, тихим голосом. – Не хочу показаться грубым, но я больше не хочу тебя видеть. Ты меня разочаровала.

Она ничего не ответила, только подползла поближе. Она, как слепая, протянула руки, будто ища его. Он развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Через несколько секунд он уже покинул театр.

Дориан и сам не знал, куда шел. Потом он смутно вспоминал, что бродил тускло освещенными улицами мимо жутких арок и неприветливых домов. Его звали женщины с неприятными голосами и громким смехом. Пьяницы, будто гигантские обезьяны, брели мимо, бормоча под нос проклятия. Он видел странных детей, спящих свернувшись на лестнице, слышал разговоры и ругательства, доносившиеся из домов.

Когда уже начинало светать, он оказался вблизи Ковент-Гарден. Темнота рассеялась, а первые робкие лучи солнца превратили небо в настоящую жемчужину. Пустыми улицами медленно катились тележки, полные нежных лилий. Густой аромат цветов наполнял воздух, а их красота, казалось, несколько унималась его боль. Он пошел на рынок и наблюдал, как мужчины разгружают свои тележки. Один из них угостил Дориана вишнями. Он поблагодарил и начал задумчиво их есть, удивляясь, почему мужчина отказался от денег. Вишни были сорваны в полночь и несли в себе прохладу лунного света. Мимо прошла целая толпа мальчишек с тюльпанами и розами в корзинах. Они прокладывали себе путь между грудями зеленых овощей. Под портиком, между серых освещенных солнцем колонн, стояли девушки и ждали, пока все разгрузят. Еще одна группка девушек ждала вблизи кафе. Утомленные ломовые лошади

спотыкались о мостовую. Некоторые погонщики спали прямо на мешках. Яркие голуби шныряли вокруг в поисках пищи.

Через некоторое время он поймал кэб и отправился домой. Несколько минут он стоял на пороге, осматривая тихую площадь, дома с их плотно закрытыми или завешенными окнами. Небо стало опалового цвета, а крыши сверкали серебром. Из дымохода дома напротив поднимался дымок. Он кружил в воздухе, будто бархатная лента.

На потолке гостиной все еще горел большой венецианский фонарь, который был, скорее всего, снят с какой-то гондолы. Он погасил едва заметные огоньки, сбросил плащ и шляпу и пошел через библиотеку в спальню. Это была большая восьмиугольная комната на первом этаже, которую он заново обустроил, отдавая дань своему новому увлечению – роскоши. Он развесил там причудливые гобелены эпохи Ренессанса, найденные на чердаке имения Селби. Когда он уже взялся за ручку двери, его взгляд остановился на портрете, который для него написал Бэзил Холлуорд. От удивления он даже отступил на несколько шагов. Затем он направился в свою комнату, однако выглядел растерянным. В конце концов он вернулся в библиотеку и внимательно осмотрел картину. В тусклом свете, который пробивался сквозь кремовые шторы, лицо на портрете выглядело несколько иначе. Оно имело другое выражение. В нем чувствовалась жестокость. Это было крайне странно.

Он развернулся, подошел к окну и раздвинул шторы. Рассвет заполнил собой каждый уголок комнаты. Однако странное выражение не только не исчезло с лица портрета, но и стало более явным. Яркие лучи солнца сделали жестокую складку вблизи рта очевидной. Казалось, юноша на портрете смотрел в зеркало после того, как совершил что-то ужасное.

Дориан моргнул, взял со стола овальное зеркало с ручкой из слоновой кости с вырезанными на ней купидонами – один из многочисленных подарков лорда Генри – и внимательно всмотрелся в его глубины. Ничего подобного не было заметно на его красных губах. Что бы это могло значить?

Он протер глаза и еще раз подошел к картине, чтобы внимательнее ее осмотреть. Ничто не указывало на то, что к картине опять прикасалась кисть, и все же выражение лица портрета изменилось. Это был не плод его воображения. Слишком очевидной была эта перемена.

Дориан уселся на стул и начал думать. Вдруг ему вспомнились слова, которые он сказал в мастерской Бэзила Холлуорда еще в тот день, когда портрет был написан. Да, он прекрасно их помнил. Он выразил безумное желание иметь возможность оставаться молодым, чтобы портрет старел

вместо него. Чтобы лицо на холсте несло на себе бремя грехов и страстей, чтобы изображение было искажено старческими морщинами, а сам он никогда не терял красоты и цветения молодости. Разве могло его желание осуществиться? Это же невозможно. Даже мысли о таком казались страшными. И все же прямо перед ним стоял портрет, на котором отразилась жестокость.

Жестокость! Он был жестоким? Во всем была виновата Сибила, а не он. Он считал ее великой актрисой. Он влюбился в великую актрису. А она разочаровала его. Она была мелкой и недостойной. И, тем не менее, чувство бесконечного сожаления охватило его, когда он вспомнил о ней, как она лежала у его ног, рыдая, словно маленький ребенок. Он подумал о том, с каким равнодушием смотрел на нее. Почему он создан именно таким? Почему он наделен такой душой? Но ведь он тоже страдал. В течение ужасных трех часов он пережил столетия боли и целую вечность пыток. Его жизнь значит не меньше, чем ее. Даже если он нанес ей травму на всю жизнь, на мгновение она просто уничтожила его. Кроме того, женщины лучше приспособлены к горю, чем мужчины. Они живут своими чувствами. Они только и делают, что думают о своих чувствах. Они заводят любовников только для того, чтобы было перед кем разыгрывать сцены. Так ему говорил лорд Генри. Лорд Генри знает о женщинах все. Зачем ему было переживать из-за Сибилы Вэйн? Теперь она ничего не значила для него.

Но портрет! Что он мог сказать о портрете? Он хранит тайну его жизни и может рассказать о ней. Он научил его восхищаться собственной красотой. Неужели он же научит его ненавидеть собственную душу? Посмотрит ли Дориан на портрет еще когда-нибудь?

Да нет же, это был просто плод воспаленного воображения. Ужасы минувшей ночи наложили свой отпечаток. Видимо, в мозгу Дориана появилось красное пятнышко, от которого люди сходят с ума. Картина не изменилась. Каким же дураком надо было быть, чтобы такое придумать!

И все же искаженное жестокой улыбкой лицо смотрело на него с портрета. Его золотистые волосы сверкали в солнечных лучах. Его голубые глаза смотрели прямо ему в глаза. Дориана охватила жалость, но не к себе, а к его собственному изображению на картине. Оно уже изменилось и будет меняться дальше. Золотые кудри посереют. Красные и белые розы его лица завянут. Каждый грех найдет свое ужасное отражение на портрете. Но он не станет больше грешить. Портрет, измененный или неизменный, станет символом его совести. Он больше не будет встречаться с лордом Генри, по крайней мере, не станет прислушиваться к его ядовитым речам,

которые там, в саду у Холлуорда, впервые заставили его стремиться к невозможному. Он вернется к Сибиле Вэйн, женится на ней, попытается искупить свою вину и снова полюбить ее. Да, он должен поступить именно так. Она точно страдала больше него. Бедное дитя! Как же самовлюбленно и жестоко он с ней поступил. Он снова полюбит ее. Они будут счастливы. Вместе они смогут прожить прекрасную и праведную жизнь.

Он поднялся со стула и повесил портрет, вздрагивая от каждого взгляда на него.

– Какой ужас! – прошептал он самому себе.

Дориан подошел к окну и открыл его. Ступив на траву в саду, он глубоко вдохнул. Свежий утренний воздух, казалось, разогнал все его мрачные переживания. Он думал только о Сибиле. В его душе зазвучало глухое эхо бывшей любви. Он повторял ее имя снова и снова. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.

Глава 8

Он проснулся далеко за полдень. Дворецкий несколько раз на цыпочках входил в комнату, чтобы убедиться, что хозяин дышит, и удивлялся, почему он так долго спит. Наконец раздался звонок, и Виктор вошел в комнату с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого севрского фарфора, отодвинул оливковые атласные шторы с мерцающей голубой подкладкой, которые закрывали три высоких окна.

– Вижу, вам сегодня хорошо спалось, сэр, – с улыбкой сказал он.

– Который час, Виктор? – сонно спросил Дориан Грей.

– Пятнадцать минут второго, сэр.

Как же поздно! Он присел на кровати и, выпив немного чая, начал разбирать письма. Одно из них было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. Мгновение поколебавшись, он все же отложил его в сторону. Остальные письма он открывал машинально. Это, как всегда, были визитки, билеты на частные представления, программы благотворительных концертов и прочая дребедень, которой обычно засыпали модную молодежь. Также там был достаточно солидный счет за серебряный набор, который он все еще не решался передать своим опекунам. Они были очень старомодны и не понимали, что живут во времена, когда ненужные вещи стали самыми необходимыми. Кроме того, там были написанные учтивым языком письма от кредиторов с Джермин-стрит, которые предлагали взять кредит на любую сумму под очень умеренные проценты.

Примерно через десять минут он поднялся, накинул свой изысканный кашемировый халат, вышитый шелком, и пошел в ванную. Прохладная вода привела его в чувство после долгого сна. Казалось, он забыл обо всем, что ему пришлось недавно пережить. Неуловимое ощущение того, что он принял участие в трагических событиях, несколько раз посещало его, однако это все казалось ему сном.

Одевшись, он пошел в библиотеку, чтобы приняться за легкий французский завтрак, который уже ждал его на маленьком круглом столике у окна. День стоял восхитительный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, закружилась над синей китайской вазой с желтыми розами. Он чувствовал себя вполне счастливым.

Вдруг его взгляд наткнулся на занавешенный портрет. Дориан

задрожал.

– Вам холодно, сэр? – спросил дворецкий, накладывая ему омлет. – Закрывать окно?

Дориан отрицательно покачал головой:

– Мне не холодно.

Неужели это была правда? Неужели портрет действительно изменился? Или это просто его воображение заставило его увидеть зло там, где на самом деле сияла радость? Не мог же измениться сухой рисунок на полотне? Все это казалось полным безумием. Однажды он расскажет об этом Бэзилу, и тот будет долго смеяться.

Однако воспоминания об этом были слишком яркими! Сначала в бледных сумерках, а затем и в ярком утреннем свете он видел печать жестокости на крепко сжатых губах. Он боялся того момента, когда дворецкий выйдет из комнаты. Он осознавал, что, оставшись наедине, еще раз осмотрит портрет. И боялся узнать правду. Когда дворецкий принес кофе и сигареты и уже развернулся, чтобы уйти, Дориан почувствовал безумное желание попросить его остаться. Когда дверь за его спиной уже закрывалась, Дориан снова позвал его. Дворецкий остановился и ждал распоряжений. Мгновение Дориан молча смотрел на него.

– Меня ни для кого нет дома, Виктор, – сказал он со вздохом.

Дворецкий поклонился и вышел из комнаты.

Тогда Дориан встал из-за стола и сел на диван напротив портрета. Ширма была старинной, из позолоченной испанской кожи, с вычурными рисунками. Дориан пристально всматривался в него, задумавшись, приходилось ли ему уже когда-либо прежде скрывать тайну человеческой жизни. Стоило ли снимать завесу? Почему бы не оставить все как есть? Какая польза от того, чтобы знать правду? Если это действительно произошло, это ужасно. Если нет, то зачем беспокоиться? Но что, если по воли жестокой шутки судьбы еще каким-то глазам, кроме его собственных, откроется ужасная перемена, которую претерпел портрет? Что ему делать в случае, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на портрет собственной работы? А он точно придет. Нет, нужно осмотреть портрет как можно скорее. Неопределенность была невыносимой.

Дориан встал и запер обе двери. По крайней мере, он мог взглянуть в глаза своему позору в одиночестве. Затем он снял покрывало и предстал перед собственным лицом. Это действительно произошло. Портрет изменился.

Потом он часто с огромным удивлением вспоминал, что, глядя на портрет, чувствовал почти научный интерес. Его поражал сам факт того,

что такое изменение могло случиться. Оно случилась, и это был факт. Неужели существовала какая-то неуловимая связь между его душой и атомами, придававшими цвет и форму полотну? Могло ли случиться так, что они воплотили то, к чему стремилась его душа? Было ли этому другое, еще более страшное, объяснение? Он почувствовал страх, задрожал и упал на диван, с ужасом глядя на портрет.

Однако Дориан чувствовал, что картина сделала для него доброе дело. Портрет позволил ему понять, как же несправедливо и жестоко он поступил с Сибилой Вэйн. Но было еще не поздно все исправить. Они все еще могли быть вместе. На смену его ложной, эгоистической любви пришло бы высшее благородное чувство. А портрет, который написал Холлуорд, стал бы в его жизни компасом, которым для одних является святость, для других – совесть, а для всех остальных – страх Божий. Существуют средства, чтобы усыпить совесть и чувство морали. Но перед его глазами был символ грехопадения. Это был вечный знак краха, к которому людей приводят собственные души.

Часы пробили третий час. Четвертый. Прошло еще полчаса, а Дориан так и не пошевелился. Он пытался собрать вместе красные нити жизни, соткать из них какой-то узор, найти выход из кроваво-красного лабиринта страстей, в котором он заблудился. Он не знал, что ему думать и что делать. В конце концов он подошел к столу и стал писать своей любимой письмо, в котором умолял простить его и называл себя сумасшедшим. Он наполнял словами искреннего раскаяния и ужасной боли страницу за страницей. Есть что-то роскошное в унижении самого себя. Когда мы себя в чем-то обвиняем, то знаем, что больше никто не сможет нас в этом обвинить. Не священник, а именно исповедь отпускает грехи. Написав письмо, Дориан чувствовал, что Сибила уже простила его.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри:

– Дориан, мне нужно с тобой поговорить. Открой немедленно! Это крайне некрасиво с твоей стороны, вот так вот запирается.

Сначала Дориан не ответил и не двинулся с места. И лорд Генри продолжал все громче стучать в дверь. В конце концов Дориан решил, что лучше его впустить. Нужно объяснить ему, что он отныне начинает новую жизнь. Нужно поссориться с ним, даже порвать любые отношения, если до этого дойдет. Он вскочил на ноги, быстро завесил портрет и только после этого открыл дверь.

– Я искренне сожалею обо всей этой истории, Дориан, – сразу сказал лорд Генри. – Но тебе не стоит много об этом думать.

– Ты имеешь в виду Сибилу Вэйн? – спросил Дориан.

– Конечно. – Лорд Генри сел на стул и начал медленно снимать свои желтые перчатки. – Это, конечно, ужасно, но это не твоя вина. Скажи, ты ходил к ней за кулисы после спектакля?

– Да.

– Я так и знал. И вы поссорились?

– Я вел себя жестоко, Гарри, очень жестоко! Но теперь это в прошлом. Я не жалею о том, что произошло, – это помогло мне лучше узнать самого себя.

– Я очень, очень рад, Дориан, что ты так к этому отнесся. Я боялся, что угрызения совести заставят тебя рвать свои золотые кудри.

– Через все это я уже прошел, – ответил Дориан, с улыбкой покачивая головой. – И теперь я вполне счастлив. Прежде всего, мне открылась сущность совести. Она оказалась совсем не тем, о чем ты мне рассказывал, Гарри. Она – то прекрасное, чем обладает человек. Не стоит больше смеяться над этим, по крайней мере при мне. Я хочу быть хорошим человеком. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала ужасной.

– Эстетизм – это прекрасное основание для морали, Дориан! Я могу только поздравить тебя с этим. А с чего ты собираешься начать?

– Я женюсь на Сибиле Вэйн.

– На Сибиле Вэйн! – воскликнул лорд Генри, вставая и глядя на Дориана с искренним удивлением. – Дорогой мой, но она...

– Знаю, знаю, Гарри, сейчас ты скажешь мне какую-то гадость о браке. Не стоит. Никогда больше не говори мне ничего подобного. Два дня назад я просил руки Сибилы. И я свое слово сдержу. Она станет моей женой.

– Твоей женой? Дориан, ты что, не получил мое письмо? Я написал его сегодня утром, и мой слуга отнес его тебе.

– Письмо? Да, конечно... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-то отвратительное. Ты умеешь рушить жизни своими эпиграммами.

– Ты так ничего и не знаешь?

– Что ты имеешь в виду?

Лорд Генри прошелся по комнате, а потом сел рядом с Дорианом и крепко сжал его руки в своих.

– Дориан, – сказал он, – ты только не пугайся, но я написал письмо, чтобы сообщить тебе, что Сибил Вэйн умерла.

Из уст Дориана сорвался мучительный крик. Он вскочил на ноги и вырвался из рук лорда Генри.

– Умерла! Сибил умерла! Неправда! Это чудовищная ложь! Как тебе не стыдно говорить такое?

– Это правда, Дориан, – серьезно сказал лорд Генри. – Об этом сегодня сообщили во всех газетах. Я написал, чтобы ты не принимал никого, пока я не приду. Скорее всего, будет следствие и нужно сделать все для того, чтобы тебя не впутали в эту историю. В Париже люди становятся популярными из-за подобных историй, но лондонцы все еще слишком суеверны. Здесь не следует появляться перед публикой в свете скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто ты такой? Если нет, тогда все в порядке. Кто-нибудь видел, как ты заходил в гримерку Сибила? Это крайне важно.

Дориан некоторое время молчал – он оцепенел от ужаса. Наконец он, запинаясь, сдавленным голосом пробормотал:

– Ты сказал – следствие? Что ты имел в виду? Получается, Сибила... Ох, Гарри, это невыносимо!.. Расскажи мне скорее!

– Нет никаких сомнений в том, Дориан, что это не просто несчастный случай, но нужно, чтобы общественность думала именно так. Говорят, что вчера около половины первого, когда девушка уже возвращалась домой из театра вместе со своей матерью, она вдруг побежала наверх, потому что будто бы что-то там забыла. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу гримерки. Она ошибочно выпила какое-то ядовитое вещество из тех, что используют в театре для грима. Не помню, что именно это было, но в состав входит то ли синильная кислота, то ли свинцовые белила. Скорее всего, синильная кислота, ведь смерть была мгновенной.

– Какой ужас, Гарри! – закричал Дориан.

– Да... Это действительно трагедия, но нельзя, чтобы тебя считали причастным к ней... Я читал в «Стандард», что Сибиле Вэйн было семнадцать. А выглядела она еще моложе. Она казалась совсем девочкой, которая ничего не знает об актерстве. Дориан, не надо слишком переживать по этому поводу. Тебе непременно следует пообедать со мной, а потом мы посетим оперу. Сегодня в театре будет все почтенное общество, ведь поет Патти. Мы сядем в ложе моей сестры. Сегодня с ней приедут несколько эффектных женщин.

– Значит, я убил Сибилу Вэйн, – сказал Дориан Грей словно про себя. – Это все равно, как если бы я перерезал ей горло ножом. И, несмотря на это, розы такие же волшебные, птицы так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с тобой и поеду в оперу, потом куда-то ужинать... Как же наша жизнь необычна и одновременно трагична! Если бы я прочитал о подобном в книге, Гарри, то точно заплакал бы. А сейчас,

когда это случилось со мной, я настолько поражен, что и слез нет. Вот лежит написанное мной страстное любовное письмо. Первое в моей жизни любовное письмо. Разве не удивительно, что я написал его мертвой девушке? Хотел бы я знать: они все еще что-то чувствуют, эти немые, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибила! Знает ли она об этом, может ли меня услышать, хотя бы почувствовать? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Затем настал тот ужасный вечер – неужели это было только вчера? – когда она играла так плохо, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но я не был тронут, я назвал ее дурой. А потом кое-что произошло... я не могу тебе рассказать об этом, но это было действительно страшно. Поэтому я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил плохо... А теперь она мертва... Боже, боже! Гарри, что мне делать? Ты даже не представляешь, в какой я опасности! И теперь не осталось никого, кто мог бы уберечь меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично с ее стороны!

– Дорогой Дориан, – сказал лорд Генри, доставая сигарету из латунного с позолотой портсигара. – Женщина может сделать из мужчины праведника только одним путем – надоест ему так, что он потеряет интерес к жизни. Если бы ты женился на этой девушке, то был бы несчастным. Конечно, ты был бы хорошим по отношению к ней. Это очень просто – быть добрым к безразличному тебе человеку. Но она быстро поняла бы, что ты равнодушен к ней. А когда жена чувствует, что ее муж равнодушен к ней, она либо начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень хорошие шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже о том, что такой неравный брак, который я постарался бы не допустить, стал бы унижительным. Поверь, при любых обстоятельствах это был бы крайне неудачный брак.

– Наверное, ты прав, – пробормотал Дориан. Он был очень бледен и нервно шагал по комнате. – Но я считал, что это мой долг. И нет моей вины в том, что эта страшная драма помешала мне его выполнить. Ты когда-то сказал, что над благородными решениями тяготеет страшное проклятие – они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.

– Благие намерения – просто бессмысленные попытки идти против природы. Они обычно порождены высокомерием и не приводят ни к чему хорошему. Время от времени они дают нам приятные, но пустые ощущения, которым могут радоваться только слабые духом. Вот и все. Благие намерения – это чеки, которые люди выписывают в банк, где у них

нет текущего счета.

– Гарри, – спросил Дориан Грей, подходя и сядя рядом с лордом Генри, – почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели я настолько бессердечный? Как ты считаешь?

– После всех тех глупостей, которые ты наделал за последние две недели, у меня язык не поворачивается назвать тебя бессердечным, – ответил лорд Генри, ласково и одновременно грустно улыбаясь.

Юноша нахмурился.

– Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что ты не считаешь меня бессердечным. Это же не про меня, я знаю! Однако то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Я все это воспринимаю как необычную развязку какой-то удивительной пьесы. В ней – жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл главную роль, но которая не ранила моей души.

– Это интересная ситуация, – сказал лорд Генри. Он наслаждался игрой на бессознательном эгоизме юноши. – Да, очень интересная. И, думаю, объяснить ее можно следующим образом: зачастую настоящие трагедии жизни приобретают отталкивающие формы, оскорбляющие нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. В результате мы избегаем их, как и всего пошлого. Мы чувствуем в них только грубую силу и восстаем против нее. Но иногда в нашей жизни случаются драмы, в которых можно заметить красоту искусства. Если красота эта – настоящая, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже не действующие лица, а просто зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и именно необычность такого зрелища нас увлекает. Что, по сути, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к тебе. Жаль, что в моей жизни не случалось ничего подобного. Я тогда сделал бы любовь смыслом своей жизни. Но все, кто любил меня, – их было не очень много, но все же они были, – упрямо жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их или они – меня. Эти женщины растолстели, стали скучными и невыносимыми. Когда мы встречаемся, они сразу же начинают копать в своих воспоминаниях. Какая же ужасная вещь эта женская память! И какую отсталость, какой душевный упадок она разоблачает! Человек должен впитывать в себя краски жизни, но никогда не запоминать деталей. Детали всегда банальны.

– Придется посеять маки в саду, – вздохнул Дориан.

– Это не обязательно, – возразил его собеседник. – Жизнь держит маки для нас наготове. Конечно, бывают вещи, которые упорно не хотят

забываться. Однажды я в течение целого сезона носил в петлице только фиалки. Это было чем-то вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда ужасный момент – он вселяет в человека страх перед вечностью. Так вот, представь себе – на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшир рядом со мной за столом сидела именно эта дама, и она любой ценой хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу для будущего. Я похоронил эту любовь в могиле под асфоделями, а она снова вытащила ее на свет божий и уверяла меня, что я разрушил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уплетала все с большим аппетитом, так что я о ней несколько не беспокоюсь. Но какая бестактность! Какая безвкусица! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно – прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес уже опустился. Им непременно хочется увидеть шестой акт!

Они хотят продолжать спектакль, когда всяческий интерес к нему уже исчез. Была бы их воля, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия закончилась бы фарсом. Женщины – прекрасные актрисы, но у них нет ощущения искусства. По сравнению со мной ты счастливчик, Дориан. Клянусь тебе, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы ради меня того, что сделала ради тебя Сибила Вэйн. Обычные женщины всегда находят утешение. Одни – в том, что носят сентиментальные цвета. Никогда не доверяй женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит яркие платья или в тридцать пять лет все еще имеет страсть к розовым лентам. Это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно находят добродетели в собственных мужьях, и это служит им огромной радостью. Они кичатся своим супружеским счастьем так, будто это самый отчаянный из грехов. Некоторые находят утешение в религии. Таинства религии несут в себе наслаждение флирта – так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не радует женское тщеславие, как репутация грешницы. Совесть делает из нас эгоистов... В наше время женщины утешают себя множеством способов. А я еще даже не упомянул о важнейшем из них.

– О каком же это, Гарри? – рассеянно спросил Дориан.

– О наиболее очевидном – отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В благородных кругах это всегда реабилитирует женщину. Подумай, Дориан, насколько Сибила Вэйн была непохожей на женщин, которых мы обычно видим вокруг! Я вижу своеобразную красоту в ее смерти и радуюсь, что живу во времена, когда такие чудеса возможны. Они

вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только посмеиваться.

– Я был очень жесток с ней. Не забывай об этом.

– Боюсь, жестокость, откровенная жестокость, привлекает женщин больше всего на свете. В них на удивление хорошо развиты первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, которые ищут себе хозяина. Они любят повиноваться... Я уверен, что ты был неотразим. Никогда не видел, как ты сердишься, но представляю себе, как же интересно было наблюдать за тобой в тот момент! И наконец, позавчера ты сказал мне кое-что... тогда я подумал, что это плод твоего воображения, но сейчас я вижу, что ты совершенно прав, и это все объясняет.

– Что же я такого сказал, Гарри?

– Что в Сибиле Вэйн ты видишь всех романтических героинь. Одним вечером она – Дездемона, другим – Офелия и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.

– Она никогда не воскреснет вновь, – прошептал Дориан, закрывая лицо руками.

– Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но ты должен думать о ее одинокой смерти в грязной гримерке просто как о странном и мрачном отрывке из какой-нибудь трагедии, как о сцене из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера^[8]. Эта девушка, по сути, не жила, а следовательно, и не умирала. По крайней мере, для тебя она была мечтой, призраком, пронесшимся в пьесах Шекспира и обогатившим их, она была свирелью, что добавляла музыке Шекспира еще больше обаяния и жизнерадостности. Первое же прикосновение к реальности стало роковым для нее. Если захочешь, можешь оплакивать Офелию, отчаянно скучать по задушенной Корделии или проклинать небеса за то, что погибла дочь Брабанцио. Но Сибилла Вэйн не стоит твоих слез. Она была еще менее реальной, чем они все.

В комнате воцарилась тишина. Вечерние сумерки постепенно окутывали комнату. Серебряные тени бесшумно приходили из сада. Медленно выцветали все краски.

Через некоторое время Дориан Грей поднял взгляд.

– Ты объяснил мне мои собственные чувства, Гарри, – сказал он, вздохнув с облегчением. – Мне и самому так казалось, но меня это несколько пугало, и я не все мог себе объяснить. Как же хорошо ты меня знаешь! Но нам не стоит больше касаться этой темы. Это был удивительный опыт – вот и все. Не знаю, суждено ли мне еще раз пережить

что-то столь же удивительное.

– У тебя впереди еще целая жизнь, Дориан. С твоей красотой для тебя нет ничего невозможного.

– Но Гарри, представь, что я стану сухим, старым и сморщенным? И что тогда?

– А вот тогда, – сказал лорд Генри вставая, чтобы уже идти, – тогда, дорогой Дориан, тебе придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами идут тебе в руки. Нет, ты должен беречь свою красоту. Ее нельзя терять, особенно в наше время, когда люди слишком много читают, чтобы быть мудрыми, и слишком много думают, чтобы быть красивыми. А теперь тебе пора одеваться и отправляться в клуб. Мы и так уже опаздываем.

– Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что совсем потерял аппетит. Номер ложи твоей сестры?

– Кажется, двадцать семь. Она находится на самом верху. Ты увидишь ее имя на двери. Но мне жаль, что ты не хочешь со мной пообедать.

– Я просто не в состоянии, честно, – устало сказал Дориан. – Спасибо, Гарри, за все, что ты мне сказал. Я твой должник. Ты действительно мой лучший друг. Никто не понимает меня так, как ты.

– А ведь наша дружба только начинается, – ответил лорд Генри, пожимая ему руку. – Всего хорошего. Надеюсь, мы увидимся не позднее чем в половине десятого. Не забывай, сегодня поет Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил в колокольчик, и через несколько минут в комнате появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан нетерпеливо ждал, пока он уйдет. Ему казалось, что слуга сегодня копается бесконечно долго.

Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к ширме и отодвинул ее. Нет, он больше не изменился. Он знал о смерти Сибилы Вэйн еще до того, как весть об этом дошла до Дориана. Портрет знал обо всем, что происходило в его жизни. Поэтому бездушная жестокость исказила прекрасные уста тотчас, как девушка выпила яд. Или может быть так, что на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя, а что, если однажды портрет изменится у него на глазах? С одной стороны, он хотел, чтобы это произошло, а с другой – сама мысль об этом заставляла его дрожать.

Бедная Сибил! Но как же все это романтично! Она так часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла, чтобы забрать ее. Как Сибил! сыграла эту свою последнюю сцену? Проклинала ли она его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь станет его

вечной святыней. Отдав свою жизнь, Сибила искупила все. Он больше не будет вспоминать, как страдал из-за нее в тот ужасный вечер в театре. Вместо этого она останется в его памяти как прекрасный и трагический образ на большой сцене жизни, который призван показать миру высшую сущность Любви. Станный трагический образ? Воспоминания о детском лице Сибила, ее волшебной живости и застенчивой грации наполнили его глаза слезами. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Он сказал себе, что пора сделать выбор. Или он уже сделал его? Да, сама жизнь решила за Дориана – жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, бесконечная страсть, утонченные и запретные утехы, безумие счастья и еще более неистовое безумие греха – все это он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора – вот и все.

На мгновение его сердце защемило от мысли, что прекрасное лицо на портрете станет уродливым. Однажды он, еще совсем юный и глупый, что Нарцисс, поцеловал – вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые теперь с такой злостью улыбались ему. Каждое утро он долго любовался портретом. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет ужасно уродливым и его придется прятать под замок, подальше от солнца, которое так часто покрывало золотом его прекрасные кудри? Как жаль! Как жаль!

В какой-то момент Дориан Грей захотел помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Портрет изменился, потому что он когда-то пожелал этого, – так, может, новая молитва сможет остановить эти изменения? Но... Разве человек, познавший хотя бы малейшую частицу жизни, откажется от возможности остаться вечно молодым, какой эфемерной не была бы эта возможность и какими бы роковыми последствиями она не угрожала? К тому же разве это действительно в его силах? Разве действительно прошение вызвало такое изменение? Не объясняется ли это изменение какими-то неизвестными законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, то, возможно ли, что она действует и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами и атом стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного притяжения или странного родства?.. Впрочем, причины уже не имели значения. Никогда больше он не станет призывать на помощь страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Какой смысл в том, чтобы искать причины?

А наблюдать этот процесс будет настоящим наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на очаровательной грани между весной и летом. Когда лицо на портрете потеряет свои краски и станет меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять все сияние юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что будет с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.

Дориан Грей, улыбаясь, завесил портрет и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, опираясь на его кресло.

Глава 9

На следующее утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.

– Очень рад, что встретил тебя, Дориан, – сказал он мрачно. – Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что ты в опере. Конечно, я не поверил. Зря ты не сказал никому, куда на самом деле ушел. Я весь вечер переживал, чтобы вслед за одним несчастьем не случилось второе. Почему ты не отправил мне телеграмму, как только узнал? Я прочитал об этом случайно в выпуске «Глоуб», который попал мне на глаза в клубе. Я немедленно отправился к тебе, но, к сожалению, не застал. Я не могу передать словами, насколько меня тронуло это несчастье! Понимаю, как тяжело тебе сейчас. А где же ты вчера был? Видимо, ездил к ее матери? Сначала я тоже хотел отправиться туда – адрес я прочитал в газете. Это же где-то на Юстон-роуд? Но я побоялся, что буду там лишним. Чем можно помочь в такой ситуации? Несчастливая мать! Представляю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?

– Дорогой Бэзил, откуда мне знать? – процедил Дориан Грей с выражением крайнего недовольства и скуки на лице, потягивая желтоватое вино из прекрасного, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. – Я был в опере. Тебе тоже стоило бы туда приехать. Я там познакомился с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Она просто очаровательная женщина, да и Патти пела божественно. Не стоит говорить о неприятных вещах. Если не говорить о чем-то, то его будто бы и нет. Как говорит Гарри, слова делают вещи настоящими. А насчет матери Сибилы, так у нее есть еще сын, по-моему, славный парень. Но он не актер. Он моряк или что-то вроде того. Но расскажи лучше о себе. Что ты сейчас пишешь?

– Ты был в опере? – медленно переспросил Бэзил, и в его голосе слышалась острая боль. – Ты поехал в оперу в то время, как тело Сибилы Вэйн лежало в какой-то грязной каморке? Ты способен говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, пока девушка, которую ты любил, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, ты бы хоть подумал о тех ужасах, через которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!

– Прекрати, Бэзил! Я не хочу этого слышать! – крикнул Дориан и вскочил на ноги. – Более ни слова об этом. Что сделано, то сделано.

Оставим прошлое в прошлом.

– Вчерашний день для тебя уже прошлое?

– Время здесь ни при чем. Только ограниченным людям нужны годы, чтобы освободиться от какого-либо чувства или впечатления. А человек, имеющий хотя бы немного самоконтроля, способен покончить с грустью так же легко, как найти новую радость. Я не хочу быть рабом своих переживаний. Я хочу использовать их, чтобы наслаждаться ими, и господствовать над ними.

– Дориан, это ужасно! Что-то сделало из тебя совсем другого человека. Внешне ты все тот же замечательный мальчик, который каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда ты был искренний, непосредственный и добрый, ты был самым неиспорченным юношей на свете. А теперь... Даже не знаю, что с тобой случилось. Ты говоришь как бессердечный, безжалостный человек. Все это – влияние Гарри. Теперь мне ясно...

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в залитом солнцем саду.

– Я многим обязан Гарри, – сказал он в конце концов. – В отличие от тебя, Бэзил. Все, что ты сделал для меня, – это научил тщеславию.

– Что же, жизнь уже наказала меня за это, Дориан, или когда-нибудь накажет.

– Я не понимаю, зачем ты это говоришь, Бэзил, – сказал Дориан, обернувшись. – И не знаю, что ты хочешь от меня. Говори, что тебе нужно.

– Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, – с грустью ответил художник.

– Бэзил, – Дориан подошел и положил руку ему на плечо, – ты пришел слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой...

– Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? – воскликнул Холлуорд, с ужасом глядя на Дориана.

– Друг мой, как ты мог подумать, что это просто несчастный случай? Конечно, она покончила с собой.

Художник закрыл лицо руками.

– Какой ужас! – прошептал он, вздрогнув.

– Да нет же, – сказал Дориан Грей. – В этом нет ничего ужасного. Это одна из величественных романтических трагедий нашего времени. Обычные актеры, как правило, живут крайне банально. Все они – примерные мужья или примерные жены – словом, скучные люди. Мещанская порядочность и все такое, ты понимаешь. Сибила была так непохожа на них! Она пережила свою величайшую трагедию. Она всегда

оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла ужасно, потому что познала настоящую любовь. А когда это чувство оказалось недостижимым, она умерла, как умерла когда-то Джульетта. Она ушла из жизни, чтобы вернуться в искусство. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти – весь бесполезный пафос мученичества, вся его бесполезная красота... Но, Бэзил, не думай, что я не страдал. Если бы ты пришел в другое время, вчера около половины шестого или за пятнадцать минут до шести, то застал бы меня в слезах. Даже Гарри, а именно он рассказал мне об этом, не подозревает, через что мне пришлось пройти. Я ужасно страдал. Но со временем это прошло. А я не могу дважды окунуться в одно и то же чувство. И никто не может, кроме крайне сентиментальных людей. Ты очень предвзято относишься ко мне, Бэзил. Ты пришел, чтобы утешить меня. Это крайне мило с твоей стороны. Но ты увидел, что я уже не нуждаюсь, чтобы меня утешали, и это тебя разозлило. Все вы, сочувствующие люди, такие! Это напоминает мне историю, которую мне рассказывал Гарри. Историю об одном филантропе, который двадцать лет потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом – я уже и не помню. В конце концов он достиг своей цели, и именно здесь его ждало жестокое разочарование. Его одолела скука, и он превратился в ярого мизантропа. К тому же, дорогой друг, если ты действительно хочешь меня утешить, то лучше научи, как забыть то, что произошло, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у тебя в мастерской мне попала на глаза книжка в веленовой обложке, и, листая ее, я наткнулся на замечательное выражение: «consolation des arts»^[9]. Действительно, я несколько не похож на юношу, о котором ты мне рассказывал, когда мы вместе ездили в Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных неурядицах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, великолепие – все это дарит столько радости! Но все равно, самым важным для меня является инстинкт художника, который они пробуждают или хотя бы обнаруживают в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, тебе странно слышать такое от меня. Ты еще не понял, насколько я повзрослел. Когда мы познакомились, я был еще мальчиком, а теперь я уже мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим. Но, Бэзил, я не хочу, чтобы ты разлюбил меня за это. Я изменился, но нам следует оставаться друзьями

всегда. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что ты лучше, чем он. Ты не такой сильный человек, потому что слишком боишься жить, но ты лучше. А сколько счастливых мгновений мы разделили с тобой! Поэтому не оставляй меня, Бэзил, и не спорь со мной. Я такой, какой я есть, – ничего с этим не поделаешь.

Эти слова тронули Холлуорда. Юноша значил для него очень много, ведь именно знакомство с ним стало ключевым моментом для его творчества. Ему не хватало смелости, чтобы снова упрекать Дориана. В конце концов, его равнодушие могло быть вызвано проходящим перепадом настроения. В нем столько хорошего, столько благородства!

– Ну, хорошо, Дориан, – сказал он наконец с грустной улыбкой. – Я не буду больше вспоминать об этой страшной истории. Надеюсь, твое имя не будет в ней фигурировать. Следствие начинается сегодня. Тебя не вызывали?

Дориан покачал головой и раздраженно поморщился, услышав слово «следствие». Было в нем что-то грубое и вульгарное.

– Никто там не знает моей фамилии, – сказал он.

– Но девушка ведь знала?

– Только имя. К тому же я уверен, что она никому не называла его. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются моей персоной, но на их вопросы она всегда отвечала, что меня зовут Прекрасный Принц. Это было так чудесно с ее стороны. Пожалуйста, Бэзил, напиши мне портрет Сибила Вэйн. Мне хочется иметь в память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких нежных поцелуях и страстных словах.

– Ладно, Дориан, попробую, если ты так хочешь. Но тебе и самому следует снова приходить позировать мне. Я не могу справиться без тебя.

– Я тебе больше никогда не будет позировать, Бэзил. Это невозможно! – почти крикнул Дориан, отступая.

Художник удивленно посмотрел на него.

– Что это еще за выдумки, Дориан? Разве тебе не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем ты завесил его тканью? Я хочу взглянуть на него. В конце концов, это мое лучшее произведение. Дориан, забери-ка ширму. Как твой дворецкий додумался спрятать его в самый дальний угол комнаты? Неудивительно, что, войдя в комнату, я сразу почувствовал, что чего-то не хватает.

– Дворецкий тут ни при чем, Бэзил. Неужели ты думаешь, что я позволяю ему расставлять вещи в комнатах по своему усмотрению? Он иногда выбирает для меня цветы – вот и все. Это я завесил портрет. На него падало слишком много света.

– Много света! Друг, что ты себе надумал? Это место прекрасно ему подходит. Дай-ка я посмотрю на него. – И Холлуорд отправился в тот угол, где стоял портрет.

С уст Дориана сорвался крик ужаса. Он быстро преградил художнику путь к картине.

– Не надо, Бэзил, – сказал он, очень побледнев, – тебе не стоит на него смотреть.

– Да ты шутишь?! Почему бы мне не взглянуть на свое собственное произведение? – засмеялся Холлуорд.

– Только попробуй, Бэзил, – и, честное слово, я забуду твое имя. Я говорю вполне серьезно. Я не собираюсь ничего объяснять, можешь даже не спрашивать. Но помни: одно прикосновение к картине – и нашей дружбе конец.

Такое поведение Дориана стало для Холлуорда громом среди ясного неба. Никогда еще он не видел его таким. Юноша побледнел от ярости. Его руки были сжаты, а глаза походили на очаги голубого пламени. Он весь дрожал.

– Дориан!

– Помолчи, Бэзил!

– Господи, да что случилось? Не буду я смотреть, если уж ты настолько против, – сухо сказал художник, развернувшись на каблуках и отойдя к окну. – Но это просто ерунда – запрещать мне смотреть на картину моей собственной кисти! Заметь, осенью я хочу отправить ее на выставку в Париж, а перед этим, наверное, понадобится заново покрыть ее лаком. А это значит, что мне все равно придется осмотреть ее, – так почему бы не сделать это сегодня?

– На выставку? Ты хочешь выставить портрет? – переспросил Дориан Грей, чувствуя, как его переполняет безумный страх. Следовательно, его тайна откроется всему миру? Люди будут с интересом глазеть на самое сокровенное в его жизни? Этого нельзя допустить! Надо немедленно что-то сделать, как-то помешать этому. Но как?

– Именно так. Ты же не против? – продолжал художник. – Жорж Пети намерен собрать лучшие мои работы в специальной экспозиции на улице Сэз в первых числах октября. Портрет заберут ненадолго – может быть, на месяц. Надеюсь, тебе не сложно будет расстаться с ним на такой незначительный промежуток времени. К тому же ты, скорее всего, и сам будешь за городом в это время. В конце концов, раз ты держишь его за ширмой, то не настолько уж он тебе и нужен.

Дориан Грей положил руку на лоб и вытер капли пота. Он чувствовал,

что стоит на пороге гибели.

– Но месяц назад ты говорил, что ни за что его не выставишь! – воскликнул он. – Отчего же ты передумал? Ты, так же как и все люди, которые рассказывают о твердости своих намерений, с легкостью меняешь их. Разница лишь в том, что причиной этих изменений являются только вам самим понятные прихоти. Ты же помнишь, как клялся, что ни за что на свете не отправишь мой портрет на выставку? То же самое ты говорил Гарри.

Вдруг Дориан остановился, и в его глазах засиял огонек. Он вспомнил, как однажды лорд Генри сказал ему, несколько шутя: «Когда захочешь интересно провести четверть часа, заставь Бэзила объяснить, почему он не хочет выставять твой портрет. Когда он рассказал об этом мне, это стало для меня настоящим откровением». Получается, что Бэзил также держит скелет в шкафу! Стоит узнать, что к чему.

– Бэзил, – сказал он, подойдя вплотную к Холлуорду и заглянув ему в глаза, – у каждого из нас есть своя тайна. Поделись своей со мной, а я расскажу тебе свою. Почему ты не хотел выставять мой портрет?

Художник невольно вздрогнул.

– Дориан, если я расскажу, то ты, скорее всего, будешь хуже относиться ко мне и начнешь надо мной смеяться. А это было бы для меня невыносимо. Если ты хочешь, чтобы я больше никогда не пытался взглянуть на портрет, пусть будет так. Ведь у меня есть ты – я всегда смогу видеть тебя. Ты хочешь скрыть от мира лучшее произведение моей жизни? Ну что же, так тому и быть. Твоя дружба для меня дороже славы.

– Нет, Бэзил, ты должен ответить на мой вопрос, – настаивал Дориан Грей. – Я считаю, что имею право знать.

На смену страху пришел интерес. Он был намерен узнать тайну Холлуорда.

– Сядем, Дориан, – сказал тот со взволнованным видом. – Я должен спросить тебя кое-что. Ты не заметил ничего особенного в портрете? Ничего такого, что сначала, возможно, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось тебе?

– Бэзил! – воскликнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и глядя на художника глазами, полными ужаса.

– Вижу, что заметил. Ничего не говори, Дориан, сначала выслушай меня. С того самого момента, когда мы с тобой встретились впервые, я почувствовал, что ты влияешь на меня самым удивительным образом. Ты каким-то непонятным образом властвовал над моей душой, мозгом, талантом, был для меня воплощением того идеала, который всю жизнь

витает перед художником, будто несбыточная мечта. Я обожал тебя. Стоило тебе заговорить с кем-нибудь, и я уже ревновал. Я хотел сохранить тебя только для себя и чувствовал себя счастливым, лишь когда ты был со мной. И даже когда тебя не было рядом, ты был со мной, воплощаясь в моем творчестве. Конечно, я ни слова не говорил об этом. Ты бы не понял, да я и сам не мог это полностью понять. Я чувствовал только, что имею перед глазами совершенство, и от того представлял мир прекрасным – пожалуй, слишком прекрасным, потому что такие душевные восхищения опасны. Не знаю даже, что страшнее – их власть над душой или разочарование от их потери. Шли недели, а я был все больше увлечен тобой. Наконец мне пришло в голову что-то новое. Я уже написал тебе в образе Париса в блестящих доспехах и Адонисом в костюме охотника, с острым копьем в руках. Ты сидел на носу корабля императора Адриана в венке из тяжелых цветов лотоса и смотрел на мутные воды зеленого Нила. Ты склонялся над озером в одной из рощ Греции, любуясь своей удивительной красотой в тихом серебре его вод. Эти образы, как того требует настоящее искусство, были интуитивными, идеальными, далекими от действительности. Но в один прекрасный или, как мне иногда кажется, роковой день я решил написать твой портрет, написать тебя настоящего, не в одежде прошлых веков, а в современном костюме и в современной обстановке. Не знаю, что стало решающим фактором – реалистичная манера или твое очарование, что предстало передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированное. Но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый штрих и цвет раскрывают мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я обожаю тебя, Дориан. Я чувствовал, что высказал слишком много в этом портрете, вложил в него слишком большую часть себя. Именно поэтому я решил ни за что не выставлять его. Тебе было обидно, но ты еще не знал моих мотивов. А Гарри посмеялся надо мной, когда я рассказал ему об этом. Но это не имело значения. Когда я посмотрел на уже готовый портрет, я почувствовал, что был прав... А через несколько дней его увезли из моей мастерской, и, как только на меня перестало давить его присутствие, мне показалось, что все это выдумки и в портрете нет ничего, кроме твоей красоты и моего вдохновения. Мне до сих пор кажется, что я ошибался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо более абстрактно, чем мы думаем. Форма и краски могут рассказать нам лишь о форме и красках. Мне часто приходит в голову, что искусство в большей степени скрывает художника, чем разоблачает его. Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что твой портрет станет центральным экспонатом моей выставки. Я

и представить не мог, что ты станешь возражать. Но я понял, что ты прав, – не следует выставлять портрет. Не сердись, Дориан. Как я говорил прежде Гарри, ты просто создан для того, чтобы тебя любили.

Дориан Грей облегченно выдохнул. Его щеки снова порозовели, а на устах появилась улыбка. Опасность миновала. Пока ему ничто не угрожает. Он невольно сочувствовал художнику, услышав его странную исповедь, и спрашивал себя, способен ли и он когда-то настолько увлечься своим другом. Лорд Генри привлекал его только как источник риска и опасности. Он слишком умен и слишком циничен, чтобы восхищаться им. Найдет ли Дориан собственного кумира? Суждено ли ему познать и это?

– Дориан, я поражен тем, что ты разглядел это в портрете, – сказал Бэзил Холлуорд. – Ты действительно это заметил?

– Я заметил кое-что, что поразило меня до глубины души.

– Ну а теперь я могу взглянуть на портрет?

Дориан покачал головой:

– Нет, Бэзил, даже не проси. Я не позволю тебе открыть картину.

– Так, может, в другой раз?

– Никогда.

– Что ж, пожалуй, ты имеешь на это причины. Всего хорошего, Дориан. Ты – единственный, кто по-настоящему повлиял на мое творчество. И всем тем прекрасным, что я написал, я обязан тебе. Ты даже не представляешь, как сложно мне было говорить тебе все то, что я сказал.

– Да что же ты такого сказал, дорогой Бэзил? Что ты увлекался мной больше, чем следовало? Это же даже не комплимент.

– Это действительно был не комплимент. Это была исповедь. И после нее я будто что-то потерял. Пожалуй, никогда не следует вкладывать свои чувства в слова.

– Я ожидал большего от твоей исповеди, Бэзил.

– Ты о чем? Чего ты ожидал, Дориан? Ты еще что-то заметил в портрете?

– Да нет. А почему ты спрашиваешь? Я не о том. Это глупо с твоей стороны – говорить об обожании. Бэзил, мы с тобой друзья и так должно быть всегда.

– У тебя есть Гарри, – мрачно сказал Холлуорд.

– Гарри! – Дориан рассмеялся. – Гарри днями занят тем, что говорит невозможные вещи, а по вечерам воплощает их в жизнь. Такая жизнь мне по вкусу. Но в трудную минуту я вряд ли обратился бы к Гарри. Скорее к тебе, Бэзил.

– Ты будешь снова позировать мне?

– Ни в коем случае!

– Своим отказом ты убиваешь меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Даже однажды встретить его – огромная удача.

– Я не смогу тебе этого объяснить, Бэзил, но я не смогу больше позировать тебе. Каждый портрет имеет свою судьбу. Он живет собственной жизнью. Я буду приходить к тебе на чай. Это не менее приятно.

– Для тебя, наверное, даже приятнее, – огорченно пробормотал Холлуорд. – До свидания, Дориан. Очень жаль, что ты не позволил мне взглянуть на портрет. Но ничего не поделаешь. Я тебя понимаю.

Когда он вышел из комнаты, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, он и представить не мог истинной причины! И как же странно, что Дориану удалось не только сохранить свою тайну, но и вытянуть тайну из друга! После исповеди Бэзила Дориан наконец понял, что было причиной его бессмысленных вспышек ревности и его страстной привязанности, восхищенных дифирамбов, а иногда его странной сдержанности и таинственности. Это навеяло грусть на Дориана. Было в такой дружбе на грани влюбленности что-то трагичное.

Он вздохнул и вызвал звонком дворецкого. Портрет нужно было спрятать во что бы то ни стало. Нельзя рисковать этой тайной. Даже на час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из знакомых, было страшной глупостью с его стороны.

Глава 10

Когда дворецкий вошел, Дориан пристально посмотрел на него, размышляя, не надумал ли он случайно взглянуть за ширму. Тот стоял с равнодушным видом и ждал распоряжений. Дориан закурил и, подойдя к зеркалу, посмотрел туда. В нем он четко видел лицо Виктора. На нем было невозмутимое и услужливое выражение. Тут нечего бояться. И все же лучше быть настороже.

Он попросил Виктора позвать экономку и сходить к багетному мастеру, чтобы тот прислал ему двух своих помощников. На мгновение ему показалось, что Виктор с интересом смотрел в сторону портрета. Или это ему просто почудилось?

Через несколько минут в библиотеку прибежала миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных перчатках на морщинистых руках. Дориан попросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.

– От старой классной комнаты, мистер Дориан? – переспросила она. – Там же полно пыли! Нужно для начала убрать и навести порядок. А сейчас вам не следует ходить туда!

– Мне не надо, чтобы там убирали, миссис Лиф. Мне нужен только ключ.

– Но, сэр, вы будете весь в паутине, если войдете туда. Комнату уже лет пять не открывали – с тех пор как умерли их светлость.

Дориан вздрогнул при мысли о своем деде. Он всегда вспоминал старика с ненавистью.

– Это не имеет значения! – ответил он. – Я просто хочу осмотреть комнату, вот и все. Дайте мне ключ.

– Пожалуйста, вот он, – сказала пожилая женщина, перебирая дрожащими пальцами связку ключей. – Сейчас сниму со связки. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр, вам ведь и здесь удобно?

– Никуда я не собираюсь, – раздраженно сказал Дориан. – Спасибо, миссис Лиф. Это все.

Она еще несколько минут постояла, расспрашивая, как ей лучше вести хозяйство. Вдохнув, Дориан сказал, что полностью доверяет ей. Экономка, улыбающаяся и счастливая, наконец вышла из комнаты.

Когда дверь за ней закрылась, Дориан положил ключ в карман и осмотрел комнату. Ему на глаза попало пурпурное атласное покрывало, богато расшитое золотом, – замечательный образец венецианского

искусства конца семнадцатого века. Его дед нашел это покрывало где-то в монастыре близ Болоньи. Именно в него он завернет эту ужасную вещь. Его, видимо, часто использовали, чтобы укрывать покойников. А теперь оно будет прятать гниения страшнее и отвратительнее, чем гниения трупа, ведь они могут вызвать такой же ужас, но никогда не закончатся. Как черви точат мертвеца, так грехи Дориана будут разъедать его образ на холсте. Они уничтожат его красоту. Они осквернят этот портрет и покроют его позором. Но, несмотря на все это, портрет будет жить.

Дориан вздрогнул. На мгновение он пожалел, что не сказал художнику, почему завесил портрет. Бэзил помог бы ему сопротивляться и влиянию лорда Генри, и еще более губительному влиянию собственного характера. Любовь Безила к нему – потому что это действительно любовь – чувство высокое и благородное. Это не просто порожденное физическими ощущениями восхищение красотой – увлечение, которое умирает, когда ощущения слабеют. Нет, это такая любовь, которую познали Микеланджело, Монтень, Винкельман^[10] и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже слишком поздно. Прошлое всегда можно исправить – искуплением, отречением или забвением, но будущее неизбежно. Он чувствовал, как в нем кипели страсти, которые не приведут его ни к чему хорошему, как пробуждались фантазии, что, осуществившись, покроют его жизнь мрачной тенью.

Он снял с кушетки пурпурно-золотую ткань и, держа ее в руках, зашел за ширму. Не стало ли лицо на полотне еще уродливее? Вроде бы нет, однако Дориану стало еще отвратительнее смотреть на него. Золотистые кудри, голубые глаза, красные губы – все, как было. Только выражение лица изменилось. Оно ужасало своей жестокостью. По сравнению с тем, что он видел на портрете, упреки Бэзила казались такими ничтожными! Его собственная душа смотрела на него с полотна и требовала поплатиться за все. Обожженный болью, Дориан быстро накрыл портрет. В тот же миг постучали в дверь и в комнату вошел дворецкий.

– Люди уже пришли, мсье.

Дориан решил, что от Виктора надо сразу же избавиться. Нельзя, чтобы он знал, куда спрячут портрет. Было в нем что-то ненадежное, в его глазах светились ум и хитрость. Сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой попросил посоветовать ему какую-нибудь интересную книгу и напомнил, что сегодня они должны встретиться в четверть девятого.

– Дождетесь ответа, – сказал он, отдавая записку слуге. – А рабочих проведите сюда.

Через несколько минут в дверь снова постучали, и появился сам мистер Хаббард, известный багетный мастер с Саут-Одли-стрит, вместе со своим молодым, несколько грубоватым на вид помощником. Мистер Хаббард был маленького роста человек с рыжими бакенбардами. Его увлечение искусством в значительной степени ослабляла беспросветная нищета большинства художников, которые имели с ним дело. Обычно он не оставлял своей мастерской, предпочитая, чтобы заказчики сами приходили к нему. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. Дориан привлекал всех – даже видеть его было приятно.

– Чем могу помочь, мистер Грей? – спросил мастер, потирая свои широкие руки. – Это для меня честь – лично посетить вас. Я только что получил прекрасную раму, сэр. Приобрел на аукционе. Старинная флорентийская работа, из Фонтхилла, кажется. Подходит к картинам на религиозную тематику, мистер Грей.

– Простите, что вам пришлось покинуть мастерскую, мистер Хаббард. Я обязательно загляну к вам, чтобы взглянуть на раму, хотя в последнее время не слишком интересуюсь религиозной живописью. А сегодня мне надо просто перенести одну картину наверх. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил у вас людей.

– Не стоит извиняться, мистер Грей! Я очень рад вам пригодиться. Где эта картина, сэр?

– Вот она, – ответил Дориан. – Вы сможете перенести ее, как она есть, накрытой? Я боюсь, чтобы ее не поцарапали на лестнице.

– Конечно, сэр, – любезно ответил мастер, снимая вместе с помощником картину с длинной медной цепи, на которой она висела. – Куда несем, мистер Грей?

– Я покажу дорогу, мистер Хаббард. Следуйте за мной, пожалуйста. Хотя, вам, наверное, лучше идти впереди. К сожалению, это под самой крышей. Мы пойдем парадным ходом, там широкие лестницы.

Он открыл перед ними дверь, и, пройдя через зал, они начали подниматься. Картина имела массивную резную раму, и нести ее было очень неудобно, поэтому иногда Дориан пытался помочь рабочим, несмотря на льстивые протесты мистера Хаббарда – багетчику, человеку труда, было крайне странно видеть, как джентльмен делает что-то полезное.

– Да уж, сэр, груз и впрямь немаленький, – пытаюсь отдышаться, сказал мастер, когда они поднялись по лестнице, и вытер вспотевший лоб.

– Да, картина тяжеловата, – сказал Дориан, открывая дверь в комнату, которая должна была отныне хранить странную тайну его жизни и прятать

его душу от людских глаз.

Прошло более четырех лет с тех пор, как он в последний раз сюда заходил. Когда он был ребенком, здесь была его детская комната, а когда подросток – классная. Покойный лорд Келсо специально обустроил это просторное помещение для своего маленького внука, которого ненавидел за то, что он был очень похож на мать, да и по другим причинам тоже, и поэтому старался держать подальше от себя. По мнению Дориана, комната почти не изменилась. Так же стоял тут массивный итальянский сундук кассоне с причудливо раскрашенными стенками и потускневшими золочеными украшениями – Дориан в детстве часто прятался в нем. На месте был и книжный шкаф из атласного дерева с множеством потрепанных учебников на полках. А за ним на стене висел все тот же затертый фламандский гобелен, на котором выцветшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо проезжала верхом группа охотников, держа на латных рукавицах соколов. Насколько же ярки все эти воспоминания! Каждое мгновение его одинокого детства представляло перед ним, пока он оглядывался вокруг. Он вспомнил незапятнанную чистоту своих мальчишеских лет, и ему стало не по себе от мысли, что этот роковой портрет будет скрыт именно здесь. Разве мог он тогда подумать, что его ждет такое будущее...

Но в доме нет тайника надежнее. Ключ у него, поэтому никто посторонний не сможет сюда войти. Укрытое пурпурным саваном, лицо на полотне может тупеть, становиться похотливым и развратным. Что с того? Никто этого не увидит. Он и сам не будет на это смотреть. Зачем ему смотреть на гадкий упадок собственной души? Он будет оставаться юным – и этого достаточно... В конце концов, почему бы ему не исправиться? Разве ему суждено совсем позорное будущее? Он еще может встретить любовь, которая очистит его и защитит от тех грехов, которые уже поселились в его душе и теле, – от тех странных, еще неизведанных грехов, окутанных соблазнительными чарами таинственности. Может, когда-то с его прекрасных уст исчезнет жестокое выражение, и он сможет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда...

Нет, не бывать этому никогда! Образ на холсте будет стареть день за днем. Он может избежать отблеска безнравственности и разврата, но безобразная старость неизбежно победит его. Его щеки станут впалыми. В уголках потускневших глаз появятся отвратительные морщинки. Волосы потеряют свой блеск, а рот исказит бессмысленная гримаса, присущая всем старикам, губы же обвиснут. Шею покроют морщины, на холодных руках вздуются синие вены, спина станет согбенной, как у его деда, который так

строго относился к нему. Нет, у него нет выбора. Портрет нужно спрятать.

– Пожалуйста, внесите картину внутрь, мистер Хаббард, – устало сказал Дориан, обернувшись к мужчинам. – Извините, что задержал вас. Я немного задумался.

– Не беспокойтесь, мистер Грей, я был рад отдохнуть, – ответил мастер, все еще тяжело дыша. – Где мы ее поставим, сэр?

– Да где угодно. Вот хотя бы здесь. Вешать не надо. Только прислоните ее к стене. Спасибо.

– А можно хотя бы одним глазком взглянуть, что там нарисовано, сэр? Дориан вздрогнул.

– Вас это не заинтересует, мистер Хаббард, – сказал он, не сводя глаз с мастера. Он был готов наброситься на него, как дикий зверь, если бы тот только попробовать приподнять завесу над тайной его жизни. – Что ж, не буду вас больше задерживать. Спасибо, что потрудились прийти лично, мистер Хаббард.

– Ничего, мистер Грей, пустое. Я всегда к вашим услугам, сэр.

И мистер Хаббард, тяжело ступая, двинулся вниз, за ним последовал и его помощник, который не сводил восторженных глаз с Дориана, ведь ему еще никогда не приходилось встречать столь красивых людей. Когда их шаги стихли, Дориан запер дверь и положил ключ в карман. Теперь ему ничто не угрожает. Теперь никто уже не сможет увидеть этот ужасный портрет. Только он сможет наблюдать собственный позор.

Спустившись в библиотеку, он заметил, что уже пошел шестой час и его ждал чай. На восьмиугольном столике из темного дерева, щедро инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, вечно больной женщины, которая этой зимой жила в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе – свежий выпуск газеты. Очевидно, Виктор уже вернулся. А не встретил ли он рабочих, когда те выходили из дома? И не разузнал ли у них, чем они здесь занимались? Виктор, конечно, заметит, что портрет исчез, наверное, уже заметил, когда подавал чай. Пустое место на стене было четко видно. Возможно, одной ночью он заметит, как Виктор крадется вверх, чтобы выломать дверь в комнату. Как это ужасно – жить в одном доме со шпионом. Дориан слышал множество рассказов о том, как богачей всю жизнь шантажировали собственные слуги, которым удалось прочесть хозяйское письмо, подслушать разговор, найти визитку или обрывок кружева на кровати.

Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал записку. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая может

заинтересовать Дориана, и что он будет в клубе в четверть девятого. Дориан взял в руки газету и безразлично стал ее просматривать. На пятой странице его взгляд наткнулся на отметку красным карандашом. Он прочитал выделенное место: «Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Бел-Теверн на Гокстон-род участковый следователь мистер Денби провел допрос по поводу смерти Сибилы Вэйн, молодой актрисы, недавно приглашенной на контракт в театр «Роял» в Голборне. Констатирована смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызвала мать покойной, которая была в чрезвычайно взволнованном состоянии, когда давала показания, а также когда показания давал доктор Бирел, который совершил вскрытие тела покойной».

Дориан нахмурился и, разорвав газету, выбросил ее из окна. Какая мерзость! Зачем эти гадкие детали?! Он даже несколько обиделся на лорда Генри за то, что тот прислал ему эту записку. И уж совсем глупо было отмечать ее красным карандашом – Виктор мог же прочитать! Для этого он достаточно хорошо знает английский.

А может, Виктор уже прочитал и что-то заподозрил? И все же, какое это имело значение? Разве Дориан Грей имеет хоть какое-то отношение к смерти Сибилы Вэйн? Он не убивал ее, поэтому и бояться ему нечего.

Взгляд Дориана остановился на желтой книге, присланной лордом Генри. Что же там в ней такого интересного? Подойдя к перламутровому столику, который всегда казался ему изделием странных египетских пчел, что лепили серебряные соты, он удобно устроился в кресле и раскрыл книгу. Прошло всего несколько минут, а произведение уже поглотило Дориана. Это была удивительнейшая книга из всех, что он когда-либо читал. Дориан чувствовал, как под нежные звуки флейты перед ним немым калейдоскопом проходят грехи всего мира! То, о чем он только бессознательно мечтал, теперь он видел перед собой. И даже то, о чем он никогда не решался мечтать, разворачивалось у него на глазах.

Это был роман без сюжета и только с одним героем. Это было что-то вроде психологического исследования о молодом парижанине, который в девятнадцатом веке пытался совместить в себе все страсти и мировоззрения прошлого, чтобы познать все те состояния, через которые в разное время проходила человеческая душа. Он увлекался искусственностью самоотвержений, которые ограниченные люди называют добродетелями, а также восстаниями плоти, которые мудрецы до сих пор называют грехами. Роман был написан в филигранном стиле, одновременно ярком и непонятном. Он был насыщен жаргоном, архаизмами и выражениями из сферы техники. Без сомнения, роман принадлежал перу

одного из самых выдающихся представителей французской школы символистов. В нем были огромные, как орхидеи, метафоры с таким же нежным окрасом. Чувственная жизнь изображалась средствами мистической философии. Иногда было даже сложно сказать, о чем читаешь – о духовных переживаниях некоего средневекового святого или о мрачной исповеди современного грешника. Книга была будто бы пропитана ядом. С ее страниц поднимался густой аромат, затуманивая сознание. Ритм ее предложений, успокаивающая монотонность их музыки, осложненные рефрены и частые повторы – все это возбуждало в воображении Дориана причудливые мечты. Он читал главу за главой, не замечая, что уже вечерет.

На безоблачном небе за окном уже показалась первая звезда. Дориан читал, пока темнота вовсе не поглотила буквы. И только тогда, после нескольких напоминаний дворецкого о том, что уже поздно, он встал и, пройдя в смежную комнату, положил книгу на маленький флорентийский столик рядом со своей кроватью. Затем начал переодеваться к ужину.

Был уже почти девятый час, когда он прибыл в клуб, где, ожидая его, в одиночестве скучал в небольшом салоне лорд Генри.

– Прости, Гарри, – сказал Дориан, – но ты сам виноват. Эта твоя книга так увлекла меня, что я совсем забыл о времени!

– Я знал, что она тебе понравится, – ответил лорд Генри, вставая с кресла.

– Я не сказал, что она мне понравилась. Я сказал, что она увлекла меня. Это совершенно разные вещи.

– Ты уже понял разницу? Замечательно, – улыбнулся лорд Генри, и они пошли в столовую.

Глава 11

Дориан Грей на протяжении долгих лет не мог освободиться из-под власти этой книги. А точнее, даже не пытался. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, так чтобы они гармонировали с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, над которой он, казалось, уже почти полностью потерял контроль. Герой книги, прекрасный молодой парижанин, в котором удивительным образом сочетались характер романтика и ум ученого, стал для Дориана словно собственным отражением. И роман в целом казался ему историей его собственной жизни, написанной еще до того, как он прожил эту жизнь на самом деле.

Но в одном Дориану повезло больше, чем герою романа. Он никогда не знал – и ему не суждено было узнать – того жуткого ужаса перед зеркалами, перед гладкими металлическими поверхностями или тихими водами, ужаса, что так быстро охватил юношу из книги, когда он вдруг потерял свою волшебную красоту. Дориан с жестокой радостью – ведь радость, а тем более наслаждение всегда несут в себе долю жестокости – перечитывал последнюю часть книги, в которой крайне эмоционально, хотя и несколько преувеличенно изображалось отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других.

Действительно, Дориану было чему радоваться, ведь, судя по всему, его красота, которая так очаровала Бэзила Холлуорда и многих других, никогда его не покинет. Даже те, кто слышал самые гадкие слухи о Дориане и его распутном образе жизни, которые время от времени ходили по всему Лондону, не могли поверить в его бесчестье, когда видели мистера Грея собственными глазами. Он всегда выглядел так, будто его не задел грязный грех. Те, кто рассказывали ужасные вещи о нем, смущались и замолкали, как только он заходил в комнату. Казалось, незыблемая чистота его лица была для них укором. Одним своим присутствием он будто напоминал им о собственном несовершенстве. Они удивлялись тому, как такой обаятельный человек избежал соблазнов и грехов своего низменного и развращенного времени.

Часто он надолго исчезал из общества, порождая таким образом различные подозрения среди друзей и тех, кто себя таковыми считал, а вернувшись, тайком поднимался в замкнутую классную комнату, ключ от которой всегда имел при себе, открывал ее и становился с зеркалом в руках

перед собственным портретом, глядя то на злобное, все более стареющее лицо на полотне, то на прекрасное и все еще юное лицо, которое смотрело на него из зеркала. Чем большей становилась разница, тем больше наслаждения это ему приносило. Он все больше влюблялся в собственную красоту и все более заинтересованно наблюдал за гибелью собственной души. Так с тревогой, а то и с жутким восторгом он смотрел на гадкие складки, что вспахивали морщинистый лоб и чувственные губы, и спрашивал себя иногда: что более отталкивающе – отражение распушенности или отпечаток возраста? Он прикладывал свои белые руки к грубым и сухим рукам на портрете и смеялся. Он смеялся над искореженным и изуродованным телом на картине.

Однако иногда, по ночам, лежа без сна в собственной спальне или в грязной каморке таверны у доков, куда он часто навещался переодетый и под чужим именем, Дориан с сожалением думал о тех ужасных вещах, которые он совершил с собственной душой, а хуже всего было то, что это сожаление было вызвано лишь эгоизмом. Впрочем, такое случалось нечасто. Чем активнее он утолял жажду жизни, которую разбудил в нем лорд Генри в саду у Бэзила, тем острее он чувствовал ее. Чем больше он узнавал, тем больше он стремился узнать. Он никак не мог утолить эту безумную жажду.

Несмотря на это, ему хватало благоразумия, чтобы не пренебрегать законами светской жизни. Раз или два в месяц зимой и каждую среду летом он принимал у себя гостей, которые имели возможность наслаждаться игрой лучших в этом сезоне музыкантов. Его обеды, в организации которых ему всегда помогал лорд Генри, отличались как тщательным отбором и расположением гостей, так и утонченным вкусом в убранстве стола: экзотические цветы, роскошно вышитые скатерти, старинная серебряная и золотая посуда представляли собой настоящую симфонию. Многие, особенно среди молодежи, видели в Дориане Грее воплощение идеала своих студенческих лет в Итоне или Оксфорде, идеала, который должен был совместить в себе высокую культуру ученого с изяществом и совершенными манерами светского человека. Дориан Грей казался им одним из тех, кто, как говорил Данте, «стремятся облагородить душу поклонением красоте». Он был тем, для кого, как для Готье, «существует видимый мир».

Сама жизнь была для Дориана важнейшим и самым прекрасным из искусств, к которому остальные искусства только готовили человека. Он не пренебрегал ни модой, которая может воплотить невероятное, ни дендизмом, который, по его мнению, стремился сделать относительное

понимание красоты абсолютным. Его одежда и стиль, который он иногда менял, оказывали значительное влияние на молодых щеголей на балах в Мейфеэyre и в клубах Пэлл-Мэлл. Они стремились подражать ему даже в мелочах, на которые сам Дориан никогда не обращал внимания.

Он охотно занял место в обществе, предоставленное ему сразу после достижения совершеннолетия. Его радовала мысль о том, что он может стать для Лондона тем, чем автор «Сатирикона»^[11] был для Рима эпохи Нерона. Правда, он стремился быть чем-то большим, чем *arbiter elegantiarum*^[12], с которым советуются, какие выбрать украшения, как завязать галстук или как носить трость. Он хотел сформировать целый новый образ жизни, который исходил бы из разумных философских основ и должен был иметь свои упорядоченные принципы. Высшим смыслом такого образа жизни он считал обретение духовного смысла для чувств и ощущений.

Культ чувственного часто, и не без основания, осуждали – люди инстинктивно боятся страстей и чувств, которые кажутся им сильнее их самих и которые присущи и низшим существам. Но Дориан Грей считал, что истинная природа этих чувств еще не открыта и они остаются животными в глазах людей только потому, что те все время пытаются обуздать их голодом или убить болью, вместо того чтобы сделать из них элементы новой духовности, основой которой стала бы жажда красоты. Когда Дориан думал об истории человечества, его не отпускало чувство утраты. Сколько же всего было забыто! Ради чего?! Следствием всех этих упрямых и глупых отречений, уродливых форм самоистязаний, причиной которых был страх, стала деградация, намного более страшная, чем та мнимая, которой люди стремятся избежать. Природа с великолепной иронией отправляет отшельников в пустыни и дает им в товарищи диких животных...

Да, лорд Генри прав. Нашему времени нужен новый гедонизм, который вдохнет новую жизнь в общество и освободит его от пуританства, которое странным образом вновь настигло его. Конечно, этот гедонизм не будет пренебрегать интеллектом, однако он не согласится ни на одну теорию или учение, требующие пожертвовать хотя бы долей чувственного опыта. Ведь цель гедонизма – это сам опыт, а не его плоды, сладкие или горькие. Он не должен иметь ничего общего ни с аскетизмом, который убивает чувства, ни с вульгарным развратом, притупляющим их. Новый гедонизм научил бы человека наслаждаться каждым мгновением жизни, ведь жизнь длится всего лишь мгновение.

Среди нас немного найдется таких, кто никогда не просыпался бы на рассвете – или ото сна без сновидений, когда вечный сон смерти кажется чуть ли не желанным, или после ночи ужасов и уродливого веселья, когда перед глазами проносятся призраки, страшнее самой действительности, ярко гротескные, полные той сильной жизни, которая дает готическому искусству такой жизнеутверждающий оттенок, словно оно создано для пораженных болезненными грезами. Вы помните эти пробуждения? Белые пальцы рассвета слегка раздвигают завесы. Черные причудливые тени молча разбегаются по углам комнаты и падают на пол. С улицы доносится возня птиц в листве, шум людей, идущих на работу, вздохи и плач ветра, который налетает с холмов и кружит вокруг молчаливого дома, будто боясь разбудить спящих, хотя и должен выгнать сон из его пурпурного хранилища. Предрассветный туман отступает вверх, медленно восстанавливаются привычные формы и цвета вещей, и рассвет снова открывает перед нашими глазами мир в его извечном виде. Возвращает серым зеркалам способность отражать жизнь. Потухшие свечи стоят там, где они оставлены вечером, а рядом лежит увядший цветок, который вы носили вчера на балу, или письмо, которое вы боялись прочитать или перечитывали слишком часто. Кажется, ничто не изменилось. Из-за нереальных теней ночи снова появляется знакомая реальная жизнь. И мы должны тянуть ее дальше с того места, где она остановилась вчера, и нам становится больно, что мы обречены вечно вертеться все в том же кругу стереотипной повседневности... А иногда в нас просыпается желание, открыв глаза, увидеть новый мир – мир, в котором вещи приобрели бы необычные очертания и свежие цвета, где все было бы иначе и несло бы в себе новые тайны, мир, где прошлого не было бы вовсе или же было бы очень мало – так, чтобы оно, во всяком случае, не заставляло думать о долге или каяться, поскольку сейчас даже упоминания о радости горькие, а воспоминания о наслаждениях пронизывают болью.

Именно в создании таких миров Дориан Грей видел цель жизни или, по крайней мере, одну из таких целей. В поисках новых и увлекательных чувств, в которых имелся бы существенный для романтики элемент необычного, он часто сознательно воспринимал идеи, которые были ему непонятны или даже чужды, позволял им влиять на себя, а потом, попробовав их на вкус и удовлетворив свой интеллектуальный интерес, он оставлял их с тем удивительным равнодушием, которое не только не противоречит вспыльчивому характеру, но даже, по мнению некоторых современных психологов, является его частью.

Однажды в Лондоне заговорили, что Дориан Грей собирается принять

римско-католическое вероисповедание. Католические ритуалы действительно привлекали его. Ежедневный обряд жертвоприношения, который на самом деле страшнее всех жертвоприношений древних времен, трогал Дориана – как своим величественным пренебрежением наших чувств, так и своей примитивной простотой и вечным пафосом человеческой трагедии, которую он должен был символизировать. Дориан любил стоять на коленях на холодных мраморных плитах и наблюдать, как священник в плотной парчовой далматике медленно поднимал белыми руками покрывала с дарохранительницы или подносил похожую на стеклянный фонарь и украшенную драгоценностями дароносицу с бледной облаткой внутри – можно было представить, что это действительно «*panis caelestis*», хлеб ангелов, – или когда священник, в наряде Страстей Господних, крошил гостию^[13] над чашей и ударял себя в грудь, устыдившись грехами человеческими. Его завораживало курение кадил, которыми, как пышными золотыми цветками, размахивали серьезные мальчики в пурпуре и кружевах. А выходя из церкви, Дориан не без любопытства смотрел на мрачные исповедальни и время от времени засиживался в их темноте, прислушиваясь к шепоту мужчин и женщин, которые рассказывали историю своей жизни сквозь потертые решетки.

Однако Дориан никогда не ограничивался определенной верой или догмами, осознавая, что это помешало бы его интеллектуальному развитию, – он не имел никакого намерения постоянно жить в гостинице, пригодной только на то, чтобы один раз переночевать. Некоторое время Дориана интересовал мистицизм с его удивительной способностью превращать все обыденное в необычное и таинственное, рядом с которым всегда идет антиномизм^[14], который коварно отрицает потребность нравственности. Впоследствии он склонялся к материалистическим доктринам немецкого дарвинизма, захваченный концепцией абсолютной зависимости духа от определенных физических условий, патологических или здоровых, нормальных или видоизмененных. Дориан с острым удовольствием сводил человеческие мысли и страсти к функции какой-либо клетки серого вещества мозга или белого нервного волокна. Однако любые теории о жизни казались Дориану мелочами по сравнению с самой жизнью. Он прекрасно понимал бессмысленность любых соображений, оторванных от опыта и действительности. Он знал, что человеческие чувства несут в себе не меньше духовных тайн, чем душа.

Однажды он взялся за изучение ароматических веществ и секретов их производства – собственноручно перегонял пахучие масла, жег душистые

восточные смолы. Он осознал, что каждое состояние души имеет двойника в мире чувств, и поставил себе цель понять взаимосвязь между ними. Почему, скажем, ладан пробуждает в нас чувство мистики, серая амбра разжигает страсти, фиалка пробуждает воспоминания о погибшей любви, мускус туманит мозг, а чампак возбуждает воображение? Он хотел систематизировать психологическое воздействие запахов на человека, изучая своеобразные влияния разных растений: нежно-пахучих корней, ароматных цветков, отяжелевших от пыльцы, ароматных бальзамов темноокрашенной душистой древесины, нарда, вызывающего слабость, говениии, лишаящей людей разума, алоэ, как говорят, исцеляющего душу от тоски.

В другой же раз он погрузился в музыку и устраивал необычные концерты в своем доме, в длинном зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан киноварью с золотом, а стены покрывал оливково-зеленый лак. Страстные цыгане исторгали дикие ноты из своих маленьких цитр, степенные тунисцы в желтых шальях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно били в медные барабаны, а стройные индусы в белых чалмах, скрестив ноги, сидели на красных циновках и, играя на длинных камышовых и медных свирелях, завораживали или делали вид, что завораживают, больших кобр и ужасных рогатых змей. Резкие паузы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки иногда трогали Дориана, ведь грация Шуберта, прекрасная элегичность Шопена, мощная гармония самого Бетховена уже несколько не задевали его.

Он собирал необычные музыкальные инструменты со всех уголков мира – даже из могильников вымерших народов и в немногих диких племенах, которым удалось пережить встречу с западной цивилизацией. Он любил держать их в руках, прислушиваясь к странным звукам. У него был таинственный «джурупарис» индейцев из Рио-Негро, смотреть на который женщинам было вообще запрещено, а юноши могли увидеть его только после поста и самоистязания; а также глиняные кувшины перуанцев, которые звучат, как пронзительные птичьи крики; были у него и флейты из человеческих костей, которые слышали Альфонсо де Овалле в Чили, и удивительно нежные и звонкие камни зеленой яшмы из-под Куско. Были в Дориановой коллекции также разрисованные тыквы с галькой внутри, тарахтевшие при встряхивании, и длинная мексиканская труба, играя на которой, в отличие от обычного кларнета, втягивают воздух в себя, и неприятный на слух «туре» амазонских племен, которым подают сигналы часовые, целыми днями сидящие на высоких деревьях (этот «туре»,

говорят, слышен на расстоянии трех лиг), и «тепоназтли» с двумя вибрирующими деревянными язычками (палочки к этому барабану из Мексики смазывают камедью из млечного сока растений), и «йотлы» – колокольчики ацтеков, подвешиваемые гроздьями, как виноград, и огромный цилиндрический барабан, обтянутый змеиной кожей, который в мексиканском храме видел спутник Кортеса Бернал Диас и оставил красочное описание меланхолического звучания этого инструмента.

Дориана влекла вычурность этих инструментов, он был в восторге от мысли о том, что у искусства, как и у природы, тоже есть свои чудовища – вещи с ужасной формой и гадким голосом. Однако через некоторое время они ему надоели, и вот уже он, сидя снова в опере, один или с лордом Генри, восторженно слушал «Тангейзера» и в увертюре к этому величественному произведению находил нотки трагедии собственной души.

Чуть позже Дориан начал изучать драгоценные камни. Он появился на бале-маскараде в костюме Анн де Жуайоз, адмирала Франции, – наряд был украшен пятьюстами шестьюдесятью жемчужинами. Эта тяга к драгоценностям пленила Дориана на много лет и, собственно, никогда не оставляла его. Часто, бывало, он весь день сидел, то перебирая, то раскладывая по ящикам камни из своих сокровищ – оливково-зеленые хризобериллы, краснеющие при искусственном освещении; кимофаны, перевитые серебристыми волосками; фисташкового цвета перидоты; розоватые и золотистые, как вино, топазы; пламенно-красные кобальты с мерцающими четырехгранными звездочками внутри; огненные гранаты; оранжевые и сиреневые шпинели; аметисты, отливающие то рубином, то сапфиром. Его восхищало красное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и переменная радуга молочного опала. Он раздобыл в Амстердаме чрезвычайные по размерам и разнообразию красок изумруды и обладал ценным видом бирюзы, из-за чего на него завистливыми глазами смотрели знатоки.

Дориан прочитал множество историй о драгоценных камнях. Так, в произведении Альфонсо «Clericalis Disciplina»^[15] упоминается змея с глазами из настоящего гиацинта; в романтической легенде об Александре Македонском, завоевателе Эматии^[16], сказано, что он нашел в Иорданской долине змей, «кольца на спинах которых были из настоящих изумрудов». Филострат рассказывает о драконе с самоцветом в мозге и замечает, что, «увидев золотые письма и пурпурные одежды», чудовище впадает в волшебный сон, и тогда его можно убить. Великий алхимик Пьер де

Бонифас утверждает, что бриллиант делает человека невидимым, а индийский агат добавляет красноречия. Сердолик успокаивает гнев, гиацинт навлекает сон, аметист развеивает винные испарения. Гранат выгоняет бесов из человека, а от гидрофана бледнеет месяц. Селенит растет и стареет вместе с луной, а обезвредить мелоций, разоблачающий воров, можно только кровью козленка. Леонард Камилл видел добытый из мозга только что убитой лягушки белый камешек, который оказался сильным противоядием. Безоар, найденный в сердце аравийского оленя, – чудодейственный амулет против чумы. В гнездах аравийских птиц можно найти аспилат, который, по словам Демокрита, предохраняет от огня того, кто носит этот камень.

На церемонии коронации король Цейлона проезжал верхом по улицам столицы с большим рубином в руке. В дворцовые ворота короля-священника Иоанна, «сделанные из халцедона, был вмурован рог змеи, чтобы никто не мог пронести яд во дворец». Над фронтоном содержались «два золотых яблока с карбункулом внутри каждого», чтобы днем сияло золото, а ночью карбункулы. Лодж в своем причудливом романе «Жемчужина Америки» описывает, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные фигуры целомудренных дам со всего мира, которые смотрелись в прекрасные зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу (так в Средние века называли Японию) вкладывали в рот покойникам розовые жемчужины. Существует легенда о Морском чудовище, влюбившемся в жемчужину, – оно убило ныряльщика, который выловил ее и отдал персидскому царю Перозу, а затем семь месяцев оплакивало свою утрату. Когда же впоследствии гунны заманили Перозу в большую ловушку, он выбросил жемчужину – так утверждает Прокопий, и ее никогда уже не нашли, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золотом. Король Малабара показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин – по числу богов, которым он поклонялся.

Согласно Брантому, когда герцог Валентинуа, сын папы римского Александра Шестого, прибыл в гости к французскому королю Луи Двенадцатому, его конь был весь покрыт золотыми листьями, а шапку герцога венчал двойной ряд ослепительно сияющих рубинов. Четыреста двадцать один бриллиант украшал стремяна лошади, на которой ездил Карл, король английский. У Ричарда Второго был плащ, весь усеянный лалами, – он стоил тридцать тысяч марок. Холл пишет, что Генрих Восьмой ехал в Тауэр на коронацию одетый в «камзол из золотой парчи, его нагрудник был расшит бриллиантами и другими драгоценными камнями, а

широкую перевязь украшали большие нежно-красные лалы». Фаворитки Якова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдвард Второй подарил Пирсу Гевстону доспехи из червонного золота, украшенного гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугом. Генрих Второй носил перчатки до локтя, унизанные самоцветами, а на его охотничьей рукавице красовалось двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Шапку Карла Смелого, последнего из династии бургундских герцогов, украшали грушевидные жемчужины и сапфиры.

Какой же роскошной была когда-то жизнь! Такая удивительная в своем великолепии! Одно только чтение об этих чудесах дарило ему наслаждение.

Позже Дориан переключил свое внимание на вышивки и гобелены, заменившие фрески в прохладных домах народов Северной Европы. Знакомясь ближе с вышиванием, а Дориан умел невероятно тщательно углубляться в предмет, который на данный момент его интересовал, он с сожалением думал о разрушении, которое время приготовило всему прекрасному и великолепному. Так или иначе, но ему удалось избежать этой участи. Проходило одно лето за другим, желтые жонкили расцветали и увядали уже много раз, и позор ужасных ночей повторялся вновь и вновь, но его красота оставалась неизменной. Ни одна зима не исказила его лицо, не сорвала цветов его красоты. С вещами же все иначе! Куда они исчезают? Где те величественные шафранного цвета одежды со сценами борьбы богов и титанов, сотканые смуглыми девушками на радость Афине? Где тот огромный велариум, который Нерон приказал натянуть над римским Колизеем, – то громадное пурпурное полотнище с изображенным на нем небом и Аполлоном в колеснице, которую везли белые кони в золотой упряжи? Дориану было бесконечно жаль, что ему не суждено увидеть салфеток для жреца Солнца – Гелиогабала, расшитых всеми блюдами, которые только возможны на пирах; или погребальный наряд короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или фантастические одежды, которые так возмутили епископа Понтийского, – на них были нарисованы «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники – то есть все, что художник мог увидеть в природе»; или камзол Карла Орлеанского, рукава которого были расшиты нотами и текстом песни, которая начиналась словами: «Madame, je suis tout joyeux»^[17], – нотные линейки там были вышиты золотом, а каждый нотный знак, квадратный в то время, состоял из четырех жемчужин.

Дориан прочитал об оборудованном для королевы Иоанны

Бургундской покое в Реймском дворце, где на стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай с гербом короля на крыле каждого и пятьсот шестьдесят одна бабочка с гербом королевы на крыле каждой, и все это из чистого золота». Смертное ложе Екатерины Медичи покрывал черный бархат, усеянный полумесяцами и солнцами; вышитые зеленые венки и гирлянды украшали серебряный и золотой фон полога, а бахрома переливалась жемчужинами. Это ложе находилось в спальне, увешанной эмблемами королевы из черного бархата на серебряной парче. Луи Четырнадцатый имел в своих палатах расшитые золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе Яна Собеского, короля Польши, стояло под шатром из золотого смирнского грезета, на котором были вышиты бирюзой строки из Корана. На прекрасных выточенных колоннах из золоченого серебра, которые поддерживали шатер, красовалось множество медальонов, украшенных эмалью и драгоценными камнями. Шатер этот поляки захватили в турецком лагере близ Вены – под его золоченым куполом стояло тогда знамя пророка Магомета.

Целый год Дориан коллекционировал самые лучшие ткани и вышивки. Был у него замечательный муслин из Дели, затканый узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек жуков; газ из Дакки, за свою прозрачность известный на всем Востоке под названиями «тканый воздух», «водяная струя» и «вечерняя роса»; удивительно разрисованные ткани с Явы; желтые китайские драпировки изящной работы; книги в переплете из коричневого атласа и красивого голубого шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и другими рисунками; кружевные венгерские покрывала; сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия, украшенные золотыми монетами; зелено-золотистые японские ткани с вышитыми на них замечательными птицами.

Был у Дориана страстный интерес и к культовым облачениям, как и вообще ко всему, что связано с религиозными обрядами. В длинных кедровых сундуках, стоявших вдоль западного крыла его дома, хранилось немало редких и прекрасных нарядов, действительно достойных того, чтобы их носили невесты Христовы, которые должны одеваться в бархат, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свои бледные тела, истощенные в праведных страданиях и израненные самобичеванием.

Дориан был обладателем и пышной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся рисунком из плодов граната, венков из шестилепестковых цветков и ананасов, расшитых мелким жемчугом. На ораре были изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а сцена ее освящения была вышита цветным шелком на капюшоне. Это была

итальянская работа пятнадцатого века. На другой ризе, из зеленого бархата, были вышиты серебряными нитями и цветным бисером листья аканта, собранные в пучки в виде сердец, и белые цветы на длинных стеблях, а застежку украшал расшитый золотом лик серафима. Оранж был заткан узорами из красного и золотого шелка, на нем сверкали медальоны с образами святых и великомучеников, в том числе и святого Себастьяна.

Имел Дориан и другие облачения священнослужителей – из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, камки и грезета, на которых были изображены Страсти Господни и Распятие, вышиты львы, павлины и другие эмблемы; были у него и далматики из белого атласа и розового лудана, украшенные узором из тюльпанов, дельфинов и лилий, и покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, и священные хоругви, и множество антиминсов и покровов на потиры. Мистические обряды, для которых эти вещи предназначались, волновали воображение Дориана.

Все эти роскошные сокровища Дориан собирал в своем доме только для того, чтобы забыться, хоть на миг избавиться от страха, который иногда становился уже почти невыносимым. В пустой запертой комнате, где прошло детство Дориана, он сам повесил на стену ужасный портрет, постоянно изменяющиеся черты которого открывали ему правду об упадке его души. Портрет был закрыт пурпурно-золотой тканью. Иногда Дориан не заглядывал сюда целыми неделями и, забывая о существовании своего отвратительного подобию, снова становился беззаботным и веселым, горячо влюбленным в жизнь. Потом вдруг среди ночи он тайком выбирался из дома в один из гнусных вертепов в Блу-Гейт-Филдс и оставался там по нескольку дней, пока его оттуда не выгоняли. Вернувшись домой, он садился перед портретом и смотрел на него – порой с ненавистью и к нему, и к себе, а иногда с наглой гордостью индивидуалиста, которая и влекла его навстречу греху, – и злорадно улыбался своему уродливому двойнику, который был вынужден нести бремя, принадлежавшее ему самому.

Через несколько лет Дориан уже не мог долго находиться вне Англии и должен был отказаться и от виллы в Трувиле, которую они снимали вдвоем с лордом Генри, и от маленького огороженного белым забором домика в Алжире, где они провели не одну зиму. Он просто не мог быть вдалеке от портрета, который стал такой важной частью его жизни. К тому же Дориан боялся, что в его отсутствие кто-то может проникнуть в комнату, хоть он и укрепил двери, как мог.

Дориан хорошо понимал, что портрет все равно никому ничего бы не сказал. Отвратительные следы безнравственности, правда, не сделали

портрет совсем непохожим на него, но это ничего не доказывало. Дориан высмеял бы каждого, кто попытался бы упрекнуть его этим. Не он же рисовал портрет! Разве он имеет отношение к распущенности и безнравственности, которые отражаются на нарисованном лице? Но даже если бы он и поделился с кем-то своими страхами – кто бы ему поверил?

И все же он боялся. Время от времени, развлекая гостей в своем доме в Ноттингемшире – аристократическая молодежь была его обычным обществом – и поражая целое графство расточительной роскошью и шумным великолепием своего образа жизни, он вдруг в самом разгаре покидал веселье и стремглав мчался в Лондон убедиться, не выбил ли кто дверь той комнаты и на месте ли портрет. Одна только мысль об этом нагоняла ужас на Дориана. Ведь мир узнает его тайну! А может, у кого-то уже есть подозрения?

Хотя он и очаровывал многих людей, немало было и таких, кто не доверял ему. Его неохотно приняли в один клуб в Вест-Энде, быть членом которого он имел полное право в силу своего происхождения и положения. Также ходили слухи, что, когда один приятель Дориана привел его в курительную комнату в клубе «Черил», герцог Бервик и еще какой-то джентльмен демонстративно встали и вышли. Дориану было лет двадцать пять, когда о нем начали распространяться недобрые слухи. Поговаривали, что его видели в каком-то грязном притоне в районе Уайтчепел, где он сцепился с иностранными матросами; говорили еще, что он дружит с ворами и фальшивомонетчиками и знает секреты их ремесла. Дурная слава сопровождала его загадочные исчезновения, и каждый раз, когда он снова появлялся в свете, мужчины шептались по углам, а проходя мимо, презрительно улыбались или бросали холодные испытующие взгляды, будто пытаясь узнать его тайну.

Дориан не обращал внимания на подобные проявления дерзости и неуважения, а его общительность, волшебная мальчишеская улыбка, красота удивительной молодости, которая, казалось, никогда не оставит его, для большинства людей уже были достаточным ответом на клевету, которой они считали любые слухи о Дориане. Однако нельзя было не заметить и то, что некоторые из ближайших его друзей со временем стали избегать его. Женщины, которые когда-то безумно любили Дориана, презрев ради него приличия и общественное мнение, теперь бледнели от стыда и ужаса, стоило Дориану Греху войти в комнату.

Но в глазах многих слухи о Дориане только усиливали его опасные чары. А большое состояние свидетельствовало в его пользу. Общество, по крайней мере цивилизованное, не слишком склонно осуждать богатых и

привлекательных людей. Оно инстинктивно чувствует, что хорошие манеры важнее морали и иметь хорошего повара гораздо почетнее, чем быть приличным человеком. Действительно, попробовав плохого вина или неудачно приготовленное блюдо, вряд ли можно исправить ситуацию, сказав о хозяине дома, что он высоконравственный человек. Лорд Генри как-то заметил в разговоре, что подача на стол едва теплых блюд – вина, которую не искупают никакие добродетели. И в защиту этого мнения можно сказать много. Потому что в порядочном обществе действуют, по крайней мере должны действовать, те же правила, что и в искусстве. Самое главное – форма. Она должна совмещать в себе высокую торжественность с условностью церемонии, сочетать неискренность романтической пьесы с остроумием и красотой, благодаря чему мы и восхищаемся такими пьесами. Разве неискренность такая уж страшная вещь? Конечно же нет. Это же только средство, позволяющее человеку проявлять свою индивидуальность!

По крайней мере, так считал Дориан Грей. Он все время удивлялся недалекости тех, кто представляет себе наше «я» простым, постоянным, надежным и однородным. По мнению Дориана, человек – это существо с множеством жизней и чувств, сложное многообразное существо, которое несет в себе непостижимое наследие мыслей и страстей, и сама его плоть заражена устрашающими недугами предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее в своем имении и вглядываться в такие разнообразные портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова» рассказывает, что «при дворе восхищались его красотой, которой он, однако, недолго радовался». Не является ли его, Дориана, жизнь повторением жизни Герберта? Может, это какой-то болезненный микроб переходил из тела в тело, пока не достался Дориану? И не подсознательное ли воспоминание о той рано угасшей красоте заставило Дориана, неожиданно и почти без причины, выразить в мастерской Бэзила то сумасшедшее желание, так изменившее всю его жизнь?..

А вот в красном камзоле с золотым шитьем и коротком плаще, украшенном драгоценностями, стоит сэр Энтони Шерард, а у его ног сложены серебряные с чернью доспехи. Какое наследство он оставил после себя? Может, это от него, любовника Джованны Неаполитанской, перешли к нему, Дориану, грех и позор? Может, Дориан просто воплощает в жизнь то, о чем лишь робко мечтал этот его давно почивший предок?..

Вот на уже поблекшем полотне улыбается леди Елизавета Девере – на

ней газовая шляпка и расшитый жемчугом корсаж с разрезными розовыми рукавами. В ее правой руке цветок, а левой она сжимает эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко. Ее остроносые туфли украшают большие зеленые розетки. Дориан знал о ее жизни, слышал удивительные истории о влюбленных в нее мужчинах. Не было ли в нем чего-то от характера этой женщины? Ее удлиненные глаза под тяжелыми веками смотрели на него как будто с интересом...

А Джордж Уиллоуби в напудренном парике и с причудливыми мушками на лице, что он завещал Дориану? Он выглядит сердитым – его смуглое лицо насуплено, сладострастные губы пренебрежительно искривлены. Пышные кружевные манжеты облегают его художавые руки, а пальцы унизаны множеством колец. Этот щеголь восемнадцатого столетия в молодости дружил с лордом Феррарсом...

А второй лорд Бэкингем, товарищ принца-регента, будущего Георга Четвертого, в дни его отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какие страсти передал потомкам этот красавец с каштановыми кудрями и вызывающе горделивой осанкой? Общество осуждало его за разврат – он был среди постоянных участников печально известных оргий в Карлтон-Хаус. Орден Подвязки сияет у него на груди... Рядом портрет его жены, бледной, с тонкими губами, женщины в черном. Ее кровь также течет в Дориане... Как же любопытно все это!

Вот и его мать – женщина с лицом леди Гамильтон, с влажными, словно смоченными вином, устами. Дориан знал, что унаследовал от нее. От нее ему достались красота и страстное влечение к красоте других. Она улыбается ему с портрета. В ее волосах виноградные листья, пурпурный напиток выплескивается из бокала в руке. Краски уже поблекли на холсте, но глаза все еще привлекают к себе глубиной и яркостью. Дориану казалось, что они следят за ним, куда бы он ни пошел...

Однако человек имеет предков не только в собственном роду, но и в литературе. И многие из них, может, даже ближе ему по характеру, и их влияние гораздо более очевидно. Иногда Дориан смотрел на историю человечества просто как на летопись собственной жизни – не той, что воплощалась в конкретных поступках и обстоятельствах, а той, которую создавало его воображение и к которой влекли Дориана его мозг и страсти. Он чувствовал, что они все близки ему – странные и ужасные фигуры, что прошли по сцене мира и сделали грех таким соблазнительным, а зло наполнили такой изящной прелестью. Казалось, их жизни каким-то таинственным образом переплелись с его собственной.

Герой удивительного романа, так изменившего жизнь Дориана, тоже

был одержим этой причудливой фантазией. В седьмой главе он рассказывал о себе, как в убранстве Тиберия сидел бывало в саду на Капри, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, и читал непристойные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались карлики и павлины, и флейтист передразнивал кадилыщика фимиама. Он был и Калигулой, и пирувал на конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своим конем, украшенным самоцветной повязкой на лбу. Как Домициан, он сновал вдоль коридора, облицованного блестящим мрамором, и искал запавшими глазами отражение кинжала, которому суждено было лишить его жизни, и его мучила *taedium vitae* – эта ужасная пресыщенность жизнью, от которой страдают те, кому жизнь дарит все возможное. Сквозь прозрачный изумруд он всматривался в кровавую бойню на арене цирка, а затем подкованные серебром мулы везли его в жемчужной и пурпурной колеснице к золотому дворцу, и раздавались проклятия в его, императора Нерона, адрес. И как Гелиогабал, он разрисовал себе лицо, прят вместе с женщинами, приказал привезти из Карфагена богиню Луны и обвенчал ее мистическим браком с богом Солнца.

Снова и снова перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, где, как на каких-то удивительных гобеленах или тонкой работы эмалях, проступали жуткие и прекрасные фигуры тех, кого Распущенность, Кровожадность и Пресыщенность сделали чудовищами или безумцами. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и смазал ее губы красным ядом, чтобы ее любовник с поцелуем принял смерть из уст той, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный как папа Павел Второй, смог в своем тщеславии добиться, чтобы его величали Формозус, то есть Прекрасный; его тиару стоимостью двести тысяч флоринов он получил ценой ужасного преступления. Миланец Джан Мария Висконти, натравливавший гончих на живых людей; когда он был убит, его тело усыпала розами какая-то влюбленная проститутка. Чезаре Борджиа на белом коне – верхом рядом с ним скакало Братоубийство, и на его плаще запеклась кровь Перотти. Пьетро Риарио – сын и любимец папы Сикста Четвертого – молодой кардинал, архиепископ флорентийский, чья красота могла сравниться только с его развращенностью; Леонору Арагонскую он принимал в шатре из белого и малинового шелка, украшенном статуэтками нимф и кентавров; он велел позолотить мальчика, который должен был изображать на пиру Ганимеда или Гиласа. Эдзелино, чью меланхолию излечивало только зрелище смерти, – он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; легенда

называет его сыном дьявола, который обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джаамбаттиста Чибо, став папой, будто в насмешку взял себе имя Иннокентий, то есть Невинный; в его жилах текла кровь трех юношей, которую ему перелил врач-еврей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и властитель Римини, его изображения, как врага Бога и человека, были сожжены в Риме: он салфеткой задушил Поликсену, а Джиневре д'Эсте поднес ядовитое питье в изумрудном кубке; для культа своей постыдной страсти он воздвиг языческий храм, где проводились христианские богослужения. Карл Шестой так безумно влюбился в жену брата, что один прокаженный предсказал ему скорое безумие от любви; и когда он-таки стал слабоумным, успокоить его могли только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. Грифонетто Бальони, в нарядном камзоле и украшенной самоцветами шапке на своих кудрях, похожих на листья аканта, убил Асторре вместе с его невестой, а также Симонетто вместе с его пажом, а сам был настолько красив, что, когда он умирал на желтой базарной площади в Перуджии, то даже те, кто его ненавидел, не могли сдержать слез, а проклявшая его Атланта благословила его...

Все эти люди обладали какой-то жуткой завораживающей силой. Дориан видел их во сне по ночам и в своих возбужденных фантазиях днем. Эпоха Возрождения знала необычные способы отравления – с помощью шлема и зажженного факела, вышитой перчатки и драгоценного веера, позолоченного мускусного шарика и янтарного ожерелья. Дориана Грея отравила книга. И бывали мгновения, когда он воспринимал зло только как средство, помогающее ему воплотить свое понимание прекрасного.

Глава 12

Это случилось девятого ноября, накануне его тридцать восьмого дня рождения, как часто потом вспоминал Дориан.

Около одиннадцати часов он пешком возвращался домой с обеда у лорда Генри, закутанный с головы до пят, ведь ночь была холодная и туманная. На углу Гросвенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него почти трусцой пробежал человек с чемоданом в руке. Дориан узнал его, несмотря на поднятый воротник пальто. Это был Бэзил Холлуорд. Его охватил странный, непонятный ему самому страх. Он никак не показал, что узнал Бэзила, и пошел в сторону дома.

Но Холлуорд заметил его. Дориан услышал, как он остановился и поспешил за ним. Уже через мгновение Бэзил положил руку ему на плечо.

– Дориан! Как же повезло, что я тебя встретил! Я ждал тебя в твоей библиотеке с девяти вечера. В конце концов я пожалел твоего слугу и сказал ему, чтобы он шел спать, когда тот проводил меня из дома. В полночь я отправляюсь в Париж, но перед тем я очень хотел увидеть тебя. Я подумал, что это ты, когда прошел мимо, по крайней мере меховое пальто очень похоже на твое. Но сомневался. Ты что, не узнал меня?

– В таком-то тумане, Бэзил? Да я даже Гросвенор-сквер не узнаю. Я чувствую, что мой дом где-то рядом, однако я не уверен. Жаль, что ты уезжаешь, мы же так давно не виделись. Но ты же скоро вернешься, правда?

– Нет, меня не будет в Англии полгода. Я планирую снять мастерскую в Париже и запереться там, пока не закончу одну замечательную картину, которую держу в голове. Однако я хотел поговорить не о себе. А вот мы и пришли к твоей двери. Позволь мне войти на минутку. Я должен кое-что сказать тебе.

– С удовольствием, но ты точно не опоздаешь на поезд? – сказал Дориан Грей, медленно открывая дверь.

Свет ламп пробился сквозь туман, и Холлуорд посмотрел на часы.

– У меня еще куча времени, – ответил он. – Поезд отправится в пятнадцать минут первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь как раз направлялся в клуб в надежде встретить тебя там, когда мы встретились на улице. К тому же весь тяжелый багаж уже отправлен. Все, что мне нужно, лежит в этом чемодане, поэтому я запросто доберусь до вокзала Виктория минут за двадцать.

Дориан посмотрел на него и улыбнулся.

– Так вот как путешествуют модные художники! Небольшой чемодан и осеннее пальто! Ну что же, заходи скорее, пока мы не впустили туман в дом. И заметь, что не стоит начинать серьезных разговоров. В наше время не бывает ничего серьезного. По крайней мере, не должно быть.

Холлуорд покачал головой и пошел вслед за Дорианом в библиотеку. В камине весело пылал огонь, светили лампы, а на столе стояли разнообразные напитки, содовая вода и хрустальные бокалы.

– Как видишь, твой слуга помог мне чувствовать себя как дома. Он принес мне все, чего я хотел, и даже лучшие твои сигареты. Он очень вежливый. Мне он понравился гораздо больше, чем тот твой предыдущий француз. А куда он делся, кстати?

Дориан пожал плечами:

– Кажется, он женился на горничной леди Рэдли и они уехали в Париж, где она стала английской портнихой. Я слышал, что все английское там сейчас в моде. Разве не дураки французы? Впрочем, ты знаешь, он был довольно неплохой слуга. Он никогда мне слишком не нравился, однако и оснований жаловаться на него у меня не было. Он был очень предан, и было видно, что ему очень жаль покидать этот дом. Будешь еще бренди с содовой? Или лучше рейнского с сельтерской? Я, например, предпочитаю рейнское. В соседней комнате должно быть.

– Спасибо, я больше не хочу пить, – ответил художник, положив пальто и шляпу на чемодан, который он поставил в углу комнаты. – А теперь, друг, у меня к тебе серьезный разговор. И не надо так хмурить брови, этим ты осложняешь мою задачу.

– Что же это за разговор? – недовольно поинтересовался Дориан, устроившись на диване. – Надеюсь, ты будешь говорить не обо мне. Я за сегодня уже надоел себе. Я бы с удовольствием стал кем-то другим.

– О тебе, – ответил Холлуорд своим мрачным голосом. – Я должен сказать тебе об этом. Я отниму у тебя только полчаса.

«Целых полчаса!» – вздохнул Дориан и закурил.

– Это не так уж и много, Дориан, к тому же все, что я скажу, – ради твоего же блага. Думаю, тебе стоит знать, что в Лондоне о тебе ходят ужасные слухи.

– Я не хочу ничего знать об этом. Я люблю, когда кто-то другой оказывается в центре скандала, но скандалы с моим участием меня не интересуют. В них нет ничего нового.

– Ты должен интересоваться ими, Дориан. Любой джентльмен заинтересован в том, чтобы иметь доброе имя. Ты же не хочешь, чтобы

окружающие считали тебя пропащим человеком. Конечно, у тебя есть положение в обществе, богатство и все такое. Однако богатство и положение – это еще не все. Заметь, я не верю ни одному слову из этих слухов. По крайней мере, я не могу в них поверить, когда вижу тебя перед собой. Грехи оставляют свой след на лице человека. Их невозможно скрыть. Иногда рассказывают о тайных грехах. Их не существует. Когда человек грешит, это отражается в линиях его рта, в тяжелых веках и даже в форме рук. В прошлом году один человек, я не буду называть его имени, но ты его знаешь, попросил меня написать его портрет. До того дня я никогда с ним не встречался и ничего не слышал о нем, хотя уже потом мне пришлось немало о нем узнать. Он предлагал мне кругленькую сумму. Но я отказался. Было что-то отталкивающее в форме его пальцев. Теперь я знаю, что был прав в своих предположениях или, вернее, предчувствиях. Он живет ужасной жизнью. Но ты, Дориан, с твоим чистым, невинным лицом, которое несет в себе красоту неиспорченной молодости, ты просто не можешь жить так, как о тебе говорят. И все же мы видимся очень редко, потому что ты теперь никогда не посещаешь моей мастерской, и когда я слышу все эти ужасные вещи о тебе, то даже не знаю, что на них ответить. Дориан, почему люди вроде герцога Бервика выходят из комнаты в клубе, как только там появляешься ты? Почему так много лондонских джентльменов никогда не бывают у тебя в доме и не приглашают тебя к себе? Ты раньше дружил с лордом Стевли. Я встретил его за обедом на прошлой неделе. Твое имя прозвучало в связи с теми миниатюрами, что ты предоставил для выставки в Дадли. Стевли поморщился и сказал, что, быть может, у тебя и замечательный вкус к искусству, но с тобой нельзя знакомить невинных девушек, а ни одной порядочной женщине не стоит даже находиться с тобой в одной комнате. Я напомнил ему, что ты мой друг, и попросил объяснить, что он имеет в виду. И он объяснил. Прямо при всех. Это было ужасно! Почему же дружба с тобой становится роковой для юношей? Хотя бы этот несчастный парень из гвардии, который покончил с собой. Ты был его близким другом. Или сэр Генри Эштон, которому пришлось покинуть Англию из-за запятнанной репутации. Вы же были неразлучны. А как насчет Эдриана Синглтона и его бесславного финала? Или единственного сына лорда Кента и его карьеры? Я вчера встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А как насчет юного графа Перта? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный джентльмен теперь захочет иметь дело с ним?

– Прекрати, Бэзил, ты говоришь о вещах, о которых ничего не знаешь, – сказал Дориан Грей, кусая губы, в голосе его чувствовалось

безграничное пренебрежение. – Ты хочешь знать, почему Бервик не хочет находиться со мной в одной комнате? Да потому что я знаю о нем все, а не потому что он что-то там знает обо мне. С такими-то родственниками, как он может быть честным человеком? Ты спрашиваешь меня о Генри Эштоне и юном Перте. Разве это я приучил их к порокам и разврату? Если этот глупец, сын Кента, нашел себе жену на улице, то при чем здесь я? Разве это мое дело – отвечать за Эдриана Синглтона, который решил подделать подпись на векселе? Я прекрасно знаю, насколько англичане любят сплетничать. Мещане любят рассуждать о своей морали за щедро накрытыми столами, показывая тем самым, что они близки к аристократам и лично знают тех, чьи имена они порочат. В нашей стране, стоит тебе только хоть чего-то достичь или проявить свой ум или талант, как сразу же поднимется ураган сплетен. А как же ведут себя сами эти моралисты? Дорогой друг, не забывай, что мы живем на родине лицемерия.

– Дориан, – нетерпеливо сказал Холлуорд – дело не в этом. Я знаю, что в Англии не все хорошо, а общество вообще полно негодяев. Именно поэтому я хочу, чтобы ты был лучше них. А ты такой же. Это вполне справедливо – оценивать человека по влиянию, которое он оказывает на своих друзей. А твои друзья потеряли всякую честь, доброту и порядочность. Ты заражаешь своих друзей сумасшедшей жадной наслаждения. Они упали в пропасть. И ты столкнул их туда. Именно так, ты столкнул их в пропасть и можешь и дальше себе улыбаться, как делаешь это сейчас. Это еще хуже. Я знаю, что вы с Гарри неразлучны. Хотя бы по этой причине тебе не стоило порочить имя его сестры.

– Прекрати, Бэзил, ты заходишь слишком далеко.

– Я должен сказать это, а ты должен меня выслушать. И выслушаешь. Когда ты познакомился с леди Гвендолен, никто и представить не мог, что она способна попасть в грязную историю. А теперь ни одна порядочная женщина в Лондоне не желает появляться на людях вместе с ней. Ей даже запретили жить со своими детьми. О тебе еще многое рассказывают, например, что видели, как ты на рассвете выходил из ужасных притонов или тайком пробирался в самые грязные трущобы Лондона. Это правда? Может ли это быть правдой? Когда я впервые услышал такие рассказы, то засмеялся. Теперь же они заставляют меня дрожать. А как насчет твоего загородного поместья и всего, что там происходит? Дориан, ты даже не представляешь, какие гадости говорят о тебе. Я не стану отрицать, что пришел, чтобы поучать тебя. Помню, однажды Гарри сказал, что каждый, кто хотя бы на мгновение делает из себя проповедника, обещает, что это было в последний раз, но впоследствии обязательно нарушает свое

обещание. Вот и я пришел, чтобы поучать тебя. Я хочу, чтобы мир уважал тебя за твой образ жизни. Я хочу, чтобы твое имя оставалось чистым. Тебе больше не стоит иметь дело с плохими людьми. Не пожимай плечами. Не будь таким равнодушным. Ты можешь удивительным образом влиять на людей. Используй же эту способность во благо. Говорят, что ты развращаешь каждого, с кем становишься близким, и тебе достаточно войти в дом, чтобы его жителей постигло бедствие. Я не знаю, правда ли это. Откуда мне знать? Но так о тебе говорят. Мне рассказывали вещи, в которых невозможно усомниться. Лорд Глусестер был одним из моих лучших друзей в Оксфорде. Он показывал мне письмо, которое написала его жена, умирая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Твое имя фигурировало в самой ужасной исповеди, которую мне когда-либо приходилось читать. Я сказал ему, что это невероятно, что я прекрасно тебя знаю и ты не способен на вещи, описанные в письме. Знаю тебя? Я уже не уверен, а знаю ли я тебя? Я хотел бы увидеть твою душу, чтобы иметь возможность ответить на этот вопрос.

– Увидеть мою душу, – пробормотал бледный от страха Дориан Грей, вставая с дивана.

– Именно так, – мрачно ответил Холлуорд, и в его голосе слышалось уныние, – увидеть твою душу. Но на это способен только Господь.

Дориан засмеялся.

– Ты сможешь увидеть ее прямо сейчас! – воскликнул он, беря лампу со стола. – Пойдем. Почему бы тебе не взглянуть на собственное творение? Можешь даже рассказать об этом всему миру, если захочешь. Все равно тебе никто не поверит. А если кто-то и поверит, то станет только больше восхищаться мной. Я знаю наше время лучше тебя, какие бы ты мне не читал проповеди. Говорю же, пойдем. Ты уже достаточно болтал о духовном упадке. Теперь взгляни ему в глаза.

В каждом его слове слышалась какая-то сумасшедшая гордость. Он топал ногами, как мальчишка. Он очень радовался возможности поделиться своей тайной и тому, что человек, который написал портрет и стал причиной его падения, до конца жизни будет нести груз вины за то, что он натворил.

– Да, – продолжал он, подойдя ближе к художнику и не сводя с него глаз, – я покажу тебе свою душу. Ты увидишь то, что, по-твоему, может видеть только Господь.

Холлуорд отшатнулся.

– Это же богохульство, Дориан! – воскликнул он. – Никогда такого не говори, это ужасно и нелепо.

– Ты так считаешь? – снова засмеялся Дориан.

– Я это знаю. Относительно того, что я сказал тебе, то все это ради твоего же блага. Ты же знаешь, что я всегда был твоим верным другом.

– Не трогай меня. Договаривай все, что хотел.

Лицо художника исказилось от боли. На мгновение он замолчал и сразу же почувствовал глубокое сожаление. В конце концов, какое он имел право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если он совершил хотя бы малую долю того, что о нем рассказывали, то как же он наверняка страдал! Затем он встал и подошел к камину. Он смотрел, как догорали дрова, и любовался снежно-белым пеплом и причудливыми язычками пламени.

– Я жду, Бэзил, – сухо сказал Дориан.

Художник обернулся и сказал:

– Я вот что хочу сказать, Дориан. Ты должен дать мне ответ на ужасные обвинения против себя. Если скажешь, что все они – полная ложь, то я поверю тебе. Опровергни их, Дориан, опровергни их! Разве ты не видишь, через что мне пришлось пройти? Господи, не дай мне поверить, что ты пал как человек.

Дориан только презрительно усмехнулся.

– Пойдем со мной, Бэзил. Я веду дневник своей жизни, но никогда не выношу его из комнаты, в которой он находится. Пойдем со мной, и я покажу его тебе.

– Я пойду с тобой, если хочешь, Дориан. Все равно я уже опоздал на поезд. Ничего, поеду завтра. Но не заставляй меня ничего читать. Я хочу просто услышать ответ на свой вопрос.

– Он ждет тебя наверху. Я не могу ответить тебе здесь. Тебе не придется долго читать.

Глава 13

Они вышли из комнаты и начали подниматься по лестнице. Инстинктивно они пытались идти как можно тише, ведь на дворе стояла ночь. Причудливые тени от лампы плыли по стенам и лестнице. От порыва ветра задребезжали стекла.

Когда они пришли на самый верх, Дориан поставил лампу на пол, достал ключ и открыл дверь.

– Ты точно хочешь знать правду, Бэзил? – тихо спросил он.

– Да.

– Вот и отлично, – улыбнулся Дориан и несколько резким тоном добавил: – Ты единственный, кто имеет право знать обо мне абсолютно все. Ты повлиял на мою жизнь гораздо больше, чем можешь себе представить.

С этими словами он снова взял в руки лампу и вошел в комнату. Подул холодный ветерок, и на мгновение пламя в лампе стало ярко-красным. Дориан вздрогнул, поставил лампу на стол и прошептал:

– Закрой за собой дверь.

Холлуорд растерянно осматривал комнату. Все указывало на то, что сюда никто не заходил годами. Кроме стола и стула здесь еще был выцветший фламандский гобелен, какая-то завешенная картина и книжный шкаф почти без книг. Пока Дориан зажигал огарок свечи, стоявшей на каминной полке, он увидел, что вся комната была покрыта пылью, а на ковре светились дырки. Мимо прошмыгнула мышь. В комнате было влажно и стоял запах плесени.

– Ты говоришь, что только Господь может увидеть душу, Бэзил? Сними вон то покрывало, и ты увидишь мою душу.

Это было сказано холодным и жестоким голосом.

– Дориан, ты или спятил, или все это какой-то глупый розыгрыш, – нахмурившись, пробормотал Холлуорд.

– Не хочешь? Что ж, придется самому, – сказал Дориан и сорвал покрывало с картины.

Художник даже закричал от ужаса, когда увидел жуткое лицо, скалившееся на него с полотна. Было в нем что-то такое, что наполняло его пренебрежением и презрением. Господи! Но это же лицо Дориана Грея! Какие бы ужасы его не изуродовали, они еще не совсем стерли удивительную красоту Дориана. Поредевшие волосы все еще отливали золотом, а на чувственных устах остался прекрасный цвет юности.

Затуманенные глаза по-прежнему несли в себе волшебную синеву, а нос и шея не потеряли своих благородных линий. Да, это был Дориан. Но кто же написал его таким? Это было похоже на его работу, и рама была та, которую он сделал сам. Это было слишком невероятно, и все же он почувствовал, как им овладевает страх. Он схватил свечу и склонился над картиной. В левом углу длинными алыми буквами было выведено его имя.

Это была какая-то неудачная шутка, какая-то нелепая, глупая пародия. Он никогда этого не писал. И все же он знал, что это именно его картина. Огонь в его жилах застыл и превратился в лед. Его картина! Что это значит? Почему она так изменилась? Он посмотрел на Дориана Грея глазами безумца. Его рот перекосялся, он не мог пошевелить языком. Он схватился руками за голову и почувствовал, что на лбу выступил пот.

А Дориан наблюдал за ним, как внимательный зритель наблюдает за спектаклем, когда на сцене выдающийся актер. В его взгляде не было ни искреннего сожаления, ни настоящей радости. Только восхищение зрителя и, пожалуй, нотка торжества. Он вынул цветок из петлицы своего пиджака и принялся его нюхать или, по крайней мере, делать вид, что нюхает.

– Что это значит? – в конце концов выдавил из себя Холлуорд. Однако собственный голос показался ему незнакомым.

– Много лет назад, когда я еще был мальчиком, – начал Дориан Грей, сминая цветок в руке, – ты встретил меня, делал мне комплименты и научил гордиться своей красотой. Однажды ты познакомил меня со своим другом, который объяснил мне, какая удивительная вещь молодость. В тот же день ты закончил работу над портретом, который дал мне понять, насколько удивительна моя красота. А потом наступил момент моего безумия (я до сих пор не решил, жалеть мне о нем или нет), я загадал желание или, как ты сказал, помолился...

– Я помню, прекрасно помню! Да нет! Не может быть. Просто в комнате очень влажно. Вот плесень и проникла в полотно. Может, в краски попал какой-то яд. То, о чем ты говоришь, просто невозможно.

– Разве бывает что-то невозможное? – тихо произнес Дориан, подойдя к окну и прислонившись лбом к холодному стеклу.

– Ты же говорил, что уничтожил картину.

– Я солгал. Это она уничтожила меня.

– Я не верю, что это моя картина.

– Разве ты не видишь на ней свой идеал? – язвительно спросил Дориан.

– Мой идеал, как ты его назвал...

– Как ты его назвал.

– В нем не было ничего, что вызвало бы страх или стыд. Ты был для меня идеалом, который мне не суждено встретить вновь. А это – лицо сатира.

– Это лицо моей души.

– Господи, чему же я поклонялся? У него глаза дьявола.

– Каждый из нас несет в себе и рай и ад, Бэзил! – в отчаянии воскликнул Дориан.

Холлуорд снова обернулся к портрету и начал внимательно рассматривать его.

– Господи! Если это действительно правда, и это то, что ты сделал с собственной жизнью, то получается, что ты гораздо хуже, чем о тебе говорят!

С этими словами он снова поднес свечу к портрету. На поверхности все осталось таким же, как после окончания работы над картиной. Этот ужас и упадок пришел изнутри. Под влиянием какой-то неестественной жизни грехи медленно разъедали картину. Даже гниение трупа в могиле не столь ужасно.

Руки Холлуорда дрожали так, что свеча упала на пол. Он погасил ее ногой и сел на расшатанный стул в углу, подперев голову руками.

– Боже мой, Дориан! Какой же это урок! Какой же это ужасный урок! – Он не услышал никакого ответа, только сдавленные рыдания Дориана у окна. – Молись, Дориан, молись. Как там нас учили в детстве? «Прости нам грехи наши, как и мы их прощаем, не введи нас во искушение...» Давай вместе помолимся. Если молитва твоей гордости была услышана, то молитву твоего раскаяния тем более услышат. Я слишком увлекался тобой. Я наказан за это. Ты слишком увлекался сам собой. Мы оба наказаны.

Дориан Грей медленно повернулся и посмотрел на него глазами, полными слез.

– Уже поздно, Бэзил, – ответил он.

– Никогда не поздно, Дориан. Давай встанем на колени и попробуем вспомнить молитву. Разве не сказано в Библии: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю».

– Теперь это для меня пустые слова.

– Прекрати! Не говори так. В твоей жизни и так уже много зла. Господи! Ты видишь, как это проклятое существо смотрит на нас?

Дориан посмотрел на портрет, и вдруг его охватила ненависть к Бэзилу Холлуорду. Она была будто бы навеяна изображением на холсте, казалось, эти злобно улыбающиеся уста нашептывали ее ему на ухо. В нем бушевали чувства загнанного зверя, и он возненавидел человека, сидящего за столом

больше, чем он ненавидел кого-либо ранее. Он безумно оглянулся вокруг. Он заметил кое-что на комодке. Он знал, что это. Это был нож, который он принес несколько дней назад, чтобы отрезать кусок веревки, и забыл забрать назад. Он медленно пошел мимо Холлуорда. Только оказавшись позади него, Дориан схватил нож и обернулся. Холлуорд, казалось, собирался встать со стула. Он подскочил к нему и вонзил нож прямо в вену за ухом, затем, прижав голову Холлуорда к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался приглушенный стон и ужасный звук того, как человек захлебывается кровью. Холлуорд трижды протягивал руки вперед, бессмысленно шевеля пальцами. Дориан ударил его еще дважды, но он больше не двигался. Что-то закапало на пол. Дориан подождал мгновение, все еще прижимая голову к столу, затем положил нож на стол и прислушался.

Слышно было только, как капли крови падают на ковер. Он открыл дверь и вышел на лестницу. В доме царила полная тишина. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила и вглядываясь в темный колодец. Затем он вернулся в комнату и заперся изнутри.

Труп так и сидел на стуле, склонившись к столу и протянув руки вперед. Если бы не красное пятно на шее и лужа крови на столе, можно было бы подумать, что он просто уснул.

Как же быстро все кончилось! Дориан чувствовал себя на удивление спокойным, подошел к окну и вышел на балкон. Ветер развеял туман, и небо стало похоже на гигантский хвост павлина с миллионами пятнышек-звезд на нем. Внизу он увидел полицейского, который патрулировал улицу и светил своим фонарем на двери молчаливых домов. На углу улицы показался красный кэб и сразу же исчез. Какая-то женщина в шали, нетвердо стоящая на ногах, плелась по улице. Время от времени она останавливалась, чтобы отдохнуть, и даже начала петь хриплым голосом. К ней сразу же подошел полицейский. Она выслушала его, засмеялась и побрела дальше. Резкий порыв ветра пронесся по улице. Огоньки в газовых фонарях замигали, а деревья закачали своими уже облысевшими ветвями. Дориан задрожал и вернулся в комнату, закрыв за собой балкон.

Подойдя к двери, он повернул ключ и открыл ее. Он даже не посмотрел на мертвеца. Он чувствовал, что лучше об этом не думать. Его друг, который написал портрет, ставший причиной всех его несчастий, ушел из жизни. Вот и все.

Затем он вспомнил о лампе. Это был довольно редкая вещь ручной работы из Мавритании; ее темное серебро украшали стальные арабески и

драгоценные камни. У дворецкого могут возникнуть вопросы, когда он увидит, что лампа исчезла из библиотеки. Мгновение он колебался, но в конце концов вернулся и забрал ее со стола. Он никак не мог не посмотреть на мертвеца. Как же он невозмутим! Как же ужасна белизна его длинных рук! Он был похож на ужасную восковую фигуру.

Закрыв за собой дверь, Дориан начал тихонько спускаться по лестнице. Дерево скрипело так, будто кто-то кричал от боли. Он несколько раз останавливался и прислушивался к темноте. Да нет, все было тихо. Это только звуки его собственных шагов.

Войдя в библиотеку, он заметил в углу чемодан и пальто. Их надо куда-то спрятать. Он открыл свой секретный шкаф, в котором держал костюмы для ночных походов, и положил их туда. Потом нужно будет просто сжечь их. Затем он достал из кармана часы. Было двадцать минут второго.

Он сел и задумался. Ежегодно, почти ежемесячно, в Англии вешали кого-то за преступление, которое он только что совершил. Кажется, жажда убийства витает в воздухе. Какая-то красная звезда подошла слишком близко к земле... Но разве есть какие-то улики против него? Бэзил Холлуорд ушел из дома в одиннадцать. Никто не видел, как он возвращался. Большинство прислуги в Селби. Дворецкий спит... Париж! Именно так. Бэзил отправился в Париж двенадцатичасовым поездом, как и планировал. Принимая во внимание его удивительно замкнутый характер, пройдут месяцы, прежде чем у кого-то возникнут хоть какие-то подозрения. Месяцы! К тому времени можно будет замести все следы.

Вдруг его осенила здравая мысль. Он надел пальто и шляпу и вышел в переднюю. Там он несколько минут простоял, затаив дыхание и прислушиваясь к шагам полисмена, который как раз проходил мимо.

Затем он тихонько открыл дверь и вышел на улицу, бесшумно закрыв за собой дверь. После этого он стал звонить в дверь. Минут через пять появился его дворецкий, полуодетый и крайне сонный.

– Простите, что пришлось разбудить вас, Фрэнсис, – сказал Дориан, переступая через порог, – но я забыл дома свой ключ. Который сейчас час?

– Десять минут третьего, сэр, – ответил тот, сонно глядя на часы.

– Десять минут третьего? Ничего себе, как поздно! Разбудите меня завтра в девять. У меня есть некоторые дела.

– Как скажете, сэр.

– Никто не заходил вечером?

– Был мистер Холлуорд, сэр. Он ждал до одиннадцати, но потом ушел, чтобы успеть на поезд.

– Как жаль, что мы разминулись. Он просил что-то передать?

- Только то, что напишет вам из Парижа, если не найдет вас в клубе.
- Спасибо, Фрэнсис, не забудьте разбудить меня завтра в девять.
- Не забуду, сэр.

С этими словами дворецкий отправился спать дальше.

Дориан Грей положил пальто и шляпу на стол и пошел в библиотеку. Четверть часа он шагал по комнате, задумчиво покусывая губы. В конце концов он достал с одной из полок Синюю книгу и начал листать ее страницы. «Алан Кэмпбелл, 152, Хертфорд-стрит, Мейфэйр». Да, вот кто ему сейчас нужен.

Глава 14

На следующее утро в девять дворецкий вошел в комнату Дориана с чашкой шоколада на подносе и раздвинул шторы. Дориан спокойно спал на правом боку, подложив одну руку себе под щеку. Он был похож на маленького мальчика, уставшего от игр или учебы.

Дворецкому пришлось дважды потрогать его за плечо, чтобы разбудить. Когда же Дориан наконец открыл глаза, его лицо озарила улыбка, будто он еще не совсем вынырнул из волшебного сновидения. Но он не видел снов той ночью. Его не беспокоили ни видения радости, ни видения боли. Молодые обычно улыбаются без причины, именно этим они завораживают других.

Он обернулся и начал мелкими глоточками пить шоколад, опершись на локоть. Ласковое осеннее солнце озарило комнату. Небо было чистое, а в воздухе чувствовалось приятное тепло. Это все было похоже на майское утро.

Постепенно события прошлой ночи кровавой походкой возвращались к его памяти, воспроизводя себя в ужасных деталях. Он вздрогнул при мысли о том, что ему пришлось пережить, и на мгновение то же самое непонятное ощущение ненависти к Бэзилу Холлуорду, которое заставило его убить художника, снова овладело им. Он даже весь похолодел. Мертвец все еще сидел там, озаренный солнечными лучами. Как же это ужасно! Такие отвратительные вещи предназначены для ночи, а не для дня.

Он чувствовал, что если будет думать о том, через что прошел, то или заболит, или сойдет с ума. Есть такие грехи, которые приносят больше наслаждения, когда вспоминаешь о них, чем когда их совершаешь. Станные победы, которые удовлетворяют гордыню даже больше, чем чувства, и пробуждают радость ума – радость, которую они никогда не смогли бы пробудить в чувствах. Но это не тот случай. Мысли об этом нужно изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, уничтожить, пока они не уничтожили самого Дориана.

Когда часы пробили половину десятого, Дориан быстро вскочил и начал одеваться, еще тщательнее, чем обычно, долго подбирал галстук и булавку к нему и несколько раз менял кольца. Он и на завтрак выделил много времени, пробуя разные блюда, обсуждая с дворецким новые ливреи, которые он собирался заказать для слуг в имении Селби, и просматривая утреннюю почту. Некоторые письма вызвали у него улыбку, три письма

показались ему скучными, одно он перечитал трижды, а потом раздраженно разорвал. Как когда-то говорил лорд Генри, «женская память – это ужасная вещь».

Выпив утренний кофе, Дориан медленно вытер губы салфеткой и, дав дворецкому знак подождать, написал два письма. Одно из них он положил себе в карман, а другое отдал дворецкому.

– Отнесите это на Хертфорд-стрит, 152, Фрэнсис. А если мистера Кэмпбелла нет сейчас в городе, узнайте, по какому адресу его можно найти.

Оставшись наедине, он закурил и начал рисовать на листке бумаги. Сначала это были цветы, потом различные здания, а затем – человеческие лица. Вдруг он заметил, что каждое лицо, нарисованное им, было очень похоже на Бэзила Холлуорда. Он нахмурился, встал из-за стола, подошел к книжному шкафу и взял оттуда первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что произошло, без крайней на то необходимости.

Удобно устроившись на диване, он посмотрел на титульную страницу книги. Это были «Эмали и камеи» Готье, издание Шарпантье, напечатанное на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На обложке из лимонно-желтой кожи был тисненый узор – золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Это был подарок Эдриана Синглтона. Листая страницы книги, он наткнулся на стихотворение о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Он посмотрел на собственные бледные тонкие пальцы и невольно вздрогнул. Он листал страницы дальше, пока не нашел прекрасные строки о Венеции:

В волненье легкого размера
Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера смеется, розово-бела.
Соборы средь морских безлюдий
В течение музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.
Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд^[18].

Какие прекрасные слова! Когда читаешь их, кажется, будто плывешь

зелеными водами розово-пурпурного города в черной гондоле с серебряным носом и красными занавесками. Даже сами строки в этой книге напоминали Дориану линии на воде, которые образуются за лодкой, идущей в Лидо. Краски этого стихотворения напомнили ему о разноцветных птичках, кружащихся вокруг медово-золотистой Кампанилы^[19] или с важным видом прогуливающихся под покрытой пылью аркадой. Откинув голову на подушки, он лежал с полузакрытыми глазами и повторял про себя:

Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

В этих двух строках была выражена вся Венеция. Он вспомнил осень, проведенную в этом городе, и страстную любовь, подтолкнувшую его к приятным неистовствам. Каждое место имеет свою романтику. Но Венеция, как и Оксфорд, создает для нее красивый фон, а для настоящей романтики фон – это самое важное. Некоторое время с ним там жил Бэзил. Он просто влюбился в Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть его постигла!

Он вздохнул и, чтобы прогнать от себя эти мысли, стал дальше листать книгу. Он читал о ласточках, что влетают в окна кафе в Смирне, где хаджи считают свои янтарные бусины, а купцы в тюрбанах курят длинные трубки, важно общаясь между собой. Он читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и теплоту, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут нежно-розовые ибисы, белые грифы с золотыми когтями, где маленькие крокодилы с берилловыми глазами возятся в грязи. Дориан задумался над стихами, которые, превращая мрамор в музыку, рассказывают об удивительной статуе, которую Готье сравнил с голосом контральто, о «волшебном чудовище», покоящемся в порфиновых залах Лувра. Но спустя некоторое время книга выпала из его рук. Он все больше нервничал, и наконец его охватил ужас. А что, если Алан Кэмпбелл сейчас вообще не в Англии? Может пройти несколько дней, пока он вернется. Он может просто не прийти. И что тогда ему делать? Каждое мгновение было на вес золота.

Пять лет назад они были близкими друзьями, почти неразлучными. Но со временем их дружбе пришел конец. Теперь, когда они встречались в обществе, только Дориан Грей улыбался своему бывшему другу, а вот Алан Кэмпбелл – никогда.

Он был удивительно умный юноша, однако ничего не понимал в изобразительном искусстве, а зачатки вкуса к поэзии ему привил Дориан. В свою очередь, его страстью была наука. В Кембридже он большую часть времени проводил в лаборатории и был лучшим студентом курса естественных наук. Он и сейчас посвящает себя изучению химии и даже имеет собственную лабораторию, из которой не выходит целыми днями, чем очень раздражает свою мать, которая хочет, чтобы он сделал карьеру в парламенте, и не слишком понимает, кто такие химики, путая их с фармацевтами.

В то же время он был замечательным музыкантом и играл на рояле и скрипке лучше, чем большинство любителей. Собственно, именно благодаря музыке они и познакомились. Благодаря музыке и невероятному умению Дориана привлекать людей, когда он того хотел, а часто и бессознательно. Впервые они встретились на приеме у леди Беркшир, когда у нее играл Рубинштейн, и с тех пор их можно было увидеть вместе в опере или на любом мероприятии, связанном с хорошей музыкой.

Их дружба продолжалась полтора года. Кэмпбелла всегда можно было найти в имении Селби или на Гросвенор-сквер. Для него, как и для многих других, Дориан воплощал все то удивительное и захватывающее, что есть в жизни. Никто так и не узнал, поссорились ли они, или случился какой-то другой неприятный случай. Но вдруг стало заметно, что они перестали разговаривать между собой, а Кэмпбелл всегда первым уходил с вечеринок, на которых присутствовал Дориан Грей. Да и сам он изменился – временами впадая в меланхолию, он, казалось, совсем потерял интерес к музыке и наотрез отказывался играть сам, объясняя это тем, что очень занят и не имеет времени для практики. Это было похоже на правду. День за днем он все больше погружался в биологию, а его имя несколько раз появлялось в научных журналах в связи с его любопытными экспериментами.

Этого человека ждал Дориан Грей. Он ежесекундно поглядывал на часы. С каждой минутой он волновался все больше. В конце концов он вскочил и начал шагать по комнате, будто великолепное животное, загнанное в клетку. Он делал широкие бесшумные шаги. Его руки стали холодными.

Ожидание становилось невыносимым. Время еле-еле передвигало свои свинцовые ноги, пока безумный вихрь нес Дориана на край пропасти. Он знал, что ждет его там, он это ясно видел, а потому закрыл глаза холодными дрожащими руками, будто пытаясь вдавить их внутрь, чтобы лишиться и себя, и свой мозг зрения. Но все было напрасно. У мозга есть собственные ресурсы, а воображение, искаженное страхом и болью, уже

плясало, как уродливая марионетка, и хищно скалилось из-под масок.

Вдруг время для него остановилось. Именно так, это слепое существо больше даже не ползло никуда, а его собственные ужасные мысли проносились перед глазами и показывали ему ужасную могилу его будущего. Он смотрел на нее, застыв от ужаса.

Наконец дверь открылась, и в комнату вошел дворецкий. Дориан посмотрел на него будто сквозь туман.

– Мистер Кэмпбелл, сэр, – сказал дворецкий.

Дориан облегченно вздохнул, а его щеки стали уже не так бледны.

– Зови его сюда немедленно, Фрэнсис. – Он снова чувствовал себя самым собой. Его слабость прошла.

Дворецкий поклонился и вышел.

Через несколько секунд в комнату с суровым видом вошел Алан Кэмпбелл. Он был очень бледен, это подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

– Алан! Это очень мило с вашей стороны. Спасибо, что пришли.

– Я обещал себе больше никогда не переступать порог вашего дома, Грей. Но вы написали, что речь идет о деле жизни и смерти, – сказал вошедший сухим холодным голосом.

Он говорил намеренно медленно и четко. Он не сводил глаз с Дориана, и в его взгляде читались пренебрежение и презрение. Он держал руки в карманах и сделал вид, что не заметил приветственного жеста.

– Именно так, Алан, дело жизни и смерти не одного человека. Садитесь.

Кэмпбелл сел у стола, а Дориан устроился напротив. Двое мужчин встретились взглядами. В глазах Дориана читалось сожаление. Он осознавал, насколько ужасно то, что он собирался сделать.

После минуты напряженного молчания Дориан склонился над столом и начал подчеркнуто спокойно говорить, наблюдая за реакцией Кэмпбелла:

– Алан, на последнем этаже этого дома, в комнате, в которую могу войти только я, за столом сидит труп. Прошло уже десять часов с тех пор, как он умер. Не надо на меня так смотреть. Вас не касается, кто этот человек, почему и как он умер. Все, что вам нужно сделать, это...

– Остановитесь, Грей. Я больше ничего не хочу знать. Мне не интересно, правда ли то, что вы мне только что рассказали. Я решительно отказываюсь иметь дело с вами и вашей жизнью. Оставьте себе свои ужасные тайны. Они меня больше не интересуют.

– Алан, вам придется заинтересоваться этой тайной. Мне очень вас жаль. Но сам я ничего не смогу с этим поделать. Вы – единственный, кто

может спасти меня. Я вынужден заставить вас ввязать в это. У меня нет выбора. Алан, вы ученый. Вы разбираетесь в химии и всем таком. Вы проводили различные эксперименты. Все, что вам нужно сделать, это уничтожить тело наверху, уничтожить так, чтобы от него не осталось и следа. Никто не видел, как этот человек заходил в дом. Он сейчас должен быть в Париже. Его начнут искать лишь через несколько месяцев. К тому времени здесь от него не должно остаться ни следа. Алан, вы должны превратить его и все, что ему принадлежит, в кучку пепла, который я смогу развеять по ветру.

– Дориан, вы сумасшедший.

– Ага! Вы назвали меня Дорианом, именно на это я и надеялся.

– Говорю же, вы сумасшедший. Это безумие с вашей стороны – считать, что я хоть пальцем пошевелю, чтобы вам помочь, так же, как ваша эта исповедь – сплошное безумие. Я не буду вмешиваться в эту историю, что бы там ни было. Неужели вы считаете, что я пожертвую своей репутацией ради вас? Какое я имею отношение к вашим дьявольским планам?

– Это было самоубийство, Алан.

– Рад это слышать. Но кто же довел его до самоубийства? Думаю, вы.

– Вы все еще отказываетесь помочь мне?

– Конечно, я отказываюсь. Я не стану иметь никакого отношения к этому. Мне плевать на ваш позор. Вы этого заслуживаете. Мне будет не жалко увидеть, как на вашей репутации публично поставят крест. Как вы могли попросить именно меня вмешаться в такую ужасную историю? Я думал, что вы лучше разбираетесь в людях. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, пожалуй, вовсе не учил вас психологии среди других вещей, которым вас обучал. Вы не к тому обратились. Идите просите помощи у кого-то из своих друзей. Я здесь ни при чем.

– Алан, это было убийство. Я убил его. Вы не представляете, как я страдал из-за него. Как бы ни сложилась моя жизнь, он сделал гораздо больше для того, чтобы создать или разрушить ее, чем бедный Гарри. Может, он и не желал этого, но так вышло.

– Убийство! Боже мой, Дориан, так вот до чего вы докатились? Я не стану сообщать об этом полиции. Это не мое дело. К тому же вас арестуют и без моей помощи. Не бывает преступлений без оплошностей. Но я не стану в это вмешиваться.

– Вы должны вмешаться. Подождите, подождите минутку. Послушайте меня. Просто послушайте, Алан. Я прошу вас только провести научный эксперимент. Вы же ходите в больницы и морги, и то, что вы там делаете,

не кажется вам ужасным. Если бы этот труп лежал где-то в анатомическом театре или лаборатории на свинцовом столе и из него торчали бы трубки для отвода крови, вы видели бы в нем просто объект для исследования. Вы бы и глазом не моргнули. Вам бы и в голову не пришло, что вы делаете что-то плохое. Напротив, вы, скорее всего, чувствовали бы, что работаете во благо человечества, пополняете науку новыми знаниями, удовлетворяет похвальную любознательность или что-то вроде того. Все, что я прошу, – это просто сделать то, что вы уже делали раньше. Я уверен, что уничтожить тело – это далеко не самый страшный из ваших экспериментов. К тому же это единственное доказательство против меня. Если его найдут, мне конец. А его точно найдут, если вы мне не поможете.

– Я не имею никакого намерения помогать вам. Забудьте об этом. Мне просто безразлично все это. Меня это совершенно не касается.

– Алан, умоляю вас. Подумайте о положении, в котором я оказался. Как раз перед тем как вы пришли, я чуть не умер от страха. Возможно, вам и самому придется однажды познать ужас. Нет! Не думайте об этом. Посмотрите на дело с исключительно научной точки зрения. Вы же не интересуетесь происхождением трупов, на которых вы проводите эксперименты. Вот и сейчас не интересуйтесь. Я и так много рассказал вам. Но прошу вас сделать это. Мы же были прежде друзьями, Алан.

– Не смейте упоминать о тех временах, Дориан. Наша дружба мертва.

– Мертвые не всегда оставляют нас в покое. Мужчина наверху никуда оттуда не уйдет. Он будет сидеть там со склоненной головой и вытянутыми вперед руками. Алан! Алан! Если вы не поможете мне, мне конец. Меня повесят, Алан! Разве вы не понимаете? Меня повесят за то, что я сделал.

– Нет смысла продолжать эту сцену. Я отказываюсь любым образом вмешиваться в это дело. Было бессмысленно с вашей стороны обращаться ко мне.

– Вы отказываетесь?

– Да.

– Умоляю вас, Алан.

– Это бесполезно.

В глазах Дориана снова появилось сожаление. Он написал что-то на клочке бумаги, свернул его вчетверо и протянул Кэмпбеллу, а сам поднялся из-за стола и отошел к окну.

Кэмпбелл удивленно посмотрел на него, а затем развернул бумажку. Читая ее, он побледнел еще сильнее и упал на стул, будто потерял все свои силы. Он почувствовал невероятную слабость. Казалось, сердце вот-вот

выскочит у него из груди.

После двух-трех минут невыносимого молчания Дориан обернулся, встал позади него и положил руку ему на плечо.

– Мне действительно очень жаль вас, Алан, – сказал он, – но вы не оставили мне выбора. Письмо уже написано. Вот оно. Видите адрес? Если вы мне не поможете, я буду вынужден отправить его. Я отправлю его, если вы мне не поможете. Вы знаете, к чему это приведет. Но вы поможете мне. Теперь вы уже не можете отказаться. Я пытался вас пощадить. Справедливости ради вы должны это признать. Но вы вели себя упрямо, грубо, агрессивно. Вы вели себя со мной так, как не решается ни одна живая душа. А я все это стерпел. Но теперь моя очередь выдвигать условия.

Кэмпбелл спрятал лицо в ладонях и задрожал.

– Именно так, теперь я буду диктовать условия. Вы их уже знаете. Все очень просто. Хватит, у вас так жар начнется. Это должно быть сделано. Смиритесь и сделайте это.

Кэмпбелл застонал, не переставая дрожать. Щелчки часов на каминной полке, казалось, разделяли время на отдельные дольки агонии, каждая из которых была все более невыносимой. Он чувствовал, будто металлическое кольцо все сильнее сжимается на лбу, будто позор, который постоянно ему угрожал, наконец стал неизбежным. Рука на его плече была как из свинца. Это было невыносимо. Казалось, она его вот-вот раздавит.

– Давайте уже, Алан, решайтесь.

– Я не могу этого сделать, – машинально ответил он, как будто слова могли что-то изменить.

– Вы должны. У вас нет выбора. Не стоит тянуть время.

Мгновение Кэмпбелл колебался.

– В той комнате есть камин?

– Да, газовый, с асбестом.

– Мне нужно попасть домой, чтобы взять все необходимое из лаборатории.

– Нет, Алан, вам нельзя покидать дом. Напишите на бумаге, что вам нужно, и мой дворецкий наймет кэб и все вам сюда доставит.

Кэмпбелл написал несколько строк и имя своего ассистента на конверте. Дориан внимательно перечитал записку и только потом позвал дворецкого, приказав тому возвращаться как можно быстрее со всем необходимым.

Кэмпбелл вздрогнул от стука дверей, поднялся и подошел к камину.

Его трясло, как в лихорадке. В течение двадцати минут оба не сказали ни слова. Было слышно лишь жужжание мухи, да часы стучали в тишине,

будто кувалда.

Когда часы пробили час, Кэмпбелл обернулся, посмотрел на Дориана Грея и увидел, что его глаза наполнены слезами. Чистота и невинность его лица разгневали Кэмпбелла.

– Подонок! Какой же вы подонок! – закричал он.

– Прекратите, Алан. Вы спасли мою жизнь, – сказал Дориан.

– Ваша жизнь? Да что же это, черт побери, за жизнь такая! День за днем вы грешили и докатились в конце концов до убийства. То, что я делаю, то, что вы заставляете меня делать, я делаю точно не ради вашей жизни.

– Эх, Алан, – вздохнул Дориан, – если бы вы чувствовали ко мне хоть сотую долю того сострадания, которое я чувствую к вам.

С этими словами он отвернулся и стал смотреть в сад. Кэмпбелл ничего не ответил.

Минут через десять в дверь постучали, и в комнату вошел дворецкий с большим ящиком из красного дерева, наполненным химическими веществами, стальными и платиновыми проводами и двумя железными сосудами причудливой формы.

– Мне оставить это здесь, сэр? – спросил он у Кэмпбелла.

– Да, оставьте, – ответил Дориан, – боюсь, у меня есть для вас еще одно поручение, Фрэнсис. Как зовут садовника из Ричмонда, который поставляет орхидеи для имения Селби?

– Харден, сэр.

– Да, Харден. Немедленно отправляйтесь в Ричмонд и скажите этому Хардену лично, чтобы он отправил вдвое больше орхидей, чем я заказал. И чтобы было поменьше белых. Даже, знаете, я вообще не хочу белых. Сегодня просто замечательный день, а в Ричмонде очень славно, иначе я не стал бы вас беспокоить.

– Ах, разве это труды, сэр, о чем вы? К которому часу мне вернуться?

Дориан посмотрел на Кэмпбелла.

– Как долго продлится ваш эксперимент, Алан? – спросил он равнодушным тоном. Присутствие третьего человека в комнате придавало ему смелости.

Кэмпбелл нахмурился, прикусил губу:

– Около пяти часов.

– Значит, будет как раз хорошо, если вы вернетесь в половине восьмого. Впрочем, приготовьте только мой наряд – и весь вечер в вашем распоряжении. Я буду обедать не дома, так что вы мне не нужны.

– Спасибо, сэр, – сказал дворецкий, выходя из комнаты.

– Что же, Алан, не стоит терять ни минуты. Какой же тяжелый этот ящик! Я понесу его, а вы берите остальные вещи. – Он говорил быстро и командным тоном.

Кэмпбелл молча повиновался. Вместе они вышли из комнаты.

Когда они поднялись наверх, Дориан достал ключ и прокрутил его в замке. Затем он остановился на мгновение, и в его глазах мелькнула обеспокоенность.

– Не думаю, что я смогу войти, Алан.

– Что мне с того... Вы мне не нужны, – сухо ответил Кэмпбелл.

Дориан приоткрыл дверь и сразу увидел освещенное солнечными лучами лицо портрета. На полу перед ним лежало разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью впервые в жизни забыл завесить портрет, и уже собирался подбежать к нему, как увидел нечто, что заставило его отпрянуть.

Что это была за гадкая жидкость на одной руке, которая отблескивала так, будто портрет кровоточил? Как же это ужасно! Это показалось ему еще более ужасным, чем безмолвная фигура, которая, как он знал, сидела за столом и чья тень напоминала ему, что фигура эта никуда не делась.

Дориан глубоко вдохнул, открыл дверь немного шире и с прищуренными глазами и отвернутой головой вошел в комнату, полный решимости не смотреть в сторону стола, где находился мертвец. Он взял золотистую ткань и завесил портрет.

Боясь оглянуться, он сосредоточенно рассматривал узор на ткани. Он слышал, как Кэмпбелл заносил в комнату тяжелый ящик, железки и другие вещи, необходимые для его ужасной работы. Ему стало интересно, были ли они знакомы с Бэзилем Холлуордом, и если да, то как относились друг к другу.

– Оставьте меня, – прозвучал у него за спиной суровый голос.

Дориан развернулся и поспешно вышел из комнаты, заметив лишь, что Кэмпбелл прислонил тело к спинке стула и пристально смотрел в его желтое лицо. Спускаясь по лестнице, он услышал, как в замке поворачивается ключ.

Кэмпбелл вернулся в библиотеку гораздо позже семи. Он был бледен, но совершенно спокоен.

– Я выполнил то, о чем вы меня просили, – сказал он. – Всего хорошего. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся.

– Вы спасли мою жизнь, Алан. Я никогда этого не забуду, – просто ответил Дориан.

Как только Кэмпбелл ушел, он поднялся по лестнице. В комнате стоял

тяжелый запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший за столом, исчез.

Глава 15

В тот же вечер, в половине девятого, изысканно одетый Дориан Грей с бутоньеркой пармских фиалок в петлице вошел в гостиную леди Нарборо. Он был очень возбужден, в его висках бешено пульсировала кровь, но он поцеловал руку хозяйки с той же непринужденной элегантностью, что и всегда. Пожалуй, лучший способ выглядеть непринужденно – притворяться. Взглянув на Дориана Грея, нельзя было даже представить, что он пережил одну из самых больших трагедий нашего времени. Не могли же эти изящные руки наносить смертельные удары ножом, а эти улыбающиеся уста – проклинать Господа и все святое. Он и сам был удивлен своему спокойствию, и на мгновение эта его двойная жизнь подарила ему необъяснимое наслаждение.

Людей было немного, ведь прием был устроен на скорую руку. Леди Нарборо была умная женщина, которая, как говорил лорд Генри, была прекрасна в своем отсутствии красоты. Долгие годы она была верной женой для одного из самых скучных дипломатов, а затем похоронила его, как положено, в мраморном мавзолее, построенном по собственному проекту. Отдав дочерей замуж за уже немолодых, но весьма состоятельных джентльменов, она проводила свободное время, наслаждаясь французской литературой, французской кухней и французским юмором, когда ей удавалось его обнаружить.

Дориан был одним из главных ее любимцев, она любила повторять, как она рада, что они не встретились во времена ее юности.

«Я бы обязательно безумно влюбилась в вас, Дориан, – повторяла она, – и, конечно, забросила бы свой чепец за мельницу. Какое же счастье, что в то время вы еще и не родились. К сожалению, чепцы наши в то время были уродливы, а мельницы заняты, так что мне и пофлиртовать-то ни с кем не пришлось. В конце концов, в этом была вина Нарборо. Он был удивительно близорукий, а какой смысл обманывать мужа, который никогда этого не заметит?»

В тот вечер собралось довольно скучное общество. Леди Нарборо тихонько пояснила Дориану, прикрываясь весьма потрепанным веером, что это из-за того, что к ней неожиданно приехала одна из ее дочерей и, что еще хуже, привезла с собой своего мужа.

– Я считаю, что это крайне некрасиво с ее стороны, – прошептала она. – Конечно, я и сама каждое лето навещаю их, возвращаясь из

Гамбурга, но в моем возрасте просто необходимо время от времени дышать свежим воздухом, да и кроме того, должен же кто-то их расшевелить. Вы даже не представляете, что у них там за жизнь. Настоящая провинция! Они просыпаются рано, потому что у них много дел, и рано ложатся спать, потому что у них совсем не о чем поговорить. Последний громкий скандал там случился еще во времена королевы Елизаветы, вот они и засыпают сразу после обеда. Но вы будете сидеть не с ними. Вы сядете рядом со мной и будете меня развлекать.

Дориан ответил ей комплиментом и осмотрелся вокруг. Действительно, прием обещал быть крайне скучным. Двоих из присутствующих он раньше никогда не встречал, а остальную публику составляли Эрнест Гароуден – посредственный человек среднего возраста, которых так много в лондонских клубах, у которого не было врагов, но которого недолюбливали собственные друзья; леди Ракстон – слишком старательно одетая сорокасемилетняя дама, которая упрямо пыталась себя скомпрометировать, однако ей не хватало привлекательности, чтобы хоть кто-то поверил слухам о ней; миссис Эрлин, которая еще только пыталась сделать себе имя в почтенном обществе, – она крайне мило картавила и была такая рыжая, будто родилась в Венеции; леди Элис Чэпмен – дочь хозяйки, еще молодая, но уже одетая без всякого вкуса девушка, с типично английским лицом, которое невозможно было запомнить; и ее краснощекий светловолосый муж, который, казалось, считал, что чрезмерной жизнерадостностью можно компенсировать полное отсутствие идей.

Дориан пожалел, что пришел, но тут леди Нарборо взглянула на большие бронзовые часы, стоявшие на камине, и воскликнула:

– Генри Уоттон просто неприлично опаздывает! Я намеренно заглянула к нему сегодня утром, и он заверил меня, что приедет.

Это была большая радость, что Гарри должен был приехать, а когда дверь открылась и стало слышно, как он своим прекрасным голосом делает ленивые извинения убедительными, Дориан забыл о своей скуке.

Но он был не в состоянии есть за обедом. Блюда меняли одно за другим, но ни к одному из них Дориан даже не притронулся. Леди Нарборо все время упрекала его за то, что он «оскорбляет бедного Адольфа, который приготовил новое меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на друга, удивленный его молчаливым и отстраненным поведением. Время от времени дворецкий наполнял бокал Дориана шампанским. Он пил жадно, но жажда мучила его все больше.

– Дориан, – в конце концов не выдержал лорд Генри, когда подали заливную птицу, – что с тобой сегодня? Ты сам на себя не похож.

– Кажется, он влюбился, – сказала леди Нарборо, – и боится признаться, чтобы я не ревновала. Правильно делает.

– Дорогая леди Нарборо, – улыбнулся Дориан, – уже целую неделю я не влюблен – как раз с тех пор, как госпожа де Феррол уехала из города.

– Что вы, мужчины, находите в этой женщине? – воскликнула пожилая леди. – Не могу понять, честное слово.

– Это все потому, что она помнит вас юной, леди Нарборо, – сказал лорд Генри. – Она – единственный мостик между нами и вашими короткими платьицами.

– Она совсем не помнит мои короткие платьица, лорд Генри, а вот я прекрасно помню ее тридцать лет назад в Вене. Ее и ее декольте.

– Она до сих пор носит такое декольте, – ответил он, взяв длинными пальцами оливку, – а когда она надевает действительно изысканное платье, то выглядит как роскошное издание неважного французского романа. Она на самом деле удивительна и полна сюрпризов. Ее способность к семейной жизни просто поражает. Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотыми.

– Гарри, как тебе не стыдно! – воскликнул Дориан.

– Это наиболее романтическое объяснение, – засмеялась хозяйка. – Но погодите, лорд Генри, вы сказали – ее третий муж! Неужели Феррол уже четвертый?

– Именно так, леди Нарборо.

– Не может быть.

– Можете спросить мистера Грея. Он один из ближайших ее друзей.

– Это правда, мистер Грей?

– По крайней мере, она мне так говорит, – ответил Дориан. – Я спросил, не бальзамирует ли она сердца своих мужей, как Маргарита Наваррская, чтобы потом носить их на поясе. А она ответила, что это невозможно, поскольку ни один из них не имел сердца.

– Четверо мужей! Вот это я называю чрезмерным усердием.

– А я – чрезмерной смелостью. Я так ей и сказал.

– Действительно, смелости ей хватит на что угодно. А что же за человек этот Феррол? Я его не знаю.

– Для меня мужья прекрасных женщин – преступники, – отметил лорд Генри, попивая вино.

– Эх, лорд Генри. Неудивительно, что весь свет говорит о том, какой вы пропащий человек.

– Какой такой свет? – спросил лорд Генри, поднимая брови. – Такое можно услышать разве что на том свете. С этим светом мы в прекрасных

отношениях.

– Все мои знакомые говорят, что вы вполне падший человек, – заметила хозяйка, покачав головой.

На мгновение лорд Генри принял серьезный вид.

– Как же это ужасно, – наконец сказал он, – как же невыносима эта привычка современных людей говорить за спиной у других чистую правду о них.

– Он просто неисправим! – воскликнул Дориан и склонился над столом.

– Очень на это надеюсь, – со смехом ответила хозяйка. – Но серьезно, если вы все так увлекаетесь миссис де Феррол, то придется и мне снова выйти замуж, чтобы не отставать от моды.

– Вы никогда не выйдете замуж во второй раз, леди Нарборо, – мягко перебил лорд Генри. – Вы были слишком счастливы для этого. Женщина выходит замуж во второй раз от пренебрежения к первому мужу. Мужчина же женится во второй раз, потому что он обожал свою первую жену. Женщины ищут свое счастье, в то время как мужчины рискуют им.

– Нарборо тоже был не совершенен, – заметила пожилая леди.

– Иначе вы бы не влюбились в него. Женщины любят нас за недостатки. Если их у нас изрядное количество, то они готовы закрыть глаза на все, даже на наш ум. Боюсь, из-за этих слов вы больше никогда не пригласите меня на обед, леди Нарборо, но это правда.

– Конечно, это правда, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас за ваши недостатки, то где бы вы сейчас все были? Ни один из вас никогда не женился бы. Так и оставались бы кучкой несчастных холостяков. Конечно, это мало на что повлияло бы. Сейчас женатые живут как холостяки, а холостяки – как женатые.

– Что подделаешь, конец века, – сказал лорд Генри.

– Конец света, – ответила хозяйка.

– Скорее бы уж он наступил, – вздохнул Дориан. – Вся наша жизнь – это большое разочарование.

– Дорогой мой, – сказала леди Нарборо, надевая перчатки, – не стоит говорить, что вы выпили жизнь до дна. Когда кто-то так говорит, значит, это его жизнь выпила до дна. Лорд Генри – страшный грешник, иногда мне даже жаль, что я такой не была, но вы созданы для добра, ваше лицо говорит об этом. Я должна найти вам хорошую жену. Лорд Генри, вам не кажется, что мистеру Грею стоит жениться?

– Я все время говорю ему об этом, леди Нарборо, – ответил лорд Генри, поклонившись.

– Нам необходимо найти ему подходящую пару. Я сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и выпишу всех достойных невест.

– Надеюсь, в списке будет указан их возраст, леди Нарборо, – сказал Дориан.

– Конечно, разве что с небольшими поправками. Но в таком деле нельзя спешить. Я хочу, чтобы это был, как пишут в «Морнинг Пост», приличный брак и чтобы вы оба были счастливы.

– Какие же глупости говорят о счастливом браке! – воскликнул лорд Генри. – Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, но только при условии, что он не любит ее.

– Какой же вы циник! – воскликнула хозяйка, отодвинув стул и кивнув леди Ракстон. – Лорд Генри, приходите ко мне почаще. Вы прекрасно действуете на меня, гораздо лучше, чем все эти тоники, которые мне прописывает сэр Эндрю. Скажите только, какое общество вы предпочитаете, хочу, чтобы вам было приятно меня посещать.

– Мне нравятся мужчины, которые имеют будущее, и женщины, имеющие прошлое, – ответил лорд Генри. – Но в таком случае, вполне возможно, что среди приглашенных будут одни женщины.

– Боюсь, что именно так и будет, – засмеялась леди Нарборо, вставая. – Прошу меня простить, дорогая леди Ракстон, – добавила она, – я и не заметила, что вы еще не закурили.

– Ничего страшного, леди Нарборо. Я слишком много курю. Я хочу начать сдерживать себя в будущем.

– Пожалуйста, не надо, леди Ракстон, – сказал лорд Генри. – «Умеренность» – это роковая вещь. «Достаточно» – это обычный обед. «Более чем достаточно» – это роскошный пир.

Леди Ракстон посмотрела на него с любопытством.

– Непременно приходите ко мне как-нибудь, лорд Генри, и объясните это. Звучит, как захватывающая теория, – сказала она и покинула комнату.

– Не увлекайтесь слишком сплетнями и политикой, иначе мы перессоримся между собой наверху, – шутливо сказала леди Нарборо, также выходя из комнаты.

Мужчины посмеялись, а мистер Чэпмен занял почетное место за столом. Дориан также пересел, чтобы оказаться рядом с лордом Генри. Мистер Чэпмен начал громко рассказывать о положении дел в палате общин, высмеивая своих оппонентов. Ужасное для британцев слово «доктринер» раз за разом звучало в перерывах между взрывами смеха. Применительно к нему это слово обозначало вершину ораторского искусства. Он поднимал британский флаг над зданием мысли. Он

доказывал, что врожденная тупость нации, которую он оптимистично называл чисто английским здравым смыслом, и есть основа общества.

Лорд Генри улыбнулся и посмотрел на Дориана.

– Тебе уже лучше, друг? – спросил он. – Ты плохо выглядел за обедом.

– Все в порядке, Гарри. Я просто устал.

– Ты был великолепен вчера. Юная герцогиня просто в восторге от тебя. Она сказала мне, что планирует посетить Селби.

– Она пообещала, что приедет двадцатого.

– Вместе с Монмаутом?

– Конечно, Гарри.

– Он мне быстро надоедает, почти так же быстро, как и ей. Она очень умная, слишком умная, как для женщины. Ей не хватает волшебной, едва уловимой слабости. Мы восхищаемся золотыми идолами, потому что ноги у них из глины. У нее прекрасные ножки, но они не глиняные. Скорее, фарфоровые. Они прошли сквозь огонь и закалились в нем. Ей пришлось немало пережить.

– Она давно замужем? – спросил Дориан.

– По ее словам, целую вечность, ну а в книге пэров говорится о десяти годах. Должен отметить, что десять лет с Монмаутом могут действительно показаться вечностью. А кто еще будет?

– Уиллоуби и лорд Регби с женами, леди Нарборо, Джеффри Клустон – словом, как всегда. А еще я пригласил лорда Гротриена.

– Он мне нравится, – одобительно заметил лорд Генри. – Многие не разделяют мое мнение, но я считаю, что он вполне мил. Действительно, он иногда слишком много внимания уделяет своему наряду, но как же он образован. Он действительно современный человек.

– Я не уверен, сможет ли он приехать, Гарри. Возможно, ему придется отправиться в Монте Карло вместе с отцом.

– Эх, ну что за люди, эти родители! Постарайся уговорить его приехать. Кстати, Дориан, ты так рано ушел вчера. Еще одиннадцати не было. Чем ты занимался потом? Неужели отправился прямо домой?

Дориан быстро взглянул на него и нахмурился.

– Нет, Гарри, – наконец ответил он, – я вернулся домой только около трех.

– Ты был в клубе?

– Да, – выпалил Дориан и прикусил губу. – То есть нет, я не то имел в виду. Я не был в клубе. Я просто гулял. Почему ты такой любопытный, Гарри?! Тебе всегда хочется знать, кто чем занимался. Я люблю забывать, чем я занимался. Я пришел домой в половине третьего, если тебя

интересует точное время. Я забыл ключ от дома, поэтому дворецкому пришлось впускать меня, можешь спросить у него, если тебе нужно подтверждение моих слов.

Лорд Генри пожал плечами:

– Друг, да зачем это мне? Пойдем лучше в гостиную. Спасибо, мистер Чэпмен, но я не люблю херес. С тобой что-то случилось, Дориан. Расскажи. Ты сегодня сам не свой.

– Не обращай внимания, Гарри. Я просто не в настроении, вот и раздражаюсь. Я обязательно загляну к тебе завтра или послезавтра. Я не пойду в гостиную, передай леди Нарборо мои искренние извинения. Мне надо ехать домой.

– Что ж, хорошо, Дориан. Жду тебя завтра на чай. Герцогиня тоже будет.

– Постараюсь прийти, Гарри, – ответил Дориан, выходя из комнаты.

Приехав домой, он почувствовал, что ужас, который, как ему казалось, удалось усыпить, проснулся с новой силой. Будничные вопросы лорда Генри вывели его из равновесия, а он старался оставаться спокойным. Нужно было уничтожить все опасные вещи. Он вздрогнул. Ему было противно даже думать о том, чтобы касаться их. Но он понимал, что должен это сделать. Заперев дверь библиотеки, он открыл секретный шкаф и достал оттуда чемодан и пальто Бэзила Холлуорда. В камине горел огонь. Он еще подлил в него масла. Комнату наполнила невыносимая вонь горелой кожи. Чтобы уничтожить все доказательства, ему понадобилось три четверти часа. Он плохо чувствовал себя после этого, поэтому зажег ароматические свечи из Алжира и смочил руки и лоб освежающим уксусом.

Вдруг он застыл, его глаза засияли, и он нервно закусил губу. Между окнами стоял флорентийский шкафчик из черного дерева, украшенный слоновой костью. Он смотрел на него как на нечто, что завораживало и одновременно пугало, будто там было что-то, чего он желал и одновременно ненавидел. Его дыхание ускорилось. Его захлестнула безумная жажда. Он закурил, но почти сразу выбросил сигарету. Его веки опустились так низко, что ресницы коснулись щек. Но он все еще не сводил глаз со шкафчика. В конце концов он поднялся с дивана, подошел к шкафчику, открыл его и нажал на тайную пружинку. Из шкафчика медленно выдвинулся треугольный ящик. Его пальцы инстинктивно потянулись к нему и кое-что нашли внутри. Это была лакированная китайская шкатулка, черная с золотой отделкой. По бокам змеился узор в виде изогнутой волны, а шелковые шнуры с круглыми стразами и кистями

из сплетенных металлических нитей висели по углам. Он открыл ее. Внутри была зеленая, похожая на воск паста, которая имела тяжелый, резкий запах.

Мгновение он колебался, а на его устах застыла улыбка. Его трясло, хотя в комнате и было жарко. Он посмотрел на часы. Без двадцати двенадцать. Он положил коробочку на место, запер шкафчик и пошел в спальню.

В полночь Дориан Грей тихонько выскользнул из дома, переодетый в простого горожанина. На Бонд-стрит он нашел кэб, запряженный хорошим конем. Он подошел поближе и назвал адрес грубым голосом.

Кучер покачал головой и пробормотал:

– Нет, это для меня слишком далеко.

– Держите соверен, – сказал Дориан, – получите еще один, если будете ехать быстро.

– Хорошо, через час будем на месте, – сказал мужчина и направил свой экипаж в сторону реки.

Глава 16

Пошел холодный дождь, и тусклый свет уличных фонарей стал еще мрачнее. Все забегаловки уже закрывались, и было едва видно, как из их дверей группками выходят мужчины и женщины. Из одних трактиров раздавался жуткий смех, из других – пьяные вопли и ругань. Устроившись в кебе и надвинув на глаза шляпу, Дориан рассеянно смотрел на отвратительное лицо большого города и повторял слова, которые сказал ему лорд Генри в тот день, когда они познакомились: «Исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души». Да, именно в этом был секрет. Он делал так раньше и сделает это снова. Есть же специальные места для курильщиков опиума, где за деньги можно купить забвение, ужасные места, в которых можно уничтожить воспоминания о старых грехах, заставив их уступить место новым.

Луна висела низко над землей и была похожа на гигантский желтый череп. Время от времени большие бесформенные облака хоронили ее в своих объятиях. Уличные фонари встречались все реже, а сами улицы становились все более узкими и мрачными. В какой-то момент они даже сбились с пути и пришлось возвращаться целую милю. Лошадь уже устала, и от нее исходил пар. Окна кеба были завешены туманом.

«Исцелять душу с помощью ощущений и исцелять ощущения силой души» – эти слова постоянно звучали в его голове. Без сомнения, его душа смертельно больна. Смогут ли ощущения вылечить ее? Он пролил невинную кровь. Разве есть этому искупление? Ну что же, если этого нельзя искупить, по крайней мере, об этом можно забыть. Он твердо решил забыть, стереть воспоминания об этом, задушить их, как душат змею, которая осмелилась ужалить человека. В конце концов, разве Бэзил имел право так с ним говорить? Кто он такой, чтобы судить других? Он говорил ужасные, невыносимые вещи.

Экипаж ехал с каждой секундой все медленнее. Он открыл окно и поторопил извозчика. Ужасная жажда опиума начинала разъедать его изнутри. У него пересохло в горле, а его изящные руки сжимались в судорогах. Он неистово ударил коня своей палкой. Кучер засмеялся и стегнул лошадь плетью. Дориан неистово захохотал в ответ. Извозчик замолчал.

Казалось, они никогда не приедут, а улицы напоминали черную паутину огромного паука. Их однообразие было невыносимо, а густой

туман навевал на Дориана ужас.

Потом они проезжали кирпичные фабрики. Туман здесь был не такой густой, поэтому Дориан мог разглядеть похожие на бутылки высокие печи для обжига, в которых плясали яркие языки пламени. На экипаж залаяла собака, а где-то вдали кричала одинокая чайка. Лошадь попала ногой в яму, отскочила в сторону и перешла на галоп.

Через некоторое время они снова свернули с грунтовой дороги на мостовую. Большинство окон были темными, однако кое-где причудливые тени отражались в тусклом свете ламп. Он наблюдал за ними с интересом. Они двигались, будто гигантские марионетки, но жестикулировали, как живые существа. Он ненавидел их. Его сердце наполнялось гневом. Когда они повернули за угол, какая-то женщина крикнула им что-то сквозь открытую дверь, а двое мужчин бежали за кебом ярдов сто. Кучер ударил их кнутом.

Говорят, страсть заставляет мысли ходить по кругу. С ужасающим упорством повторял Дориан Грей слова об ощущениях и душе, пока не почувствовал, что они полностью отражают его настроение и оправдывают с точки зрения ума страсти, которые овладели бы им и без оправданий. Одна мысль заполонила каждую клетку его мозга. А неудержимое желание жить – самое ужасное из всех человеческих желаний – встревожило каждый фибр его души. Уродство, которое он раньше презирал за то, что оно делает вещи реальными, теперь стало ему дорого по той же причине. Уродство – это все, что есть настоящего в жизни. Грубые ругательства, отвратительные забегаловки, жестокость жизни, низость воров и подонков – все это возбуждало его воображение сильнее, чем изящество искусства и призрачные тени поэзии. Они были нужны ему, чтобы впасть в забвение. Через три дня он освободится от ужасных воспоминаний.

Вдруг кеб остановился при въезде на темную аллею. За крышами и дымоходами обшарпанных домов виднелись корабли. Облачка сизого тумана вокруг них напоминали паруса.

– Где-то здесь? – спросил кучер.

Дориан поднялся на ноги и огляделся.

– Да, здесь, – ответил он.

Легко выскочив из экипажа, Дориан отдал кучеру обещанные деньги и быстро пошел в сторону причала. Кое-где фонари мигали на борту крупных торговых кораблей. Их свет мерцал и расплывался в лужах. Вдали сияли огоньки парохода, на который загружали уголь перед рейсом за границу. Скользкий тротуар напоминал мокрый макинтош.

Он быстро повернул налево, оглядываясь время от времени, чтобы

убедиться, что никого нет позади. Через семь-восемь минут он подошел к маленькому домику, который приютился между двумя крупными фабриками. В одном из окон сиял огонек. Он остановился и постучал в дверь условленным способом.

Через секунду в коридоре послышались шаги, и дверь перед ним открылась. Не говоря ни слова, он юркнул мимо тусклой фигуры, которая, в свою очередь, и сама спряталась в тени. Конец коридора был завешен обтрепанной зеленой тканью, она заколыхалась от ветра, ворвавшегося в открытую дверь. Он отодвинул эту завесу и прошел в длинную комнату с низким потолком, которая выглядела как заброшенный танцевальный зал. На стенах висели газовые светильники, их тусклый свет отражался в зеркалах, висевших на стенах. Грязные отражатели, которые висели над фонарями, выглядели как диски света. Пол был покрыт желтыми опилками со следами ботинок и разлитого алкоголя. Несколько малайцев сидели вокруг железной печки и играли в кости, выставляя напоказ свои белоснежные зубы. За столом в углу дремал моряк, склонившись на стол и подложив под голову руки, а у ярко раскрашенной барной стойки, которая занимала всю стену, две исхудавшие женщины смеялись над стариком, который брезгливо смахивал что-то с рукавов своего пальто.

– Он думает, что по нему бегают красные муравьи, – захохотала одна из них, когда Дориан проходил мимо.

Старик посмотрел на нее с ужасом в глазах и жалостливо всхлипнул.

В дальнем конце комнаты была маленькая лестница, она вела в темный зал. Дориан быстро поднялся по ней и сразу же полной грудью вдохнул тяжелый аромат опиума. Когда же он вошел, светловолосый юноша, куривший трубку вблизи одной из ламп, посмотрел на него и нерешительно кивнул.

– И ты здесь, Эдриан? – процедил Дориан.

– Где же мне еще быть? – рассеянно ответил тот. – Никто из старых знакомых теперь и знать меня не хочет.

– Я думал, ты уехал из Англии.

– Дарлингтон ради меня пальцем не пошевелит. Мой брат наконец рассчитался по тому чеку. Джордж тоже не разговаривает со мной. А мне это и не важно, – добавил он, вздохнув. – Зачем какие-то друзья, если есть зелье. Видимо, у меня было слишком много друзей.

Дориан вздрогнул и оглянулся на причудливые фигуры, лежащие тут и там на тряпках в самых причудливых позах. Его завораживали их искривленные конечности, раскрытые рты и затуманенные глаза. Он знал, что это был за рай, в котором они сейчас пребывают, и что это за ад,

который несет в себе новые наслаждения. Они были в лучшем положении, чем он. Он был заложником собственных мыслей. Воспоминания разъедали его душу изнутри, подобно ужасной чуме. Время от времени он ловил на себе взгляд Бэзила Холлуорда. Он чувствовал, что ему не стоит здесь оставаться. Присутствие Эдриана Синглтона беспокоило его. Он стремился оказаться в месте, где бы его никто не знал. Он хотел убежать от самого себя.

– Я пойду в другое место, – сказал он после минутной паузы.

– К причалу?

– Да.

– Там наверняка и та сумасшедшая. Сюда ее больше не пускают.

Дориан пожал плечами:

– Мне надоели влюбленные в меня женщины. Женщины, которые меня ненавидят, гораздо интереснее. Да и зелье там получше.

– Точно такое же, как и здесь.

– А мне тамошнее больше по вкусу. Пойдем выпьем чего-то. Меня замучила жажда.

– Я ничего не хочу, – пробормотал юноша.

– Все равно пойдем.

Эдриан Синглтон устало поднялся и пошел за Дорианом в бар. Мулат в рваном тюрбане и потрепанном пальто хитро улыбнулся им и поставил на прилавок бутылку бренди и два стакана. К ним немедленно подсели несколько женщин и попытались с ними заговорить. Дориан демонстративно отвернулся от них и тихонько сказал что-то Эдриану Синглтону.

На лице одной из женщин появилась кривая улыбка.

– Ты глянь, какие мы сегодня гордые! – прошипела она.

– Ради бога, не говори со мной, – сказал Дориан, топнув ногой. – Чего тебе надо? Денег? Вот, держи и не смей больше разговаривать со мной.

В ее глазах на мгновение блеснули красные огоньки, но сразу же погасли. Она мотнула головой и начала жадно собирать брошенные ей монеты. Ее подруга с завистью следила за ней.

– Это все напрасно, – вздохнул Эдриан Синглтон, – я не хочу возвращаться. Зачем? Мне и здесь неплохо.

– Напиши мне, если тебе что-то понадобится, договорились? – сказал Дориан после короткой паузы.

– Может быть.

– Тогда пока.

– До встречи, – ответил юноша, поднимаясь по лестнице и вытирая рот

платком.

Дориан пошел к двери, и на его лице читалась боль. Когда он отодвинул занавес, женщина, которая взяла у него деньги, противно захохотала.

– Что, уже идешь, чертова душа? – воскликнула она резким голосом.

– А чтоб тебе! – рассердился он. – Не смей меня так называть!

Она щелкнула пальцами.

– А как же к вам обращаться? Прекрасный Принц, да? – закричала она ему вслед.

Сонный моряк вскочил на ноги после этих ее слов и начал безумно оглядываться вокруг. Он услышал звук закрывающейся двери и помчался вдогонку.

Дориан Грей быстро шел вдоль пристани под мерзким дождем. Встреча с Эдрианом Синглтоном странным образом тронула его. Ему стало интересно, действительно ли вина за разрушенную жизнь юноши лежит на нем, как в этом его обвинил Бэзил Холлуорд. Он закусил губу, а в его глазах на мгновение появилась грусть. В конце концов, разве это его касается? Жизнь слишком коротка, чтобы брать на себя ответственность за чужие ошибки. Каждый живет своей жизнью и самостоятельно платит цену за нее. Жаль, правда, что иногда приходится всю жизнь платить за единственную ошибку. Сколько долгов не отдавай судьбе, ей никогда не будет достаточно.

Психологи говорят, что есть такие моменты, когда жажда греха (или того, что мы называем грехом) настолько овладевает человеком, что он поддается ужасным порывам. В такие моменты мужчины и женщины теряют свободу воли. Они машинально движутся навстречу ужасному финалу. Выбор уже сделан за них, а совесть если не умирает, то лишь добавляет очарования этому бунту плоти. Теологи не устают напоминать нам, что самые страшные грехи случаются из-за непослушания. Величественный ангел, предтеча зла, был изгнан с небес именно за непослушание.

Равнодушный ко всему, сосредоточенный на мыслях о зле и собственной душе, жаждущей непослушания, Дориан торопливо вошел в темный крытый проход, через который всегда срезал дорогу к грязной забегаловке, куда он сейчас направлялся. Вдруг он почувствовал, как его схватили сзади, и прежде чем он успел хоть как-то среагировать, оказался прижатым к стене, а на горло ему легла грубая рука.

Он отчаянно боролся за свою жизнь и бешеными усилиями разорвал крепкую хватку на собственной шее. Через мгновение он услышал, как

щелкнул револьвер, и увидел его дуло, нацеленное ему прямо в голову. Револьвер держал невысокий крепкого телосложения мужчина.

– Что вам надо? – выдохнул он.

– Не двигайся, – сказал мужчина. – Если дернешься – застрелю.

– Вы с ума сошли. Что я вам сделал?

– Ты разрушил жизнь Сибилы Вэйн, – прозвучало в ответ, – а Сибилу Вэйн была моей сестрой. Она покончила с собой. Я знаю. Ее смерть на твоей совести. Я поклялся, что отомщу. Что убью тебя. Я искал тебя все эти годы. У меня не было ни одной зацепки, где тебя искать, ни следа. Оба из тех, кто мог бы описать мне тебя, уже мертвы. Я ничего о тебе не знал, кроме имени, которым она тебя называла. И вот это имя я случайно услышал сегодня ночью. Молись Господу, ведь сейчас ты сдохнешь.

Дориан Грей едва не упал в обморок от страха.

– Я никогда не знал эту девушку, – сказал он запинаясь, – никогда даже не слышал о ней. Вы сумасшедший.

– Тебе лучше покаяться. Ведь не будь я Джеймс Вэйн, если ты не сдохнешь здесь и сейчас.

Какое-то ужасное мгновение Дориан не знал, что ему сказать или сделать.

– На колени! – рявкнул мужчина с револьвером. – Даю тебе минуту, чтобы помолиться, не больше. Я сегодня отправляюсь в плавание в Индию, но сначала должен покончить с тобой. Одна минута – и все.

Дориан прижал руки к бокам. Оцепенев от ужаса, он не знал, что делать. И вдруг перед ним засиял огонек надежды.

– Стойте! – закричал он. – Сколько времени прошло с тех пор, как умерла ваша сестра?

– Восемнадцать лет, – сказал мужчина. – Зачем ты меня спрашиваешь? При чем тут годы?

– Восемнадцать лет! – воскликнул Дориан Грей с триумфом в голосе. – Восемнадцать лет! Выведите меня на свет и посмотрите на меня!

Мгновение Джеймс Вэйн колебался, не понимая, что бы это могло значить. В конце концов он схватил Дориана за шиворот и вывел из прохода.

Тусклого и мерцающего света фонарей было достаточно, чтобы указать ему на ужасную ошибку, которую он, как ему тогда показалось, едва не совершил. Ведь лицо человека, которого он едва не убил, сияло чистотой юности. На вид ему было не больше двадцати лет, именно в этом возрасте он в последний раз видел свою сестру.

Было очевидно, что перед ним не тот, кто разрушил ее жизнь.

Он отпустил Дориана и отшатнулся:

– Господи! Господи! Я ведь чуть не убил вас!

Дориан Грей тяжело вздохнул.

– Вы едва не совершили ужасный грех, – сказал он, строго глядя на растерянного мужчину. – Пусть это научит вас не брать на себя ответственность вершить правосудие.

– Простите, сэр, – оправдывался Джеймс Вэйн. – Я впал в заблуждение. Несколько слов в той проклятой дыре навели меня на ложный след.

– Идите лучше домой и не размахивайте револьвером, а то попадете впросак, – сказал Дориан, разворачиваясь и медленно идя вниз по улице.

Джеймс Вэйн был не в состоянии пошевелиться от ужаса. Он дрожал с головы до пят. Через некоторое время темная тень, скользившая вдоль стены, подошла к нему и положила руку ему на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Это была одна из женщин, которые пили в баре.

– Почему же ты не убил его? – прошипела она, приблизившись к нему вплотную. – Я поняла, что ты пошел за ним, как только ты выскочил из бара. Дурак! Надо было убить его. У него куча денег, а сам он – суций дьявол.

– Он не тот, кого я ищу, – ответил Джеймс, – а чужие деньги мне не нужны. Мне нужна жизнь одного человека. Тому мужчине должно быть уже под сорок. А этот совсем еще мальчик. Слава богу, что я не пролил невинную кровь.

Женщина горько засмеялась.

– Совсем еще мальчик! – прошипела она. – Да уж скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал из меня то, что стоит перед тобой.

– Врешь! – воскликнул Джеймс Вэйн.

Она подняла руки к небесам.

– Клянусь всем святым, что говорю тебе правду.

– Всем святым?

– Разрази меня гром, если не так. Он худший из всех, кто здесь бывает. Говорят, он продал свою душу дьяволу за красивое личико. Уже прошло почти восемнадцать лет, как я впервые его встретила. Он почти не изменился с тех пор, не то что я, – добавила она, противно хихикнув.

– Ты клянешься.

– Клянусь, – повторила она, – только не говори об этом ему. Я его боюсь, – вдруг всхлипнула женщина. – И дай мне хоть пенни, чтобы было чем заплатить за ночлег.

Он вырвался от нее, громко выругался и побежал на угол улицы, но

Дориана Грея не было уже и в помине. Когда он оглянулся, женщина также исчезла.

Глава 17

Неделю спустя Дориан сидел в оранжерее поместья Селби-Роял и разговаривал с милой герцогиней Монмаут, которая приехала к нему вместе со своим худощавым шестидесятилетним мужем. Как раз было время пить чай, поэтому мягкий свет большой лампы сверкал на фарфоре и серебре изысканного сервиза. За столом степенно хозяйничала герцогиня. Ее изящные ручки кружили между чашками, а на полных красных губах застыла улыбка – Дориан шептал ей что-то веселое. Лорд Генри полулежал в обитом шелком кресле и наблюдал за ними. Леди Нарборо сидела на диване персикового цвета и делала вид, что слушает герцога, который рассказывал о редком жуке, которого ему удалось добавить в свою коллекцию. Трое юношей в смокингах угощали дам пирожными. На данный момент в доме было двенадцать гостей, и еще несколько должны были прибыть на следующий день.

– О чем вы там говорите? – спросил лорд Генри, потянувшись к столу, чтобы поставить чашку. – Скажите, Глэдис, Дориан уже рассказывал вам о моем намерении все окрестить по-новому? Это такая замечательная идея.

– Но я не хочу, чтобы меня заново окрестили, Гарри, – ответила герцогиня, осеняя его взглядом своих волшебных глаз. – Мне вполне нравится мое собственное имя, как и мистеру Грею – его. По крайней мере, я так думаю.

– Дорогая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять ваши совершенные имена. Собственно, говоря, я думал о цветах. Я вчера срезал орхидею для бутоньерки. Она была прекрасна, как семь смертных грехов. Мне хватило глупости, чтобы спросить садовника, как она называется. Он ответил, что это замечательный сорт «Робинзониана» или какой-то ужас вроде этого. К большому сожалению, мы потеряли способность давать вещам прекрасные имена. Имена – это главное. Я никогда не выступаю против поступков. Я выступаю против слов. Именно поэтому мне противен грубый реализм в литературе. Мужчину, который называет лопату лопатой, нужно заставить этой лопатой работать. Только на это он и способен.

– А как же нам тогда называть вас, Гарри? – спросила она.

– Его будут звать Принц Парадокс, – сказал Дориан.

– Да, это действительно о нем! – воскликнула герцогиня.

– Ни в коем случае, – засмеялся лорд Генри, удобнее устроиваясь в кресле. – Как только к кому-то пристаёт ярлык, от него уже нет спасения. Я

отрекаюсь от титула.

– Король не имеет права отречься от титула, – сказали красивые губки.

– Так вы хотите, чтобы я стал защитником престола?

– Именно так.

– Я открываю людям истины будущего.

– Я предпочитаю недостатки настоящего.

– Вы оставляете меня без оружия, – сказал лорд Генри, которому уже передалось веселье герцогини.

– Я отобрала щит, Гарри, но копье все еще с вами.

– Я никогда не берусь за оружие в борьбе с красотой, – сказал он, взмахнув рукой.

– Зря, Гарри, поверьте. Вы слишком высоко цените красоту.

– Как вы можете такое обо мне говорить? Я действительно считаю, что лучше быть красивым, чем хорошим. Но в то же время вы не найдете человека, более охотно признающего, что лучше быть хорошим, чем безобразным.

– Так получается, что уродство – один из смертных грехов? – поинтересовалась герцогиня. – Вы только что сравнивали с ними орхидею.

– Уродство – это одна из семи смертных добродетелей, Глэдис. И вам, как настоящей тори, не стоит пренебрегать ими. Пиво, Библия и семь смертных добродетелей сделали Англию такой, какая она есть.

– Вы так не любите свою страну? – поинтересовалась герцогиня.

– Я в ней живу.

– Чтобы можно было еще яростнее критиковать ее?

– А вы хотели бы, чтобы я согласился с европейцами? – ответил он.

– А что говорят европейцы?

– Что Тартюф переехал в Англию и начал здесь торговать.

– Это ваше выражение, Гарри?

– Дарю его вам.

– Я не смогу его использовать. Слишком уж оно правдиво.

– Не стоит бояться. Наши соотечественники никогда не узнают себя в чужих словах.

– Они благоразумные.

– Скорее, хитрые. Они компенсируют собственную тупость богатством, а собственные грехи – лицемерием.

– Однако нам принадлежит много выдающихся достижений прошлого.

– Нам их навязали, Глэдис.

– А мы с честью несли это бремя.

– Пока не пришли к фондовой бирже.

Она покачала головой.

- Я верю в нашу нацию.
- Она выживает только благодаря упорству и настойчивости.
- Благодаря им же она и развивается.
- Меня больше привлекает упадок.
- А как же искусство? – спросила она.
- Оно представляет собой болезнь.
- А любовь?
- Иллюзия.
- Религия?
- Модный заменитель веры.
- Вы ужасный скептик.
- Ни в коем случае! Скептицизм дает дорогу вере.
- Кто же вы тогда?
- Определить – значит ограничить.
- Дайте мне хоть какую-то нить.
- Нити обрываются, и вы рискуете заблудиться в лабиринте.
- Вы запутали меня. Давайте сменим тему разговора.
- Например, поговорим о любезном хозяине этого поместья. Много лет назад его называли Прекрасным Принцем.
- Не напоминай мне об этом! – воскликнул Дориан Грей.
- Хозяин сегодня просто невыносим, – сказала герцогиня, краснея. – Мне кажется, он считает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне красивый вид бабочки.
- Что ж, надеюсь, он не тычет в вас иглы, – пошутил Дориан.
- О нет, мистер Грей, этим занимается моя служанка, когда сердится на меня.
- А за что же она сердится на вас, герцогиня?
- За самые обыденные вещи, мистер Грей, поверьте. Чаще всего это случается, когда я захожу в комнату без десяти девять и говорю, что должна быть одета в половине девятого.
- Как невежливо с ее стороны! Следовало бы выгнать ее за такое.
- Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне шляпки. Помните ту, что была на мне на приеме у леди Хилстон? Вижу, что нет, но вы достаточно вежливы, чтобы сделать вид, будто помните. Так вот, она сделала ее просто из ничего. Все хорошие шляпки сделаны из ничего.
- Как и хорошие репутации, Глэдис, – вмешался в разговор лорд Генри. – Стоит только сделать что-то стоящее, как у тебя сразу же появляются враги. Чтобы быть популярным, нужно быть

посредственностью.

– Но с женщинами это правило не срабатывает, – отметила герцогиня, покачав головой. – А женщины управляют миром. Поверьте, мы терпеть не можем посредственных мужчин. Мы, женщины, как однажды кто-то сказал, влюбляемся ушами, а мужчины влюбляются глазами, если вы вообще когда-то влюбляетесь.

– По-моему, мы только это и делаем, – сказал Дориан.

– Значит, вы никого не любите по-настоящему, – ответила герцогиня с притворным сожалением в голосе.

– Дорогая Глэдис! – воскликнул лорд Генри. – Как вы можете говорить так? Любовь живет благодаря повторам, и только эти повторы превращают простую жажду в искусство. К тому же каждая влюбленность – это единственная влюбленность в жизни. Меняется только объект, но страсть все та же. Она только усиливается со временем. Мы можем пережить только один выдающийся момент в жизни, а тайна жизни заключается в том, чтобы переживать его как можно чаще.

– Даже если это причиняет боль, Гарри? – спросила герцогиня после короткой паузы.

– Особенно если это причиняет боль, – ответил лорд Генри.

Герцогиня повернулась и посмотрела на Дориана Грея. В ее глазах читался интерес.

– Что вы думаете по этому поводу, мистер Грей? – спросила она.

Мгновение Дориан колебался. Затем он откинул голову назад и засмеялся.

– Я всегда соглашаюсь с Гарри, герцогиня.

– Даже когда он не прав?

– Гарри никогда не ошибается, герцогиня.

– Его взгляды дарят вам счастье?

– Я никогда не искал счастья. Кому оно может быть нужно? Я искал удовольствий.

– И находили, мистер Грей?

– Часто. Даже слишком часто.

– А я ищу покоя, – вздохнула герцогиня. – И если я не пойду сейчас переодеваться, то сегодня его точно не найду.

– Позвольте мне выбрать для вас орхидеи, герцогиня, – сказал Дориан, вскочив на ноги и направившись в оранжерею.

– Вы открыто флиртует с ним, Глэдис, – обратился к своей кузине лорд Генри. – Будьте осторожны! Он слишком привлекателен.

– А иначе не было бы никакого смысла бороться.

– Значит грек против грека?

– Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.

– И потерпели поражение.

– Есть вещи, страшнее плена, – ответила герцогиня.

– Вы скачете, отпустив вожжи.

– Именно в этом смысл жизни.

– Я запишу это в свой дневник.

– Что?

– Что ребенок, когда обожжется, снова тянется к огню.

– Я никогда и близко не была у огня. Он не коснулся моих крылышек.

– Все равно они вам служат для чего угодно, но только не для полета.

– Смелость перешла от мужчин к женщинам. Это для нас новый вызов в жизни.

– У вас есть соперница.

– Кто?

– Леди Нарборо, – с улыбкой прошептал он. – Она просто в восторге от него.

– Не пугайте меня так. Интерес к старине губителен для нас, романтиков.

– Ха! Романтиков! Да ведь женщины пользуются всеми возможными научными средствами.

– Нас этому учили мужчины.

– Но они не смогли изучить вас.

– А как бы вы описали наш пол?

– Как сфинкса без загадок.

Она с улыбкой посмотрела на него.

– Что-то долго нет мистера Грея, – сказала она. – Пойдемте поможем ему. Я еще даже не сказала ему, какого цвета платье надену.

– Вам придется надеть платье под цвет его орхидей, Глэдис.

– Это стало бы преждевременной капитуляцией.

– Романтика в искусстве возникает в момент кульминации.

– Я должна иметь пути для отступления.

– Как парфяне?

– Парфяне убежали в пустыню. У меня же нет такой возможности.

– У женщин не всегда есть выбор, – ответил лорд Генри, но не успел он закончить предложение, как в дальнем конце оранжереи раздался сдавленный стон, и они сразу же услышали, как упало что-то тяжелое.

Все вскочили на ноги. Герцогиня оцепенела от ужаса. А очень испуганный лорд Генри поспешил в дальний конец оранжереи, где нашел

Дориана Грея, который лежал лицом вниз без сознания.

Его сразу же перенесли в гостиную и положили на диван. Через несколько минут он пришел в себя и растерянно оглянулся вокруг.

– Что произошло? – спросил он. – А! Вспомнил! Гарри? Я здесь в безопасности?

Он задрожал.

– Дорогой Дориан, – ответил лорд Генри, – ты просто потерял сознание, ничего страшного. Ты, наверное, слишком истощен. Лучше тебе не выходить на обед. Я обо всем позабочусь.

– Нет, я пойду, – сказал он, поднимаясь на ноги. – Мне нельзя оставаться одному.

Он пошел в свою комнату и переоделся. За обедом он вел себя отчаянно весело, но время от времени его пронизывал ужас, когда он вспоминал смертельно бледное лицо Джеймса Вэйна, которое увидел в окне оранжереи.

Глава 18

На следующий день Дориан не выходил из дома. Он даже почти не выходил из своей комнаты, пребывая в оцепенении от страха перед смертью, хотя и жизнь была ему безразлична. Им овладели мысли о том, что на него охотятся, за ним крадутся, ожидая момента, чтобы убить. Он вздрагивал, даже когда слышал, как ветерок шуршит занавесками на окнах. Опадавшие листья, которые ветер прижимал к стеклам, напоминали ему о собственных неудовлетворенных амбициях и горьких сожалениях. Когда он закрывал глаза, то вновь и вновь видел перед собой лицо моряка, и сердце его сжималось от страха.

Хотя, возможно, это все лишь плод его воображения, которое решило увидеть месть в темноте и показать ему ужас возможной казни. Реальная жизнь неподвластна логике, в отличие от воображения. Именно воображение заставляет раскаяние сопровождать грехи. Именно воображение добавляет преступлениям чудовищности. В реальной жизни злые люди никогда не получают заслуженной кары, а хорошие – вознаграждения. Сильные достигают успеха, а слабых ждут неудачи. Вот и все. Кроме того, разве могло случиться так, что никто из слуг не заметил, что вокруг дома бродит чужак. Если бы на клумбах были хоть какие-то следы, об этом сразу же сообщили бы садовники. Именно так, это все лишь плод его воображения. Брат Сибилы Вэйн не возвращался, чтобы убить его. Он отправился в дальнее плавание, чтобы сгинуть где-то посреди моря. К тому же моряк не знал, не мог знать, кто он такой. Маска молодости спасла его.

Однако, даже если это была лишь иллюзия, какой же ужасной была сама мысль о том, что сознание способно создавать ужасные фантомы, придавать им видимые очертания и заставлять их проходить перед глазами. Во что превратилась бы его жизнь, если бы тени его преступлений преследовали его день и ночь, смеялись бы над ним из своего укрытия, нашептывали разные ужасы ему на ухо, пока он сидел за обедом, или заставляли его просыпаться среди ночи от невыносимых кошмаров. Когда мысль об этом заполнила его сознание, он весь побледнел, и ему даже показалось, что в комнате стало прохладнее. Ах! Он убил собственного друга в безумном порыве! Какой же невыносимой была сама только мысль об этом! Он вновь и вновь видел перед собой сцену убийства. Каждая отвратительная деталь теперь казалась ему еще более ужасной. Тень греха,

ужасная и красная, как кровь, приближалась к нему из темной пещеры памяти.

Когда лорд Генри заглянул к нему в шесть, то застал Дориана в слезах, будто его сердце разбили вдребезги.

Он не выходил на улицу целых три дня. Зимнее утро со своим прохладным, насыщенным ароматом сосен воздухом, казалось, снова пробудило в нем радость и жажду жизни. И это изменение вызвала не только сила природы. Его душа восстала против чрезмерных переживаний, которые могли отравить ее, лишив покоя. Именно так всегда случается с утонченными натурами. Они должны укрощать или забывать слишком сильные переживания. Такие переживания или убивают их, или умирают сами. Тусклые сожаления и тусклые чувства длятся годами. Сильные же сожаления и влюбленности обречены из-за своей избыточности. Кроме того, он уже убедил себя, что стал жертвой собственных ужасающих иллюзий и теперь воспринимал свои страхи с сожалением и в значительной степени с презрением.

После завтрака он час погулял с герцогиней в саду, а затем отправился в другую часть парка, чтобы присоединиться к охоте. От мороза трава была будто присыпана солью. Небо напоминало перевернутую чашу голубого металла. Тоненькая полоска льда проводила границу спокойного, заросшего камышом озера.

На краю соснового леса он заметил сэра Джефффри Клустона, брата герцогини, который как раз вынимал пустые гильзы из своего ружья. Дориан выскочил из своего экипажа, приказал извозчику возвращаться домой и отправился навстречу своему гостю сквозь густые, но невысокие кусты.

– Ну как охота, Джефффри? – спросил он.

– Да не особо, Дориан. Пожалуй, большинство птиц уже улетели. Надеюсь, после обеда, когда мы переберемся на другое место, нам повезет больше.

Дориан пошел рядом с ним. Чистый, прозрачный воздух, золотистые и красные блики солнца, хрипловатые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкие выстрелы ружей – все это захватывало его, дарило ему ощущение счастья и свободы. Он находился в плену собственной беспечной радости.

Вдруг заяц с черными пятнышками на кончиках ушей выскочил из-за бугорка ярдах в двадцати от них. Сэр Джефффри сразу же приложил ружье к плечу, но было в грациозных прыжках животного нечто такое, что очаровало Дориана, и он воскликнул:

– Не стреляйте, Джеффри! Пусть живет.

– Не говорите глупостей, Дориан! – ответил его спутник и выстрелил, как только заяц юркнул в кусты.

Сразу же раздались два крика. Ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик мужчины.

– Боже милостивый! Я попал в загонщика! – воскликнул сэр Джеффри. – Каким же дураком надо быть, чтобы полезть под пули! Прекратите стрелять! – изо всех сил закричал он. – Здесь человек ранен.

Сразу же прибежал старший егерь с палкой в руках.

– Где, сэр? Где он? – спросил старший егерь.

В то же время во всем лесу утихли выстрелы.

– Вот, – сердито ответил сэр Джеффри, спеша в кусты. – Какого черта вы не смотрите за своими людьми?! Всю охоту мне испортили.

Дориан наблюдал за тем, как они нырнули в кустарник, продираясь сквозь ветви. Через минуту они снова показались, таща за собой тело. Он с ужасом отвернулся. Ему казалось, что несчастья неустанно преследуют его. Он услышал вопрос сэра Джеффри, умер ли загонщик, и утвердительный ответ егеря. Лес сразу же ожил и закишел людьми. Послышался топот множества ног и гомон голосов. Над их головами пролетел большой фазан с красной грудью.

Через несколько секунд, которые для расстроенного трагедией Дориана показались бесконечными часами, он почувствовал руку на своем плече. Дориан вздрогнул и огляделся.

– Дориан, – сказал лорд Генри, – на твоём месте я бы объявил, что на сегодня достаточно охотиться. Будет не совсем уместно продолжать стрелять.

– Лучше бы люди навсегда прекратили охотиться, Гарри, – ответил он с горечью в голосе. – Это ужасное и жестокое развлечение. Загонщик?.. – Он не смог договорить.

– Боюсь, что так, – отозвался лорд Генри. – Ему в грудь попал целый заряд дроби. Он, скорее всего, умер сразу. Пойдем, нам стоит вернуться к дому.

Они молча прошли ярдов пятьдесят, когда Дориан наконец посмотрел на лорда Генри, глубоко вздохнул и сказал:

– Это дурной знак, Гарри, очень дурной знак.

– Что? – спросил лорд Генри. – А! Ты об этом случае. Но, друг, здесь уже ничем не поможешь. Тот человек сам виноват. Зачем было лезть на линию огня? К тому же нас это не касается. Конечно, для Джеффри это неприятность. Негоже дырять загонщиков. Люди могут подумать, что он

не умеет стрелять. А это не так – Джефффри прекрасно стреляет. Но теперь уже нет смысла говорить об этом.

Дориан покачал головой.

– Это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что с кем-то из нас вот-вот случится что-то ужасное. Скорее всего, со мной, – добавил он, закрывая глаза рукой, словно пытаясь укрыться от боли.

Лорд Генри засмеялся в ответ.

– Единственная по-настоящему ужасная вещь в нашей жизни, Дориан, – это скука. Это единственный грех, который невозможно простить. Но нам она не грозит, по крайней мере, пока публика будет обсуждать этот несчастный случай за обедом. Надо будет сказать им, что это запретная тема. А относительно знаков, которые дает нам судьба, то их не существует. Судьба не посылает нам вестников. Она или слишком мудра, или слишком жестока для этого. К тому же, ну что может с тобой случиться, Дориан? У тебя есть все, чего только можно желать. Любой сочтет за счастье оказаться на твоём месте.

– А я сочту за счастье поменяться местами с любым, Гарри. Не надо так смеяться. Я говорю тебе правду. Бедный крестьянин, который только что умер, находится в гораздо лучшем положении, чем я. Я не боюсь смерти. Меня ужасает только ее приближение. Кажется, будто ее гигантские крылья уже навевают на меня холод. Господи! Разве ты не видишь там за деревьями человека, который ищет меня взглядом, ожидает меня?

Лорд Генри посмотрел в ту сторону, куда дрожащей рукой указал Дориан.

– Действительно, – сказал он с улыбкой на лице. – Я вижу, что там тебя ждет садовник. Думаю, он хочет спросить, какие цветы ставить на стол сегодня вечером. Друг, ты слишком нервный! Посети моего врача, как только мы вернемся в город.

Увидев, как к ним приближается садовник, Дориан облегченно вздохнул. Садовник снял шляпу, неуверенно посмотрел на лорда Генри, достал из кармана письмо и отдал его своему хозяину.

– Герцогиня приказала мне дожидаться ответа, – сказал он.

– Скажите герцогине, что я сейчас приду, – сухо ответил Дориан и спрятал письмо в карман.

Садовник развернулся и быстро направился к дому.

– Как же женщины любят рискованные поступки, – засмеялся лорд Генри. – Это одно из тех качеств, за которые я их больше всего люблю. Женщина готова флиртовать с кем угодно, пока окружающие наблюдают за

этим.

– А ты так же любишь рискованные слова, Гарри! Но в данном случае ты не прав. Герцогиня нравится мне, но я в нее не влюблен.

– А вот герцогиня очень влюблена в тебя, хотя нравишься ты ей гораздо меньше. Из вас выйдет отличная пара.

– Ты пытаешься создать скандал, а для этого нет никаких оснований.

– Основанием для любого скандала является вера в отсутствие морали у людей, – заметил лорд Генри, закуривая.

– Ты готов пожертвовать кем угодно ради удачной эпиграммы, Гарри.

– Люди сами восходят на жертвенный алтарь, – прозвучало в ответ.

– Если бы я мог любить! – вдруг пафосно воскликнул Дориан Грей. – Но кажется, во мне уже умерли все страсти и уснули все желания. Я слишком сосредоточен на себе. Собственная личность стала для меня обузой. Я хочу убежать, забыть все. Мне не стоило сюда приезжать. Думаю, нужно написать Харви, чтобы готовил яхту. На яхте можно чувствовать себя в безопасности.

– В безопасности от чего, Дориан? Я же вижу, что ты в какой-то беде. Почему ты не хочешь рассказать мне, в чем дело? Ты же знаешь, я охотно помогу тебе.

– Я не могу рассказать тебе, Гарри, – грустно ответил Дориан. – К тому же это все только мои выдумки. Этот несчастный случай очень расстроил меня. У меня ужасное предчувствие, что нечто подобное может случиться со мной.

– Ну что за глупости!

– Надеюсь, ты прав. Но я не могу ничего с этим поделать. А вот и герцогиня, похожая на Артемиду. Как видите, герцогиня, мы вернулись.

– Я уже слышала об этом несчастье, мистер Грей, – ответила она. – Бедный Джеффри очень огорчен. Кажется, вы просили его не стрелять в зайца. Надо же, как все вышло.

– Действительно, интересно получилось. Даже не знаю, почему я это сказал. Возможно, это была просто прихоть. Слишком уж прекрасное было то создание. Но зря они рассказали вам про это. Ужасная история!

– Она меня уже раздражает, – вмешался лорд Генри. – Эта история не имеет никакого значения с точки зрения психологии. Вот если бы Джеффри сделал это намеренно – это было бы интересно! Я хотел бы познакомиться с настоящим убийцей.

– Гарри, ваши слова отвратительны! – воскликнула герцогиня. – Разве не так, мистер Грей? Гарри, мистеру Грею снова плохо. Он сейчас потеряет сознание.

Дориан с трудом поднялся и улыбнулся.

– Ничего страшного, – успокоил он герцогиню, – просто в последнее время меня подводят нервы. Вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил пешком сегодня утром. Я не слышал, что сказал Гарри. Что-то очень плохое? Расскажите мне как-нибудь в другой раз. Думаю, мне стоит пойти полежать. Вы же простите меня, правда?

Они пришли к большой лестнице, которая вела из оранжереи на террасу.

Когда дверь за Дорианом закрылась, лорд Генри обернулся и внимательно посмотрел на герцогиню.

– Вы сильно влюблены в него? – спросил он.

Некоторое время она не отвечала, а только молча смотрела вдаль.

– Если бы я знала, – в конце концов ответила герцогиня.

Он покачал головой:

– Знание было бы губительным. Людей завораживает неопределенность. Туман добавляет красоты вещам.

– Но можно сбиться с пути.

– Все дороги ведут к одному.

– К чему же?

– Разочарованию.

– У меня с него все только начиналось, – вздохнула она.

– Оно пришло к вам в короне герцога.

– Я устала от листьев земляники.

– Они уже стали частью вас.

– Только на публике.

– Вам их будет не доставать.

– Я не собираюсь терять ни одного.

– У Монмаута есть уши.

– В его возрасте они уже ничего не слышат.

– Он никогда не ревновал вас?

– Если бы...

Он оглянулся вокруг, будто в поисках чего-то.

– Что вы ищете? – спросила она.

– Наконечник вашей рапиры, – ответил он, – кажется, вы его потеряли.

– Однако маска все еще на мне, – засмеялась она.

– Она подчеркивает красоту ваших глаз, – прозвучало в ответ.

Герцогиня снова засмеялась. Ее зубы напоминали белоснежные семена ярко-красного плода.

Наверху же, в своей спальне, лежал на диване Дориан Грей, и тело его

сотрясилось от ужаса. Бремя жизни вдруг стало слишком тяжелым для него. Ему казалось, что ужасная смерть несчастного загонщика, которого застрелили в кустарнике, как дикого зверя, предвещала его собственную гибель.

Услышав слова лорда Генри, сказанные с шутливым цинизмом, Дориан едва не потерял сознание.

В пять часов он позвал слугу и приказал упаковать его вещи и подать карету в половине девятого, чтобы он мог отправиться в Лондон ночным экспрессом. Он решил больше не ночевать в Селби-Роял, этом проклятом месте, где смерть бродит и среди белого дня, а трава в лесу была полита кровью.

Затем он написал лорду Генри записку, в которой объяснял, что едет в Лондон к врачу и просил развлечь гостей во время его отсутствия. Когда он вкладывал письмо в конверт, в комнату постучали, и слуга сообщил, что старший егерь хочет поговорить с Дорианом. Он нахмурился и закусил губу.

– Пусть войдет, – наконец сказал он.

Как только егерь вошел, Дориан достал с полки свою чековую книжку и положил ее перед собой.

– Я так понимаю, вы пришли, чтобы поговорить о несчастном случае, который произошел сегодня утром, Сорнтон? – спросил он, беря в руки ручку.

– Да, сэр.

– Бедняга был женат? У него есть семья? – спросил Дориан с уставшим видом. – Если так, то я не оставлю их на произвол судьбы, я отправлю им сумму, которую вы сочтете целесообразной.

– Мы не знаем, кто он такой, сэр. Именно поэтому я решился беспокоить вас.

– Не знаете, кто он такой? – рассеянно спросил Дориан. – Что вы имеете в виду? Разве он не из ваших людей?

– Нет, сэр. Я его никогда не видел раньше. Он похож на моряка.

Ручка выпала у Дориана из рук, и он почувствовал, что его сердце замерло в груди.

– Моряк? Вы сказали, моряк?

– Да, сэр. Татуировки на обеих руках и все такое.

– У него что-то нашли? Что-то, что могло бы рассказать, кто он такой?

– Немножко денег и шестизарядный револьвер. Никаких документов. Мужчина вроде приличный, но простой.

Дориан сразу поднялся. Перед ним мелькнула надежда, и он схватился

за нее обеими руками.

– Где тело? – воскликнул он. – Пойдемте скорей! Я должен увидеть его.

– Оно в пустой конюшне на ферме, сэр. Люди не хотят держать труп в доме. Говорят, мертвецы приносят несчастья.

– На ферме! Немедленно отправляйтесь туда и ждите меня. И скажите конюху, чтобы привел мне лошадь.

Минут через пятнадцать Дориан уже мчался галопом в направлении конюшни. Деревья стеной проносились мимо, а на пути раз за разом встречались невероятные тени. Однажды кобыла свернула в сторону белых ворот и чуть не сбросила его с седла. Он ударил ее по шее кнутом, и она помчалась вперед, будто стрела. Из-под ее копыт летели камни.

Наконец он прискакал на ферму. По двору ходили двое мужчин. Он соскочил с лошади и отдал вожжи одному из них. В отдаленной конюшне мерцал свет. Что-то ему подсказывало, что труп должен лежать именно там. Он быстро пошел туда и уже положил руку на дверь.

На мгновение он остановился, чувствуя, что стоит на пороге открытия, которое может спасти или же разрушить его жизнь. Затем он резко открыл дверь и вошел.

В дальнем углу на куче мешков лежал труп мужчины, одетый в грубую рубашку и синие брюки. Его лицо было накрыто платком, а позади него догорала свеча.

Дориан Грей вздрогнул. Он понял, что не сможет собственноручно убрать платок, поэтому позвал на помощь одного из работников фермы.

– Уберите платок с лица. Я хочу его увидеть, – велел он, опираясь на косяк двери.

Когда работник фермы открыл лицо трупа, Дориан сделал шаг вперед. Радостный возглас сорвался с его губ. Перед ним лежало тело Джеймса Вэйна.

Он еще несколько минут смотрел на мертвое тело. Когда же он возвращался в дом, то в его глазах стояли слезы, ведь теперь он был в безопасности.

Глава 19

– И зачем ты говоришь, что решил стать лучше? – сказал лорд Генри, погружая свои бледные пальцы в медный сосуд с розовой водой. – Ты и так совершенен. Не надо меняться.

Дориан Грей покачал головой:

– Нет, Гарри. Я совершил много ужасных поступков в своей жизни. Но больше этого не случится. Вчера я начал делать добро.

– Где же ты был вчера?

– В деревне, Гарри. Я остановился в маленькой таверне.

– Дорогой друг, – улыбнулся лорд Генри, – в деревне любой может быть праведником. Там же нет никаких соблазнов. Именно поэтому люди, которые живут в деревне, полностью лишены цивилизованности. Цивилизованным быть непросто. Этого состояния можно достичь только двумя способами. Нужно быть или культурным, или испорченным. Крестьяне не имеют ни одной из этих возможностей, поэтому они до сих пор добродетельны.

– Культура и испорченность, – повторил за ним Дориан. – Я кое-что знаю и о том, и о другом. Мне очень жаль, Гарри, что их невозможно совместить. Ведь у меня теперь новый идеал в жизни, Гарри. Я стану другим человеком. Думаю, я уже немного изменился.

– Ты так и не рассказал мне о своем хорошем поступке. Или ты говорил, что их было уже несколько? – спросил лорд Генри, положив себе на тарелку пирамидку из клубники и посыпая ее сахарной пудрой.

– Я расскажу тебе, Гарри. Эта история относится к тем, которые я могу рассказать только тебе. Я кое-кого пощадил. Это звучит самовлюбленно, но ты понимаешь, о чем я. Она прекрасна и удивительно похожа на Сибилу Вэйн. Наверное, именно поэтому я обратил на нее внимание. Ты же помнишь Сибилу Вэйн, правда? Кажется, это было так давно! Так вот, Гетти, конечно, не нашего круга девушка. Она простая крестьянка. Но я искренне полюбил ее. Я уверен в этом. В течение этого удивительного мая мы виделись два-три раза в неделю. Вчера мы встретились в маленьком саду. Цвет яблонь все время падал на ее волосы, пока она смеялась. Мы должны были вместе сбежать сегодня на рассвете. И вдруг я решил оставить ее таким же нетронутым цветком, которым и встретил.

– Думаю, новизна ощущений подарила тебе истинное наслаждение, Дориан, – перебил его лорд Генри. – Но я могу досказать эту прекрасную

сказку за тебя. Ты дал ей хороший совет и разбил ее сердце. Это и стало началом твоей праведной жизни.

– Гарри, ты невыносим! Не говори таких ужасных вещей. Сердце Гетти не разбилось. Она, конечно, плакала и все такое. Но она избежала бесчестия. Она может жить, как Перлит в саду, полном мяты и прекрасных цветов.

– И плакать при мысли о неверном Флоризеле, – засмеялся лорд Генри, откинувшись на спинку стула. – Дорогой Дориан, ты и до сих пор думаешь, как мальчишка. Неужели ты считаешь, что теперь она будет счастлива с человеком из ее среды? Скорее всего, ее отдадут замуж за какого-то грубого мужлана. Но то, что она встретила и полюбила тебя, заставит ее презирать своего мужа, и жизнь ее будет испорчена. С точки зрения морали, не могу сказать, что поражен твоей новой жизнью. Этого мало даже для начала. К тому же, разве ты можешь быть уверенным в том, что Гетти не плавает сейчас, как Офелия, в каком-нибудь заливе лунным светом пруду, а вокруг нее не цветут водяные лилии?

– Прекрати, Гарри! Ты надо всем смеешься, а затем превращаешь в ужасную трагедию. Я уже пожалел, что рассказал тебе. Но мне все равно, что ты скажешь. Я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Когда я утром проезжал мимо фермы, увидел ее ужасно бледное лицо в окне. Не стоит нам больше об этом говорить, а тебе не стоит пытаться убедить меня в том, что первое мое доброе дело за долгие годы, первое маленькое самопожертвование – на самом деле преступление. Я хочу стать хорошим человеком. Я стану хорошим человеком. Расскажи мне что-нибудь о себе. Что происходит в городе? Я уже так давно не был в клубе.

– Народ все еще обсуждает исчезновения бедняги Бэзила.

– Я думал, эта тема уже всем надоела, – сказал Дориан, несколько нахмурившись, и налил себе вина.

– Дорогой мой, об этом говорят только шесть недель, а британцы настолько твердолобые, что не умеют менять тему разговора чаще чем раз в три месяца. Хотя в последнее время им с этим везет. Они имели возможность обсуждать мой развод и самоубийство Алана Кэмпбелла. Теперь вот загадочное исчезновение известного художника. Скотленд-Ярд все еще настаивает, что человек в сером пальто, который уехал в Париж поездом в полночь девятого ноября, – бедняга Бэзил. В свою очередь, французская полиция утверждает, что он так и не прибыл в город. Видимо, скоро мы услышим, что Бэзила видели в Сан-Франциско. Удивительно, но рано или поздно всех, кто исчезает, встречают в Сан-Франциско. Это, пожалуй, замечательный город со всеми прелестями того света.

– А как ты думаешь, что случилось с Бэзилем? – спросил Дориан, глядя в бокал бургундского и удивляясь тому спокойствию, с которым он все это обсуждал.

– Не имею ни малейшего представления. Если Бэзил решил убежать от всех – это его дело. Если же он мертв, то я не хочу думать о нем. Смерть – это единственная вещь, которая меня по-настоящему ужасает. Я ненавижу ее.

– Почему же? – устало поинтересовался Дориан.

– Потому что, – ответил лорд Генри, вдохнув аромат уксуса из позолоченной бутылочки, – человек может пережить все, кроме нее. В наше время люди все еще не могут объяснить две вещи – смерть и пошлость. Давай выпьем кофе в зале. Ты обязан сыграть мне Шопена. Мужчина, к которому сбежала моя жена, играл Шопена просто великолепно. Бедная Виктория! Я очень любил ее. Без нее дом стал пуст. Конечно, супружеская жизнь – это лишь привычка, к тому же дурная. Но мы сожалеем, когда теряем даже самые дурные привычки. Видимо, как раз о них сожалеем больше всего. Они – неотъемлемая часть нас самих.

Дориан ничего не ответил, только встал из-за стола, прошел в соседнюю комнату, сел за рояль и забегал пальцами по черным и белым клавишам. Когда в комнату принесли кофе, он перестал играть, посмотрел на лорда Генри и спросил:

– Гарри, тебе никогда не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул в ответ.

– Бэзил был очень известный и всегда носил дешевые часы. По какой причине его могли убить? Он был не настолько умен, чтобы нажить врагов. Да, у него был большой талант к живописи. Но можно рисовать, как Веласкес, и при этом оставаться ограниченным человеком. А Бэзил был довольно ограничен. Он заинтересовал меня лишь однажды, когда много лет назад рассказал мне о своем безудержном увлечении тобой и о том, что ты стал для него стимулом в искусстве.

– Я очень любил Бэзила, – сказал Дориан с грустью в голосе. – А разве не ходят слухи, что его убили?

– Об этом писали в газетах. Но я в это совсем не верю. В Париже есть ужасные места, но Бэзил не из тех людей, которые могут туда попасть. Он был совсем не любознателен. Это был его главный недостаток.

– А что бы ты сказал, Гарри, если бы я признался, что это я убил Бэзила? – спросил Дориан, не сводя глаз с лорда Генри.

– Я бы сказал, дорогой друг, что ты пытаешься выдать себя за того, кем не являешься на самом деле. Любое преступление пошло по своей сути, а

любая пошлость – это уже преступление. Ты не способен на убийство, Дориан. Прости, если я задел твое честолюбие этими словами, но это правда. Преступления – это дело низов общества. Но я их никак не виню. Думаю, для них преступление – это то же самое, что для нас искусство, – средство вызвать необычные эмоции.

– Средство вызвать эмоции? То есть ты считаешь, что человек, однажды совершивший преступление, способен делать это снова и снова? Не говори так.

– Что угодно может доставить удовольствие, если делать это слишком часто, – засмеялся лорд Генри. – Это один из главных секретов жизни. Хотя, я считаю, что убийство – это всегда ошибка. Какой смысл делать то, о чем нельзя рассказать за обедом? Давай закончим разговор о бедном Бэзиле. Мне хотелось бы поверить в то, что его конец был именно таким романтическим, как ты это описываешь. Но я не могу. Я скорее поверю в то, что он упал с омнибуса в Сену, а водитель сумел скрыть это. Да, именно таким я представляю себе его конец. Я ясно вижу, как он лежит на дне реки, над ним проплывают большие баржи, а в его волосы вплетаются водоросли. Кстати, ты знаешь, по-моему, он немного написал хорошего. По крайней мере, в последние десять лет его творчество пошло на спад.

Дориан вздохнул, а лорд Генри прошелся по комнате и начал гладить редкого серого попугая с розовым хохолком и хвостом, который сидел на бамбуковой перекладине. Почувствовав прикосновение, птица закрыла глаза и начала раскачиваться.

– Именно так, – продолжил лорд Генри, обернувшись и достав из кармана носовой платок, – его творчество угасло. Мне казалось, что он что-то потерял. Потерял свой идеал. В тот же момент, когда вы перестали быть близкими друзьями, он перестал быть великим художником. Почему же вы разошлись? Предполагаю, он тебе надоел. А за это он никогда тебя не простил. Это привычка всех надоедливых людей. Кстати, что произошло с замечательным портретом, который он с тебя написал? Кажется, я не видел его с тех пор, как Бэзил закончил его. Вспомнил. Ты же несколько лет назад говорил мне, что отправил его в Селби и дорогой его потеряли или украли. Его так и не нашли? Очень жаль! Это был настоящий шедевр. Помню, как сильно я хотел купить его. Было бы замечательно, если бы он был у меня сейчас. Он принадлежит к лучшему периоду творчества Бэзила. С тех пор в его картинах появилась та смесь плохой живописи и благих намерений, которая отличает британских художников от остальных. Ты подавал объявление о розыске? Надо было.

– Не помню, – ответил Дориан. – Наверное, подавал. Он мне никогда

не нравился на самом деле. Я жалею, что позировал для него. Я вспоминаю о нем с ненавистью. Зачем ты о нем вспоминаешь? Он всегда напоминал мне эти строки из какой-то пьесы, из «Гамлета», кажется...

Словно образ печали
Бездушный тот лик.

– Именно так. Вот на что он был похож.

Лорд Генри рассмеялся.

– Когда человек смотрит на жизнь сквозь призму искусства, мозг заменяет ему сердце, – сказал он, удобно располагаясь в кресле.

Дориан Грей покачал головой и взял несколько аккордов.

– Словно образ печали, – повторил он, – бездушный тот лик.

Лорд Генри откинулся на спинку кресла и посмотрел на него полужакрытыми глазами.

– Кстати, Дориан, – сказал он после короткой паузы, – какая польза человеку от того, что он получил целый мир, но – как там дальше эта цитата? – потерял свою душу?

Музыка утихла. Дориан вздрогнул и посмотрел на лорда Генри.

– Почему ты спрашиваешь меня об этом, Гарри?

– Дорогой друг, – ответил лорд Генри, удивленно вскинув брови, – я спросил, потому что думал, что ты сможешь мне ответить. Вот и все. В минувшее воскресенье я шел по аллее парка и вблизи мраморной арки заметил группку людей в дешевой одежде, которые слушали какого-то вульгарного уличного проповедника. Как раз когда я проходил мимо, он прокричал этот вопрос к аудитории. Эта сцена показалась мне довольно драматичной. Лондон богат подобными впечатлениями. Представь – дождливая погода, невнятная фигура христианина в макинтоше, болезненно бледные люди под дырявой крышей из зонтиков вокруг него, и эта удивительная фраза, которую почти в истерике прокричали сухие губы. Это было по-своему прекрасно. Я хотел сказать пророку, что искусство имеет душу, в отличие от него. Однако, боюсь, он бы меня не понял.

– Не стоит так говорить, Гарри. Душа ужасно реальна. Ее можно купить, продать или обменять. Ее можно отравить или сделать совершенной. Душа есть в каждом из нас. Я знаю.

– Ты уверен в этом, Дориан?

– Вполне уверен.

– Что же, в таком случае – это точно иллюзия. Вещи, в которых мы

вполне уверены, никогда не бывают правдой. В этом заключается несчастная судьба веры и тот урок, который мы получаем от любви. Что же ты такой мрачный! Не будь таким серьезным. Разве предрассудки нашего времени касаются нас? Нет, мы больше не верим в душу. Сыграй мне что-нибудь, Дориан. Сыграй мне ноктюрн. А пока будешь играть, тихонько расскажи, как тебе удалось сохранить свою молодость. У тебя должен быть какой-то секрет. Я всего на десять лет старше тебя, но уже весь покрыт морщинами, сухой и пожелтевший. Ты просто удивителен, Дориан. Ты никогда не выглядел так волшебным, как сегодня. Глядя на тебя, я вспоминаю тот день, когда мы встретились впервые. Ты был скромный, но несколько дерзкий и вполне неординарный юноша. Ты, конечно, изменился, но не внешне. Я хотел бы узнать твой секрет. Я готов на все, кроме того, чтобы делать зарядку, просыпаться рано утром или завоевывать уважение общества, чтобы вернуть свою молодость. Молодость! Ничто не может с ней сравниться. Это ерунда – говорить о глупости молодости. Я с уважением отношусь только к точке зрения людей гораздо моложе меня. Они идут впереди. Жизнь открывает им свои новые чудеса. А с пожилыми людьми я всегда спорю. И делаю это принципиально. Спроси их мнения о том, что произошло вчера, и они выложат тебе точку зрения, которая была господствующей в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, люди абсолютно всему верили и абсолютно ничего не знали. Какую замечательную вещь ты играешь! Пожалуй, Шопен написал ее на Мальорке, слушая, как морские волны ласкают берег вблизи его виллы. Это невероятно романтично. Как же замечательно, что существует хотя бы одно искусство без подражания! Не останавливайся. Сегодня я хочу слушать музыку. Ты будто юный Аполлон, а я – очарованный твоей игрой Марсий. В моей душе, Дориан, живут сожаления, о которых я не рассказываю даже тебе. Трагедия старости не в том, что стареет тело, а в том, что душа остается молодой. Иногда моя откровенность удивляет меня самого. Дориан, как же тебе повезло! Какая замечательная у тебя жизнь! Ты испил всего сполна. Ты вкусил сладкие ягоды жизни. Ничто от тебя не укрылось. И все это ты воспринял как музыку. Это не испортило тебя. Ты тот же, что и прежде.

– Я уже совсем не тот, Гарри.

– Именно тот самый. Мне интересно, как сложится твоя дальнейшая жизнь. Не стоит портить себе ограничениями. Сейчас ты совершенен. Не нужно делать из себя неполноценного человека. Сейчас ты вполне безупречен. Не качай головой, ты знаешь, что так и есть. К тому же, Дориан, не стоит себя обманывать. Жизнью управляют не желания или

намерения. Жизнь – это совокупность нервов, струн и клеток, в каждой из которых скрываются желания, страсти и мечты. Ты можешь чувствовать себя в безопасности и считать себя сильным. Но случайный цвет комнаты или утреннего неба, запах, который ты когда-то любил и который теперь навевает воспоминания, строка из забытого стихотворения, на которую ты снова наткнулся, отрывок из музыкального произведения, которое ты уже давно не играл, – именно от этих вещей зависит наша жизнь, Дориан. Об этом написано где-то у Браунинга, однако лучшим доказательством этого являются наши чувства. Бывают моменты, когда запах белой сирени заставляет меня заново пережить самый необычный месяц в моей жизни. Хотел бы я оказаться на твоём месте, Дориан! Нас обоих осуждали люди, но тебя они обожают. Они всегда будут любить тебя. Ты именно тот, кого наше время одновременно искало и боялось найти. Я рад, что ты не вылепил ни единой скульптуры, не написал ни одной картины или не создал что-то вне себя. Твоя жизнь стала произведением твоего искусства. Ты положил себя на музыку. Твои дни – твои сонеты.

Дориан встал из-за рояля и поправил волосы.

– Действительно, у меня была прекрасная жизнь, – сказал он, – но я больше не собираюсь так жить, Гарри. Тебе больше не стоит говорить мне все эти безумные вещи. Ты многого не знаешь обо мне. Думаю, даже ты отвернулся бы от меня, если бы знал. Смеёшься? Не смейся.

– Ну почему ты перестал играть, Дориан? Садись и сыграй этот ноктюрн снова. Посмотри на этот величественный месяц медового цвета, который завис в вечерних сумерках. Он ждет, пока ты очаруешь его своей игрой, чтобы подойти еще ближе к земле. Не хочешь? Пойдем тогда в клуб. Сегодня выдался замечательный вечер, и нам стоит волшебным образом его продолжить. Там есть один парень, который неудержимо стремится познакомиться с тобой, – юный лорд Пул, старший сын Бурмаута. Он уже надевает галстуки, как у тебя, и просто умоляет меня познакомить его с тобой. Он довольно приятный юноша и чем-то даже напоминает тебя.

– Надеюсь, что нет, – ответил Дориан с грустью в глазах. – Я сегодня слишком устал, Гарри. Я не пойду в клуб. Уже почти одиннадцать, а я хотел лечь спать пораньше.

– Останься. Ты еще никогда не играл так вдохновенно, как сегодня. Что-то удивительное было в твоей игре. Она была выразительна, как никогда.

– Это потому что я решил стать хорошим человеком, – ответил Дориан с улыбкой. – Я уже немного изменился.

– Ты никогда не изменишься по отношению ко мне, Дориан, – сказал

лорд Генри, – мы навсегда останемся друзьями.

– Но однажды ты отравил меня книгой, Гарри. Я никогда не прощу тебе этого. Пообещай, что больше никому не дашь ее в руки. Она вредна.

– Друг, ты и правда начинаешь читать мне мораль. Если и дальше так пойдет, то скоро ты, как и каждый из новообращенных, будешь ходить и рассказывать людям о вреде грехов, которые тебе самому уже надоели. Ты слишком прекрасен для этого. К тому же в этом нет никакого смысла. Мы с тобой – те, кто мы есть, и навсегда останемся собой. А если говорить об отравлении книгой, то это невозможно. Искусство не оказывает влияния на действия. Напротив, оно убивает желание действовать. Оно удивительно нейтральное. Люди называют аморальными книги, которые указывают им на собственные недостатки. Вот и все. Но не стоит сейчас затевать спор о литературе. Приходи завтра. Я буду кататься верхом в одиннадцать. Покатаемся вместе, а потом я заберу тебя с собой на обед к леди Бренксом. Она очаровательная женщина, к тому же хочет посоветоваться с тобой насчет гобеленов, которые планирует приобрести. Обязательно приходи. Или лучше устроить обед вместе с нашей маленькой герцогиней? Она говорила, что вы почти не видите в последнее время. Глэдис надоела тебе? Я так и думал. Ее остроты со временем начинают действовать на нервы. В любом случае жду тебя в одиннадцать.

– Ты действительно этого хочешь, Гарри?

– Конечно. Парк сейчас просто прекрасен. Последний раз сирень так прекрасно цвела в том году, когда мы познакомились.

– Ну хорошо. Я буду там в одиннадцать, – сказал Дориан. – Спокойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, он на мгновение остановился, словно хотел сказать еще что-то, но только вздохнул и вышел из комнаты.

Глава 20

Ночь была настолько теплой, что он нес пальто на руке и даже не обматывал шарф вокруг шеи. Когда он направлялся домой, куря сигарету, мимо прошли двое юношей во фраках. Он краем уха услышал, как один из них сказал другому: «Да это же Дориан Грей». Он вспомнил, как раньше радовался, когда на него глазели, показывали пальцами или просто говорили о нем. Теперь же ему надоело слышать собственное имя. Главным достоинством деревни, в которую он в последнее время часто ездил, было то, что его никто там не знал. Девушке, которая в него влюбилась, он говорил, что он беден, и она в это верила. Однажды он сказал ей, что он очень плохой человек. В ответ она засмеялась, сказав, что злые люди всегда старые и уродливые. Какой же у нее смех! Будто пение свирели. А как же она прекрасна в своем простеньком платье и широкой шляпе! Она ничего не знала о жизни, но обладала всем тем, что он потерял.

Вернувшись домой, он застал дворецкого, который ждал его. Дориан отпустил его спать, а сам пошел в библиотеку, лег на диван и стал размышлять над некоторыми словами лорда Генри.

Действительно ли человек никогда не может измениться? Он чувствовал неистовую грусть, когда вспоминал свою девственно чистую юность, бело-розовую юность, как называл ее лорд Генри. Он знал, что разрушил себя сам, что он наполнил свое сознание низкими мыслями и ужасными фантазиями, производил разрушительное воздействие на жизнь окружающих, а сам получал от этого удовольствие. И что из всех жизней, с которыми пересекалась его собственная жизнь, он погубил наиболее прекрасную и многообещающую – свою. Но разве нельзя ничего изменить? Неужели для него не осталось никакой надежды?

Какая же ужасная гордость и наглость заставили его пожелать, чтобы портрет нес на себе бремя его дней, а сам он сохранил незапятнанную красоту вечной молодости! Это стало причиной всех его несчастий. Лучше бы каждый грех в его жизни сразу накладывал на него печать своей казни. Наказание очищает. В молитве следует просить справедливого Бога не «прости нам грехи наши», а «накажи нас за грехи наши».

На столе стояло зеркало, которое ему подарил лорд Генри много лет назад, а на его причудливой резьбе, как и всегда, хохотали купидоны. Он взял его в руки, как и в ту страшную ночь, когда впервые заметил перемену на роковой картине, и заглянул в него безумными, полными слез глазами.

Одна из безнадежно влюбленных в него женщин написала когда-то ему письмо, которое заканчивалось словами безграничного обожания: «Мир навсегда изменился, ведь в нем появились вы – высеченный из слоновой кости и золота. Линия ваших губ переписала историю». Эти слова вынырнули из его памяти, и он повторял их снова и снова. Затем он возненавидел собственную красоту и, бросив зеркало на пол, раздавил его каблуками на маленькие серебряные кусочки. Его красота уничтожила его, красота и молодость, о которых он молил. Если бы не эти две вещи, его жизнь сложилась бы иначе. Его красота стала для него лишь маской, а молодость – насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время зеленой незрелости, непостоянных настроений и болезненных мыслей. Зачем ему была нужна ее маска? Молодость испортила его.

Лучше не думать о прошлом. Его уже не изменишь. Ему нужно думать о себе и своем будущем. Джеймс Вэйн был похоронен в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбелл застрелился в собственной лаборатории, но так и не раскрыл тайну, которую был вынужден узнать. Интерес к исчезновению Бэзила Холлуорда скоро погаснет. Он уже угасает. В этом отношении ему ничто не угрожает. Но не смерть Бэзила Холлуорда на самом деле тяготела над ним. Больше всего его беспокоила смерть собственной души. Бэзил написал портрет, который разрушил его жизнь. Такое невозможно простить. Это портрет во всем виноват. К тому же Бэзил говорил ему невыносимые вещи, а он терпел. Убийство стало плодом минутного неистовства. А насчет Алана Кэмпбелла, то он сам решил покончить с собой. Это его выбор. Дориан здесь ни при чем.

Новая жизнь! Вот чего он хотел. Вот чего он ожидал. Без сомнения, он ее уже начал. В конце концов, он пощадил невинную душу. Он больше никогда не будет соблазнять невинных. Он станет хорошим.

Воспоминание о Гетти Мертон навело его на мысль о том, не изменился ли портрет, запертый в комнате наверху? Скорее всего, он уже не такой ужасный, каким был раньше. Возможно, если он сможет очистить свою жизнь, то и с лица на портрете исчезнут следы безумных страстей. Возможно, они уже исчезли. Надо пойти наверх и посмотреть.

Он взял со стола лампу и поднялся по лестнице. Когда он открывал дверь, его чрезвычайно молодое лицо озарила улыбка, которая, однако, задержалась на губах лишь на мгновение. Именно так, он станет хорошим человеком и больше не будет впадать в ужас от одной мысли об отвратительной картине, которая здесь спрятана. Он уже чувствовал, как с его души упал тяжелый камень.

Он быстро вошел, по привычке закрыл за собой дверь и снял с

портрета пурпурное покрывало. С его уст сорвался крик боли и отчаяния. На портрете не было видно никаких изменений, разве что в глазах появился хитрый взгляд, а губы расплылись в лицемерной улыбке. Портрет оставался отталкивающим. Он даже стал еще отвратительнее, насколько это было возможно, а красное пятно на руке стало еще более похожим на настоящую кровь. Он задрожал. Неужели только честолюбие подтолкнуло его к единственному хорошему поступку? Или жажда новых ощущений, как насмешливо заметил лорд Генри? Или желание сделать что-то такое, что помогло бы чувствовать себя лучше других? Может, каждая из этих причин? А почему же увеличилось кровавое пятно? Оно расползлось по скрюченным пальцам, будто ужасная болезнь. Казалось, кровь накапала на ноги портрета. Она была даже на другой руке, не той, что держала нож. Признаться? Означало ли это, что он должен признаться? Сдаться в руки правосудия и быть приговоренным к смерти? Он засмеялся. Он понял, насколько нелепой была эта идея. К тому же, даже если он признается, кто ему поверит? Нигде не осталось ни следа мертвеца. Все, что ему принадлежало, было уничтожено. Он собственными руками сжег все, что оставалось внизу. Все просто решили бы, что он сошел с ума. Ему просто закроют рот, если он будет настаивать, что это он убийца. Однако он чувствовал, что должен признаться, пережить общественное осуждение и попробовать искупить свою вину. Господь велел людям каяться в своих грехах как перед небесами, так и перед землей. Он не мог очиститься, не открыв миру свой грех. Свой грех? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда не казалась ему чем-то значительным. Он думал о Гетти Мертон. Ведь зеркало его собственной души, в которое он смотрел, лгало. Честолюбие? Любопытство? Лицемерие? Разве в его самоотречении не было чего-то большего? Должно было быть еще что-то. По крайней мере, он так считал. Но кто же может знать это точно? Нет, не было больше ничего. Он пощадил ее из честолюбия. Он лицемерно надел на себя маску хорошего человека. Он отказал себе из чистого любопытства. Теперь он понял это.

Но это убийство, неужели воспоминания о нем будут преследовать его до самой смерти? Сможет ли он избавиться от бремени собственного прошлого? Может, действительно стоит признаться? Никогда. Осталось только одно доказательство против него. Этим доказательством была сама картина. Он уничтожит ее. Зачем он так долго хранил ее? Когда-то он получал удовольствие, наблюдая, как она меняется и стареет. В последнее время это удовольствие исчезло. Картина не давала ему уснуть. Когда он уезжал из дому, он не мог избавиться от страха, что в его отсутствие его

тайну увидят чужие глаза. Она наполнила его страсти печалью. Одно только воспоминание о ней портило радостные моменты. Она была для него будто совесть. Да, это была его совесть. Он уничтожит ее.

Он оглянулся вокруг и увидел тот самый нож, которым убил Бэзила Холлуорда. Он чистил его множество раз, поэтому на нем не осталось ни единого следа крови. Он ярко сиял. Убив художника, он убьет и его творение, и все, что оно значило. Он уничтожит прошлое и наконец станет свободным. Он прекратит эту мерзкую жизнь его души, а без ее ужасающих предостережений снова обретет покой. Дориан схватил нож и ударил им картину.

Послышался ужасный крик и звук падения. Это был крик настолько безудержной агонии, что все слуги проснулись и вышли из своих комнат. Двое джентльменов, проходивших через площадь, остановились и посмотрели на огромный дом. Они пошли дальше, встретили полицейского и привели его к дому. Полицейский несколько раз позвонил в дверь, но так и не дождался ответа. Свет горел только в маленьком окошке под крышей. Выждав еще несколько минут, полицейский отошел на соседнее крыльцо и решил подождать там.

– А чей это дом, констебль? – спросил старший из джентльменов.

– Мистера Дориана Грея, сэр, – ответил полицейский.

Мужчины переглянулись между собой и ушли с пренебрежительными улыбками на лицах. Один из них был дядей сэра Генри Эштона.

В доме же, в крыле для прислуги, тревожно шептались полуодетые люди. Старушка миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Минут через пятнадцать он позвал кучера и одного из лакеев. Вместе они поднялись по лестнице. Они постучали в дверь, но не получили ответа. Они начали звать хозяина. Но ответом была тишина. В конце концов, после неудачных попыток взломать дверь, они поднялись на крышу, а оттуда спустились на балкон. Окна открылись очень легко.

Войдя, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина, каким они его знали – во всей его изысканной красоте и молодости. На полу с ножом в груди лежал старик во фраке. У него было гадкое, сморщенное, отталкивающее лицо. Слуги поняли, кто перед ними, только благодаря кольцам на пальцах мертвеца.

Кентервильское привидение



Глава 1

Когда мистер Хайрем Б. Отис, американский посланник, решил купить Кентервильский замок, все стали его уверять, что он делает ужасную глупость: было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя щепетильный, даже когда дело касалось пустяков, при составлении купчей не преминул предупредить об этом мистера Отиса.

– Мы стараемся приезжать сюда как можно реже, – сказал лорд Кентервиль, – с тех самых пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось и многим ныне здравствующим членам моей семьи. Его видел также наш приходский священник, преподобный Огастес Демпир, член совета Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга уволилась, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

– Что ж, милорд, – ответил посланник, – я беру привидение вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же учтите: молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

– Боюсь, что Кентервильское привидение все-таки существует, – сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, – хоть оно, видимо, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио. О его существовании известно уже добрых триста лет, – а если быть точным, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года, – и оно неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

– Обычно, лорд Кентервиль, домашний врач тоже всегда появляется в подобных случаях. Уверяю вас, сэр, никаких привидений не существует, и законы природы, я полагаю, для всех одни – даже для английской аристократии.

– Вы, американцы, еще так близки к природе! – отозвался лорд

Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. – Что ж, если вас устраивает дом с привидением, то все в порядке. Но только не забудьте, что я вас предупреждал.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посланник с семьей переехали в Кентервильский замок. Миссис Отис, в свое время – еще под именем мисс Лукреции Р. Тэппен с Пятьдесят Третьей Западной улицы – славившаяся в Нью-Йорке своей красотой, теперь стала дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, напускают на себя вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она отличалась прекрасным здоровьем и совершенно фантастическим избытком энергии. Право, ее нелегко было отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что между нами и Америкой удивительно много общего – практически все, кроме, разумеется, языка.

Старший из сыновей, которому родители в порыве патриотизма дали имя Вашингтон, – о чем он никогда не переставал сожалеть, – был светловолосым молодым человеком довольно приятной наружности, готовившимся занять достойное место в американской дипломатии, свидетельством чего был тот факт, что он три сезона подряд лихо отплясывал в ньюпортском ^[20] казино котильон ^[21], неизменно выступая в первой паре, и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. У него были две слабости – гардени и геральдика, а во всем остальном он отличался удивительным здравомыслием.

Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная, грациозная, как лань, девочка с большими, ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездила верхом и однажды, уговорив старого лорда Билтона проскакать с ней два раза наперегонки вокруг Гайд-парка, первая оказалась у статуи Ахиллеса, обойдя лорда на своем пони на целых полтора корпуса, чем привела юного герцога Чеширского в такой восторг, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон.

У Вирджинии было также двое младших братьев-близнецов, которых прозвали «звездно-полосатыми» ^[22], поскольку их без конца пороли, – очень славные мальчики, к тому же единственные в семье убежденные республиканцы, если, конечно, не считать самого посланника.

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в

Аскоте было целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы за ними выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличнейшем расположении духа. Стоял прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового бора. Время от времени до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим собственным голосом, в шелестящих зарослях папоротника то и дело мелькала пестрая грудь фазана. С высоких буков на них поглядывали белки, казавшиеся снизу совсем крошечными, а притаившиеся в низкой поросли кролики, завидев экипаж, удирали по мшистым кочкам, поддергивая своими короткими белыми хвостиками.

Но не успели они выехать на аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволокло тучами и воздух сковала странная тишина. Над головой у семьи бесшумно пролетела огромная стая грачей, и, когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На ступеньках их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис Амни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она сделала глубокий реверанс перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила:

– Милости просим в Кентервильский замок!

Отисы вошли вслед за ней в дом и, миновав величественный холл в стиле Тюдоров, очутились в библиотеке – длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом напротив двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Сбросив с себя плащи и шали, они уселись за стол и, пока миссис Амни разливала чай, принялись осматриваться вокруг.

Вдруг миссис Отис заметила на полу возле камина потемневшее от времени красное пятно и, не в состоянии себе объяснить, откуда оно могло появиться, спросила у миссис Амни:

– Наверное, там было что-то пролито?

– Да, мадам, – ответила старая экономка приглушенным голосом, – на этом месте была пролита кровь.

– Какой ужас! – воскликнула миссис Отис. – Мне не хотелось бы, чтобы в моей гостиной были пятна крови. Его нужно сейчас же убрать!

Старушка улыбнулась и ответила все тем же таинственным полупшепотом:

– Вы видите кровь леди Элеоноры де Кентервиль, убитой на этом

самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим, сэром Саймоном де Кентервилем. Сэр Саймон пережил ее на девять лет, а потом внезапно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это пятно, и смыть его никак невозможно.

– Ерунда! – уверенно произнес Вашингтон Отис. – «Образцовый пятновыводитель и очиститель» фирмы «Пинкертон» удалит его в два счета.

И не успела испуганная экономка ему помешать, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленьким круглым бруском, похожим на губную помаду, только черную. Не прошло и минуты, как от пятна и следа не осталось.

– «Пинкертон» никогда не подведет! – с торжествующим видом воскликнул юноша, обернувшись к восхищенному семейству.

Но едва он произнес эти слова, как ужасающая вспышка молнии озарила полутемную комнату, и последовавший за ней оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.

– Какой здесь отвратительный климат, – с невозмутимым видом проговорил американский посланник, закуривая сигару. – Добрая старая Англия до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда придерживался мнения, что эмиграция – единственное спасение для Британии.

– Дорогой Хайрем, – сказала миссис Отис, – что нам с ней делать, если она чуть что примется падать в обморок?

– Удерживай у нее из жалованья, как за битье посуды, – ответил посланник, – и вскоре она избавится от этой привычки.

И правда, через две-три секунды миссис Амни очнулась. Впрочем, у нее был явно обиженный вид, и она, упрямо поджав губы, заявила мистеру Отису, что в этот дом скоро придет беда.

– Сэр, – сказала она, – мне доводилось здесь видеть такое, от чего у всякого христианина волосы могли бы встать дыбом, и те ужасные вещи, которые здесь происходят, не давали мне сомкнуть глаза многие и многие ночи.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословенье Божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо было бы прибавить ей жалованье, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.

Глава 2

Всю ночь бушевала буря, но ничего из ряда вон выходящего не произошло. Однако, когда на следующее утро все спустились к завтраку, они снова увидели на полу кровавое пятно.

– В «Образцовом очистителе» сомневаться не приходится, – сказал Вашингтон. – На чем я его только не перепробовал – и он ни разу меня не подвел. Видно, здесь и в самом деле приложило руку привидение.

И он еще раз вывел пятно, но наутро оно снова появилось на прежнем месте. Оно оставалось там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, лично запер библиотеку и забрал с собой ключ. Теперь проблема привидений интересовала всю семью. Мистер Отис стал подумывать, не слишком ли он был категоричен, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намерение вступить в Парапсихологическое общество, а Вашингтон сочинил длинное письмо господам Майерсу и Подмору^[23] касательно долговечности кровавых пятен, связанных с преступлениями.

Если у них и оставались какие-то сомнения в реальности призраков, в ту памятную ночь они рассеялись навсегда. День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады все семейство отправилось на прогулку. Домой они вернулись лишь к девяти часам и сразу же сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что присутствующие вовсе не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом рассказывал мистер Отис, о том, о чем обычно говорят просвещенные американцы из высших слоев общества: о бесспорном превосходстве американской актрисы мисс Фанни Давенпорт над французской актрисой Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; об исключительном значении Бостона для духовного развития всего человечества; о преимуществах введенной системы багажных квитанций при оформлении провоза багажа по железной дороге; о приятности нью-йоркского произношения по сравнению с протяжным лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не заходила, сэр Саймон де Кентервиль также не упоминался. В одиннадцать вечера все отправились отдыхать, и полчаса спустя в доме был погашен свет.

Некоторое время спустя мистер Отис проснулся от странных звуков в

коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит – и с каждым мгновением все отчетливее – лязганье металла. Он встал, чиркнул спичкой и взглянул на часы. Они показывали ровно час ночи. Мистер Отис, не теряя самообладания, пощупал свой пульс, и он оказался, как всегда, ровным и ритмичным. Но загадочные звуки не умолкали – более того, мистер Отис явственно услышал звук шагов. Он сунул ноги в комнатные туфли, достал из дорожного несессера продолговатый флакон в упаковке и открыл дверь. Прямо перед собой он увидел в призрачном свете луны старика в высшей степени ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, седые длинные волосы космами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя все было в лохмотьях, с его рук и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

– Сэр, – обратился к нему мистер Отис, – я вынужден самым настоятельным образом просить вас впредь смазывать ваши цепи, и с этой целью захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократии», известного своим эффективным действием после первого же употребления. На упаковке помещены положительные отзывы наших виднейших священнослужителей, подтверждающие исключительные достоинства этого средства. Я оставляю пузырек здесь, на столике возле канделябра, и буду рад снабжать вас новыми порциями масла по мере надобности.

С этими словами посланник Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и застыло от возмущения. Затем, яростно швырнув флакон на паркет, оно ринулось по коридору, испуская зловещее зеленое сияние и глухо стелая. Но едва оно взобралось по широкой дубовой лестнице наверх, как из распахнувшейся двери выскочили две фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. В такой ситуации нельзя было терять ни минуты, и дух, прибегнув к четвертому пространственному измерению, поспешно ретировался, исчезнув через деревянную стенную панель, после чего в доме все стало тихо.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, призрак прислонился к лунному лучу и, немного отдышавшись, попытался осмыслить сложившееся положение. Ни разу за всю свою безупречную трехсотлетнюю службу в качестве привидения он не подвергался таким неслыханным оскорблениям. В эту минуту ему вспомнилось многое: и то, как он насмерть перепугал вдовствующую герцогиню, когда она стояла перед зеркалом, вся в кружевах и бриллиантах; и то, как с четырьмя

горничными началась истерика, стоило ему только улыбнуться им из-за портьеры в спальне для гостей; и то, как он задул свечу в руке приходского священника, когда тот поздно ночью выходил из библиотеки, отчего с беднягой случился нервный припадок, и он до сих пор вынужден лечиться у сэра Уильяма Галла^[24]; и то, как старая мадам де Тремуайак, проснувшись как-то на рассвете и увидев, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, а выздоровев, примирилась с церковью и решительно порвала все отношения с известным скептиком мосье де Вольтером. Он вспомнил также ту страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли в гардеробной задыхающимся с бубновым валетом в горле. Умирая, старик признался, что с помощью этой карты он, жульничая, обыграл Чарлза Джеймса Фокса в Крокфордзе^[25] на целых пятьдесят тысяч фунтов, и Кентервильское привидение, как он клятвенно уверял, заставило его проглотить меченую карту.

Он вспомнил каждого, кто был жертвой его великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, увидев, как в окно буфетной стучится чья-то зеленая рука, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была постоянно носить черную бархатку вокруг шеи, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев на своей белоснежной коже, и в конце концов утопилась в сазановом пруду в конце Королевской аллеи. Испытывая чувство самоупоения, столь хорошо знакомое каждому истинному художнику, он перебирал в уме лучшие сыгранные им роли, и губы его скривились в торжествующей усмешке, когда он вспомнил последнее свое выступление в качестве Рыжего Рубена, или Задушенного Младенца, а также свой дебют в роли Тощего Гибеона, кровопийцы с Бекслейского болота. Ему вспомнилось, как одним тихим июньским вечером он произвел настоящий фурор, когда сыграл на площадке для тенниса партию в кегли, используя для этого кости своего скелета, хотя лично он ничего особенного в этом не видел.

И вот после всего этого в замок заявляются какие-то несчастные американцы, считающие себя ужасно современными, и навязывают ему машинное масло с дурацким названием «Восходящее солнце демократии», да еще швыряют в него подушками! Это просто невыносимо! История не знает примеров такого обращения с привидениями. И в нем созрело решение отомстить.

Когда наступил рассвет, он все еще пребывал в состоянии глубокого раздумья.

Глава 3

На следующее утро за завтраком Отисы говорили главным образом о привидении. Посланник Соединенных Штатов, естественно, был в некоторой мере задет тем, что его подарок отвергли.

– Я не собираюсь причинять привидению никакого вреда, – сказал он, – и должен в этой связи заметить, что швырять подушками в того, кто столько лет обитает в этом доме, крайне невежливо. *(Весьма справедливое замечание, которое было встречено близнецами громким хохотом.)* Тем не менее, – продолжал посланник, – если привидение проявит упрямство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократии», придется снять с него цепи. Невозможно спать, когда такой грохот слышен у тебя под самой дверью.

Впрочем, до конца недели их никто больше не тревожил, хотя кровавое пятно на полу библиотеки неизменно продолжало появляться каждое утро. Это было довольно странно, ибо мистер Отис на ночь всегда запирали библиотечную дверь, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобное изменение цвета крови также вызывало недоумение. Иногда пятно было тусклого желтовато-красного цвета, иногда алого, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу Свободной американской реформатской епископальной церкви^[26], пятно оказалось изумрудно-зеленым. Такого рода изменения, разумеется, весьма забавляли членов семейства Отисов, и каждый вечер по этому поводу между ними заключались пари. Лишь юная Вирджиния не находила в этом ничего забавного – всякий раз, увидев кровавое пятно, она почему-то грустнела, а в тот день, когда оно стало изумрудно-зеленым, даже чуть не расплакалась.

Во второй раз приведение появилось в ночь с воскресенья на понедельник. Едва лишь Отисы улеглись спать, как в холле послышался страшный грохот. Выбежав из своих спален, они бросились вниз и увидели, что там на каменном полу валяются упавшие с пьедестала огромные рыцарские доспехи, а в кресле с высокой спинкой сидит Кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает колени. Близнецы с той поразительной меткостью, которую можно приобрести, лишь долго и старательно практикуясь на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в привидение по заряду из трубочек для стрельбы горохом, которые они предусмотрительно захватили с собой, а посланник

Соединенных Штатов наставил на него револьвер и, в полном соответствии с калифорнийскими правилами хорошего тона, скомандовал: «Руки вверх!» Дух издал яростный вопль и, вскочив на ноги, пронесся между ними, словно гонимый ветром сгусток тумана, погасив у Вашингтона свечу и оставив их всех в кромешной темноте. Достигнув верхней площадки лестницы, он, отдышавшись и придя в себя, решил продемонстрировать свой знаменитый дьявольский хохот, который выручал его в стольких случаях. Поговаривали, что от этих звуков за ночь поседел парик лорда Рейкера, а три французские гувернантки леди Кентервиль заявили о своем уходе, не прослужив в замке и месяца.

И он разразился своим самым жутким хохотом, долго еще гудевшим под старыми сводами замка. Но не успело смолкнуть страшное эхо, как отворилась дверь, и на пороге появилась миссис Отис в бледно-голубом халате.

– Мне кажется, вам нездоровится, – сказала она, – поэтому я принесла вам микстуру доктора Добелла. Думаю, все дело в несварении желудка, и вы сами увидите, как это лекарство вам отлично поможет.

Призрак метнул на нее яростный взгляд и тут же собрался превращаться в большую черную собаку – этот трюк принес ему заслуженную славу и явился, по мнению домашнего врача Кентервилей, причиной неизлечимого слабоумия дядюшки лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортона. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого коварного намерения, и ему пришлось удовольствоваться тем, что он стал слабо фосфоресцировать, а когда близнецы подбежали к нему, он исчез, испустив леденящий душу кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он почувствовал себя совершенно сломленным, им овладело беспредельное отчаяние. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис были, конечно, крайне оскорбительными и сами по себе, но больше всего его огорчало то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже эти современные американцы будут повергнуты в трепет, когда перед ними предстанет призрак в латах, – ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над чьей изящной, притягательной поэзией он просиживал целыми часами, когда Кентервили переезжали в город.

К тому же латы эти были его собственными. Он выглядел в них очень эффектно на турнире в Кенилворте и даже удостоился нескольких лестных слов в свой адрес от самой королевы-девственницы^[27]. Но, надев их теперь, спустя столько времени, он почувствовал, что массивный нагрудник

и стальной шлем слишком тяжелы для него, и, не выдержав их веса, рухнул на каменный пол, ссадив себе оба колена и больно ударив пальцы правой руки.

После этого он несколько дней чувствовал себя больным и совсем не выходил из комнаты — разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он поправился и решил, что попробует напугать американского посланника и членов его семьи в третий раз. Для своего появления он выбрал пятницу, семнадцатого августа, и весь этот день до самого наступления темноты перебирал свой гардероб, наконец остановив выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками на рукавах и у ворота и заржавленном кинжале. К вечеру началась гроза, и ветер так бушевал, что сотрясались и гремели все окна и двери старого дома. Впрочем, такая погода для его целей подходила как нельзя лучше.

Вот в чем заключался его план. Для начала он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса, даст ему собою полюбоваться, некоторое время постояв в ногах его кровати и бормоча что-нибудь нечленораздельное, а затем под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно этот юнец имеет скверную привычку стирать своим «Образцовым очистителем» знаменитое Кентервильское Кровавое Пятно. Приведя этого безрассудного и непочтительного молодого человека в состояние полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посланника Соединенных Штатов и возложит свою холодную влажную руку на лоб миссис Отис, в то же время хрипло нашептывая ее дрожащему от ужаса мужу жуткие тайны семейного склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и, кроме того, была очень славной и доброй девочкой. Пожалуй, будет достаточно обойтись парой-другой глухих стонов из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрюченными пальцами за ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Первым делом он усядется им на грудь, дабы из-за нехватки воздуха их стали мучить кошмары. Затем, поскольку кровати их стоят совсем рядом, он расположится между ними, приняв облик зеленого холодного трупа, и не сдвинется с места до тех пор, пока их окончательно не парализует страх. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется, вращая одним глазом, ползать по комнате, изображая Онемевшего Даниила, или Скелета-самоубийцу. Это была эффектная роль, всегда производившая очень сильное впечатление, — ничуть не хуже его

знаменитого Безумного Мартина, или Неразгаданной Тайны.

В половине одиннадцатого вся семья, как можно было судить по звукам, отправилась спать. Но еще какое-то время из спальни близнецов доносились дикие взрывы хохота – как видно, мальчишки со свойственной школьникам беззаботностью резвились, перед тем как лечь в постель. В четверть двенадцатого в доме наконец воцарилась полная тишина, и, как только пробило полночь, он отправился выполнять свою благородную миссию. О стекла билась сова, ворон каркал на верхушке старого тиса, ветер блуждал вокруг дома, стеная, словно неприкаянная душа. Но Отисы спали спокойно, не подозревая о том, какое их ждет испытание, и ветру с дождем не удавалось заглушить ритмичное похрапывание посланника Соединенных Штатов. Призрак с жуткой усмешкой на сморщенных губах осторожно выступил из дубовой стеной панели, и вскоре, как раз в тот момент, когда он крался мимо огромного эркерного окна, украшенного золотисто-голубыми семейными гербами – его собственным и убитой им супруги, – круглый лик луны скрылся за облаком. Все дальше и дальше скользил он зловещей тенью, и даже ночному мраку он, казалось, внушал отвращение.

Вдруг ему почудилось, что кто-то его окликнул, и он замер на месте, но это был всего лишь лай собаки на Красной ферме. И он отправился дальше, бормоча под нос причудливые средневековые ругательства и беспрестанно размахивая ржавым кинжалом. Наконец он добрался до того места, откуда начинался коридор, ведущий в комнату несчастного Вашингтона. Там он на минутку остановился, чтобы передохнуть. Гулявший по дому ветер развеивал его седые космы и трепал могильный саван, придавая ткани причудливые, фантастические очертания. Часы пробили четверть, и он почувствовал, что дальше медлить нельзя. Удовлетворенно хихикнув, он повернул за угол, но тут же с жалостным воплем отшатнулся и закрыл побелевшее от ужаса лицо длинными костлявыми руками.

Прямо перед ним стоял страшный призрак, неподвижный, точно каменное изваяние, и чудовищно безобразный, словно приснившийся безумцу кошмар. Голова его была увенчана лоснящейся лысиной, лицо у него было круглое, толстое, мертвенно-бледное, с застывшей на нем отвратительной улыбкой. Глаза его излучали ярко-красный свет, рот был словно широкий колодец, в недрах которого полыхал огонь, а безобразное одеяние, подобное его собственному, белоснежным саваном окутывало массивную фигуру. На груди у призрака висела табличка с неразборчивой в темноте надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре,

должно быть, вещала она, о грязных пороках и диких злодействах. Его поднятая правая рука держала блестящий меч.

Дух Кентервиля, никогда раньше не видевший других привидений, естественно, до смерти перепугался. Бросив еще один беглый взгляд на страшного призрака, он бросился наутек к себе в комнату. Он бежал по коридору, не чуя под собой ног, путаясь в складках савана, и по дороге уронил свой ржавый кинжал в сапог посланника, в котором поутру он и был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты, он бросился на убогое ложе и спрятал голову под одеяло.

Но скоро в нем пробудился тот brave дух, которым испокон веков гордились все Кентервили, и он решил прямо с утра пойти поговорить с другим привидением. И вот, едва лишь рассвет коснулся своим серебром холмов, он поспешил на то место, где ему встретился напугавший его призрак; после долгих размышлений он пришел к выводу, что, в конце концов, два привидения лучше, чем одно, и что с его новым другом ему будет легче управиться с близнецами. Увы, когда он туда добрался, его взору открылось страшное зрелище. Было очевидно, что с призраком случилось какое-то несчастье. Свет погас в его пустых глазницах, блестящий меч выпал из его рук, и он стоял, опираясь на стенку в какой-то напряженной и неестественной позе.

Кентервильское привидение подбежало к нему и обхватило его руками, и в этот момент голова призрака – о, ужас! – внезапно соскочила с плеч и покатилась по полу, туловище обмякло, и оказалось, что он прижимает к себе всего лишь белый канифасный полог, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, как объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял с пола табличку с надписью и при сером утреннем свете прочел следующие слова:

ОТИССКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Единственное воистину подлинное привидение!

Остерегайтесь подделок!

Все остальные – не настоящие.

Тут только его озарило. Его одурачили, перехитрили, обвели вокруг пальца! В глазах его появилось обычное для Кентервилей выражение; он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу высохшие руки, поклялся, прибегнув к живописнейшим образцам старинной стилистики, что, не успеет Шантеклер^[28] дважды протрубить в свой громогласный рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышными шагами войдет в этот

дом.

Едва он произнес это страшное заклинание, как с красной черепичной крыши отдаленного фермерского дома донесся крик петуха. Призрак разразился негромким, продолжительным, злорадным смехом и стал терпеливо ждать. Он ждал час, он ждал два, но петух по какой-то непонятной причине не спешил петь второй раз. Наконец, когда в половине восьмого пришли горничные, ему ничего не оставалось, как оставить свое тревожное бдение, и он крадучись отправился восвояси, горюя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Оказавшись у себя в комнате, он принялся перелистывать книги о давнем рыцарстве – а это было его любимым чтением, – и в них было ясно сказано, что всякий раз, когда произносится это заклинание, должен дважды пропеть петух.

– Будь проклята эта жалкая птица! – пробормотал он. – Рано или поздно наступит тот день, когда верное мое копье пронзит ей глотку и заставит ее прокричать, но криком уже предсмертным!

После этого он улегся в свой удобный свинцовый гроб и оставался там до самой темноты.

Глава 4

Наутро призрак чувствовал себя совсем разбитым. Начинали сказываться ужасные треволнения последних четырех недель. Нервы его были вконец расшатаны, и он вздрагивал от малейшего шороха. Целых пять дней не выходил он из комнаты и в конце концов принял решение больше не обновлять кровавого пятна на полу в библиотеке. Если оно Отисам не нужно, значит, они его не заслуживают. Они явно из тех людей, которые довольствуются самым низким, иначе говоря, материальным уровнем существования и совершенно не способны оценить символическое значение явлений чувственного характера. Что касается чисто теоретических вопросов, связанных с существованием призраков или, скажем, с различными фазами развития астральных тел, то это была особая сфера, находившаяся, по правде говоря, за пределами его компетенции. Он знал лишь одно: у него есть священный долг хотя бы раз в неделю появляться в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца нечленораздельно бормотать, сидя у большого окна в эркере, и он не представлял себе, как без урона для своей чести он мог бы отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил крайне безнравственно, в потустороннем мире он во всем проявлял поразительную добросовестность. И в соответствии с этим следующие три субботы он, как всегда, с полуночи до трех ночи совершал обход коридоров, всячески заботясь о том, чтобы его никто не увидел и не услышал.

Обувь свою он оставлял теперь в комнате, стараясь ступать по источенному червями дощатому полу как можно тише, облачался в широкую черную бархатную мантию и никогда не забывал самым тщательным образом смазывать свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократии». Должен, однако, заметить, что ему было совсем нелегко заставить себя прибегнуть к названному средству защиты от ржавчины. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в спальню к мистеру Отису и стащил пузырек с маслом. Поначалу он чувствовал себя слегка униженным, но очень скоро вынужден был признать, что изобретение это и в самом деле бесполезно и неплохо ему помогает.

Несмотря на все эти меры предосторожности, его не оставляли в покое. Поперек коридора постоянно протягивались веревки, и он то и дело падал, цепляясь за них, а однажды, совершая свой обход в облачении

Черного Исаака, или Охотника из Хоглейского леса, он поскользнулся и сильно расшибся, так как близнецы намазали пол жиром, начиная от входа в Гобеленовый зал и заканчивая верхней площадкой дубовой лестницы. Эта гнусная проделка настолько его разгневала, что он решил предпринять еще одну, и окончательную, попытку защитить свое попранное достоинство и высокий статус Кентервильского привидения, представ следующей же ночью перед дерзкими воспитанниками Итона в своем любимом образе Отважного Руперта, или Графа Без Головы.

Он не выступал в этой роли уже более чем семьдесят лет – собственно, с тех самых пор, как до того напугал прелестную леди Барбару Моудиш, что она неожиданно расторгла помолвку с дедом нынешнего лорда Кентервиля и сбежала в Гретна-Грин^[29] с красавцем Джеком Каслтоном, заявив, что ни за какие коврижки не выйдет замуж за человека, семья которого позволяет таким кошмарным привидениям разгуливать в сумерках по террасе. Бедняга Джек вскоре после этого погиб от пули лорда Кентервиля на дуэли, состоявшейся на Уондсвортском лугу, а леди Барбара, сердце которой не выдержало утраты, менее чем через год умерла в Тенбридж-Уэллсе^[30]. Так что можно с уверенностью утверждать, что выступление Кентервильского привидения во всех отношениях имело грандиозный успех. Однако для этой роли требовался чрезвычайно сложный грим (если, конечно, можно применить такой сугубо театральный термин по отношению к одной из величайших загадок сверхъестественного мира, или, выражаясь по-научному, «естественного мира высшего порядка»), и ему пришлось потратить добрых три часа на приготовления. Наконец все было закончено, и он остался очень доволен своим видом. Правда, большие кожаные ботфорты, которые являлись неотъемлемой частью этого костюма, были ему великоваты, а один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, наряд на нем выглядел превосходно.

Ровно в четверть второго он выскользнул из стенной панели и стал красться по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, должен упомянуть, называлась Голубой спальней – по цвету портьер и обоев), он обнаружил, что дверь слегка приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свое появление, он широко распахнул ее, и в тот же миг на него упал тяжелый кувшин с водой, пролетев мимо его левого плеча в каких-то нескольких дюймах, но успев обрушить на него целое море воды, так что на нем и сухой нитки не осталось. Тут же из-под балдахина широкой кровати раздались взрывы сдавленного хохота.

Потрясение для его нервной системы было столь велико, что он опрометью кинулся в свою комнату, а на следующий день слег от жестокой простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без тяжелых осложнений для его ослабленного организма.

После этого он оставил всякую надежду запугать этих нецивилизованных американцев и, как правило, довольствовался тем, что бродил по коридорам в войлочных комнатных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом от сквозняков и не выпуская маленькой аркебузы^[31] из рук на случай нападения близнецов.

Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. Он спустился в огромный холл замка, уверенный, что там уж его не потревожат в такой поздний час, и забавлял себя тем, что изощрялся в насмешливых замечаниях в адрес посланника Соединенных Штатов и его супруги, изображенных на сделанных у Сарони^[32] больших фотографиях, заменивших фамильные портреты Кентервилей. Он был просто, но аккуратно одет в длинный саван, кое-где побитый могильной плесенью, нижняя его челюсть была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал небольшой фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет, как Иона Непогребенный, или Похититель Трупов с Чертсейского Гумна – один из лучших его образов, который Кентервили имели все основания надолго запомнить, поскольку именно из-за блестящего исполнения им этой роли они навсегда разругались со своим соседом лордом Раффордом.

Было около четверти третьего, и в доме, насколько он мог судить, царила полная тишина. Но когда он пробирался к библиотеке, чтобы взглянуть, остались ли от кровавого пятна хоть какие-нибудь следы, из темного угла на него внезапно бросились две фигуры и, остервенело размахивая руками над головой, завопили в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне объяснимым в таких обстоятельствах, он бросился к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем. Видя, что враги окружили его со всех сторон и деваться некуда, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, в эту ночь не топилась, и по дымоходам пробрался в свою каморку, ужасно грязный, растрепанный и исполненный отчаяния.

После этого он больше не совершал ночных вылазок. Близнецы некоторое время продолжали устраивать на него засады и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре

ореховой скорлупой, но безрезультатно.

Не было сомнений – призрак чувствовал себя настолько обиженным, что не желал являться обитателям дома. В результате мистер Отис счел возможным снова усесться за свой объемистый труд по истории Демократической партии США, над которым работал уже много лет; миссис Отис устроила великолепный пикник на морском берегу, поразивший все графство; мальчики отдались увлечению лакроссом^[33], юкером^[34], покером и другими американскими национальными играми, а Вирджиния каталась по аллеям на пони в сопровождении юного герцога Чеширского, проводившего в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул.

Все решили, что привидение покинуло замок, и мистер Отис даже написал об этом лорду Кентервилю, который в ответном письме выразил на сей счет свою радость и попросил поздравить от его имени с этим приятным событием достойную супругу посланника.

Однако Отисы ошибались, ибо привидение никуда не исчезло из замка и, хотя превратилось теперь чуть ли не в инвалида, все же не думало оставлять их в покое, особенно когда ему стало известно, что среди гостей находится юный герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который однажды поспорил с полковником Карбери на сто гиней, что сыграет в кости с Кентервильским привидением, а утром был найден на полу ломберной разбитым параличом. Хотя лорд Стилтон и дожил до самых преклонных лет, после этого случая он мог произносить всего два слова: «шестерка дубль». История эта в свое время наделала много шума, несмотря на то что из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробный рассказ обо всех обстоятельствах происшествия можно найти в третьем томе сочинения лорда Тэттла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Призраку, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина вторым браком была замужем за сэром де Балкли, а от него, как известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

Он даже сделал необходимые приготовления к тому, чтобы явиться перед юным поклонником Вирджинии в столь удававшемся ему образе Монаха-вампира, или Обескровленного Бенедиктинца. Он был так страшен в этой роли, что, когда его однажды, в роковой вечер под новый тысяча семьсот шестьдесят четвертый год, увидела старая леди Стартап, с ней, после того как она издала несколько истошных криков, случился

апоплексический удар. Через три дня она скончалась, успев лишить Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства, поскольку оставила все свои деньги лондонскому аптекарю, снабжавшему ее лекарствами.

Однако в последнюю минуту из страха перед близнецами привидение не решилось покинуть свою комнату, и юный герцог спокойно проспал до утра под большим украшенным перьями балдахином в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.

Глава 5

Несколько дней спустя Вирджиния и ее кудрявый кавалер отправились кататься верхом на Броклейские луга, и она, продираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою амазонку, что, вернувшись домой, решила подняться к себе по лестнице черного хода, чтобы ее никто не увидел. Пробегая мимо Гобеленового зала, дверь которого оказалась открытой, она заметила краем глаза, что там кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда приходившая сюда с шитьем, заглянула в дверь, чтобы попросить ее починить порванную амазонку. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что это Кентервильский призрак! Он сидел у окна и наблюдал за тем, как с пожелтевших деревьев слетает непрочная позолота и как красные листья в бешеной пляске несутся по длинной аллее парка. Голову он положил на сложенные вместе руки, и вся его поза выражала беспросветное отчаяние. Он казался таким одиноким, таким дряхлым и беззащитным, что маленькой Вирджинии, первым побуждением которой было скорее бежать отсюда и запереться в своей комнате, стало жалко его и захотелось его утешить. Шаги ее были так легки, а его меланхолия так глубока, что он заметил ее присутствие лишь тогда, когда она с ним заговорила.

– Поверьте, я вам очень сочувствую, – сказала она. – Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете себя хорошо вести, вас больше никто не обидит.

– Какой толк просить меня хорошо себя вести?! – отозвался он, с удивлением оглядываясь на хорошенькую девочку, которая не побоялась заговорить с ним. – Никакого! Мне, знаешь ли, просто положено греметь цепями, стонать сквозь замочные скважины и разгуливать по ночам – ты ведь это считаешь плохим поведением? В этом весь смысл моего существования!

– Никакого смысла тут нет, и вы сами прекрасно знаете, что плохо себя вели. Миссис Амни сказала нам в первый же день после нашего приезда, что вы убили свою жену.

– Ну, допустим, убил, – раздраженно ответил дух, – но это мое личное дело, и это никого не касается.

– Убивать людей очень нехорошо, – сказала Вирджиния с той пуританской серьезностью, которая порой появлялась в выражении ее милого лица и которую она унаследовала от какого-то предка из Новой

Англии.

– О, как я ненавижу это дешевое морализирование, свойственное абстрактной этике! Моя жена была очень дурна собой, она никогда не умела должным образом накрахмалить мне брыжи^[35] и ровно ничего не смыслила в искусстве вкусно готовить. Возьмем, к примеру, хотя бы такой случай. Однажды мне удалось убить в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка, – так вот, как же, ты думаешь, она с ним распорядилась и что в конце концов было подано к столу? Да что толку сейчас говорить об этом – дело ведь прошлое! И пусть я действительно убил свою жену, но заморить меня голодом, доведя до мучительной смерти, было со стороны ее братьев тоже не очень-то красиво.

– Они заморили вас голодом? О, мистер призрак, – то есть, я хотела сказать, сэр Саймон, – вы, наверное, и сейчас голодны? У меня в сумке есть бутерброд. Возьмите, пожалуйста!

– Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все равно с твоей стороны это очень любезно, и вообще ты гораздо симпатичнее всей своей ужасной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи.

– Не смейте так говорить! – воскликнула Вирджиния, топнув ногой. – Это вы невоспитанный, ужасный и вульгарный, а что касается честности, так вы сами прекрасно знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы наводить ваше дурацкое кровавое пятно. Сперва исчезли все красные краски, включая и алые, так что я больше не могла изображать закаты, потом вы унесли изумрудную зелень и желтый хром, а кончилось тем, что у меня вообще ничего не осталось, кроме индиго и китайских белил, и мне пришлось ограничиться пейзажами с лунным светом, а они такие унылые, да и рисовать их ужасно трудно. Но я никому на вас не наядбедничала, хоть и очень сердилась. И вообще все это страшно глупо: ну разве бывает изумрудная кровь?

– А что мне оставалось делать? – произнес призрак с некоторым смущением. – В нынешние времена достать настоящую кровь не так-то просто, и, поскольку твой драгоценный братец решил пустить в ход свой «Образцовый очиститель», мне ничего другого не оставалось, как воспользоваться твоими красками. А что касается цвета, то это, знаешь ли, дело вкуса. У Кентервилей, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такие вещи не интересуют.

– Откуда вам знать, что нас интересует? Я вам очень советую к нам эмигрировать и расширить у нас свой кругозор. Папа с радостью устроит вам бесплатный проезд, и, хотя пошлины на спиртное, а значит, и на все спиритическое ужасно высокие, проблем на таможне у вас не будет, так как

все чиновники там – демократы. А в Нью-Йорке вас ждет огромный успех. Я знаю там многих людей, которые с охотой бы дали сто тысяч долларов просто за то, чтобы у них был дедушка, ну а за то, чтобы иметь семейное привидение, дадут во сто крат больше.

– Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

– Потому что у нас нет ничего допотопного и диковинного? – насмешливо спросила Вирджиния.

– Ничего допотопного и диковинного? А ваш флот и ваши манеры?

– Всего хорошего! Пойду попрошу папу, чтобы он разрешил близнецам задержаться еще на одну неделю.

– Прошу вас, не уходите, мисс Вирджиния! – воскликнул призрак. – Я так одинок и несчастен! И я совершенно не знаю, что делать мне дальше. Больше всего я хотел бы уснуть, но, увы, не могу.

– Ну что за глупости вы говорите! Для этого всего лишь надо лечь в постель и задуть свечу. Вот бодрствовать – это гораздо труднее, особенно в церкви. А для того чтобы уснуть, не нужно никаких усилий. С этим справится и грудной младенец, хоть он почти и ничего не соображает.

– Я не сплю уже триста лет, – печально промолвил призрак, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. – Триста лет я не знаю сна и чувствую себя бесконечно усталым!

Лицо Вирджинии затуманилось, губы ее задрожали, словно лепестки розы. Она подошла к привидению, опустилась на колени и заглянула в его древнее, морщинистое лицо.

– Бедное, бедное привидение, – едва слышно проговорила она. – Неужели ты не знаешь такого места, где хотел бы уснуть?

– Далеко-далеко отсюда, там, за сосновым бором, – отвечал призрак тихим, мечтательным голосом, – есть маленький сад. Трава там высокая и густая, там белеют цветы болиголова, подобные звездам, и всю ночь там поет соловей. Да, всю ночь не смолкая поет соловей, холодная хрустальная луна бесстрастно взирает вниз и могучий тис простирает над спящими свои исполинские ветви.

Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала в ладони лицо.

– Ты говоришь о Саде Смерти? – прошептала она.

– Да, я говорю о нем. Как, должно быть, прекрасна Смерть! Как хорошо лежать в мягкой, теплой земле, зная, что над тобой колышутся травы, и слушать вечную тишину. Как хорошо, что нет ни вчера, ни завтра, что можно забыть о ходе времени и навеки забыться, обретя наконец покой. Знаешь, ты мне можешь помочь. Ты можешь отворить для меня врата Храма Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь ведь сильнее Смерти.

По телу Вирджинии прошла холодная дрожь, и некоторое время между ними царило молчание. Ей казалось, будто все это какой-то жуткий сон.

Потом снова заговорил призрак, и голос его звучал подобно вздохам ветра:

– Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

– О, много раз! – воскликнула девочка, поднимая на привидение глаза. – Я успела его выучить наизусть. Оно написано какими-то старинными причудливыми буквами, так что сразу их трудно прочесть. Там всего несколько строчек:

Когда по воле девственницы юной
Молитву вознесут уста Греха,
Когда миндаль засохший ночью лунной
Цветеньем буйным поразит сердца,
А малое дитя проронит тихо слезы,
Дабы они с души все скорби смыли,
Тогда настанет мир, уйдут из замка грозы
И снизойдет покой на Кентервиля.

Только я не понимаю, что это значит.

– А это значит, – печально промолвил дух, – что ты должна оплакивать мои прегрешения, ибо у меня не осталось слез, и молиться за мою душу, ибо у меня не осталось веры. И тогда, если ты всегда будешь оставаться такой же доброй, чистой и кроткой, Ангел Смерти смилуетсЯ надо мной. Страшные видения будут преследовать тебя в темноте, злые голоса станут шептать тебе на ухо ужасные вещи, но они не причинят тебе никакого вреда, ибо все темные силы ада бессильны перед чистотой ребенка.

Вирджиния ничего не ответила, и призрак, глядя на ее склоненную златокудрую голову, принялся в отчаянии заламывать руки. Вдруг девочка встала. Лицо ее было бледным, глаза как-то странно сияли.

– Я не боюсь, – сказала она решительно. – Я попрошу Ангела Смерти смиловаться над тобой.

Издав негромкое радостное восклицание, он поднялся на ноги, взял ее руку и, со старомодной грацией низко склонившись, поднес руку к губам и поцеловал. Пальцы его были холодными как лед, а губы жгли как огонь, но Вирджиния не отпрянула от него, и он повел ее за руку через весь полутемный зал. На поблекших от времени зеленых гобеленах были вышиты маленькие фигурки охотников. Они трубили в украшенные

кисточками горны и махали Вирджинии крошечными руками, пытаясь уговорить ее вернуться назад. «Вернись, маленькая Вирджиния, вернись!» – кричали они. Но призрак еще крепче сжал ее руку, и она, чтобы не видеть охотников, закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостом ящерицы подмигивали ей с резной каминной полки и негромко бормотали ей вслед: «Берегись, маленькая Вирджиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух неся вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их.

Когда они оказались в самом конце зала, он остановился и тихо произнес несколько непонятных ей слов. Она открыла глаза и увидела, как стена постепенно исчезает, словно рассеивающийся туман, а за ней зияет огромная черная пустота. Налетел порыв ледяного ветра, и она почувствовала, как ее дергают за платье.

– Скорее, скорее! – крикнул ей призрак. – Иначе будет слишком поздно.

Через мгновение стенная панель за ними сомкнулась, и в Гобеленовом зале стало пусто.

Глава 6

Когда десять минут спустя зазвонил колокольчик, приглашая всех к чаю, а Вирджиния в библиотеку не спустилась, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Тот вскоре вернулся и заявил, что нигде разыскать ее не смог. Вирджиния имела обыкновение выходить каждый вечер в сад за цветами для обеденного стола, поэтому у миссис Отис поначалу не возникло никаких опасений.

Но когда пробило шесть, а Вирджиния так и не появилась, миссис Отис начала волноваться всерьез и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом принялась обшаривать весь дом, заходя в каждую комнату. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что никаких следов Вирджинии им обнаружить не удалось.

Теперь беспокойство овладело всеми, но никто толком не знал, что делать, но вдруг мистер Отис вспомнил, что несколько дней назад дал разрешение остановиться в поместье цыганскому табору. Взяв с собой старшего сына и двух работников, он, не теряя ни минуты, отправился в Блэкфельский лог, где, как он знал, и остановились цыгане. Юный герцог Чеширский, который не находил себе места от беспокойства, во что бы то ни стало хотел идти вместе с ними, но мистер Отис, опасаясь, что дело может дойти до драки, не разрешил ему этого.

Когда они добрались до Блэкфельского лога, цыган уже и след простыл, и, судя по тому, что костер еще не погас, а в траве валялась посуда, они снялись с лагеря в страшной спешке. Отправив Вашингтона и работников продолжать поиски дальше, мистер Отис поспешил домой, чтобы разослать полицейским инспекторам по всему графству телеграммы с просьбой помочь разыскать девочку, которую похитили бродяги или цыгане. Затем он распорядился, чтобы ему подали коня, и, уговорив жену и мальчиков пообедать, поскакал с грумом по Аскотской дороге. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что их догоняет на своем пони юный герцог. Он был без шляпы, лицо его покраснелось.

– Прошу прощения, мистер Отис, – произнес задыхаясь юноша, – но как я могу обедать, когда потерялась Вирджиния? Не сердитесь, пожалуйста, на меня, но, если бы в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не могло бы произойти. Вы не отошлете меня назад, ведь правда? Я не могу туда возвращаться! И я все равно не поеду

назад!

Посланник не мог удержаться от улыбки, глядя на этого юного привлекательного аристократа. Его очень тронуло, что мальчик так предан Вирджинии, и он, перегнувшись к нему, ласково потрепал его по плечу.

– Что ж, Сесил, деваться некуда, – сказал он. – Раз вы решили не возвращаться, придется вас взять с собой, только надо будет купить вам в Аскоте шляпу.

– Мне не шляпа нужна! Мне нужна Вирджиния! – воскликнул, рассмеявшись, юный герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил у начальника станции, не видел ли кто-нибудь на перроне девочку, похожую по описанию на Вирджинию, но тот ничего определенного ответить не мог. Все же он телеграфировал по всей линии и заверил мистера Отиса, что они будут здесь начеку и в случае, если им что-нибудь станет известно, сразу дадут ему знать. Купив юному герцогу шляпу в лавке торговца льняным товаром, который закрывал уже ставни, посланник со своей командой направился в деревню Бексли, что примерно в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Там они разбудили сельского полисмана, но ничего от него не добились и, проехав по всему выпасу, повернули домой.

До замка они добрались часам к одиннадцати, смертельно усталые и совершенно обескураженные. У домика привратника они увидели Вашингтона и близнецов, дожидавшихся их с фонарями, ибо под деревьями, обрамлявшими подъездную аллею, было темно, хоть глаз выколи. Увы, никаких обнадеживающих новостей здесь тоже не было: на след Вирджинии пока напасть не удалось. Цыгане были настигнуты на Броклейских лугах, но девочки с ними не оказалось. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чортонскую ярмарку, так как перепутали день ее проведения. Цыгане и сами огорчились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках: цыгане были признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Был прочесан с помощью драги сазановый пруд и обшарен каждый клочок земли в поместье, но безрезультатно. Становилось все более очевидным, что, по крайней мере, до следующего дня они Вирджинии не увидят. Мистер Отис и мальчики возвращались в замок совершенно подавленные; за ними шел грум, ведя обеих лошадей и пони. В холле они увидели собравшихся кучкой перепуганных слуг, а в библиотеке на диване лежала бедная миссис Отис, почти потерявшая рассудок от пережитых ею в этот страшный день волнений и ужасов; старая

домоправительница то и дело смачивала ей одеколоном виски. Мистер Отис принялся уговаривать жену хоть немного поесть и велел подать ужин для всех собравшихся в замке. Это была очень невеселая трапеза, проходившая в полном молчании, и даже близнецы сидели притихшие и подавленные: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его юный герцог разрешить ему не ложиться, отправил всех спать, заявив, что этой ночью все равно уже ничего невозможно сделать, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотленд-Ярда. Как раз в тот момент, когда они выходили из столовой, часы на церковной башне начали гулко бить полночь, и при звуке последнего удара раздался вдруг громкий треск, кто-то пронзительно закричал и весь дом сотрясся от оглушительного раската грома. А когда в воздухе зазвучала завораживающе прекрасная, неземная музыка, стенная панель на верху лестницы с громким шумом отвалилась и на лестничную площадку выступила бледная как полотно Вирджиния с маленькой шкатулкой в руках.

Все гурьбой ринулись к ней. Миссис Отис крепко ее обняла, юный герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы скакали вокруг нее в каком-то диком воинственном танце.

– О боже, девочка моя! Где ты все это время пропадала? – спросил мистер Отис, стараясь придать голосу строгие нотки, ибо полагал, что это был всего лишь глупый розыгрыш. – Мы с Сесилом объездили все вокруг, разыскивая тебя, а твоя мама чуть не умерла со страху. Никогда больше не шути так с нами!

– Шутить разрешается только с привидением! С при-ви-де-ни-ем! – громко скандировали близнецы, выделявая ногами все новые и новые антраша.

– Милая моя, родная, нашлась, слава богу! – твердила миссис Отис, целуя дрожащую дочь и разглаживая ее спутанные золотые локоны. – Никогда больше не оставляй меня так надолго!

– Папа, – проговорила Вирджиния негромким голосом, – я провела весь этот вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он при жизни поступал очень дурно, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она говорила совершенно серьезно. Повернувшись, она повела их к отверстию в стенной панели, через которое они попали в узкий потайной коридор, по которому и направились дальше. Вашингтон с зажженной свечой, взятой им со стола, замыкал процессию. Спустя какое-то время они пришли к тяжелой дубовой

двери на массивных петлях, обитой ржавыми гвоздями. Стоило Вирджинии коснуться двери, как та сразу же распахнулась, впустив их в низенькую каморку со сводчатым потолком и крошечным зарешеченным окошком. К вмурованному в стену огромному железному кольцу был прикован цепью крайне изможденный скелет, распростертый во всю длину на каменном полу. Казалось, он пытается дотянуться своими длинными костлявыми пальцами до старинного блюда и кувшина, поставленных так, чтобы он их не мог достать. Кувшин, очевидно, был когда-то наполнен водой, если судить по остаткам зеленой плесени, покрывавшей его внутри. На блюде оставалась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив вместе свои маленькие руки, начала беззвучно молиться, а остальные с изумлением взирали на все это, понимая, что перед ними открылась тайна происшедшей некогда ужасной трагедии.

– Смотрите! Смотрите! – внезапно воскликнул один из близнецов, который все это время заглядывал в окошко, чтобы попытаться определить, в какой части замка они находятся. – Расцвело сухое миндальное дерево! Я хорошо различаю цветки, ведь сегодня так ярко светит луна.

– Значит, Господь простил его! – торжественно произнесла Вирджиния, поднимаясь с колен, и всем стало казаться, что какое-то прекрасное сияние озарило ее лицо.

– Вы ангел! – воскликнул юный герцог, обнимая и целуя ее.

Глава 7

Через четыре дня после этих необыкновенных событий, где-то за час до полуночи, из Кентервильского замка выехал траурный кортеж. В катафалк было впряжено восемь черных лошадей, и у каждой на голове покачивался пышный султан из страусовых перьев; на свинцовый гроб был накинута богатый пурпурный покров с гербом Кентервилей, вытканым золотом. Рядом с катафалком и экипажами шествовали слуги с горящими факелами, и вся процессия производила необыкновенное впечатление. Самый близкий родственник умершего, лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. За ними следовал посланник Соединенных Штатов с супругой, потом Вашингтон и три мальчика. Замыкала процессию карета, в которой сидела миссис Амни, – ни у кого не возникало сомнений, что, поскольку привидение пугало эту достойную особу более пятидесяти лет, у нее есть все основания проводить его в последний путь.

Выйдя из карет, скорбящие подошли к глубокой могиле, вырытой в углу погоста, прямо под тисовым деревом, и преподобный Огастес Дэмпир с большим воодушевлением прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервилей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния приблизилась к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветков миндаля. В этот момент из-за облака выплыла луна, заливая маленькое кладбище призрачным серебром, а в отдаленной роще запел соловей. Вирджиния вспомнила, как привидение описывало Сад Смерти, глаза ее наполнились слезами, и на всем обратном пути она не проронила ни слова.

На следующее утро, прежде чем лорд Кентервиль уехал в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе – редкостный образец работы шестнадцатого века; их ценность была столь велика, что мистер Отис считал невозможным позволить дочери их принять.

– Милорд, – сказал посланник, – я знаю, что в вашей стране «право мертвой руки»^[36] распространяется не только на земельную собственность, но и на фамильные драгоценности, и для меня является очевидным, что украшения, переданные моей дочери, на самом деле принадлежат вашему

роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. А поэтому я прошу вас забрать их с собой в Лондон и рассматривать их как часть по праву принадлежащего вам имущества, которая была возвращена законному владельцу, хотя и при несколько странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава богу, мало интересуется такого рода дорогими безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне – а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и неплохо разбирается в вопросах искусства, – что эти украшения имеют большую ценность, и, если бы были предложены для продажи, за них можно было бы получить солидную сумму. В этих обстоятельствах, лорд Кентервиль, я, как вы должны понимать, не могу допустить, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще такого рода безделушки, какими бы уместными или необходимыми, с точки зрения поддержания престижа, они ни казались в глазах британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, непоколебимых республиканских принципах простоты. Впрочем, не стану скрывать, что Вирджиния была бы счастлива, если бы вы позволили ей сохранить саму шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Поскольку вещь эта старая и достаточно ветхая, вы, быть может, и в самом деле найдете возможным исполнить ее просьбу. Я же, со своей стороны, должен признаться, что крайне удивлен интересом моей дочери к чему-либо средневековому и могу объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона вскоре после того, как миссис Отис возвратилась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль выслушал речь почтенного посланника с величайшим вниманием, лишь изредка подергивая себя за седые усы, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис закончил, он крепко пожал ему руку и сказал:

– Дорогой мистер Отис, ваша прелестная дочь оказала моему несчастному предку, сэру Саймону, поистине неоценимую услугу, и я, как и все мои родственники, чрезвычайно признателен ей за это и восхищен ее поразительной отвагой и самоотверженностью. Драгоценности по праву принадлежат только ей, и если бы я забрал их у нее, то, ей-богу, я проявил бы такое бессердечие, что через каких-нибудь пару недель старый грешник непременно вышел бы из могилы и не давал бы мне покоя до конца дней моих. Что же до того, являются ли эти драгоценности семейными, то их, несомненно, нельзя считать таковыми, поскольку среди них нет ни одного предмета, который был бы упомянут в завещании или ином юридическом документе, и об их существовании до сих пор не было известно. Уверяю

вас, у меня на них столько же прав, сколько, например, у вашего дворецкого, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Вирджиния станет взрослой, она с удовольствием их будет носить. К тому же вы забываете, мистер Отис, что купили замок вместе с мебелью и привидением, а стало быть, все, что принадлежало привидению, автоматически стало вашей собственностью – ведь, хотя сэр Саймон и проявлял по ночам некоторую активность, с точки зрения закона он считается мертвым, а значит, покупая поместье, вы приобрели также и всю его личную собственность.

Мистера Отиса немало огорчил отказ лорда Кентервиля принять драгоценности, и он просил его изменить свое решение, но благородный пэр был тверд и в конце концов уговорил посланника позволить дочери оставить подарок, сделанный привидением. Когда весной тысяча восемьсот девяностого года молодую герцогиню Чеширскую представляли по случаю ее бракосочетания самой королеве, ее драгоценности вызвали всеобщее восхищение. Да, да, герцогиня Чеширская – это и есть наша маленькая Вирджиния, ибо она, выйдя замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, стала герцогиней и получила герцогскую корону – награду, которую получают за образцовое поведение все американские девочки.

Вирджиния и юный герцог были так очаровательны и так влюблены друг в друга, что их союз привел в восторг всех, за исключением старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочерей и дала с этой целью целых три дорогих званных обеда, а также, как ни странно, самого мистера Отиса. При всей своей личной привязанности к молодому герцогу он теоретически был против титулов и в данном случае, если привести его собственные слова, «опасался, как бы из-за расслабляющего влияния приверженной наслаждениям аристократии не были бы забыты незыблемые принципы республиканской простоты». Но в конце концов его удалось убедить в безосновательности его опасений, и когда он вел свою дочь к алтарю церкви Святого Георгия, что на Гановер-сквер, то, кажется, вряд ли во всей Англии нашелся бы человек счастливее его.

По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пребывания там посетили заброшенное кладбище близ соснового бора. Им долго не удавалось придумать эпитафию для надгробия сэра Саймона, и в конце концов они решили ограничиться его инициалами, а также стихами, начертанными на окне библиотеки. Герцогиня принесла с собой свежие розы и усыпала ими могилу. Немного постояв над местом вечного упокоения Кентервильского

привидения, они направились к полуразрушенной старинной церквушке. Герцогиня присела на упавшую колонну, а ее молодой супруг расположился у ее ног. Он курил и молча любовался ее прекрасными глазами. Вдруг он выбросил недокуренную папиросу, взял ее за руку и сказал:

– Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.

– У меня нет от тебя секретов, дорогой Сесил.

– А вот и есть, – ответил он улыбаясь. – Ты ведь никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

– Я никому этого не рассказывала, Сесил, – сказала Вирджиния, посерьезнев.

– Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

– Ну пожалуйста, Сесил, не надо меня просить, я не могу этого рассказывать. Бедный сэр Саймон! Я стольким ему обязана! Не смейся, Сесил, это действительно так. Он открыл для меня, что есть Жизнь и что есть Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал жену.

– Что ж, пусть эта тайна будет твоей, лишь бы твое сердце было моим, – прошептал он ей на ухо.

– Оно всегда было твоим, Сесил.

– Но ведь нашим детям ты расскажешь когда-нибудь?

Вирджиния зарделась от волнения.

Преступление лорда Артура Сэвила
Этюд о чувстве долга



Леди Уиндермир давала последний прием перед Пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ – грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хохотала в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники по-приятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейзли.

Как хороша была хозяйка вечера! Белизна ее точеной шеи, незабудковая синева глаз и золото волос не могли не вызывать восхищения. То было и в самом деле чистейшее золото, а не бледно-желтый цвет соломы, который ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрятанное в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось, как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаще всего почитают за невинность. За счет нескольких дерзких проделок – большей частью, впрочем, совершенно безобидных – она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно Справочнику Дебретта^[37], их у нее было три), но сохранила одного любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неумной жаждой удовольствий, которая единственно и продлевает молодость.

Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

– Где мой хиромант?

– Кто-кто, Глэдис? – вздрогнув, воскликнула герцогиня.

– Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

– Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна, – пробормотала герцогиня, пытаясь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

– Он приходит два раза в неделю, – продолжала леди Уиндермир, – и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

– О боже! – тихо ужаснулась герцогиня. – Что-то вроде мозольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он, по крайней мере, иностранец. Это было бы еще не так страшно.

– Я непременно должна вас познакомить.

– Познакомить! – вскричала герцогиня. – Он что же, здесь?

Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

– Разумеется, он здесь. Какой же прием без него! Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

– Ах, вот что... – У герцогини отлегло от сердца. – Он гадает!

– И угадывает! – подхватила леди Уиндермир. – И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так что я буду жить на воздушном шаре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце – или на ладони, я точно не помню.

– Ты искушаешь провидение, Глэдис.

– Милая герцогиня, я уверена, что провидение давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера Поджерса, я пойду за ним сама.

– Позвольте мне, леди Уиндермир, – сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

– Спасибо, лорд Артур, но вы же его не знаете.

– Если он такой замечательный, как вы рассказываете, леди

Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

– Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой – нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты – на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед настоящее чудовище – заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте – какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейзли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

– Право, Глэдис, это не вполне прилично, – проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

– Все, что интересно, не вполне прилично, – парировала леди Уиндермир. – On a fait le monde ainsi^[38]. Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант. Мистер Поджерс, это герцогиня Пейзли, и, если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не буду верить.

– Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного, – с достоинством произнесла герцогиня.

– Вы совершенно правы, ваша светлость, – сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами, – лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четкие линии на сгибе! Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие... весьма скромно, линия интеллекта... не утрирована, линия сердца...

– Говорите все как есть, мистер Поджерс! – вставила леди Уиндермир.

– С превеликим удовольствием, сударыня, – сказал мистер Поджерс и поклонился, – но, увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

– Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс, – весьма благосклонно произнесла герцогиня.

– Не последнее из достоинств вашей светлости – бережливость, – продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

– Бережливость – прекрасное качество, – удовлетворенно проговорила герцогиня. – Когда я вышла за Пейзли, у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

– А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка! – отозвалась леди Уиндермир.

– Видишь ли, милая, я люблю...

– Комфорт, – произнес мистер Поджерс, – удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт – это единственное, что может нам дать цивилизация.

– Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре.

Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопатками и рыжеватыми волосами того оттенка, который столь характерен для шотландцев; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

– А, пианистка! Вижу, вижу, – сказал мистер Поджерс. – Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

– Сущая правда! – воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. – Флора держит в Маккლოსки две дюжины овчарок колли. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

– Со своим домом я это проделываю каждый четверг, – рассмеялась леди Уиндермир, – вот только овчаркам предпочитаю львов.

– Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир, – сказал мистер Поджерс и чинно поклонился.

– Женщина без милых ошибок – это не женщина, а просто особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

– Непоседливый нрав; четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь. Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

– Поразительно! – вскричал сэр Томас. – Вы непременно должны

погадать моей жене.

– Вашей второй жене, – уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса. – С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел – меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами – наотрез отказалась предавать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол месье де Колов не пожелал даже снять перчатки, несмотря на все увещевания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и проницательными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермор – прямо здесь, пред всеми, – что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия – крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как оставаясь тет-а-тет.

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о печальной истории леди Фермор и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджерса.

– Ну разумеется! – сказала леди Уиндермир. – Он здесь именно для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, – это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не стану утаивать от Сибил. Я жду ее завтра к обеду – нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в каком-нибудь Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

– Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

– В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили. Взаимные иллюзии – вот лучшая основа для брака. Нет-нет, я не цинична, просто у меня есть опыт – впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне: об этом «Морнинг Пост» сообщила еще месяц тому назад.

– Леди Уиндермир, душечка, – вскричала маркиза Джедберг, – оставьте мистера Поджерса мне. Он только что сказал, что меня ждут подмостки, – как интересно!

– Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я заберу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

– Что ж, – леди Джедберг состроила обиженное личико и поднялась с дивана, – если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

– Разумеется. Мы все будем зрителями, – объявила леди Уиндермир. – Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур – мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задергались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смутения и сам – впервые в жизни – почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать, но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

– Я жду, мистер Поджерс, – сказал он.

– Мы все ждем! – нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

– Артуру, наверное, суждено играть на сцене, – предположила леди Джедберг, – но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он теперь боится сказать ему об этом.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланой улыбкой:

– Передо мной рука очаровательного молодого человека.

– Это ясно, – ответила леди Уиндермир. – Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

– Как все очаровательные молодые люди, – сказал мистер Поджерс.

– По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным, – в задумчивости проговорила леди Джедберг. – Это опасно.

– Дитя мое, – воскликнула леди Уиндермир, – муж никогда не бывает слишком обворожителен! Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?

– Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие...

– Ну разумеется, в свадебное!

– И потеряет одного из родственников.

– Надеюсь, не сестру? – жалостливо спросила леди Джедберг.

– Нет, безусловно не сестру, – успокоил ее жестом мистер Поджерс. – Кого-то из дальней родни.

– Что ж, я безумно разочарована, – заявила леди Уиндермир. – Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует – она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку – он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы уgomонился этот генерал Буланже^[39]. Герцогиня, вы не устали?

– Вовсе нет, Глэдис, свет мой, – отозвалась герцогиня, ковыляя к двери. – Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант весьма интересен. Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэр Томас. А моя кружевная накидка. Флора? Благодарю вас, сэр Томас, вы очень любезны. – И сия достойная дама спустилась наконец по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый неодолимым страхом, являющей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о Сибил Мертон – и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову горгоны Медузы. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изящества, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишенную презренных забот; теперь же – впервые – он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек, – предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле, – пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него

взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть, – трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят. Наши гильденстерны играют Гамлета, а наши гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир – сцена, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зеленовато-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

– Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали, – проговорил наконец мистер Поджерс. – Вот она, на диване. Честь имею.

– Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

– В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется. Ну, я пойду.

– Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

– Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур, – пролепетал мистер Поджерс, криво улыбнувшись. – Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись, придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку.

– Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

– А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

– Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

– Сто гиней? – еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

– Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

– Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес... хотя позвольте, я дам вам свою карточку. – С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись,

протянул ее лорду Артуру:

М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС
Профессиональный хиромант
Уэст-Мун-стрит, 103а

– Я принимаю с десяти до четырех, – машинально добавил мистер Поджерс. – Семьям предоставляю скидку.

– Быстрее! – вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

Мистер Поджерс опасливо оглянулся и задернул тяжелую портьеру.

– Мне нужно время, лорд Артур. Присядьте.

– Быстрее, сэр! – снова вскричал лорд Артур и рассерженно топнул ногой по полированному паркету.

Мистер Поджерс улыбнулся, извлек из нагрудного кармана увеличительное стекло и тщательно протер его носовым платком.

– Я готов, – сказал он.

II

Десять минут спустя лорд Артур Сэвил выбежал из дома с выражением ужаса на бледном лице и молчаливой мукой в глазах, протиснулся сквозь укутанных в шубы лакеев, столпившихся под полосатым навесом, и ринулся прочь, ничего не видя и не слыша. Ночь была холодная, дул пронизывающий ветер, от которого газовые фонари на площади попеременно вспыхивали и тускнели, но у лорда Артура горели руки, и лоб его пылал. Он шел не останавливаясь, нетвердой поступью пьяного, и полицейский на углу с любопытством проводил его взглядом. Нищий, сунувшийся было за подающим, перепугался при виде такого отчаяния, какое ему даже и не снилось. Один раз лорд Артур остановился под фонарем и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что уже сейчас на них расплываются кровавые пятна, и с его дрожащих губ слетел негромкий стон.

Убийство! Вот что увидел хиромант. Убийство! Ужасное слово звенело во мраке, и бесприютный ветер шептал его лорду Артуру на ухо. Это слово кралось по ночным улицам и скалило зубы с крыш.

Он вышел к Гайд-парку: его безотчетно влекло к этим темным деревьям. Он устало прислонился к ограде и прижал лоб к влажному металлу, вбирая тревожную тишину парка. «Убийство! Убийство!» – повторял он, словно надеясь притупить чудовищный смысл пророчества. От звука собственного голоса он содрогался, но в то же время ему хотелось, чтобы громогласное эхо, услышав его, пробудило весь огромный спящий город. Его охватило безумное желание остановить первого же прохожего и все ему рассказать.

Он двинулся прочь, пересек Оксфорд-стрит и углубился в узкие улочки – прибежище низменных страстей. Две женщины с ярко раскрашенными лицами осыпали его насмешками. Из темного двора слышалась ругань и звук ударов, а затем пронзительный вопль; сгорбленные фигуры, припавшие к сырой стене, явили ему безобразный облик старости и нищеты. Он почувствовал странную жалость. Возможно ли, чтоб эти дети бедности и греха так же, как и он сам, только следовали предначертанию? Неужто они, как и он, лишь марионетки в дьявольском спектакле?

Нет, не тайна, а ирония людских страданий поразила его, их полная бессмысленность и бесполезность. Как все нелепо, несообразно! Как

начисто лишено гармонии! Его потрясло несоответствие между бойким оптимизмом повседневности и подлинной картиной жизни. Он был еще очень молод.

Спустя некоторое время он вышел к Марилебонской церкви. Пустынная мостовая была похожа на ленту отполированного серебра с темными арабесками колышущихся теней. Ряд мерцающих газовых фонарей, извиваясь, убегал вдаль; перед домом, обнесенным невысокой каменной оградой, стоял одинокий экипаж со спящим кучером. Лорд Артур поспешно зашагал по направлению к Портланд-плейс, то и дело оглядываясь, словно опасаясь погони. На углу Рич-стрит стояли двое: они внимательно читали небольшой плакат. Лорда Артура охватило болезненное любопытство, и он перешел через дорогу. Едва он приблизился, как в глаза ему бросилось слово «УБИЙСТВО», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и щеки его залились румянцем. Полиция предлагала вознаграждение за любые сведения, которые помогут задержать мужчину среднего роста, в возрасте от тридцати до сорока лет, в котелке, черном сюртуке и клетчатых брюках, со шрамом на правой щеке. Читая объявление снова и снова, лорд Артур мысленно спрашивал себя, поймут ли этого несчастного и откуда у него шрам. Когда-нибудь, возможно, и его, лорда Артура, имя расклеят по всему Лондону. Возможно, и за его голову назначат цену.

От этой мысли он похолодел. Резко повернувшись, он кинулся во мрак.

Он шел, не разбирая дороги. Лишь смутно вспоминал он потом, как бродил в лабиринте грязных улиц, как заблудился в бесконечном сплетенье темных тупиков и переулков, и, когда уже небо озарилось рассветным сияньем, вышел наконец на площадь Пикадилли.

Устало повернув к дому в сторону Белгрейв-сквер, он столкнулся с тяжелыми фермерскими повозками, катящимися к Ковент-Гарден. Возчики в белых фартуках, с открытыми загорелыми лицами и жесткими кудрями, неторопливо шагали, щелкая кнутами и перебрасываясь отрывистыми фразами. Верхом на огромной серой лошади, возглавлявшей шумную процессию, сидел круглолицый мальчишка в старой шляпе, украшенной свежими цветами примулы; он крепко вцепился ручонками в гриву и громко смеялся. Горы овощей сверкали, как россыпи нефрита на фоне утренней зари, – зеленого нефрита на фоне нежно-красных лепестков роскошной розы. Лорда Артура зрелище это непонятно почему взволновало. Что-то в хрупкой прелести рассвета показалось ему невыразимо трогательным, и он подумал о бесчисленных днях, что занимают в мирной красоте, а угасают в буре. И эти люди, что

перекликаются так непринужденно, грубовато и благодушно, – какую странную картину являет им Лондон в столь ранний час! Лондон без ночных страстей и дневного чада – бледный, призрачный город, скопище безжизненных склепов. Что они думают об этом городе, известно ли им о его великолепии и позоре, о безудержном, феерическом веселье и отвратительном голоде, о бесконечной смене боли и наслаждений? Возможно, для них это только рынок, куда они свозят плоды своего труда, где проводят не более двух-трех часов и уезжают по еще пустынным улицам мимо спящих домов. Ему приятно было смотреть на них. Грубые и неловкие, в тяжелых башмаках, они все же казались посланцами Аркадии. Он знал, что они слились с природой и природа дала им душевный покой. Как не завидовать их невежеству!

К тому времени как он добрал до Белгрейв-сквер, небо уже слегка поглубело и в садах зазвучали птичьи голоса.

III

Когда лорд Артур проснулся, был полдень, и солнечные лучи заливали спальню, струясь сквозь кремовый шелк занавесок. Он встал и выглянул в окно. Лондон был погружен в легкую дымку жары, и крыши домов отливали темным серебром. Внизу, на ослепительно зеленом газоне, словно белые бабочки, порхали дети, а на тротуаре теснились прохожие, идущие в парк. Никогда еще жизнь не казалась такой чудесной, а все страшное и дурное – таким далеким.

Слуга принес на подносе чашку горячего шоколада. Выпив шоколад, лорд Артур отодвинул бархатную портьеру персикового цвета и вошел в ванную. Сверху, через тонкие пластины прозрачного оникса, падал мягкий свет, и вода в мраморной ванне искрилась, как лунный камень. Он поспешно лег в ванну, и прохладная вода коснулась его шеи и волос, а потом окунул и голову, словно желая смыть какое-то постыдное воспоминание. Вылезая, он почувствовал, что почти обрел обычное для себя душевное равновесие. Сиюминутное физическое наслаждение поглотило его, как это часто бывает у тонко чувствующих натур, ибо наши ощущения, как огонь, способны не только истреблять, но и очищать.

После завтрака он прилег на диван и закурил папиросу. На каминной доске стояла большая фотография в изящной рамке из старинной парчи – Сибил Мертон, какой он впервые увидел ее на балу у леди Ноэл. Маленькая, изысканная головка чуть наклонена, словно грациозной шее-стебельку трудно удержать бремя ослепительной красоты, губы слегка приоткрыты и кажутся созданными для нежной музыки, и все очарование чистой девичьей души глядит на мир из мечтательных, удивленных глаз. В мягко облегающем платье из крепдешина, с большим веером в форме листа платана, она похожа на одну из тех прелестных статуэток, что находят в оливковых рощах возле Танагры^[40], – в ее позе, в повороте головы была видна истинно греческая грация. И в то же время ее нельзя назвать миниатюрной. Ее отличает совершенство пропорций – большая редкость в наше время, когда женщины в основном либо крупнее, чем положено природой, либо ничтожно мелки.

И вот сейчас, глядя на нее, лорд Артур ощущал безмерную жалость – горький плод любви. Жениться, когда над ним нависает злобещая тень убийства, было бы предательством сродни поцелую Иуды, коварством, какое не снилось даже Борджиа. Что за счастье уготовано им, когда в

любую минуту он может быть призван выполнить ужасное пророчество, написанное на ладони? Что за жизнь ждет их, если судьба таит в себе кровавое обещанье?

Во что бы то ни стало свадьбу надо было отложить. Тут он будет тверд. Он страстно любил эту девушку; одно прикосновение ее пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая, что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. И лишь сделав то, что надлежит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха вверит ей свою жизнь. Тогда он сможет обнять ее, твердо зная, что никогда ей не придется краснеть за него и склонять голову от стыда. Но прежде надо выполнить требование судьбы – и чем скорее, тем лучше для них обоих.

Многие в его положении предпочли бы сознанию жестокой необходимости сладкий самообман, но лорд Артур был слишком честен, чтобы ставить удовольствие выше долга. Его любовь – не просто страсть: Сибил олицетворяла для него все, что есть лучшего и благороднейшего. На мгновение то, что ему предстояло, показалось немыслимым, отвратительным, но это чувство скоро прошло. Сердце подсказывало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напоминал, что другого пути нет. Перед ним выбор: жить для себя или для других, и как ни ужасна возложенная на него задача, он не позволит эгоизму возобладать над любовью. Рано или поздно каждому из нас приходится решать то же самое, отвечать на тот же вопрос. С лордом Артуром это случилось рано, пока он еще молод и не заражен цинизмом и расчетливостью зрелых лет, пока его сердце не разъело модное ныне суетное себялюбие, и он принял решение не колеблясь. К тому же – и в этом его счастье – он не был мечтателем и праздным дилетантом. В противном случае он долго сомневался бы, как Гамлет, и нерешительность затуманила бы цель. Нет, лорд Артур был человеком практичным. Для него жить – значило скорее действовать, чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств – здравым смыслом.

Безумные, путанные ночные переживания теперь совершенно улетучились, и ему даже стыдно было вспоминать, как он слепо бродил по городу, как метался в неистовом волнении. Сама искренность его страданий, казалось, лишала их реальности. Теперь ему было непонятно, как он мог вести себя столь глупо – роптать на то, что неотвратимо! Сейчас его беспокоил только один вопрос: кого убить – ибо он понимал, что для убийства, как и для языческого обряда, нужен не только жрец, но и жертва. Он не был каким-то гением и поэтому не имел врагов, к тому же был убежден, что теперь не время для сведения личных счетов; миссия,

вверенная ему, слишком серьезна и ответственна. Он набросал на листке бумаги список своих знакомых и родственников и, тщательно все обдумав, остановился на леди Клементине Бичем – милейшей старушке, которая жила на Керзон-стрит и доводилась ему троюродной сестрой по материнской линии. Он с детства очень любил леди Клем, как все ее звали, а кроме того – поскольку сам он был весьма богат, ибо, достигнув совершеннолетия, унаследовал все состояние лорда Рэгби, – смерть старушки не могла представлять для него низменного корыстного интереса. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что леди Клем – идеальный выбор. Понимая, что всякое промедление будет несправедливо по отношению к Сибил, он решил сейчас же заняться приготовлениями.

Для начала надо было расплатиться с хиромантом. Он сел за небольшой письменный стол в стиле «шератон», что стоял у окна, и выписал чек на сумму 105 фунтов стерлингов на имя м-ра Септимуса Поджерса. Запечатав конверт, он велел слуге отнести его на Уэст-Мун-стрит. Затем он распорядился, чтобы приготовили экипаж, и быстро оделся. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на фотографию Сибил Мертон и мысленно поклялся, что – как бы ни повернулась судьба – Сибил никогда не узнает, на что он пошел ради нее; это самопожертвование навсегда останется тайной, хранимой в его сердце.

По пути в «Букингем» он остановился у цветочной лавки и послал Сибил корзину чудесных нарциссов с нежными белыми лепестками и яркими, напоминающими фазаньи глаза сердцевинами, а приехав в клуб, сразу отправился в библиотеку, позвонил и велел лакею принести содовой воды с лимоном и книгу по токсикологии. Он уже решил, что яд – самое подходящее средство в этом деле. Физическое насилие вызывало у него отвращение, и к тому же леди Клементину надо убить так, чтобы не привлечь всеобщего внимания, ибо ему очень не хотелось стать «львом» в салоне леди Уиндермир и прочесть свое имя в вульгарных светских газетах. Кроме того, следовало подумать и о родителях Сибил, которые были людьми старомодными и могли бы, пожалуй, возражать против брака в том случае, если разразится скандал (хотя лорд Артур и не сомневался, что, расскажи он им все, как есть, они бы все поняли и оценили его благородные побуждения). Итак, яд. Он надежен, безопасен, действует без шума и суеты и избавляет от тягостных сцен, которые для лорда Артура – как почти для всякого англичанина – были глубоко неприятны.

Однако он ничего не смыслил в ядах, а поскольку лакей оказался не в состоянии отыскать что-либо, кроме Справочника Раффа^[41] и последнего номера «Бейлиз Мэгэзин», он сам внимательно осмотрел полки и нашел

изящно переплетенную «Фармакопею» и издание «Токсикологии» Эрскина под редакцией сэра Мэтью Рида – президента Королевской медицинской коллегии и одного из старейших членов «Букингема», избранного в свое время по ошибке вместо кого-то другого (это *contretemps*^[42] так разозлило руководящий комитет клуба, что, когда появился настоящий кандидат, его дружно забаллотировали). Лорд Артур пришел в немалое замешательство от научных терминов, которыми пестрели обе книги, и начал было всерьез сожалеть, что в Оксфорде пренебрегал латынью, как вдруг во втором томе Эрскина ему попало весьма интересное и подробное описание свойств аконитина, изложенное на вполне понятном английском. Этот яд подходил ему во всех отношениях. В книге говорилось, что он действует почти мгновенно, не причиняет боли и не слишком неприятен на вкус, в особенности если принимать его в виде пилюли в сладкой облатке, как рекомендует сэр Мэтью. Лорд Артур записал на манжете, какова смертельная доза, поставил книги на полку и не спеша отправился по Сент-Джеймс-стрит к «Пестл и Хамби» – одной из старейших лондонских аптек. Мистер Пестл, который всегда лично обслуживал высший свет, весьма удивился заказу и почтительно пролепетал что-то насчет рецепта врача. Однако, когда лорд Артур объяснил, что яд предназначается для большого норвежского дога, который проявляет симптомы бешенства и уже дважды укусил кучера за ногу, мистер Пестл этим полностью удовлетворился, поздравил лорда Артура с блестящим знанием токсикологии и распорядился, чтобы заказ был исполнен немедленно.

Лорд Артур положил пилюлю в элегантную серебряную бонбоньерку, которую разглядел в одной из витрин на Бонд-стрит, выбросил некрасивую аптечную коробку и поехал к леди Клементине.

– Ну-с, *monsieur le mauvais sujet*^[43], – воскликнула старушка, входя в гостиную, – что же вы меня так долго не навещали?

– Леди Клем, милая, у меня теперь ни на что нет времени, – улыбаясь, отвечал лорд Артур.

– Это значит, что ты целый день разгуливаешь с мисс Сибил Мертон, покупаешь туалеты и болтаешь о пустяках? Сколько суеты из-за женитьбы! В мое время нам и в голову бы не пришло обниматься и миловаться на людях. Да и наедине тоже.

– Уверяю вас, леди Клем, я уже целые сутки не видел Сибил. Насколько мне известно, ею завладели модистки.

– Ну да, оттого ты и решил проведать безобразную старуху. Вот бы где вам, мужчинам, призадуматься. *On a fait des folies pour moi*^[44], а что

осталось? Ноги еле ходят, зубов своих нет, характер скверный. Хорошо еще, леди Дженсен, добрая душа, присылает мне французские романы – один другого пошлее, – а то уж и не знаю, как дотянуть до вечера. От врачей никакого проку – эти только и умеют, что деньги считать. Даже от изжоги меня никак не избавят.

– Я принес вам средство от изжоги, леди Клем, – серьезным тоном произнес лорд Артур. – Чудесное лекарство, его изобрел один американец.

– Я не больно-то люблю американские штучки. Даже совсем не люблю. Попалась мне тут пара американских романов – так это, знаешь ли, полная бессмыслица.

– Но это же совсем другое, леди Клем! Уверяю вас, средство действует безотказно. Обещайте, что попробуете. – И, достав из кармана бонбоньерку, лорд Артур протянул ее старушке.

– Гм, коробочка прелестная. Это в самом деле подарок, Артур? Очень мило. А вот и чудесное лекарство, я полагаю? Похоже на драже. Приму его сейчас же.

– Что вы, леди Клем! – вскричал лорд Артур, схватив ее за руку. – Ни в коем случае! Это гомеопатическое средство, и, если принять его просто так, без изжоги, может быть очень плохо. Вот начнется изжога, тогда и примете. Я вам обещаю, что эффект будет поразительный.

– Мне бы хотелось принять его сейчас, – проговорила леди Клементина, разглядывая прозрачную пилюлю на свет и любуясь пузырьком жидкого аконитина. – Наверняка будет очень вкусно. Видишь ли, я ненавижу врачей, но обожаю лекарства. Однако подожду, пока начнется изжога.

– И когда же это будет? – нетерпеливо спросил лорд Артур. – Скоро?

– Надеюсь, не раньше чем через неделю. Я только вчера утром мучилась. Впрочем, кто знает.

– Но до конца месяца непременно случится, верно, леди Клем?

– Увы. Но какой ты сегодня предупредительный, Артур! Сибил хорошо на тебя влияет. А теперь ступай. Сегодня я обедаю с прескучными людьми – из тех, кто выше сплетен, так что если я сейчас не выплусь, то усну посреди обеда. До свиданья, Артур, поцелуй от моего имени Сибил, и спасибо тебе за американское лекарство.

– Но вы не забудете его принять, а, леди Клем? – спросил лорд Артур, вставая.

– Конечно, не забуду, вот дурачок! Ты добрый мальчик, и я тебе очень признательна. Если понадобится еще, я тебе напишу.

Лорд Артур выбежал из дома в прекрасном настроении и с чувством

колоссального облегчения.

В тот же вечер он переговорил с Сибил Мертон. Он сказал ей, что внезапно оказался в чрезвычайно затруднительном положении, но отступить перед трудностями ему не позволяют честь и чувство долга. Свадьбу придется на время отложить, ибо, пока он не разделается с ужасными обстоятельствами, он не свободен. Он умолял Сибил довериться ему и не сомневаться в будущем. Все будет хорошо, но сейчас необходимо терпение.

Разговор состоялся в зимнем саду в доме мистера Мертона на Парк-лейн, где лорд Артур по обыкновению обедал. В тот вечер Сибил выглядела как никогда счастливой, и лорд Артур чуть было не уступил соблазну малодушия: так просто было бы написать леди Клементине, забрать пилюлю и преспокойно жениться, как будто мистера Поджерса вообще не существует. Но благородство лорда Артура взяло верх, и, даже когда Сибил, рыдая, бросилась к нему в объятия, он не дрогнул. Красота, столь его взволновавшая, задела и его совесть. Разве вправе он загубить прелестную, юную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения?

Они с Сибил проговорили до полуночи, утешая друг друга, а рано утром лорд Артур отбыл в Венецию, написав мистеру Мертону твердое, мужественное письмо о том, что свадьбу необходимо отложить.

IV

В Венеции он встретил своего брата лорда Сэрбитона, который как раз приплыл на яхте с Корфу, и молодые люди сказочно провели две недели. Утром они катались верхом по Лидо или скользили по зеленым каналам в длинной черной гондоле, днем принимали на яхте гостей, а вечером ужинали у Флориана и курили бесчисленные папиросы на площади Святого Марка. И все же лорд Артур не был счастлив. Каждый день он изучал колонку некрологов в «Таймс», ожидая найти сообщение о смерти леди Клементины, и каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, как бы с ней чего не случилось, и часто сожалел, что помешал ей принять аконитин, когда ей так не терпелось испытать его действие. Да и в письмах Сибил, хотя и исполненных любви, доверия и нежности, часто сквозила грусть, и ему стало порой казаться, что они расстались навеки.

Через две недели Венеция наскучила лорду Сэрбитону, и он решил проплыть вдоль побережья до Равенны, а оттуда – в район сосновых лесов, где, как ему рассказывали, можно отлично поохотиться на вальдшнепов. Вначале лорд Артур наотрез отказался сопровождать его. Однако Сэрбитон, которого Артур очень любил, в конце концов убедил его, что одиночество – худшее средство от хандры, и утром пятнадцатого числа они вышли из гавани, подгоняемые свежим норд-остом. Охота была и в самом деле превосходная; чудесный воздух и здоровая жизнь вернули лорду Артуру юношеский румянец, но к двадцать второму числу он так разволновался из-за леди Клементины, что, невзирая на уговоры Сэрбитона, сел на поезд и вернулся в Венецию.

Едва он вышел из гондолы у входа в отель, как сам хозяин выбежал навстречу с пачкой телеграмм. Лорд Артур вырвал у него телеграммы и тут же вскрыл их. Все прошло удачно. Леди Клементина внезапно умерла в ночь с семнадцатого на восемнадцатое!

Первая его мысль была о Сибил, и он немедленно телеграфировал ей, что возвращается в Лондон. Затем он приказал лакею собирать вещи к ночному поезду, послал гондольерам в пять раз больше, чем им причиталось, и с легким сердцем взбежал по ступенькам в свою гостиную. Там его ждало три письма. Одно было от Сибил – полное любви и сочувствия, другие – от матери лорда Артура и от поверенного леди Клементины. Оказалось, что старушка в тот самый вечер обедала у герцогини, прелестно шутила и блистала остроумием, но уехала довольно

рано, сославшись на изжогу. Утром ее нашли мертвой в постели; скончалась она, по-видимому, мирно и без боли. Тотчас же послали за сэром Мэтью Ридом, но, разумеется, сделать что-либо было невозможно, и похороны назначены на двадцать второе в Бичем-Кэлкот. За несколько дней до смерти она написала завещание и оставила лорду Артуру свой небольшой дом на Керзон-стрит со всей мебелью, личными вещами и картинами, за исключением коллекции миниатюр, которую надлежало вручить ее сестре леди Маргарет Рафффорд, и аметистового ожерелья, завещанного Сибил Мертон. Дом и имущество не представляли большой ценности, но мистер Мэнсфилд, поверенный леди Клементины, очень просил лорда Артура приехать без промедления и распорядиться насчет неоплаченных счетов, которых было великое множество, ибо покойная вела дела небрежно.

Лорд Артур был чрезвычайно тронут завещанием леди Клементины и подумал, что мистер Поджерс должен был бы за многое ответить. Однако любовь к Сибил затмила все остальное, и сознание выполненного долга давало сладостное успокоение. Когда поезд подошел к вокзалу Чаринг-Кросс, лорд Артур был совершенно счастлив.

Супруги Мертон встретили его весьма радушно, а Сибил взяла с него слово, что больше ничто и никогда не разлучит их. Свадьбу назначили на седьмое июня. Жизнь вновь наполнилась яркими, лучезарными красками, и к лорду Артуру вернулась его прежняя веселость.

Но однажды, когда в сопровождении Сибил и поверенного леди Клементины он разбирал вещи в доме на Керзон-стрит, не спеша сжигал связки поблекших писем и выгребал из комодов разнообразную мелочь, его юная невеста вдруг радостно вскрикнула.

— Что ты там нашла, Сибил? — спросил лорд Артур, с улыбкой оторвавшись от своего занятия.

— Посмотри, Артур, какая прелестная серебряная бонбоньерка. Ах, как красиво! Ведь это голландская работа? Подари ее мне, пожалуйста. Я знаю, аметисты будут мне к лицу только через семьдесят лет.

Это была коробочка из-под аконитина.

Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец разлился по его щекам. Он почти совершенно забыл о содеянном, и ему показалось примечательным, что именно Сибил, ради которой он пережил это ужасное волнение, первой напомнила о нем.

— Ну конечно, возьми ее, Сибил. Это я сам подарил бедной леди Клем.

— Правда? Вот спасибо, Артур. И конфетку тоже можно взять? Я и не знала, что леди Клементина была сластеной. Мне казалось, что она для

этого слишком умна.

Лорд Артур страшно побледнел, и в сознании его метнулась чудовищная мысль.

– Конфетку, Сибил? О чем ты? – медленно и с трудом проговорил он.

– В бонбоньерке осталась конфетка, вот и все. Она старая и пыльная, и есть я ее не собираюсь. Что случилось, Артур? Какой ты бледный!

Лорд Артур кинулся к ней и схватил коробочку. В ней лежала янтарного цвета пилюля с ядовитой жидкостью. Леди Клементина умерла своей смертью!

Лорд Артур был повергнут в отчаяние. Швырнув пилюлю в камин, он со страдальческим возгласом повалился на диван.

Мистер Мертон всерьез огорчился, узнав, что свадьба откладывается вторично, а леди Джулия, уже успевшая заказать себе платье, приложила немало стараний, убеждая Сибил расторгнуть помолвку. Но, хотя Сибил нежно любила мать, вся ее жизнь принадлежала лорду Артуру, и уговоры леди Джулии нисколько не поколебали ее. Что до самого лорда Артура, то он лишь спустя несколько дней пришел в себя, и нервы его были расстроены чрезвычайно. Однако здравый смысл по своему замечательному обыкновению восторжествовал, и трезвый, практический характер лорда Артура направил его мысли по пути твердой логики. Раз яд не сработал, требуется динамит или какое-либо другое взрывчатое вещество.

Он опять взял список знакомых и родственников и, подумав, решил взорвать своего дядю, декана Чичестера. Декан был человеком исключительной культуры и образованности; он страстно любил часы всех видов и обладал изумительной коллекцией этих механизмов от пятнадцатого века до наших дней.

В этом увлечении достопочтенного декана лорд Артур усмотрел блестящую возможность для осуществления своего плана. Вот только где достать взрывное устройство? Он ничего не нашел на сей счет в «Лондонском справочнике» и решил, что едва ли есть смысл обращаться в Скотланд-Ярд, ибо полиция никогда ничего не знает о действиях динамитчиков до самого взрыва, да и после этого знает ненамного больше.

Вдруг лорд Артур вспомнил, что у него есть приятель по фамилии Рувалов – молодой русский весьма радикальных настроений, с которым он познакомился минувшей зимой в салоне леди Уиндермир. Считалось, что граф Рувалов пишет биографию Петра Первого и приехал в Англию для изучения документов, связанных с пребыванием монарха на Британских островах в качестве корабельного плотника, однако многие подозревали, что Рувалов работает на нигилистов, и было очевидно, что его присутствие в Лондоне отнюдь не одобряется посольством Российской империи. Лорд Артур заключил, что это тот самый человек, который ему нужен, и однажды утром отправился в его комнаты в Блумсбери^[45] за советом и помощью.

– Значит, вы всерьез занялись политикой? – спросил граф Рувалов, выслушав лорда Артура, но Артур терпеть не мог рисоваться и сейчас же

признался, что социальные вопросы его совершенно не интересуют, а взрывное устройство нужно ему по семейному делу, которое касается его одного.

Граф Рувалов в изумлении посмотрел на него, но, убедившись, что тот не шутит, написал на листке бумаги адрес, поставил свои инициалы и протянул листок лорду Артуру.

– Имейте в виду, старина, Скотланд-Ярд дорого бы дал за этот адрес.

– Но он его не получит! – смеясь, воскликнул лорд Артур.

С чувством пожав руку своему русскому другу, он сбежал вниз по лестнице, взглянул на записку и велел кучеру гнать к Сохо-сквер^[46].

Там он отпустил экипаж и по Грик-стрит дошел до переулочка под названием Бейлз-Корт. Нырнув под арку, он оказался в глухом дворике, где, по-видимому, помещалась французская прачечная: между домами была протянута сеть бельевых веревок, и утренний ветерок слегка трепал белоснежные простыни.

Лорд Артур пересек двор и постучал в дверь небольшого зеленого домика. Спустя некоторое время, в течение которого каждое из окон, выходящих во двор, наполнилось любопытными лицами, дверь открылась и свирепого вида иностранец спросил на скверном английском, что ему нужно. Лорд Артур протянул записку графа Рувалова. Прочитав записку, незнакомец поклонился и проводил лорда Артура в весьма обшарпанную гостиную на первом этаже, а через минуту туда же вбежал герр Винкелькопф, как он звал себя в Англии; в руке у него была вилка, а на шее салфетка с пятнами от вина.

– Я приехал по рекомендации графа Рувалова, – сказал лорд Артур, поклонившись, – и хотел бы переговорить с вами по делу. Я Смит, мистер Роберт Смит. Мне нужны часы со взрывным устройством.

– Очень рад познакомиться, лорд Артур, – с улыбкой отвечал добродушный немец. – Вы не волнуйтесь, просто я обязан всех знать, а вас я однажды видел у леди Уиндермир. Надеюсь, очаровательная хозяйка салона в добром здравии. Вы не откажетесь присесть со мной за стол? Я как раз завтракаю. Могу предложить великолепный паштет, а мой рейнвейн, как утверждают друзья, лучше того, что подают в германском посольстве.

Не успел лорд Артур смириться с мыслью, что его узнали, как уже сидел за столом в соседней комнате, потягивая превосходный «Маркобрюннер» из бледно-желтого бокала с имперской монограммой, и вел светскую беседу со знаменитым заговорщиком.

– Часы со взрывчаткой не годятся для вывоза за границу, – объяснял

герр Винкелькопф. – Даже если на таможне все обойдется благополучно, поезда настолько выбиваются из расписания, что взрыв, как правило, происходит до прибытия в нужное место. Однако если ваш объект находится внутри страны, я готов предоставить вам отменный механизм и гарантировать результат. Могу я спросить, о ком идет речь? Если это кто-нибудь из Скотланд-Ярда или человек, связанный с полицией, я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь. Английские сыщики – наши лучшие друзья: благодаря их тупости мы делаем все, что хотим. Не могу вам уступить ни одного из них.

– Уверяю вас, – воскликнул лорд Артур, – полиция тут ни при чем. Часы предназначаются для декана Чичестера.

– Вот как! Я и не подозревал, лорд Артур, что вы такое значение придаете религии. Для нынешней молодежи это редкость.

– Нет-нет, вы меня переоцениваете, герр Винкелькопф, – краснея, сказал лорд Артур. – Я, право же, ничего не смыслю в теологии.

– Значит, дело сугубо личное?

– Сугубо личное.

Герр Винкелькопф пожал плечами и вышел из комнаты, а через несколько минут вернулся с круглым кусочком динамита размером с маленькую монетку и изящными французскими часами, увенчанными бронзовой фигурой Свободы, топчущей гидру деспотии. Увидев часы, лорд Артур просиял.

– Это как раз то, что нужно! Теперь покажите, как они действуют.

– А вот это мой секрет, – ответил герр Винкелькопф, с законной гордостью созерцая свое изобретение. – Скажите, когда должен произойти взрыв, и я установлю их с точностью до секунды.

– Так, сегодня у нас вторник, и если вы пошлете их немедленно...

– Это невозможно. Я должен закончить важную работу для друзей в Москве. Но завтра я, пожалуй, мог бы их отослать.

– Меня вполне устроит, – вежливо сказал лорд Артур, – если их доставят декану завтра вечером или в четверг утром. Взрыв назначим, ну, скажем, на двенадцать часов в пятницу. В это время декан всегда дома.

– Пятница, двенадцать часов, – повторил герр Винкелькопф и сделал запись в большом журнале, который лежал на бюро у камина.

– А теперь, – сказал лорд Артур, вставая, – скажите, сколько я вам должен.

– Дело такое пустяковое, лорд Артур, что я, право, ничего с вас не возьму. Динамит стоит семь шиллингов шесть пенсов, часы – три фунта десять шиллингов, доставка – порядка пяти шиллингов. Для меня

удовольствие уважить друга графа Рувалова.

– Но ваши труды, герр Винкелькопф?

– Какие там труды! Мне это приятно. Я работаю не ради денег, я живу исключительно ради своего искусства.

Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил добродушного немца и, не без труда уклонившись от приглашения на товарищеский ужин анархистов в ближайшую субботу, вышел из дома и зашагал к Гайд-парку.

Следующие два дня он провел в состоянии крайнего возбуждения, а в пятницу в двенадцать часов отправился в «Букингем», чтобы там ждать новостей. В течение долгих послеобеденных часов флегматичный швейцар вывешивал в холле телеграммы из разных концов страны, в которых сообщалось о результатах скачек и бракоразводных процессов, о погоде и прочем, в то время как аппарат выбивал на ленте бесконечные подробности ночного заседания палаты общин и детали небольшой паники на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур устремился в библиотеку, прихватив «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс Газетт», «Глобус» и «Эхо», чем вызвал крайнее негодование полковника Гудчайлда, которому не терпелось прочесть сообщения о своем утреннем выступлении в Мэншн-Хаус по вопросу об англиканских миссиях в Южной Африке и о целесообразности назначения черных епископов в каждой провинции, но который почему-то имел сильное предубеждение против «Ивнинг Ньюс». Ни в одной из газет, однако, Чичестер даже не упоминался, и лорд Артур понял, что покушение не удалось. Это был неслыханный удар, и на время лорд Артур совершенно лишился присутствия духа.

Герр Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, пространно извинялся и предложил ему бесплатно еще одни часы или ящик нитроглицериновых бомб по номинальной цене.

Но лорд Артур более не доверял взрывчатке, да и сам герр Винкелькопф признал, что в наше время ничего, даже динамит, невозможно достать в чистом виде. Однако, признав, что механизм почему-то не сработал, немец высказал надежду, что часы еще могут взорваться, и в качестве примера рассказал о барометре, который он однажды послал военному коменданту Одессы. Хотя взрыв был запланирован на десятый день, произошел он спустя три месяца. Правда, в результате на воздух взлетела лишь одна из горничных, тогда как сам комендант за месяц до этого уехал из города, но отсюда видно, что динамит в сочетании с соответствующим механизмом есть мощное, хотя и не вполне пунктуальное средство.

Это наблюдение несколько утешило лорда Артура, но даже тут его ждало разочарование, ибо два дня спустя, когда он поднимался по лестнице, герцогиня позвала его в свой будуар и показала письмо, только что полученное из Чичестера.

– Джейн пишет прелестные письма, – сказала герцогиня. – Прочти. Право, не хуже тех романов, что нам присылают от Мьюди.

Лорд Артур выхватил у нее письмо. Вот что он прочел:

Дом декана, Чичестер, 27 мая

Дорогая тетушка!

Огромное спасибо за фланель и саржу для Доркасского общества. Я с вами совершенно согласна в том, что желание этих людей красиво одеваться – нелепость, но теперь все сплошь радикалы и атеисты, и так трудно их убедить, что не следует подражать в одежде высшему сословию. К чему мы придем, не знаю. Как папа часто говорит в своих проповедях, в мире нет больше веры.

У нас был забавный случай с часами, которые папа в прошлый четверг получил от неизвестного почитателя. Их прислали из Лондона в деревянном ящике с уведомлением о том, что доставка оплачена, и папа думает, что это подарок от кого-то, кто прочитал его замечательную проповедь «Свобода или вседозволенность?», потому что часы увенчаны женской фигурой, и папа говорит, что у нее на голове фригийский колпак, то есть символ Свободы. По-моему, колпак совсем не изящный, но папа говорит, что он исторический, а это, конечно, другое дело. Паркер распаковал часы, и папа поставил их на каминную полку в библиотеке, и мы все там сидели в пятницу утром, когда часы пробили полдень, и вдруг послышалось жужжание, что-то чуть-чуть задымилось, и богиня Свободы упала и разбила себе нос о каминную решетку. Мария, кажется, испугалась, но это было так смешно, что мы с Джеймсом хохотали до слез, и даже папа развеселился. Когда мы посмотрели, оказалось, что это вроде будильника: если установить их на определенный час и под молоточек положить капсуль и немного пороха, то они «взрываются», когда захочешь. Папа сказал, что в библиотеке им не место, так как от них будет шумно, и Реджи забрал их себе в классную комнату и там теперь целый день устраивает

крошечные взрывы. Как вы думаете, если подарить такие часы Артуру на свадьбу, он будет доволен? В Лондоне, наверное, они теперь в моде. Папа говорит, что от них есть польза, так как они показывают, что свобода непродолжительна и ее падение неизбежно. Папа говорит, что свободу придумали во времена Французской революции. Какой ужас!

Теперь я иду в общество, где обязательно прочту вслух ваше поучительное письмо. Как верно вы пишете, дорогая тетюшка, что людям низкого сословия надлежит ходить в том, что не к лицу. И в самом деле, разве не абсурд, что они так заботятся о платье, когда и в этой жизни, и в загробной есть столько истинно важных дел! Я так рада, что с вашим поплином в цветочек все вышло удачно и кружево нигде не разорвалось. Сейчас я надела желтый атлас, который вы мне подарили в среду у епископа, и, по-моему, все хорошо. Как вы думаете, нужны ли банты? Дженнингс говорит, что теперь все носят банты, а нижняя юбка должна быть с оборочками. Реджи только что устроил очередной взрыв, и папа распорядился, чтобы часы отнесли на конюшню. Кажется, они уже не так нравятся папе, как вначале, хотя он очень польщен тем, что ему прислали такую красивую и хитроумную вещицу. Это показывает, что люди читают его проповеди со вниманием.

Папа передает привет, а также Джеймс, Реджи и Мария. Надеюсь, дядя Сесл больше не мучится подагрой. Остаюсь вашей любящей племянницей,

Джейн Перси

Р. S. Пожалуйста, напишите про банты. Дженнингс уверяет, что это ужасно модно.

Лорд Артур с такой горестной серьезностью читал письмо, что герцогиня расхохоталась.

— Артур, дитя мое, я больше не стану тебе показывать письма молодых девушек! Но что мне ответить про часы? По-моему, очаровательное изобретение, я бы и сама от них не отказалась.

— Меня такие вещи не интересуют, — с грустной улыбкой ответил Артур и, поцеловав мать, вышел из комнаты.

Поднявшись к себе, он бросился на диван, и глаза его наполнились

слезами. Он сделал все, что мог, чтобы совершить убийство, но оба раза потерпел неудачу, причем не по своей вине. Он честно пытался выполнить свой долг, но сама судьба предательски отвернулась от него. Он пронзительно ощутил бесплодность благих намерений, тщетность всяких попыток жить достойно. Наверное, надо все же расторгнуть помолвку. Сибил, конечно, будет страдать, но страдания не в силах бросить тень на столь чистую, возвышенную душу. Что до него, ему теперь все равно. Всегда найдется война, в которой можно погибнуть, или какое-нибудь дело, за которое легко умереть. Раз в жизни нет больше радости, то и смерть не страшна. Пусть судьба распорядится им как хочет; сам он ей больше не помощник.

В половине восьмого он оделся и поехал в клуб. Там был Сэрбитон в компании молодых людей, и лорду Артуру пришлось с ними ужинать. Их банальные разговоры и праздные шутки были ему неинтересны, и как только принесли кофе, он покинул их, придумав какой-то предлог. Внизу швейцар вручил ему конверт. Это была записка от герра Винкелькопфа, который писал, что может предложить взрывающийся зонтик, и убедительно просил зайти к нему на следующий день. Это новейшее изобретение – зонтик, который взрывается, едва его раскрывают, – только что прислали из Женевы. Лорд Артур разорвал записку на мелкие кусочки. Он уже решил, что с него довольно экспериментов.

Спустившись к набережной Темзы, он сел на скамейку и несколько часов просидел, взирая на реку. Луна, словно львиный глаз, проглядывала сквозь рыжеватую гриву облаков, и бесчисленные звезды, рассыпанные по небосклону, сверкали, как золотая пыль на лиловом своде. Иногда на мутной воде появлялась баржа и пропадала, увлекаемая отливом, в то время как железнодорожные сигналы переключались с зеленого на пурпурный и поезда с ревом проносились по мосту. Спустя некоторое время часы на башне парламента пробили двенадцать; казалось, лондонская ночь вздрагивает с каждым ударом звучного колокола. Затем железнодорожные огни погасли; остался лишь один зажженный фонарь – как крупный рубин на высокой мачте, и шум города стал затихать.

В два часа ночи лорд Артур встал и побрел по направлению к Блэкфрайарз^[47]. Каким все казалось нереальным! Как в причудливом сне! Дома за рекой словно выстроены из мрака, как будто тени и серебристый свет перекроили мир. Огромный купол собора Святого Павла повис, как пузырь, в сумрачном пространстве.

Приближаясь к «Игле Клеопатры», лорд Артур увидел человека, облокотившегося о парапет. На мгновение тот поднял голову, и свет фонаря

упал ему прямо в лицо.

Это был мистер Поджерс, хиромант! Всякий без труда узнал бы его дряблые, опухшие щеки, очки в золотой оправе, тошнотворную улыбочку полных губ.

Лорд Артур остановился. Его осенила блестящая мысль, и он тихо подкрался сзади. В одно мгновение он схватил мистера Поджерса за ноги и швырнул в Темзу. Послышалось грубое проклятие, шумный всплеск, и все стихло. Лорд Артур всмотрелся в залитую лунным светом воду, но увидел лишь медленно крутящуюся на поверхности шляпу хироманта. Потом утонула и шляпа, и от мистера Поджерса не осталось ни следа. Внезапно лорду Артуру показалось, что грузная фигура всплыла у лестницы возле моста, и сердце его похолодело от сознания новой неудачи, но то была лишь игра теней, и, когда луна вновь выглянула из-за облака, тени рассеялись. Наконец-то он, кажется, выполнил веление судьбы! Испустив глубокий вздох облегчения, он прошептал имя Сибил.

– Вы что-нибудь уронили, сэр? – произнес голос у него за спиной.

Повернувшись, он увидел полицейского с сигнальным фонарем.

– Ничего существенного, сержант, – ответил он с улыбкой и, остановив проезжающего извозчика, велел ехать на Белгрейв-сквер.

В течение следующих дней он разрывался между надеждой и страхом. Бывали мгновения, когда ему казалось, что мистер Поджерс вот-вот войдет в гостиную, но в другие минуты он верил, что судьба не может быть к нему так несправедлива. Дважды он отправлялся к дому хироманта на Уэст-Мун-стрит, но не мог заставить себя позвонить. Он жаждал определенности и боялся ее. Наконец она пришла.

Сидя в клубе, он пил чай и рассеянно слушал рассказ Сэрбитона о последнем ревю в мюзик-холле «Гейети»^[48], когда официант принес вечерние газеты. Взяв «Сент-Джеймс Газетт», он принялся вяло переворачивать страницы, как вдруг его взгляд остановился на странном заголовке:

САМОУБИЙСТВО ХИРОМАНТА

Побледнев от волнения, он начал читать заметку. Вот что в ней говорилось:

Вчера утром, около семи часов, прямо перед гостиницей «Корабль» в Гринвиче на берег вынесло тело известного

хироманта м-ра Септимуса Р. Поджерса. М-р Поджерс исчез несколько дней тому назад, вызвав серьезное беспокойство в кругах, близких к хиромантии. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством при временном помутнении рассудка, происшедшем от переутомления. Таков вердикт, вынесенный после дознания. М-р Поджерс только что завершил работу над крупным трактатом под названием «Человеческая рука», который вскоре будет опубликован и, без сомнения, привлечет внимание пытливых читателей. Покойному было 65 лет, родственников он не оставил.

Лорд Артур с газетой в руках ринулся из клуба, чрезвычайно удивив швейцара, который тщетно пытался остановить его, и немедленно отправился на Парк-лейн. Сибил увидела его в окно, и что-то подсказало ей, что он несет добрую весть. Она сбежала по лестнице ему навстречу и, едва взглянув на его сияющее лицо, поняла, что теперь все будет хорошо.

– Милая Сибил, – воскликнул лорд Артур, – давай поженимся завтра же!

– Вот глупый мальчик. Ведь еще и торт не заказан! – отвечала Сибил, смеясь сквозь слезы.

VI

В день свадьбы – тремя неделями позже – собор Святого Петра заполнила элегантная толпа. Надлежащий текст был превосходно прочитан деканом Чичестера, и все согласились, что трудно себе представить пару красивее, чем жених и невеста. Но они были не только красивы – они были счастливы. Лорд Артур ни на минуту не сожалел о том, что выстрадал ради Сибил, а Сибил, со своей стороны, подарила ему лучшее, что может дать женщина мужчине: нежность, любовь и поклонение. Их романтическую любовь не убила реальность. Они навсегда сохранили молодость.

Несколько лет спустя, когда у них родились двое очаровательных детей, леди Уиндермир приехала погостить в Олтон-Прайери – великолепный старинный дом, который герцог подарил сыну на свадьбу. Как-то после обеда, когда леди Уиндермир и леди Артур Сэвил сидели под большой липой в саду, глядя, как мальчик и девочка, словно солнечные зайчики, бегут по обрамленной рядами роз аллее, леди Уиндермир вдруг взяла хозяйку дома за руку и спросила:

– Ты счастлива, Сибил?

– Конечно, дорогая леди Уиндермир. Ведь и вы счастливы, правда?

– Я не успеваю быть счастливой, Сибил. Мне всегда нравятся те, с кем меня только что познакомили. Но стоит узнать их поближе, как мне становится скучно.

– Разве ваши львы вас не радуют, леди Уиндермир?

– Львы? Господь с тобой! Львы хороши на один сезон. Как только им подстригут гриву, они превращаются в банальнейшие создания. К тому же они дурно себя ведут с теми, кто к ним добр. Ты помнишь этого ужасного мистера Поджерса? Шарлатан, каких мало! Это меня, впрочем, совершенно не беспокоило, и, даже когда он вздумал просить денег, я не слишком рассердилась. Но когда он стал объясняться мне в любви, я не выдержала. Из-за него я возненавидела хиромантию. Теперь я увлекаюсь телепатией, это намного забавнее.

– Только не говорите о хиромантии пренебрежительно, леди Уиндермир; это единственный предмет, высказывания о котором в непочтительном тоне выводят Артура из себя. Уверяю вас, я не преувеличиваю.

– Не хочешь же ты сказать, что он в нее верит?

– Спросите его сами, леди Уиндермир. Вот он.

На дорожке и в самом деле появился лорд Артур, в руке у него был букет желтых роз, а вокруг него весело прыгали его двое детей.

– Лорд Артур!

– Да, леди Уиндермир?

– Неужели вы действительно верите в хиромантию?

– Конечно, верю, – с улыбкой ответил молодой человек.

– Но почему?

– Потому что я обязан ей всем своим счастьем, – негромко проговорил он и сел в плетеное кресло.

– Но помилуйте, лорд Артур, чем вы ей обязаны?

– Моей Сибил, – ответил он и протянул жене розы, глядя в ее синие глаза.

Портрет г-на У. Г.



Пообедав с Эрскином в его небольшом уютном домике на Бердкейдж-Уок, мы беседовали в библиотеке, куда подали кофе и папиросы. Случилось так, что речь зашла о литературных подделках. Теперь уже не скажу, что натолкнуло нас на эту несколько необычную – при таких обстоятельствах – тему, но помню точно, что мы долго говорили о Макферсоне, Айрленде и Чаттертоне^[49], причем в отношении последнего я настойчиво доказывал, что его так называемые подделки суть не что иное, как попытка добиться совершенства художественного воплощения, что мы не вправе спорить с автором по поводу формы, избранной им для своего произведения, и что, поскольку всякое Искусство является, до известной степени, действием – стремлением достичь самовыражения в некой области воображаемого, свободной от досадных помех и ограничений реальной жизни, то осуждать художника за подделку – значит смешивать этическую проблему с проблемой эстетической.

Эрскин, который был много старше меня и до сих пор слушал с насмешливо-почтительным видом умудренного жизнью сорокалетнего человека, вдруг положил мне руку на плечо и спросил:

– Ну а что бы ты сказал о молодом человеке, который имел странную теорию об одном произведении искусства, верил в нее и прибег к подделке, чтобы доказать свою правоту?

– О, это совсем другое дело, – ответил я.

Несколько мгновений Эрскин молчал, глядя на тоненькую серую струйку дыма, поднимающуюся с кончика его папиросы.

– Да, пожалуй, – промолвил он после паузы, – совсем другое.

Что-то в его тоне – быть может, легкий оттенок горечи – возбудило мое любопытство.

– А ты что, знал когда-нибудь такого человека? – спросил я.

– Да, – отозвался он, бросая папиросу в камин. – Я говорил о моем близком друге, Сириле Грэхэме. Он был очень обаятелен, очень сумасброден и очень бессердечен. Однако именно он оставил мне единственное наследство, которое я получил за всю жизнь.

– И что же это было? – поинтересовался я.

Эрскин поднялся с кресла, подошел к стоявшему в простенке между двумя окнами высокому инкрустированному шкафу, отпер его и сразу же вернулся, держа в руке небольшой написанный на доске портрет,

заключенный в старинную, немного потемневшую раму елизаветинского стиля.

На портрете был изображен в полный рост юноша в костюме шестнадцатого века. Он стоял у стола, положив правую руку на раскрытую книгу. Лет семнадцати на вид, он поражал необычайной, хотя и несколько женственной красотой. Собственно, если бы не одежда и коротко подстриженные волосы, лицо его, с мечтательными печальными глазами и тонко очерченным алым ртом, можно было бы принять за лицо девушки. Манерой, в особенности тем, как были написаны руки, картина напоминала позднего Франсуа Клуэ^[50]. Причудливый узор золотого шитья на черном бархатном камзоле и ярко-синие переливы фона, который так чудесно оттенял цвет костюма, сообщая ему какую-то светящуюся прозрачность, были вполне в духе Клуэ; да и две маски – Трагедии и Комедии, – несколько нарочито помещенные на переднем плане, подле мраморного столика, отличала та строгость мазка и линий, столь непохожая на легкое изящество итальянцев, которую великий фламандский мастер так и не утратил полностью, даже живя при французском дворе, и которая сама по себе всегда была характерным признаком северного темперамента.

– Прелестная вещица, – заметил я. – Но кто же этот очаровательный юноша, чью красоту так счастливо сохранило для нас искусство?

– Перед тобой портрет господина У. Г., – с грустной улыбкой ответил Эрскин.

Не знаю, возможно, то была всего лишь случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

– Господина У. Г., – повторил я. – А кто он такой, этот У. Г.?

– Неужели не помнишь? Посмотри на книгу у него под рукой.

– Там как будто что-то написано, вот только не разберу что, – откликнулся я.

– Вот лупа, попытайся разглядеть, – сказал Эрскин, лицо которого не покидала все та же грустная улыбка.

Я взял лупу и, придвинув лампу поближе, принялся с трудом читать рукописные строчки, выведенные замысловатой старинной вязью: «Тому единственному, кому обязаны появлением нижеследующие сонеты...»

– Боже милостивый! – воскликнул я. – Да не шекспировский ли это У. Г.?

– Так говорил и Сирил Грэхэм, – пробормотал Эрскин.

– Но ведь юноша ничуть не похож на лорда Пемброка^[51], – возразил я. – Я же отлично знаю портреты из Пенхерста^[52]. Не далее как несколько

недель назад мне довелось побывать в тех местах.

– А ты и в самом деле полагаешь, что сонеты посвящены лорду Пемброку?

– Совершенно в этом уверен, – ответил я. – Пемброк, сам Шекспир и г-жа Мэри Фиттон как раз и есть те три фигуры, что выступают в сонетах; на этот счет не может быть никаких сомнений.

– Что ж, я с тобой согласен, – сказал Эрскин, – но так я считал не всегда. Когда-то я верил – да, пожалуй, когда-то я верил в Сирила Грэхэма и его теорию.

– В чем же она состояла? – спросил я, глядя на прекрасный портрет, который уже начинал как-то странно меня завораживать.

– О, это длинная история, – ответил Эрскин, забирая у меня портрет, как мне показалось тогда, довольно неучтиво, – очень длинная история. Но если хочешь, я тебе ее расскажу.

– Меня всегда очень занимали всякие теории относительно этих сонетов, – сказал я, – но теперь я вряд ли поверю в какую-либо новую идею. В деле этом уже ни для кого нет загадки. Да и была ли она там когда-нибудь вообще, сказать трудно.

– Раз уж я сам не верю в эту теорию, тебя мне и подавно не убедить, – рассмеялся Эрскин. – Однако она все же не лишена интереса.

– Конечно, рассказывай, – согласился я. – Если история хоть вполовину так хороша, как портрет, я буду более чем доволен.

– Ну что ж, начну, пожалуй, с того, – сказал Эрскин, зажигая новую папиросу, – что поведаю тебе о самом Сириле Грэхэме. Познакомились мы в Итоне, где жили в одном пансионе. Я был на год или два старше, однако нас связывала теснейшая дружба, и мы не разлучались ни в играх, ни в трудах. Разумеется, игр было гораздо больше, чем трудов, но не могу сказать, чтобы я об этом сожалел. Не получить основательного образования в общепринятом смысле слова – всегда преимущество, и то, что я приобрел на игровых площадках в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили в Кембридже.

Надо сказать, что ни отца, ни матери у Сирила не было. Они погибли, когда их яхта потерпела ужасное крушение у берегов острова Уайт. Отец его был на дипломатической службе и женился на дочери – кстати, единственной – старого лорда Кредитона, который после смерти родителей Сирила стал его опекуном. Не думаю, чтобы лорд Кредитон очень любил Сирила. Он так до конца и не простил дочери, что она вышла замуж за человека без титула. Это был чудаковатый старый аристократ, который ругался, как уличный торговец, а манерами походил на деревенского

мужлана. Помню, как однажды я повстречался с ним в Актовый день^[53]. Он что-то буркнул, сунул мне в руку сверток и выразил желание, чтобы я не вырос «дрянным радикалом» вроде моего отца. Сирил не питал к нему особой привязанности и весьма охотно проводил большую часть каникул у нас в Шотландии. Да и вообще с дедом они никогда не ладили. Сирил считал его грубияном, а он внука – изнеженным мальчишкой. Наверное, в некоторых отношениях Сирил и вправду был изнежен, что, впрочем, не мешало ему превосходно ездить верхом и отменно фехтовать. Собственно, великолепно владеть рапирой он научился еще в Итоне. Однако вид он имел женственно-томный, немало гордился своей красотой и испытывал глубокую неприязнь к футболу. Две вещи доставляли ему истинное наслаждение – поэзия и актерская игра. В Итоне он имел обыкновение наряжаться в старинный костюм и читать из Шекспира, а когда мы отправились продолжать учебу в Тринити-колледж, он в первом же семестре вступил в Любительское театральное общество. Помнится, я всегда очень завидовал его искусству.

Я был до нелепого привязан к Сирилу – вероятно, потому, что в чем-то мы были так несхожи. Я был нескладным хилым юношей с огромными ступнями и ужасно веснушчатым лицом. В шотландских семьях веснушки передаются из поколения в поколение, как в английских – подагра. Сирил, однако, говорил, что из этих двух напастей предпочитает все же подагру. Внешности он действительно придавал до смешного большое значение и однажды даже прочел в нашем дискуссионном обществе эссе, в котором доказывал, что лучше хорошо выглядеть, чем хорошо поступать. Сам он был, право же, изумительно красив. Люди, не любившие Сирила, – пошлые глупцы, университетские наставники и студенты, готовившиеся к духовному поприщу, – говорили, что он миловиден, и только, но на самом деле в лице его было нечто гораздо большее, нежели обыкновенная миловидность. Я никогда, кажется, не знал более обворожительного создания, и сравниться с ним в грациозности движений и изяществе манер не мог решительно никто. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, и очень многих, кто этого не заслуживал. Часто он бывал своенравен и капризен, я же считал его чудовищно неискренним. Последнее, полагаю, было в основном следствием его безмерного желания нравиться. Бедный Сирил! Как-то я сказал ему, что он находит удовольствие в успехах весьма невысокого сорта, но он лишь расхохотался в ответ. Он был ужасающе испорчен. Думаю, впрочем, что все обаятельные люди испорчены. В этом и кроется секрет их привлекательности.

Однако пора рассказать об игре Сирила. Тебе, конечно, известно, что

женщин в Любительское театральное общество не принимают. Во всяком случае, так было в мое время. Не знаю, как обстоит дело сейчас. Ну и, разумеется, женские роли всегда доставались Сирилу. Когда ставили «Как вам это понравится»^[54], он играл Розалинду. В этой роли он был великолепен. Собственно говоря, Сирил Грэхэм был единственной безупречной Розалиндой из тех, что мне довелось видеть. Невозможно описать тебе всю прелесть, всю утонченность, всю изысканность его игры. Она произвела невообразимую сенсацию, и скверный маленький театрик, где тогда давала представления труппа, каждый вечер был переполнен. Даже сейчас, читая пьесу, я не могу не думать о Сириле. Она была точно специально для него написана.

На следующий год он окончил университет и уехал в Лондон готовиться к поступлению на дипломатическую службу. Но душа у него к занятиям не лежала. Целыми днями он читал сонеты Шекспира, а по вечерам отправлялся в театр. Разумеется, больше всего на свете он хотел стать актером. Однако я и лорд Кредитон сделали все, что в наших силах, чтобы ему помешать. Кто знает, пойдя Сирил на сцену, возможно, он был бы жив до сих пор. Давать советы, знаешь ли, вообще глупо, разумные же советы – просто губительно. Надеюсь, ты не совершишь подобной ошибки. А если все-таки совершишь, то очень в этом раскаешься.

Впрочем, перейду к тому, что составляет суть этой истории. Однажды я получил от Сирила письмо с просьбой в тот же вечер приехать к нему на квартиру. Он занимал несколько прекрасных комнат на Пикадилли, выходивших окнами на Грин-парк. Поскольку я и так бывал у него каждый день, меня, признаться, удивило то, что он дал себе труд написать мне. Я, конечно, приехал и застал моего друга в состоянии величайшего волнения. Он объявил, что разгадал наконец тайну шекспировских сонетов, что все знатоки и критики пошли по совершенно ложному пути и что он первый, опираясь лишь на сведения, содержащиеся в самих сонетах, открыл, кто был в действительности господин У. Г. Он был прямо вне себя от восторга и долго не хотел объяснять, в чем заключается его теория. В конце концов он принес целую кипу заметок, взял с каминного томика Шекспира, устроился в кресле и прочел мне длинную лекцию по столь заинтересовавшему его предмету.

В самом начале он указал на то, что молодой человек, которому Шекспир посвятил эти полные необычайной страсти стихи, должен быть кем-то, кто сыграл поистине исключительную роль в развитии его драматического таланта, и что подобного нельзя сказать ни о лорде Пемброке, ни о лорде Саутгемптоне. Кто бы он ни был, он не мог

принадлежать к знатному роду, о чем достаточно ясно свидетельствует 25-й сонет, где Шекспир, сравнивая себя с «любимцами сиятельных вельмож», прямо говорит:

Пускай обласканный счастливою звездою
Гордится титулом и блеском славных дел,
А мне, лишенному даров таких судьбою,
Мне почесть высшая досталась в удел, – [\[55\]](#)

и в конце сонета радуется тому, что человек, внушивший ему такое обожание, из простого сословия, и дружбе их не грозят капризы фортуны:

Но я любим, любя, и жребий мой ценю,
Он не изменит мне, и я не изменю [\[56\]](#).

Этот сонет, заявил Сирил, был бы совершенно непонятен, если предположить, что адресован он лорду Пемброку или графу Саутгемптону, – ведь и тот, и другой стояли на высшей ступени английского общества и могли быть с полным основанием названы «сиятельными вельможами». В подтверждение своей точки зрения он прочел мне 124-й и 125-й сонеты, где Шекспир говорит, что его любовь не «дитя удачи» и что ее «не создал случай». Я слушал с живым интересом, ибо не думаю, чтобы кто-нибудь раньше обратил внимание на эти факты, однако дальнейшее было еще любопытнее и, как мне показалось тогда, лишало всяких оснований притязания Пемброка. Миерс передает, что сонеты были написаны до 1598 года, а из сонета 104-го явствует, что дружба Шекспира с господином У. Г. началась тремя годами раньше. Но лорд Пемброк, родившийся в 1580 году, не бывал в Лондоне до восемнадцати лет, то есть до 1598 года; Шекспир же, видимо, познакомился с господином У. Г. в 1594 или, самое позднее, в 1595 году и, следовательно, не мог встречаться с лордом Пемброком до того, как были написаны сонеты.

Сирил отметил также, что отец Пемброка умер только в 1601 году, тогда как строка:

Был у тебя отец, так стань и ты отцом [\[57\]](#)...

ясно говорит о том, что в 1598 году отца господина У. Г. уже не было в живых. Помимо всего прочего, было бы нелепо думать, будто в те времена какой-либо издатель – а посвящение написано именно издателем – дерзнул бы обратиться к Уильяму Герберту, графу Пемброку, как к «господину У. Г.». То, что лорда Бакхерста однажды назвали просто «господином Сэквиллом», едва ли может служить уместным примером, ибо лорд Бакхерст был не пэром, а лишь младшим сыном пэра и носил всего только «титул учтивости», да и то место в «Английском Парнасе», где его так называют, упоминая лишь вскользь, никак нельзя сравнить с торжественным официальным посвящением. Так было покончено с лордом Пемброком, чьи воображаемые притязания Сирил легко развеял в прах; я слушал в изумлении. Лорд Саутгемптон доставил ему еще меньше затруднений. Уже в ранней юности Саутгемптон стал любовником Элизабет Вернон и потому не нуждался в столь настойчивых призывах подумать о продолжении рода; он не был красив или похож на мать, как господин У. Г.:

Для матери твоей ты зеркало такое же.
Она в тебе апрель свой дивный узнает^[58], —

и, самое главное, получил при крещении имя Генри, в то время как построенные на игре слов сонеты 135-й и 143-й подсказывают, что друга Шекспира звали так же, как его самого, – Уилл.

С другими, весьма неудачными догадками, высказанными комментаторами, – что инициалы искажены опечаткой и читать следует «господину У. Ш.», то есть «Уильяму Шекспиру», что господин У. Г. – это Уильям Гэсауэй или что после слова «желает» нужно поставить точку, превратив тем самым господина У. Г. из человека, которому посвящены сонеты, в автора посвящения, – Сирил расправился очень быстро, и нет нужды приводить здесь его аргументы, хотя, помнится, он до колик рассмешил меня, прочтя вслух (к счастью, не в оригинале) несколько выдержек из какого-то немецкого комментатора по имени Барншторф, который настойчиво доказывал, что господин У. Г. не кто иной, как господин «Уильям Самолично»^[59]. Ни на минуту не допускал он и мысли о том, что сонеты – простая пародия на произведения Дрейтона^[60] и Джона Дэвиса из Херефорда^[61]. Сирилу, как, впрочем, и мне, стихи эти казались исполненными глубокого и трагического чувства, вобравшего в себя всю

горечь, исторгнутую шекспировским сердцем, и всю сладость, излитую его устами. Еще менее он склонен был признать сонеты философской аллегорией, в которой Шекспир обращается к своему идеальному «Я», или к идеальному Мужскому Образу, Духу Красоты, Разуму, Божественному Логосу, Католической Церкви. Он чувствовал, как и все мы, что стихи адресованы определенному лицу, некоему юноше, чей образ почему-то рождал в душе Шекспира безумную радость и столь же безумное отчаяние.

Как бы подготовив себе почву сказанным, Сирил попросил меня выбросить из головы любые предвзятые мнения, какие могли сложиться у меня по поводу сонетов, и выслушать с вниманием и беспристрастием его собственную теорию. Вопрос, сказал он, состоит в следующем: кто был тот юноша, современник Шекспира, который, не будучи благороден ни по рождению, ни даже по натуре, был воспет им с таким пламенным обожанием, что остается лишь удивляться этому странному преклонению, почти страхась приподнять завесу, скрывающую тайну, что жила в сердце поэта? Кто был он, обладавший красотой столь удивительной, что она наполнила собой все шекспировское искусство, стала источником его вдохновения, воплощением самой сокровенной его мечты? Смотреть на него только как на героя лирических стихов – значит совершенно их не понимать. Ведь, говоря в сонетах об искусстве, Шекспир подразумевает не сами сонеты, ибо для него они были лишь тайным и мимолетным увлечением, – нет, речь в них идет о его драматическом искусстве, и тот, кому Шекспир сказал:

Искусство все – в тебе; мой стих простой
Возвысил ты своею красотой, —

тот, кому он сулил бессмертие:

Ты будешь жить, земной покинув прах,
Там, где живет дыханье, – на устах^[62], —

был, конечно же, не кем иным, как юношей-актером, для которого он создал Виолу и Имоджену, Джульетту и Розалинду, Порцию, Дездемону и даже Клеопатру.

В этом и состояла теория Сирила Грэхэма, которую, как видишь, он построил на основании одних только сонетов и которая опиралась не

столько на логические умозаключения и формальные доказательства, сколько на своего рода духовную и художественную интуицию, ибо лишь с ее помощью, утверждал он, возможно постичь подлинный смысл этих стихов. Я помню, он прочел мне прекрасный сонет:

Неужто музе не хватает темы,
Когда ты можешь столько подарить
Чудесных дум, которые не все мы
Достойны на бумаге повторить.
И если я порой чего-то стою,
Благодари себя же самого.
Тот поражен душевной немотою,
Кто в честь твою не скажет ничего.
Для нас ты будешь музою десятой
И в десять раз прекрасней остальных,
Чтобы стихи, рожденные когда-то,
Мог пережить тобой внушенный стих^[63], —

обратив мое внимание на то, как убедительно эти строки подтверждают его теорию. И действительно, тщательно проанализировав сонеты, он показал или воображал, что показал, как в свете нового объяснения их значения все, что казалось ранее непонятным, или дурным, или преувеличенным, обретает ясность, стройность и высокий художественный смысл, иллюстрируя шекспировское представление об истинных отношениях между искусством актера и искусством драматурга.

Совершенно очевидно, что в труппе Шекспира был великолепный юный актер редкостной красоты, которому он доверял воплощать на подмостках благородных героинь своих пьес – ведь Шекспир был не только вдохновенным поэтом, но и театральным антрепренером.

И Сирилу удалось узнать имя этого актера. Его звали Уилл или, как предпочитал называть его сам Сирил, Уилли Гюз. Имя он, разумеется, обнаружил в каламбурных 135-м и 143-м сонетах; фамилия же, по его мнению, скрывалась в восьмой строке 20-го сонета, где господин У. Г. описывается так:

Красавец в цвете лет и весь он – цвет творенья...

В первом издании сонетов слово «цвет»^[64] напечатано с заглавной буквы и курсивом, а это, утверждал он, явно указывает на желание автора вложить в созвучие двоякое значение. Такое предположение во многом подтверждается теми сонетами, где встречаются любопытные каламбуры со словами «use» и «usury»^[65]. Сирил, конечно, сразу обратил меня в свою веру, и Уилли Гьюз стал для меня не менее реальным лицом, чем сам Шекспир. Я нашел возразить лишь то, что имени Уилли Гьюз нет в дошедшем до нас списке актеров шекспировской труппы. Однако Сирил ответил, что отсутствие в списке этого имени, напротив, только подкрепляет его теорию, так как из 86-го сонета понятно, что Уилли Гьюз покинул труппу Шекспира и стал играть в одном из конкурирующих театров – возможно, в каких-то пьесах Чапмена^[66]. Именно это Шекспир имеет в виду, когда в своем замечательном сонете о Чапмене говорит, обращаясь к Уилли Гьюзу:

...его стихи украсил твой привет,
И мой слабеет стих, и слов уж больше нет^[67].

Строка «его стихи украсил твой привет» подразумевает, видимо, что своей красотой молодой актер добавил прелести чапменовским стихам, наполнил их жизнью и правдой. Та же мысль высказана и в 79-м сонете:

Когда один я находил истоки
Поэзии в тебе, блистал мой стих.
Но как теперь мои померкли строки
И голос музы немоцной затих!

А в предыдущем сонете, где Шекспир говорит:

Поэты, переняв мою затею,
Свои стихи украсили тобой^[68], —

разумеется, очевидна игра слов use – Hughes^[69], и фраза «свои стихи украсили тобой» означает: «своим актерским искусством ты помогаешь успеху их пьес».

Это был чудесный вечер, и мы засиделись чуть ли не до рассвета,

читая и перечитывая сонеты. Однако со временем я начал понимать, что сделать теорию всеобщим достоянием в совершенно законченном виде можно, лишь получив неоспоримые доказательства существования юного актера по имени Уилли Гьюз. Если бы удалось их отыскать, не осталось бы никаких оснований сомневаться в том, что он и господин У. Г. – одно и то же лицо; в противном случае теория просто рухнет. Эти соображения я со всей возможной убедительностью изложил Сирилу, который был немало раздосадован тем, что назвал моим «филистерским складом ума», и вообще очень обиделся и расстроился. Тем не менее я заставил его пообещать, что, в своих же собственных интересах, он не предаст огласке сделанного открытия до тех пор, пока не будут полностью рассеяны все сомнения. Многие и многие недели мы рылись в метрических записях лондонских церквей, в алленовских рукописях в Далидже^[70], в Государственном архиве, в Архиве лорда-гофмейстера – словом, везде, где была хоть какая-то надежда встретить упоминание об Уилли Гьюзе. Поиски наши, как и следовало ожидать, не увенчались успехом, и идея с каждым днем казалась все неправдоподобнее. Сирил пребывал в ужасном состоянии: изо дня в день он вновь и вновь объяснял мне свою теорию, умоляя в нее поверить. Но я отлично видел единственный изъян в его рассуждениях и отказывался с ними согласиться, прежде чем существование Уилли Гьюза, юноша-актера, жившего во времена королевы Елизаветы, не станет безусловно и неопровержимо доказанным фактом.

Однажды Сирил уехал из города. Я решил, что он отправился навестить своего деда, и лишь позже узнал от лорда Кредитона, что это было не так.

Недели через две от Сирила пришла телеграмма, посланная из Уорика, – он просил меня приехать и пообедать с ним в тот же вечер в восемь часов. Встретил он меня такими словами: «Единственный апостол, который не заслуживал, чтобы ему представили доказательства существования Божьего, был святой Фома, но получил их он один». На мой вопрос, как это понимать, он ответил, что ему удалось не только удостовериться в том, что в шестнадцатом веке действительно жил юноша-актер по имени Уилли Гьюз, но и окончательно доказать, что он и есть тот самый господин У. Г., которому посвящены сонеты. Ничего больше он в тот момент сказать не захотел, однако после обеда торжественно показал мне картину, которую ты только что видел, сообщив, что обнаружил ее по чистой случайности: портрет был прибит гвоздями к внутренней стенке старинной шкатулки, купленной им у какого-то фермера в Уорикшире. Самое шкатулку – замечательный образец ремесленного искусства конца

шестнадцатого века – он, разумеется, тоже захватил с собой. На передней стенке, в самом центре, были отчетливо вырезаны инициалы «У. Г.». Именно эта монограмма и привлекла его внимание, хотя более тщательно осмотреть шкатулку изнутри ему пришлось в голову лишь спустя несколько дней после ее приобретения. Как-то утром он заметил, что одна из стенок гораздо толще остальных, и, присмотревшись, обнаружил прикрепленную к ней доску в раме. Это и была та самая картина, которая лежит сейчас на диване. Ее покрывал густой слой грязи и плесени, но Сирил сумел их счистить и, к величайшей своей радости, увидел, что совершенно случайно нашел как раз то, что искал. Перед ним был подлинный портрет господина У. Г., рука которого покоилась на томике сонетов, открытом на странице с посвящением, а на потускневшем золоте рамы можно было с трудом различить имя молодого человека, выведенное черными унциальными ^[71] буквами: «Молодой Уилл Гьюз».

Что мне было сказать? Я и на миг не мог вообразить, что Сирил Грэхэм задумал сыграть со мной шутку или пытается доказать свою теорию с помощью подделки.

– Так это все же подделка? – спросил я.

– Разумеется, – сказал Эрскин. – Подделка превосходная, но тем не менее подделка. Уже тогда, правда, мне показалось, что Сирил отнесся к находке чересчур уж спокойно, однако я вспомнил, как он не раз говорил, что самому ему не нужно подобного рода доказательств и что теория вполне убедительна и без них. Смеясь, я отвечал, что без них вся его теория рухнет, как карточный домик, – и теперь искренне поздравил своего друга с блестящим открытием. Мы договорились заказать гравюру или репродукцию с портрета, чтобы поместить ее на фронтисписе нового издания сонетов, которое решил подготовить Сирил, и в течение трех месяцев занимались только тем, что кропотливо, строчку за строчкой, изучали каждый сонет, пока не были преодолены все неясности текста или смысла. И вот одним несчастливym днем я забрел в какой-то магазин гравюр в Холборне, где внимание мое привлекли несколько прекрасных рисунков серебряным карандашом. Они так мне понравились, что я их купил, а владелец магазинчика, некий Ролингс, сказал мне, что рисунки сделал молодой художник по имени Эдвард Мертон – человек очень талантливый, но бедный как церковная мышь.

Через несколько дней я поехал повидать Мертона, чей адрес взял у торговца гравюрами. Меня встретил интересный молодой человек с бледным лицом и его жена, довольно вульгарная на вид женщина, которая, как я узнал потом, была его натурщицей. Я сказал, что восхищен его

рисунками, чем, кажется, доставил ему большое удовольствие, и спросил, не покажет ли он мне еще что-нибудь из своих работ. Но когда мы стали одну за другой их рассматривать – а у него оказалось множество, право же, чудесных вещей, ибо этот Мертон и в самом деле был великолепным и тонким мастером, – взгляд мой совершенно неожиданно упал... на рисунок с портрета господина У. Г. Сомнений не было. Я держал в руках почти точную копию – с той лишь разницей, что маски Трагедии и Комедии лежали не перед мраморным столиком, как на картине, а у ног юноши.

«Каким образом к вам попало это?» – воскликнул я.

Явно смешавшись, Мертон пробормотал: «Так, какой-то случайный набросок. Не знаю даже, как он здесь оказался. Безделка, не более».

«Это же тот самый эскиз, который ты сделал для Сирила Грэхэма! – вмешалась его жена. – И если джентльмен хочет его купить, пусть покупает».

«Для Сирила Грэхэма? – повторил я. – Так это вы написали портрет господина У. Г.?»

«Я не понимаю, что вы имеете в виду», – ответил он, заливаясь краской.

Случилось ужасное. Его жена обо всем проболталась. Уходя, я украдкой дал ей пять фунтов. Сейчас вспоминать об этом невыносимо, но, конечно же, я был взбешен. Я тотчас поспешил к Сирилу, прождал три часа у него на квартире, и, когда он наконец вернулся, явившись мне, точно олицетворение этой отвратительной лжи, я сообщил ему, что обнаружил подделку. Он сильно побледнел и сказал:

«Я сделал это только ради тебя. Убедить тебя иным способом было невозможно. Однако достоверности теории это не умаляет».

«Достоверность теории! – воскликнул я. – Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше! Ты даже сам никогда в нее не верил. Иначе бы не прибег к подделке, чтобы ее доказать».

Мы наговорили друг другу резкостей и страшно поссорились. Пожалуй, я был несправедлив. На следующее утро его нашли мертвым.

– Мертвым?! – вскричал я.

– Да. Он застрелился из револьвера. Брызги крови попали на раму картины, как раз на то место, где написано имя. Когда я приехал – слуга Сирила сейчас же послал за мной, – там уже была полиция.

Сирил оставил для меня письмо, написанное, судя по всему, в величайшем смятении и расстройстве чувств.

– Что же он в нем говорил?

– О, что он абсолютно убежден в существовании Уилли Гьюза, что

подделка была лишь уступкой мне и ни в малейшей степени не лишает теорию правоты и что, желая доказать мне, как глубока и непоколебима его вера в идею, он приносит свою жизнь в жертву тайне сонетов. Это было безумное, исступленное письмо. Помню, в конце он писал, что завещает теорию об Уилли Гьюзе мне, что именно я должен рассказать о ней людям и разгадать тайну шекспировой души.

– Какая трагическая история, – проговорил я. – Но почему же ты не исполнил его желания?

Эрскин пожал плечами:

– Да потому, что теория эта от начала и до конца совершенно ошибочна.

– Мой милый Эрскин, – сказал я, вставая с кресла, – на сей счет ты явно заблуждаешься. Эта теория – единственный верный ключ к пониманию сонетов Шекспира. Она продумана во всех деталях. Лично я верю в Уилли Гьюза.

– Не говори так, – глухо отозвался Эрскин. – Мне кажется, что в этой идее есть что-то роковое, с точки же зрения логики сказать в ее пользу нечего. Я тщательно во всем разобрался и уверяю тебя: теория совершенно безосновательна. Правдоподобной она кажется только до известного предела. Дальше – тупик. Ради всего святого, дружище, оставь всякую мысль об Уилли Гьюзе. Иначе тебе не миновать беды.

– Эрскин, – ответил я, – твой долг – сообщить миру об этой теории. И если этого не сделаешь ты, то сделаю я. Скрывая ее, ты грешишь перед памятью Сирила Грэхэма – самого юного и самого прекрасного из мучеников искусства. Умоляю тебя! Ведь этого требует справедливость. Он не пожалел жизни ради идеи – так пусть же смерть его не будет напрасна.

Эрскин посмотрел на меня в изумлении.

– Полно, тебя просто захватили чувства, вызванные всей этой историей. Однако ты забываешь, что вера не становится истиной только потому, что кто-то за нее умирает. Я любил Сирила Грэхэма, и его смерть была для меня страшным ударом. Оправиться от него я не мог многие годы. Наверное, я не оправился от него вовсе. Но Уилли Гьюз? Нет, Уилли Гьюз – идея пустая. Такого человека никогда не было. Рассказать обо всем людям, говоришь ты? Но ведь люди думают, что Сирил Грэхэм погиб от несчастного случая. Единственное доказательство его самоубийства – адресованное мне письмо, но о нем никто ничего не знает. Лорд Кредитон и по сей день уверен, что тогда произошел несчастный случай.

– Сирил Грэхэм пожертвовал жизнью во имя великой идеи, – возразил я. – И если ты не хочешь поведать о его мученичестве, расскажи хоть о его

вере.

– Его вера, – ответил Эрскин, – основывалась на ложном представлении, на представлении порочном, на представлении, которое, не задумываясь, отверг бы любой исследователь творчества Шекспира. Да его теорию просто подняли бы на смех! Не будь же глупцом и оставь этот путь, он никуда не ведет. Ты исходишь из уверенности в существовании того самого человека, чье существование как раз и надо сперва доказать. И потом, всем известно, что сонеты посвящены лорду Пемброку. С этим вопросом покончено раз и навсегда.

– Нет, не покончено! – воскликнул я. – Я продолжу начатое Сирилом Грэхэмом и докажу всем, что он был прав.

– Безумный мальчишка! – пробормотал Эрскин. – Отправляйся-ка лучше домой – уже третий час. И выбрось из головы Уилли Гьюза. Я жалею, что рассказал тебе обо всем этом, и еще больше – что убедил тебя в том, чему не верю сам.

– О нет, ты дал мне ключ к величайшей загадке современной литературы, – ответил я, – и я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю тебя признать – пока не заставлю всех признать, что Сирил Грэхэм был самым тонким из современных знатоков Шекспира.

Я шел домой через Сент-Джеймс-парк, а над Лондоном занималась заря. Белые лебеди покойно дремали на полированной глади озера; высокие башни дворца на фоне бледно-зеленого неба отливали багрянцем. Я подумал о Сириле Грэхэме, и глаза мои наполнились слезами.

II

Когда я проснулся, шел уже первый час пополудни, и сквозь занавеси на окнах в комнату струились косые золотистые лучи солнца, в которых плясали мириады пылинок. Сказав слуге, что меня ни для кого нет дома, и выпив чашку шоколада с булочкой, я взял с полки томик сонетов Шекспира и стал внимательно читать. Каждый сонет, казалось, подтверждал теорию Сирила Грэхэма. Я точно положил руку на сердце барда, явственно ощутив трепет и биение переполнявших его страстей. Мысли мои обратились к прекрасному юноше-актеру, и в каждой строчке мне стало видеться его лицо. Помню, особенно меня поразили два сонета – 53-й и 67-й. В первом из них, восхищаясь сценической разнохарактерностью Уилли Гьюза, многообразием исполняемых им ролей – от Розалинды до Джульетты и от Беатриче до Офелии, – Шекспир восклицает:

Какою ты стихией порожден?
Все по одной отбрасывают тени,
А за тобою вьется миллион
Твоих теней, подобий, отражений^[72].

Строки эти были бы непонятны, если бы не были обращены к актеру, ибо во времена Шекспира слово «тень» имело и более узкое значение, связанное с театром^[73]. «И лучшие среди них – всего лишь тени», – говорит об актерах Тезей из «Сна в летнюю ночь», и подобные выражения часто встречаются в литературе тех дней. Эти два сонета принадлежат, очевидно, к числу тех, где Шекспир размышляет о природе актерского искусства, о том странном и редкостном душевном темпераменте, без которого нет настоящего актера.

«Как тебе удастся быть столь многоликим?» – спрашивает Шекспир Уилли Гьюза. И заключает – красота его способна вдохнуть жизнь в любую форму или оттенок фантазии, воплотить любую мечту, рожденную воображением художника. Развивая эту идею в следующем сонете, он высказывает в первых его строках замечательную мысль:

Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной^[74], —

и зовет нас убедиться в том, как правда актерской игры, правда зримого сценического действия усиливает волшебное очарование поэзии, одушевляя ее красоту и сообщая реальность ее идеальной форме. И тем не менее в 67-м сонете Шекспир призывает Уилли Гьюза покинуть сцену с ее искусственностью, фальшивыми гримасами размалеванных лиц и нелепыми костюмами, безнравственными влияниями и идеями, удаленностью от истинного мира благородных дел и правдивого слова:

О, для чего он будет жить бесславно,
С бесчестьем, с позором и с грехом
Вступать в союз и им служить щитом?
Зачем румяна спорить будут явно
С его румянцем нежным и зачем тайком
Фальшивых роз искать ему тщеславно,
Когда цветут живые розы в нем?^[75]

Возможно, покажется странным, что такой великий драматург, как Шекспир, чей художественный гений обрел выражение именно в идеальной сфере сценического творчества, мог подобным образом писать о театре. Однако вспомним, что в сонетах 110 и 111 он говорит, как устал жить в царстве марионеток, как стыдится того, что превратился в «площадного шута». Горечь эта особенно ощущается в 111-м сонете:

О как ты прав, судьбу мою браня,
Виновницу дурных моих деяний;
Богиню, осудившую меня
Зависеть от публичных подаяний.

Красильщик скрыть не в силах ремесло,
Так на меня проклятое занятие
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье^[76], —

и признаки этого чувства, признаки, столь знакомые тем, кто действительно знает Шекспира, обнаруживают себя и во многих других его

сонетах.

Читая сонеты, я был чрезвычайно озадачен одним обстоятельством, и минули дни, прежде чем мне удалось найти ему верное толкование, которое, видимо, ускользнуло далее от Сирила Грэхэма. Я никак не мог понять, отчего Шекспир так сильно желал, чтобы его друг женился. Сам он женился в ранней молодости, что сделало его несчастным, и едва ли стал бы требовать, чтобы Уилли Гюз совершил ту же ошибку. Юному актеру, игравшему Розалинду, нечего было ждать ни от брака, ни от познания страстей, властвующих в реальной жизни. И потому в первых сонетах, где Шекспир со странной настойчивостью упрасивает его обзавестись потомством, мне слышалась какая-то нарушающая гармонию нота. Объяснение пришло неожиданно – я нашел его в необычном посвящении к сонетам. Как известно, звучит оно так:

ТОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ, КОМУ ОБЯЗАНЫ
ПОЯВЛЕНИЕМ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СОНЕТЫ
Г-Н[У] У. Г. ВСЯКОГО СЧАСТЬЯ И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ,
ОБЕЩАННОЙ НАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОЭТОМ,
ЖЕЛАЕТ БЛАГОРАСПОЛОЖЕННЫЙ И УПОВАЮЩИЙ
НА УДАЧУ ИЗДАТЕЛЬ.

Т. Т.

Некоторые исследователи предполагали, что выражение «... кому обязаны появлением...» подразумевает просто того человека, который передал сонеты их издателю, Томасу Торпу. Однако к настоящему времени большинство отказалось от такого взгляда, и наиболее уважаемые авторитеты согласны, что толковать эти слова следует как обращение к вдохновителю сонетов, усматривая здесь метафору, построенную на аналогии с появлением на свет живого существа. Вскоре я заметил, что эту метафору Шекспир использует в сонетах постоянно, и это натолкнуло меня на правильный путь. В итоге я сделал свое великое открытие. Любовный союз, к которому Шекспир побуждает Уилли Гюза, – это «союз с его Музой» – выражение, употребленное вполне определенно в 82-м сонете, где, изливая горькую обиду, причиненную вероломным бегством юного актера, для которого он написал лучшие роли в своих пьесах, поэт начинает жалобу словами:

Увы, но с Музою моею не связан ты союзом вечным...

А дети, которых Шекспир просит его произвести на свет, не существа из плоти и крови, но более долговечные создания, рожденные слиянием иных начал, чей союз осеняет нетленная слава. Весь же цикл ранних сонетов проникнут, по сути, одним стремлением – убедить Уилли Гююза пойти на подмостки, стать актером. Сколь напрасна и бесплодна будет твоя красота, говорит Шекспир, если ты ею не воспользуешься:

Когда чело твое избороздят
Глубокими следами сорок зим, —
Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем твоим?

И на вопрос: «Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?» —
Что скажешь ты? На дне угасших глаз?
Но злой насмешкой будет твой ответ^[77].

Ты должен творить: мои стихи «твои и рождены тобою»; внемли мне и «в строках этих переживешь лета и веки», населив подобиями своего образа воображаемый мир театра. Создания твои не угаснут, как угасают смертные существа, – ты навеки пребудешь в них и в моих пьесах, лишь только

Подобие свое создай хоть для меня,
Чтоб красота твоя жила в тебе иль близ тебя^[78].

Я собрал все отрывки, которые как будто подтверждали мою догадку, и они произвели на меня глубокое впечатление, показав, насколько справедлива теория Сирила Грэхэма. Я увидел также, как легко отличить строки, в которых Шекспир говорит о самих сонетах, от тех, где он ведет речь о своих великих драматических произведениях. Никто из критиков до Сирила Грэхэма не обратил внимания на это обстоятельство. А ведь оно чрезвычайно важно. К сонетам Шекспир был более или менее равнодушен, не связывая с ними помыслов о славе. Для него они были творениями «мимолетной Музы», как он называет их сам, предназначенными, по

свидетельству Миерса, для весьма и весьма узкого круга друзей. Напротив, в художественной ценности своих пьес он отдавал себе ясный отчет и высказывал гордую веру в свой драматический гений. Когда он говорил Уилли Гьюзу:

А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.
Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор^[79], —

слова «Ты будешь вечно жить в строках поэта», несомненно, относятся к одной из его пьес, которую он тогда собирался послать своему другу, — точно так же, как последнее двустихие свидетельствует о его убеждении в том, что написанное им для театра будет жить всегда. В обращении к Музе (сонеты 100 и 101) звучит то же чувство:

Где Муза? Что молчат ее уста
О том, кто вдохновлял ее полет?
Иль, песенкой дешевой занята,
Она ничтожным славу создает? —

вопрошает он и, укоряя владычицу Трагедии и Комедии за то, что она «отвергла Правду в блеске Красоты», говорит:

Да, совершенству не нужна хвала,
Но ты ни слов, ни красок не жалея,
Чтоб в славе красота пережила

Свой золотом покрытый мавзолей.
Нетронутым — таким, как в наши дни,
Прекрасный образ миру сохрани!^[80]

Однако наиболее полно эта идея выражена, пожалуй, в 55-м сонете. Воображать, будто «могучим стихом» названы строки самого сонета, —

значит совершенно неправильно понимать мысль Шекспира. Общий характер сонета создал у меня впечатление, что речь в нем идет о какой-то определенной пьесе и что пьеса эта – «Ромео и Джульетта»:

Надгробьям пышным, гордым изваяньям.

Весьма примечательно также, что здесь, как и в других сонетах, Шекспир обещает Уилли Гьюзу бессмертие, открытое глазам людей, то есть бессмертие в зримой форме, в произведении, предназначенном для сцены.

Две недели я без устали трудился над сонетами, почти не выходя из дому и отказываясь от всех приглашений. Каждый день приносил новое открытие, и вскоре Уилли Гюз поселился в моей душе, точно призрак, и образ его завладел всеми моими мыслями. Временами мне даже чудилось, что я вижу его в полумраке моей комнаты, – так ярко нарисовал его Шекспир – с золотистыми волосами, неясного и стройного, словно цветок, с глубокими мечтательными глазами и лилейно-белыми руками. Даже имя его завораживало меня. Уилли Гюз! Уилли Гюз! Какая дивная музыка! О да! Кто, как не он, мог быть властелином и властительницей шекспировских страстей, повелителем его любви, которому он был предан, как верный вассал, изящным баловнем наслаждений, совершеннейшим на свете созданием, глашатаем весны в блистающих одеждах молодости, прелестным юношей, чей голос звучал сладко, точно струны лютни, а красота чудным покровом облекала душу Шекспира и была главным источником силы его драматического таланта?

Какой же жестокой трагедией казалось теперь бегство и позорная измена актера – скрашенная и облагороженная его колдовским очарованием, – но тем не менее измена. И все же, если Шекспир простил его, не простить ли его и нам? Мне, во всяком случае, не хотелось заглядывать в тайну его грехопадения.

Другое дело – его уход из шекспировского театра; это событие я исследовал со всей тщательностью. И в конце концов пришел к выводу, что Сирил Грэхэм ошибался, предполагая в соперничающем драматурге из 80-го сонета Чапмена. Речь, по всей видимости, шла о Марло^[81]. Ибо в тот период, когда писались сонеты, выражение «его ли стих – могучий шум ветрил» не могло относиться к творчеству Чапмена, как бы ни было оно применимо к стилю его поздних пьес, написанных уже в годы правления короля Иакова! Нет, именно Марло был тем соперником на драматургическом поприще, которому Шекспир расточает такие похвалы, а

...дружественный дух —
Его ночной советчик бестелесный^[82], —

это Мефистофель из его «Доктора Фауста». Без сомнения, Марло пленила красота и изящество юного актера, и он переманил его из театра «Блэкфрайерс» к себе, чтобы дать ему роль Гейвстона в своем «Эдуарде Втором». То, что Шекспир имел законное право не отпустить Уилли Гьюза, ясно из 87-го сонета, где он говорит:

Прощай! Ты для меня бесценное владенье,
Но стала для тебя ясней твоя цена —
И *хартии твоей* приносят письма
От *власти* временной моей освобожденье,
По милости твоей владел лишь я тобой:
Чем мог я заслужить такое наслажденье?
Но права на тебя мне не дано судьбой:
Бессилен договор, напрасно принужденье.
Мои достоинства неверно оцени,
Отдавши мне себя в минутном заблужденье,
Свой драгоценный дар, по строгом обсужденье,
Теперь ты хочешь взять обратно у меня...
Во сне был я король.
Стал нищим в пробужденье^[83].

Но удерживать силой того, кого не смог удержать любовью, он не захотел. Уилли Гьюз поступил в труппу лорда Пемброка и стал играть — быть может, во дворе таверны «Красный Бык» — роль изнеженного фаворита короля Эдуарда. После смерти Марло он, по-видимому, вернулся к Шекспиру, который, что бы ни думали на этот счет его товарищи по театру, не замедлил простить своенравного и вероломного юношу.

И опять-таки как точно описал Шекспир характер актера! Уилли Гьюз был одним из тех,

Кто двигает других, но, как гранит,
Неколебим и не подвержен страсти...^[84]

Он мог сыграть любовь, но был не способен испытать ее в жизни, мог изображать страсть, не зная ее.

Есть лица, что души лукавой
Несут печать в гримасах и морщинах...

Однако Уилли Гьюз был не таков.

«Но небо, – говорит Шекспир в сонете, полном безумного обожания, –

...иначе создать тебя сумело;
И только прелести полны твои черты.
Какие б ни были в душе твоей мечты —
В глазах всегда любовь и нежность без предела^[85].

В его «непостоянстве чувств» и «лукавой душе» легко узнать неискренность и вероломство, присущие артистическим натурам, как в его тщеславии – ту жажду немедленного признания, что свойственна всем актерам. И все же Уилли Гьюзу, которому в этом смысле посчастливилось больше, чем другим актерам, суждено было обрести бессмертие. Неотделимый от шекспировских пьес, его образ продолжал жить в них.

Ты сохранишь и жизнь, и красоту,
А от меня ничто не сохранится.
На кладбище покой я обрету,
А твой приют – открытая гробница.

Твой памятник – восторженный мой стих.
Кто не рожден, еще его услышит.
И мир повторит повесть дней твоих,
Когда умрут все те, кто ныне дышит^[86].

Шекспир беспрестанно говорит и о власти, которой обладал Уилли Гьюз над зрителями – «очевидцами», как называл их поэт. Но, пожалуй, самое лучшее описание его изумительного владения актерским мастерством я нашел в «Жалобе влюбленной»:

Уловки хитрости соединились в нем
С притворством редкого, тончайшего искусства.
Он то бледнел, как воск, то вспыхивал огнем,
То, не окончив слов, он вдруг лишался чувства.

И быстро до того менял свой вид притом,
Что было бы нельзя не верить тем страданиям,
Слезам, и бледности, и искренним рыданиям.

* * *

Искусством говорить владел он вдохновенно:
Лишь отомкнет уста – уж ждет его успех.
Смутить ли, убедить, пленить – умел он всех.
Он находил слова, чтоб превратить мгновенно

Улыбку – в горечь слез, рыдания – в звонкий смех.
И смелой волею – все чувства, думы, страсти,
Поймав в ловушку слов, в своей держал он власти [\[87\]](#).

Однажды мне показалось, что я в самом деле обнаружил упоминание об Уилли Гьюзе в книге елизаветинских времен. В удивительно ярком описании последних дней славного графа Эссекса его духовник, Томас Нелл, рассказывает, что вечером, накануне смерти, «граф призвал к себе Уильяма Гьюза, бывшего у него музыкантом, чтобы он сыграл на верджинеле и спел. «Сыграй, – сказал он, – мою песню, Уилл Гьюз, а я спою ее сам себе». Так он и сделал, пропев ее весьма весело, – не как лебедь, склонивший голову и заунывным криком оплакивающий близкий свой конец, но подобно чудному жаворонку, простерши руки и возведши очи к Господу своему, – и с нею вознесся к хрустальному своду небес и неутомимым гласом своим достиг до самой вершины высочайших эмпиреев». Сомнений нет! Юноша, игравший на клавишине умирающему отцу Сиднеевой Стеллы, был не кто иной, как Уилл Гьюз, которому Шекспир посвятил свои сонеты и чей голос сам «был музыке подобен». Однако лорд Эссекс скончался в 1576 году, когда самому Шекспиру было всего двадцать лет. Нет, его музыкант не мог быть «господином У. Г.» из

сонетов. Но, возможно, юный друг Шекспира был сыном того Гьюза? Так или иначе, имя Гьюзов, как выяснилось, в ту пору встречалось, и это было уже что-то. Более того, оно, судя по всему, было тесно связано с музыкой и театром. Вспомним, что первой женщиной-актрисой в Англии была очаровательная Маргарет Гьюз, внушившая столь безумную страсть принцу Руперту. И разве не естественно предположить, что в годы, разделявшие музыканта графа Эссекса и ее, жил юноша актер, игравший в шекспировских пьесах? Но доказательства, связующие звенья – где они? Увы, их я найти не мог. Мне казалось, что я все время стою на пороге открытия, которое окончательно подтвердит теорию, но что совершить его мне не суждено.

От предположений о жизни Уилли Гьюза я вскоре перешел к размышлениям о его смерти, пытаюсь представить, какой его постиг конец.

Быть может, он попал в число тех английских актеров, что в 1604 году отправились за море, в Германию, и играли перед великим герцогом Генрихом-Юлием Брауншвейгским, который и сам был драматургом немалого дарования, или при дворе загадочного курфюрста Бранденбургского, который столь боготворил красоту, что, говорят, заплатил проезжему греческому купцу за его прекрасного сына столько янтаря, сколько весил юноша, а потом устраивал в честь своего раба пышные карнавалы в тот страшный голодный год, когда истощенные люди падали замертво прямо на улицах и на протяжении семи месяцев не пролилось ни капли дождя. Известно, во всяком случае, что «Ромео и Джульетту» поставили в Дрездене в 1613 году вместе с «Гамлетом» и «Королем Лиром», и, конечно, именно Уилли Гьюзу в 1615 году кем-то из свиты английского посла была привезена посмертная маска Шекспира – печальное свидетельство кончины великого поэта, так нежно его любившего.

В самом деле, было бы глубоко символично, если бы актер, чья красота являлась столь важным элементом шекспировского реализма и романтики, первым принес в Германию семена новой культуры и стал, таким образом, предвестником «Aufklärung», или Просвещения восемнадцатого века – прославленного движения, которое, хотя и было начато Лессингом и Гердером^[88], а полного и блистательного расцвета достигло благодаря Гете, в немалой степени обязано своим развитием другому актеру, Фридриху Шредеру^[89], пробудившему умы людей и показавшему посредством воображаемых театральных страстей и переживаний теснейшую, нерасторжимую связь жизни с литературой. Если

так произошло в действительности – а противоречащих этому свидетельств нет, – то совсем не исключено, что Уилли Гьюз находился среди тех английских комедиантов («*mimae quidam ex Britannia*»^[90], как называет их старинная летопись), которые были убиты в Нюрнберге во время народного бунта и тайно погребены в маленьком винограднике за пределами города некими молодыми людьми, «каковые находили удовольствие в их лицедействе и из коих иные желали обучиться у них таинствам нового искусства».

Разумеется, более подходящего места, чем маленький виноградник за городской стеной, нельзя было бы и найти для того, кому Шекспир сказал: «Искусство все – в тебе». Ибо не из Дионисовых ли страданий возникла Трагедия? И не из уст ли сицилийских виноградарей впервые зазвенел жизнерадостный смех Комедии с ее беспечным весельем и искрометным острословием? А пурпур и багрянец пенной влаги, брызжущей на лица, руки, одежду, – не это ли впервые открыло людям глаза на колдовство и очарование масок, внушив стремление к самосокрытию, и не тогда ли ощущение смысла реального бытия проявилось в грубых начатках драматического искусства? Впрочем, где бы ни покоились его останки – на крошечном ли винограднике у готических ворот старинного немецкого города или на каком-нибудь безвестном лондонском кладбище, затерявшемся в грохоте и сумятице нашей огромной столицы, – последнее его пристанище не отмечено великолепным надгробьем. Истинной его усыпальницей, как и пророчил поэт, стали шекспировские стихи, а подлинным памятником ему – вечная жизнь театра. Он разделил судьбу тех, чья красота дала новый толчок творческой фантазии их эпохи. Лилейное тело вифинского раба истлело в зеленом иле нильских глубин, а прах юного афинянина развеян ветром по желтым холмам Керамика, но Антиной и поныне живет в скульптурах, а Хармид – в философских творениях.

III

Через три недели я решил обратиться к Эрскину с самым настойчивым призывом отдать дань памяти Сирила Грэхэма и сообщить миру о его блестящем толковании сонетов – единственном толковании, всецело объясняющем их загадку. У меня не сохранилось, к сожалению, копии этого письма, не удалось вернуть и оригинал, но помню, что я подробнейшим образом проанализировал всю теорию и на многих страницах с пылом и страстью повторил все аргументы и доказательства, подсказанные моими исследованиями. Мне казалось тогда, что я не просто возвращаю Сирилу Грэхэму принадлежащее ему по праву место в истории литературы, но спасаю честь самого Шекспира от докучных отголосков банальной интриги. В письмо это я вложил весь жар души, всю мою убежденность.

Однако не успел я его отослать, как мной овладело странное чувство. Словно, написав это письмо, я отдал ему всю свою веру в Уилли Гьюза, героя шекспировских сонетов, словно вместе с несколькими листками бумаги ушла частица меня самого, без которой я был совершенно равнодушен к некогда волновавшей меня идее. Но что же произошло? Ответить трудно. Быть может, дав полное выражение страсти, я исчерпал и самую страсть? Ведь духовные силы, как и силы физические, не беспредельны. Быть может, пытаюсь убедить другого, каким-то образом жертвуешь собственной способностью верить? Быть может, наконец, я просто устал от всего этого, и, когда угас душевный порыв, в свои права вступил бесстрастный рассудок? Как бы там ни было – а найти объяснение случившемуся я не смог, – несомненно одно: Уилли Гьюз вдруг превратился для меня просто в миф, в бесплодную мечту, в мальчишескую фантазию юнца, который, подобно очень многим пылким натурам, больше стремился доказать свою правоту другим, нежели себе самому.

Поскольку в своем письме я наговорил Эрскину много несправедливого и обидного, я решил немедленно с ним повидаться и принести извинения за свое поведение. На другое же утро я отправился на Бердкейдж-Уок, где нашел Эрскина в библиотеке. Он сидел, глядя на стоявший перед ним поддельный портрет Уилли Гьюза.

– Дражайший Эрскин, – воскликнул я, – я приехал, чтобы перед тобой извиниться.

– Извиниться? – повторил он. – Помилуй, за что?

– За мое письмо, – ответил я.

– Тебе вовсе незачем жалеть о своем письме, – сказал он. – Напротив, ты оказал мне величайшую услугу, какую только мог. Ты показал мне, что теория Сирила Грэхэма абсолютно разумна.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что веришь в Уилли Гьюза? – вскричал я.

– Почему бы и нет? – отозвался он. – Ты вполне меня убедил. Неужели, по-твоему, я не в состоянии оценить силу доказательств?

– Но ведь нет же никаких доказательств, – простонал я, падая в кресло. – Когда я писал тебе, мной владел какой-то глупейший энтузиазм. Я был тронут рассказом о смерти Сирила Грэхэма, очарован его романтической теорией, пленен прелестью и новизной всей этой идеи. Однако теперь я вижу, что его теория возникла из заблуждения. Единственное доказательство существования Уилли Гьюза – картина, на которую ты смотришь, и картина эта – подделка. Ты не должен поддаваться эмоциям. Что бы ни нашептывали об Уилли Гьюзе романтические чувства, разум совершенно этого не приемлет.

– Я отказываюсь тебя понимать, – сказал Эрскин, с удивлением глядя на меня. – Не ты ли сам уверил меня своим письмом в том, что Уилли Гьюз – неопровержимая реальность? Что же заставило тебя переменить мнение? Или все, что ты говорил, только шутка?

– Это трудно объяснить, – ответил я, – но сейчас я вижу ясно, что толкование Сирила Грэхэма лишено смысла. Сонеты действительно посвящены лорду Пемброку. И ради Всевышнего, не трать попусту времени на безумные попытки отыскать в веках юного актера, которого никогда не было, и возложить на голову призрачной марионетки венки великих шекспировских сонетов.

– Ты, видно, просто не понимаешь теории, – возразил он.

– Ну, полно, милый Эрскин, – воскликнул я. – Не понимаю? Да мне уже кажется, что я сам ее сочинил. Из моего письма ты наверняка понял, что я не только тщательно ее изучил, но и предложил множество всякого рода доказательств. Так вот, единственный изъян теории в том, что она исходит из уверенности в существовании человека, реальность которого и есть главный предмет спора. Если допустить, что в труппе Шекспира и вправду был юноша-актер по имени Уилли Гьюз, то совсем не трудно сделать его героем сонетов. Но поскольку мы знаем, что актер с таким именем в театре «Глобус» никогда не играл, продолжать поиски бессмысленно.

– Но этого-то мы как раз и не знаем, – не уступал Эрскин. –

Действительно, такого актера нет в списке труппы, но, как заметил Сирил, это скорее свидетельствует в пользу существования Уилли Гьюза, а не наоборот, если помнить о его предательском бегстве к другому антрепренеру и драматургу.

Мы проспорили несколько часов, но никакие мои аргументы не могли заставить Эрскина отказаться от веры в толкование Сирила Грэхэма. Он заявил, что намерен посвятить всю жизнь доказательству теории и полон решимости воздать должное памяти Сирила Грэхэма. Я увещевал его, смеялся над ним, умолял – но все было напрасно. Наконец мы расстались – не то чтобы поссорившись, но с явным отчуждением. Он думал, что я поверхностен, я – что он безрассуден. Когда я пришел к нему в следующий раз, слуга сказал мне, что он уехал в Германию.

Прошло два года. И вот однажды, когда я приехал в свой клуб, привратник вручил мне письмо с иностранным штемпелем. Оно было от Эрскина и отправлено из гостиницы «Англетер» в Каннах. Прочитав его, я содрогнулся от ужаса, хотя до конца и не поверил, что у Эрскина хватит безрассудства привести в исполнение свое намерение, – ибо, испробовав все средства доказать теорию об Уилли Гьюзе и потерпев неудачу, он, помня о том, что Сирил Грэхэм отдал за нее жизнь, решил принести и свою жизнь в жертву той же идее. Письмо заканчивалось словами: «Я по-прежнему верю в Уилли Гьюза, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет на свете: я лишу себя жизни собственной рукой во имя Уилли Гьюза – во имя него и во имя Сирила Грэхэма, которого довел до смерти своим бездумным скептицизмом и слепым неверием. Однажды истина открылась и тебе, но ты отверг ее. Ныне она возвращается к тебе, омытая кровью двух людей. Не отворачивайся от нее!»

То было страшное мгновение. Я испытывал мучительную боль и все же не мог в это поверить. Умереть за веру – самое худшее, что можно сделать со своей жизнью, но отдать ее за литературную теорию! Нет, это просто невыносимо.

Я взглянул на дату. Письмо было отправлено неделю назад. По несчастливой случайности я не заходил в клуб несколько дней – получи я письмо раньше, возможно, успел бы спасти Эрскина. Но, может быть, еще не поздно? Я бросился домой, поспешно уложил вещи и в тот же вечер выехал почтовым поездом с Чаринг-Кросс^[91]. Путешествие показалось мне нестерпимо долгим. Я думал, что оно никогда не кончится. Прямо с вокзала я поспешил в «Англетер». Там мне сказали, что Эрскина похоронили двумя днями раньше на английском кладбище. В происшедшей трагедии было что-то чудовищно нелепое. Не помня себя, я нес невесть что, и люди в

вестибюле гостиницы стали с любопытством поглядывать в мою сторону.

Неожиданно среди них появилась одетая в глубокий траур леди Эрскин. Заметив меня, она подошла и, пробормотав что-то о своем несчастном сыне, разрыдалась. Я проводил ее в номер. Там ее дожидался какой-то пожилой джентльмен. Это был местный английский врач.

Мы много говорили об Эрскине, однако я ни словом не обмолвился о мотивах его самоубийства. Было очевидно, что он ничего не сказал матери о причине, толкнувшей его на столь роковой, столь безумный поступок. Наконец леди Эрскин поднялась и сказала:

– Джордж оставил кое-что для вас. Вещь, которой он очень дорожил. Сейчас я ее принесу.

Как только она вышла, я обернулся к доктору и сказал:

– Какой ужасный удар для леди Эрскин! Поистине удивительно, как стойко она его переносит.

– О, она уже несколько месяцев знала, что это произойдет.

– Знала, что это произойдет?! – вскричал я. – Но почему же она его не остановила? Почему не послала следить за ним? Ведь он, должно быть, просто сошел с ума!

Доктор посмотрел на меня изумленным взглядом.

– Я вас не понимаю, – пробормотал он.

– Но если мать знает, что сын ее хочет покончить с собой...

– Покончить с собой! – воскликнул он. – Но бедняга Эрскин вовсе не покончил с собой. Он умер от чахотки. Он и приехал сюда, чтобы умереть. Я понял, что он обречен, как только его увидел. От одного легкого почти ничего не осталось, другое было очень серьезно поражено. За три дня до смерти он спросил меня, есть ли какая-нибудь надежда. Я не стал скрывать правды и сказал, что ему осталось жить считанные дни. Он написал несколько писем и совершенно смирился со своей участью, сохранив ясность ума до последнего мгновения.

В этот момент вошла леди Эрскин с роковым портретом Уилли Гьюза в руках.

– Умирая, Джордж просил передать вам это, – промолвила она.

Когда я брал портрет, на руку мне упала ее слеза.

Теперь картина висит у меня в библиотеке, вызывая восторги моих знающих толк в искусстве друзей. Они пришли к выводу, что это не Клуэ, а Уврие^[92]. У меня никогда не являлось желания рассказать им подлинную историю портрета. Но временами, глядя на него, я думаю, что в теории об Уилли Гьюзе и сонетах Шекспира определенно что-то есть.

Натурщик-миллионер

Если ты не богат, тебе совершенно ни к чему быть милым человеком. Романы – привилегия богатых, но никак не профессия безработных. Бедняки должны быть практичны и прозаичны. Лучше иметь постоянный годовой доход, чем быть очаровательным юношей.

Вот великие истины современной жизни, которые никак не мог постичь Хьюи Эрскин. Бедный Хьюи!

Впрочем, надо сознаться, с духовной стороны он решительно ничем не выделялся. За всю свою жизнь ничего остроумного или просто злого он не сказал. Но зато его каштановые локоны, его правильный профиль и серые глаза делали его прямо красавцем.

Он пользовался таким же успехом среди мужчин, как и среди женщин, и обладал всевозможными талантами, кроме таланта зарабатывать деньги.

Отец завещал ему свою кавалерийскую шпагу и «Историю похода в Испанию» в пятнадцати томах. Хьюи повесил первую над зеркалом, а вторую поставил на полку рядом со Справочником Раффа и «Бейлиз Мэгэзин», и сам стал жить на двести фунтов в год, которые ему отпускала старая тетка.

Он перепробовал все. Шесть месяцев он играл на бирже, но куда было ему, легкой бабочке, тягаться с быками и медведями. Приблизительно столько же времени он торговал чаем, но и это скоро ему надоело. Затем он попробовал продавать сухой херес. Но и это у него не пошло: херес оказался слишком сухим. Наконец он сделался просто ничем – милым, пустым молодым человеком с прекрасным профилем, но без определенных занятий.

Но что еще ухудшало положение – он был влюблен. Он любил Лауру Мертон, дочь отставного полковника, безвозвратно утратившего в Индии правильное пищеварение и хорошее настроение. Лаура обожала Хьюи, а он был готов целовать шнурки ее туфель. Они были бы самой красивой парой во всем Лондоне, но не имели за душой ни гроша. Полковник, хотя и очень любил Хьюи, о помолвке и слышать не хотел.

– Приходите ко мне, мой милый, когда у вас будет собственных десять тысяч фунтов, и мы тогда посмотрим, – говорил он всегда.

В такие дни Хьюи выглядел очень мрачно и должен был искать утешения у Лауры.

Однажды утром, направляясь к Холланд-парку, где жили Мертон, он

зашел провести своего большого приятеля Алена Тревора. Тревор был художником. Правда, в наши дни почти никто не избегает этой участи. Но Тревор был художником в настоящем смысле этого слова, а таких не так уж и много. Он был странный, грубоватый малый, лицо его покрывали веснушки, борода всклокоченная, рыжая. Но стоило ему взять кисть в руки – и он становился настоящим мастером, и картины его охотно раскупались. Хьюи ему очень нравился – сначала, правда, за очаровательную внешность. «Единственные люди, с которыми должен водить знакомство художник, – всегда говорил он, – это люди красивые и глупые; смотреть на них – художественное наслаждение, и с ними беседовать – отдых для ума. Лишь денди и очаровательные женщины правят миром, по крайней мере, должны править миром».

Но, когда он ближе познакомился с Хьюи, он полюбил его не меньше за его живой, веселый нрав и за благородную, бесшабашную душу и открыл ему неограниченный доступ к себе в мастерскую.

Когда Хьюи вошел, Тревор накладывал последние мазки на прекрасный, во весь рост, портрет нищего. Сам нищий стоял на возвышении в углу мастерской. Это был сгорбленный старик, самого жалкого вида. На плечи его был накинут грубый коричневый плащ, весь в дырах и лохмотьях; сапоги его были заплатаны и стоптаны; одной рукой он опирался на суковатую палку, а другой протягивал истрепанную шляпу за милостыней.

– Что за поразительный натурщик! – шепнул Хьюи, здороваясь со своим приятелем.

– Поразительный натурщик?! – крикнул Тревор во весь голос. – Еще бы! Таких нищих не каждый день встретишь. Une trouvaille, mon cher!^[93] Живой Веласкес! Господи! Какой офорт сделал бы с него Рембрандт!

– Бедняга, – сказал Хьюи, – какой у него несчастный вид! Но, я думаю, для вас, художников, лицо его – достояние его?

– Конечно! – ответил Тревор. – Не станете же вы требовать от нищего, чтобы он выглядел счастливым, не правда ли?

– Сколько получает натурщик за позирование? – спросил Хьюи, усаживаясь поудобнее на диване.

– Шиллинг в час.

– А сколько вы получаете за ваши картины, Ален?

– О! За эту я получу две тысячи!

– Фунтов?

– Нет, гиней. Художникам, поэтам и докторам всегда платят гинеями.

– Ну, тогда, мне кажется, натурщики должны получать определенный

процент с гонорара художника, – воскликнул, смеясь, Хьюи. – Они работают не меньше вашего!

– Вздор! Вы только подумайте, сколько требует труда одно накладывание красок и торчание около мольберта целыми днями! Вам, конечно, Хьюи, легко говорить, но, уверяю вас, бывают минуты, когда искусство почти достигает достоинства физического труда. Но вы не должны болтать – я очень занят. Закурите папиросу и сидите смирно.

Вскоре вошел слуга и доложил Тревору, что пришел рамочник и желает с ним поговорить.

– Не удирайте, Хьюи, – сказал Тревор, выходя из комнаты, – я скоро вернусь.

Старик нищий воспользовался уходом Тревора и присел отдохнуть на деревянную скамью, стоявшую позади него. Он выглядел таким забитым и несчастным, что Хьюи не мог не почувствовать к нему жалости и стал искать у себя в карманах деньги. Он нашел лишь золотой и несколько медяков. «Бедный старикашка, – подумал он про себя, – он нуждается в этом золоте больше, чем я, но мне придется две недели обходиться без извозчиков». Он встал и сунул монету в руку нищему.

Старик вздрогнул, и еле заметная улыбка мелькнула на его поблекших губах.

– Благодарю вас, сэр, – сказал он, – благодарю.

Тут вошел Тревор, и Хьюи простился, слегка краснея за свой поступок. Он провел день с Лаурой, получил премиальную головной убор за свою расточительность и вынужден был пешком вернуться домой.

В тот же вечер, около одиннадцати часов, он забрел в «Palette Club» и застал в курительной Тревора, одиноко пьющего рейнвейн с сельтерской.

– Ну что, Ален, вы благополучно закончили свою картину? – спросил он, закуривая папиросу.

– Закончил и вставил в раму, мой милый! – ответил Тревор. – Кстати, поздравляю вас с победой. Этот старый натурщик совсем очарован вами. Мне пришлось ему все подробно о вас рассказать – кто вы такой, где живете, какой у вас доход, какие виды на будущее.

– Дорогой Ален! – воскликнул Хьюи. – Вероятно, он теперь поджидает меня у моего дома. Ну, конечно, вы только шутите. Бедный старикашка! Как мне хотелось бы что-нибудь сделать для него! Мне кажется ужасным, что люди могут быть такими несчастными. У меня дома целая куча старого платья. Как вы думаете, не подойдет ли ему что-нибудь? А то его лохмотья совсем разлезаются.

– Но он в них выглядит великолепно, – сказал Тревор. – Я ни за что бы

не согласился писать с него портрет во фраке. То, что для вас кажется нищетой, то для меня – вдохновение. Но все же я ему передам ваше предложение.

– Аллен, – сказал Хьюи серьезным тоном, – вы, художники, – бессердечные люди.

– Сердце художника – это его голова, – ответил Тревор. – Да и, кроме того, наше дело – изображать мир таким, каким мы его видим, а не преобразать его в такой, каким мы его знаем. А *chacun son métier*^[94]. А теперь расскажите мне, как поживает Лаура. Старый натурщик был прямо-таки заинтересован ею.

– Неужели вы хотите сказать, что вы ему и о ней рассказали? – спросил Хьюи.

– Конечно, рассказал. Он знает и об упрямом полковнике, и о прекрасной Лауре, и о десяти тысячах фунтов.

– Как! Вы посвятили этого старого нищего во все мои дела? – воскликнул Хьюи, начиная краснеть и сердиться.

– Мой милый, – сказал Тревор, улыбаясь, – этот старый нищий, как вы его назвали, один из самых богатых в Европе людей. Он смело мог бы завтра скупить весь Лондон. У него имеется по банкирской конторе в каждой столице мира, он ест на золоте и может, если угодно, помешать России объявить войну.

– Что вы хотите этим сказать?

– Да то, – ответил Тревор, – что старик, которого вы видели сегодня у меня в мастерской, не кто иной, как барон Хаусберг. Он мой хороший приятель, скупает все мои картины... месяц тому назад он заказал мне свой портрет в облике нищего. *Que voulez-vous? La fantaisie d'un millionnaire!*^[95] И я должен признаться, он великолепно выглядел в лохмотьях или, вернее, в моих лохмотьях, так как этот костюм был куплен мною в Испании.

– Барон Хаусберг! – воскликнул Хьюи. – Боже мой! А я дал ему золотой! – И он опустил в кресло с видом величайшего смущения.

– Вы дали ему золотой? – И Тревор разразился громким хохотом. – Ну, мой милый. Ваших денег вы больше не увидите. *Son affaire c'est l'argent des autres*^[96].

– Мне кажется, вы могли, по крайней мере, меня предупредить, Аллен, – сказал Хьюи, насупившись, – и не дать мне разыграть из себя дурака.

– Во-первых, Хьюи, – ответил Тревор, – мне никогда не приходило в голову, что вы так безрассудно раздаете милостыню. Я понимаю, что вы

могли бы поцеловать хорошенькую натурщицу, но давать золотой безобразному старику – ей-богу, я этого не понимаю! Да и к тому же я, собственно, сегодня никого не принимаю, и, когда вы вошли, я не знал, пожелает ли барон Хаусберг, чтобы я открыл его имя. Вы же понимаете, он не был в шуртке.

– Каким болваном он меня, наверное, считает! – сказал Хьюи.

– Ничего подобного, он был в самом веселом настроении после того, как вы ушли; он, не переставая, хихикал про себя и потирал свои старческие сморщенные руки. Я не мог понять, почему он так заинтересовался вами, но теперь мне все ясно. Он пустит ваш фунт в оборот, станет вам выплачивать каждые шесть месяцев проценты, и у него будет прекрасный анекдот для приятелей.

– Как мне не везет! – проворчал Хьюи. – Мне ничего не остается делать, как пойти домой спать; и, дорогой Аллен, никому об этом не рассказывайте, прошу вас. А то мне нельзя будет показаться в парке.

– Вздор! Это только делает честь вашей отзывчивой натуре, Хьюи. Да не убегайте так рано, выкурите еще папиросу и рассказывайте, сколько хотите, о Лауре.

Но Хьюи не пожелал оставаться и пошел домой в отвратительном настроении, оставив хохочущего Тревоора одного.

На следующее утро, во время завтрака, ему подали карточку: «Monsieur Gustave Naudin, de la part de M.le Maron Hausberg»^[97].

«Очевидно, он явился потребовать у меня извинений», – подумал про себя Хьюи и велел слуге принять посетителя.

В комнату вошел пожилой седовласый джентльмен в золотых очках и заговорил с легким французским акцентом:

– Имею ли я честь видеть мосье Эрскина?

Хьюи поклонился.

– Я пришел от барона Хаусберга, – продолжал он. – Барон...

– Прошу вас, сэр, передать барону мои искренние извинения, – пробормотал Хьюи.

– Барон, – сказал старый джентльмен с улыбкой, – поручил мне вручить вам это письмо! – И он протянул запечатанный конверт.

На конверте была надпись: «Свадебный подарок Хьюи Эрскину и Лауре Мертон от старого нищего», а внутри находился чек на десять тысяч фунтов.

На свадьбе Аллен Тревоор был шафером, а барон произнес тост за свадебным завтраком.

– Натурщики-богачи, – заметил Аллен, – довольно редки в наши дни,

но, ей-богу, богатые натуры встречаются еще реже!

Сфинкс без загадки

Как-то днем я сидел в «Cafe de la Parix», на бульваре, созерцал убожество и пышность парижской жизни и дивился той причудливой панораме роскоши и нищеты, которая передо мною развевалась. Вдруг я услышал, что кто-то громко произнес мое имя. Я оглянулся и увидел лорда Мерчисона. Мы не встречались почти десять лет – с тех пор как покинули колледж, поэтому я искренне обрадовался, увидев его снова, и мы сердечно поздоровались. В Оксфорде мы были друзьями. Я его очень любил – он был такой красивый, веселый и такой благородный. Мы всегда говорили, что он был бы милейшим человеком, не будь у него страсти всегда говорить правду, но, в сущности, эта прямота его характера только усиливала наше благоговение перед ним. Теперь я увидел, что он сильно изменился. Он казался озабоченным, смущенным, словно в чем-то не уверенным. Это не могло быть плодом современного скептицизма, так как Мерчисон был тори до мозга костей и так же свято верил в Пятикнижие, как и в палату лордов. Поэтому я решил, что причина здесь – женщина, и спросил, не женат ли он.

– Я недостаточно понимаю женщин, – ответил он.

– Но, дорогой Джеральд, – сказал я, – женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать.

– Я не могу любить там, где не могу доверять, – возразил он.

– Мне кажется, вы храните какую-то тайну, Джеральд! – воскликнул я. – Расскажите же мне, в чем дело.

– Пройдемся, – сказал Мерчисон, – здесь слишком много людей. Нет, только не желтую коляску, какого угодно цвета, только не желтую. Вот – возьмите темно-зеленую.

И несколько минут спустя мы катили по бульвару в сторону Мадлен.

– Куда же мы поедем? – спросил я.

– Куда хотите. По-моему – в «Restaurant des Bois»; мы можем там пообедать, и вы расскажете мне про себя.

– Я сперва хотел бы узнать про вас, – сказал я. – Расскажите же вашу таинственную повесть.

Он достал из кармана небольшой сафьяновый футляр, отделанный серебром, и протянул его мне.

Я раскрыл его. В нем была фотография женщины. Высокого роста, гибкая, женщина казалась особенно прекрасной благодаря большим

и распущенным волосам. Она походила на какую-то ясновидящую и была одета в дорогие меха.

– Что вы скажете об этом лице? Кажется ли оно вам искренним?

Я внимательно рассматривал его. Оно показалось мне лицом человека, хранящего какую-то тайну; хорошую или дурную – сказать я не мог. Красота этого лица была словно соткана из многих тайн, красота – внутренняя, а не телесная; мимолетная же улыбка на устах казалась слишком тонкой, чтобы быть действительно ласкающей и нежной.

– Ну, что вы скажете?

– Это – Джоконда в соболях, – ответил я. – Расскажите же, что вы о ней знаете.

– Не теперь, после обеда. – И он заговорил о другом.

Как только слуга принес кофе и папиросы, я напомнил Джеральду его обещание. Он встал, прошелся раза два по комнате, потом опустился в кресло и рассказал мне следующее:

– Однажды под вечер, часов около пяти, шел я по Бонд-стрит. Была страшная толчея экипажей и людей, так что еле можно было пробиваться вперед. Около самого тротуара стояла маленькая желтая двухместная коляска, привлекавшая, не помню почему, мое внимание. Когда я с ней поравнялся, из нее выглянуло личико, которое я вам только что показал. Оно меня тотчас же обворожило. Всю ночь напролет и весь день я не переставал о нем думать. Я бродил вверх-вниз по этой проклятой улице, заглядывал в каждый экипаж и все ждал желтую двухместную коляску. Но увидеть вновь прекрасную незнакомку мне не удалось, и в конце концов я решил, что она мне просто померещилась.

Неделю спустя я обедал у мадам де Растель. Обед был назначен на восемь часов, но в половине девятого мы все еще ждали кого-то в гостиной. Наконец слуга доложил: леди Алрой. Это и была та дама, которую я так тщетно разыскивал. Она медленно вошла в гостиную и была подобна лунному лучу в серых кружевах. К моей великой радости, мне пришлось вести ее к столу. Как только мы сели, я заметил ей без всякой задней мысли:

– Мне кажется, леди Алрой, я вас как-то мельком видел на Бонд-стрит. Она вся побледнела и тихо сказала:

– Ради бога, не говорите так громко, нас могут подслушать.

Мой неудачный дебют немало смутил меня, я отважно пустился в пространное рассуждение о французской драме. Она говорила очень мало, все тем же мягким музыкальным голосом и как будто все беспокоилась, не подслушивает ли кто-нибудь. Я тут же в нее влюбился, страстно, безумно, а

неопределенная атмосфера загадочности, которая ее окружала, лишь сильнее разжигала мое любопытство. При прощании – она вскоре по окончании обеда ушла – я спросил у нее разрешения посетить ее. Она заколебалась на мгновение, оглянулась, нет ли кого поблизости, и затем сказала:

– Пожалуйста, завтра без четверти пять.

Я попросил мадам де Растель рассказать о ней все, что она знает, но добился только того, что она вдова и владеет красивым особняком в Парк-лейн. Когда же какой-то ученый болтун стал защищать диссертацию на тему о вдовах, как наиболее приспособленных, по пережитому опыту, к брачной жизни, я встал и распрощался.

На следующий день в назначенный час я был в Парк-лейн, но мне сказали, что леди Алрой только что вышла.

Расстроенный, не зная, что думать, я направился в клуб и после долгих размышлений написал ей письмо с просьбой позволить мне попытаться счастья в другой раз. Прошло дня два, и я все не получал ответа, когда вдруг пришла маленькая записка с извещением, что она будет дома в воскресенье, в четыре часа, и с таким необычным, неожиданным постскриптумом: «Пожалуйста, не пишите мне больше по моему домашнему адресу; при свидании объясню вам причины».

В воскресенье она меня приняла и была очаровательна, но, когда я прощался, она попросила меня, если бы мне пришлось ей что-нибудь написать, адресовать свои письма так: «М-с Нокс, почтовый ящик книжной торговли Уайтэкера, Грин-стрит».

– Есть причины, – сказала она, – по которым я не могу получать письма у себя дома.

В течение этого сезона я встречался с нею довольно часто, но никогда она не покидала этой атмосферы загадочности. Иногда приходило мне в голову, что она во власти какого-нибудь мужчины, но она казалась такой неприступной, что эту мысль нельзя было не отбросить. Да и трудно было мне прийти к какому-нибудь определенному выводу или решению: леди Алрой была похожа на один из тех удивительных кристаллов, которые можно видеть в музеях и которые то прозрачны, то, через мгновение, совсем мутны. Наконец я решился сделать ей предложение; я окончательно измучился, устал от этой беспрестанной таинственности, которую она требовала от всех моих посещений и от тех двух-трех писем, которые мне довелось ей послать. Я написал ей в книжный магазин, прося принять меня в ближайший понедельник в шесть часов. Она согласилась, и я был на седьмом небе. Я был просто ослеплен ею, несмотря на всю загадочность,

окружавшую ее (как я тогда думал), или именно вследствие этой загадочности (как я полагаю теперь). Впрочем, нет!.. Я любил в ней женщину, только женщину. Загадочное, таинственное раздражало меня, сводило меня с ума. Но зачем случай натолкнул меня на следы?!

– Так вы открыли тайну? – спросил я.

– Боюсь, что да. Но решайте сами.

Наступил понедельник. Я позавтракал у дяди и в четыре часа был на Мэрилебонской улице. Дядя, как вы знаете, живет у Риджентс-парка. Мне надо было на Пикадилли, и, чтобы сократить путь, я пошел грязнейшими какими-то переулками. Вдруг я увидел перед собой леди Алрой. Она была под густой вуалью и шла очень быстро. У последнего дома в переулке она остановилась, поднялась по ступенькам, у двери достала ключ, отперла и вошла. «Вот где тайна», – сказал я себе и осмотрел снаружи этот дом. Он походил на один из тех, в которых сдаются комнаты. На ступеньках лежал платок, оброненный ею. Я поднял его и спрятал в карман. Затем стал раздумывать, что предпринять. Я пришел к выводу, что не имею никакого права выслеживать ее, и отправился в клуб.

В шесть часов я был у нее. Она лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой чудных лунных камней, которые она всегда носила. Она была пленительна.

– Я так рада, что вы пришли, – сказала она, – я целый день не выходила из дому.

Пораженный, я уставился на нее в упор, достал из кармана платок и протянул его ей.

– Вы это сегодня обронили на Кемнор-стрит, леди Алрой, – сказал я совсем спокойно.

Она посмотрела на меня в ужасе, но платка не взяла.

– Что вы там делали? – спросил я.

– Какое имеете вы право меня об этом расспрашивать? – ответила она.

– Право человека, который вас любит, – ответил я. – Я сегодня пришел просить вашей руки.

Она закрыла лицо и залилась слезами.

– Вы мне должны сказать все! – настаивал я.

Она встала и посмотрела мне в лицо:

– Мне нечего сказать вам, лорд Мерчисон.

– Вы с кем-то виделись там, вот где ваша тайна!

Она страшно побледнела и сказала:

– Я ни с кем не виделась там.

– Скажите же мне правду! – молил я.

– Я вам ее сказала!

Я был вне себя, я сходил с ума. Не помню, что я ей тогда наговорил; должно быть, что-то ужасное. Наконец я бежал из ее дома. На следующее утро я получил от нее письмо, но вернул его нераспечатанным и в тот же день уехал в Норвегию вместе с Алленом Колвиллом. Когда же месяц спустя я вернулся, то первое, что мне бросилось в глаза в «Утренней почте», было объявление о смерти леди Алрой. Она простудилась в театре и дней через пять умерла от воспаления легких. Я удалился из общества и ни с кем не встречался. Как безумно я ее любил! Господи, как я любил эту женщину!

– А вы были на той улице, в том доме? – спросил я.

– Как же! – ответил он. – Я отправился вскоре на Кемнор-стрит. Я не мог не пойти туда: меня мучили разные сомнения. Я постучался, какая-то очень почтенная женщина отперла мне. Я спросил, не сдаются ли у нее комнаты. «Да, – ответила она, – вот сдаются гостиные. Уже три месяца как дама, снимавшая их, не является». – «Не она ли это?» – спросил я и показал ей карточку леди Алрой. «Она самая. Когда же она придет?» – «Дама эта уже умерла», – ответил я. «Не может быть! – вскричала старуха. – Она была лучшей моей квартиранткой. Она платила целых три гиней в неделю только за то, чтобы изредка приходить и посидеть в комнате». – «Она здесь встречалась с кем-нибудь?» – спросил я. Но старуха стала меня уверять, что леди всегда бывала одна и никто не приходил к ней. «Но что же она тут делала?» – воскликнул я. «Просто сидела в комнате, читала книжки, иногда пила здесь чай», – ответила женщина. Я не знал, что на это ответить, дал старухе золотой и ушел. А теперь что вы об этом скажете? Думаете ли вы, что старуха сказала правду?

– Я в этом уверен.

– Так зачем же леди Алрой нужно было ходить туда?

– Дорогой Джеральд, – ответил я. – Леди Алрой была самой заурядной женщиной с манией к таинственному. Она снимала комнату, чтобы доставлять себе удовольствие ходить туда под густой вуалью и выставлать себя героиней какого-то романа. У нее была страсть к загадочному, но сама она была не более чем Сфинкс без загадки.

– Вы так думаете?

– Я в этом твердо убежден.

Лорд Мерчисон снова достал сафьяновый футляр, раскрыл его и стал пристально разглядывать портрет.

– Хотел бы я знать! – сказал он наконец.

Перо, полотно и отравы

Этюд в зеленых тонах

Художников и писателей вечно упрекают в том, что им недостает цельности натуры и полного ее развития. Чаще всего так и должно быть. Та сосредоточенность восприятия и неуклонность движения к цели, которые составляют столь характерное свойство артистического темперамента, сами по себе становятся ограничивающими факторами. Человеку, поглощенному красотой форм, все прочее кажется несущественным. Но это правило знает многие исключения. Рубенс служил посланником, а Гете состоял государственным советником, Мильтон же был секретарем у Кромвеля и писал за него бумаги по-латыни. Софокл тоже занимал гражданскую должность в своем городе; сегодняшние американские юмористы, эссеисты, новеллисты, кажется, ни о чем не мечтают столь страстно, как о должности в дипломатических представительствах; а Томас Гриффитс Уэйнрайт, приятель Чарльза Лэма^[98], о котором тот написал небольшой мемуарный очерк, при всей яркости своего артистического дарования также посвящал себя не одному искусству, но многому другому: он был не только поэт, живописец, художественный критик, собиратель предметов старины и прозаик, не только любитель разных замечательных вещей, он еще и подделывал бумаги, отличаясь всеми нужными для этого талантами, а уж на поприще отравителя, умеющего действовать изощренно и заматывать за собой следы, его вряд ли кто превзошел что в его эпоху, что в любую прочую.

Этот выдающийся человек, который, по тонкому наблюдению нынешнего знаменитого поэта, так и не был превзойден, когда в дело шли «перо, полотно и отравы», родился в 1794 году в Чисуике. Дедом его был видный стряпчий, державший контору в Грейс-инн у Хаттон-Гарден. Другой дед, по матери, – не кто иной, как прославленный доктор Гриффитс, основатель и редактор «Мансли Ревью»^[99], а также партнер в другом литературном начинании Томаса Дэвиса, того всем известного книгопродавца, о котором Джонсон сказал, что это не книгопродавец, но «джентльмен, посвятивший себя книгам», – друга Голдсмита и Уэджвуда^[100], словом, одного из наиболее почитаемых людей своего времени. Миссис Уэйнрайт умерла при родах совсем молодой – Томас появился на свет, когда ей был всего двадцать один год; некролог,

помещенный в «Джентльмен Мэгэзин»^[101], сообщает нам о ее «располагающем к себе нраве и многих достоинствах», добавляя, хотя звучит это странно, что «она, как считают, понимала писания господина Локка не хуже любого из ныне живущих представителей обоих полов». Отец Томаса ненадолго пережил свою молодую супругу, и ребенка, очевидно, растил дед, а по смерти последнего в 1803 году заботы о Томасе принял на себя его дядя Джордж Эдвард Гриффитс, которого тот впоследствии отравил. Детство его прошло в Линден-Хаус, Тернем Грин – одном из прелестных георгианских особняков, тех, что, увы, исчезли, когда подрядчики принялись прокладывать дороги через предместья; тамошнему живописному саду и парку, переходящему в лес, обязан он своей неподдельной, страстной любовью к природе, пронесенной через всю жизнь, отчего он и оказался особенно восприимчивым к духовному влиянию поэзии Вордсворта. Его послали в школу Чарлза Берни в Хэммерсмите. Мистер Берни был сыном историка музыки и приходился близким родственником того артистически одаренного подростка, который окажется самым знаменитым из всех его учеников. Видимо, это был человек высокой культуры, и Уэйнрайт впоследствии часто отзывался о нем с большой теплотой, ценя в нем философа, археолога и замечательного педагога, который, отдавая должное важности развивать при обучении интеллект, не забывал, сколь существенно и моральное воспитание, привитое с юности. Под опекой мистера Берни впервые пробудился в нем талант художника; Хэзлитт^[102] пишет, что альбом, который он заполнял рисунками на школьной скамье, сохранился – он свидетельствует о явном даровании и естественности чувства. Живопись стала его притягивать ранее прочих искусств. Лишь много позднее он попробовал выразить себя при помощи стихов и ядов.

Но еще прежде он, очевидно, поддался мальчишеским романтическим представлениям о рыцарском благородстве солдатской службы, став юным гвардейцем. Впрочем, безудержная и рассеянная жизнь, в которую погрузились его товарищи, не отвечала изысканной артистической натуре Томаса, созданного для иных занятий.

Служба вскоре ему наскучила. Какая искренность, какой необычайный пыл в этом его признании, которое многих растрогает и ныне: «Искусство вернуло себе своего отступника; чистым и высоким его прикосновением рассеялись туманы и умолк докучный шум; чувства мои, иссушенные, поблекшие и вянущие, вновь обрели свежесть утренней прохлады, началось их новое цветение – простое и прекрасное для тех, кто прост

сердцем». Однако не одно лишь Искусство было причиной свершившейся перемены. «Стихи Вордсворта, – пишет он далее, – ощутимо помогали успокоению смуты и маеты, по неизбежности сопутствующих внезапным переменам судьбы. Я плакал над этой поэзией слезами счастья и благодарности». И вот он оставляет армию с ее грубым казарменным распорядком и пересыпанной скабрёзностями болтовней за обедом; он возвращается в Линден-Хаус, полный вновь им обретенного энтузиазма почитателя культуры.

Тут Томаса подстерегала тяжелая болезнь, по собственным его словам, «обратив его в потрескавшийся глиняный горшок» и заставив некоторое время провести без движения. От рождения хрупкий и изящный, он был безразличен к боли, причиняемой другим, но сам страдал от нее ужасно. Страдание он ненавидел: оно уродует жизнь, лишая ее цельности, и ему пришлось постранствовать по гнетущим долам меланхолии, откуда не смогли вернуться столь многие великие души – возможно, более великие, нежели его собственная. Правда, он был молод – ему исполнилось всего двадцать пять, – и, одолев, как он выразился, «мертвые черные волны», он снова вдохнул щедрого воздуха культуры, согретой гуманностью. Оправляясь от недуга, который едва не заставил его переступить земной предел, он проникся мыслью о служении литературе, сему высокому искусству. «Вслед Джону Вудвиллу, – с восторженностью повествует он, – я воскликнул: божественно ощутить, что ты принадлежишь этой стихии, и все на свете научиться видеть, и слышать, и запечатлевать с отвагой, ведь

Смерть сама бессильна погасить
Сей очистительный огонь высоких мыслей!»

Как же не почувствовать, что такое мог написать только человек, наделенный истинной страстью к литературе. «Все на свете научиться видеть, и слышать, и запечатлевать с отвагой» – это его девиз.

Скотт, редактировавший «Лондон Мэгэзин», не то пленившись одаренностью юноши, не то поддавшись тому странному очарованию, которое в нем чувствовали все его знавшие, приглашает Томаса написать серию статей об искусстве, и, придумывая себе для этих статей необыкновенные псевдонимы, наш герой вносит свой первый вклад в литературу своего времени. Янус Флюгер, Эго Афоризм, Ван-Винк-Вумс – вот некоторые из тех масок, под которыми скрывал он свою серьезность и которыми подчеркивал свойственную ему беспечность. Маска говорит нам

более, нежели лицо. Устроенный Томасом маскарад еще отчетливее давал почувствовать его индивидуальность. Трудно поверить, как быстро он приобрел известность. Чарлз Лэм называл его «славым беззаботным Уэйнрайтом», чья проза обладает «достоинствами фундаментальными». Устраивается какой-то завтрак, и за столом он ведет непринужденную беседу с Макреди, Джоном Фостером, Мэджином, Талфордом, сэром Уэнтвортом Дилком, поэтом Джоном Клэром^[103], другими знаменитостями. Наподобие Дизраэли^[104], он решает снискать себе славу денди, и вот уже все говорят про его удивительные перстни, про античную камею, используемую в качестве заколки для галстука, про перчатки бледно-лимонного цвета; Хэзлитт усматривает во всем этом знак особой литературной манеры; добавим сюда еще пышные локоны, прекрасные глаза, а также тонкие белые руки; Томас явно должен был испытать ощущение, что удовлетворена его чреватая опасностями, но восхитительная страсть не походить ни на кого. В нем было что-то от бальзаковского Люсьена де Рюбампре^[105]. Иной раз он напомним нам Жюльена Сореля^[106]. Он знакомится с Де Квинси^[107]. Происходит это на обеде, устроенном Чарлзом Лэмом. «Собралась отличная компания, сплошь литераторы и один убийца», – вспоминает Де Квинси и дальше пишет, как в тот день чувствовал себя неважно, никого не хотел видеть, но тем не менее с особой пристальностью разглядывал сидевшего напротив него за столом молодого писателя, чьи аффектированные манеры, как ему показалось, таили под собой до необычайности неаффектированные чувства; и он принимается рассуждать о том, «сколь переменился бы сам интерес, возбуждаемый этим человеком», если бы вдруг кто-нибудь сказал ему, что гость, которому Лэм уделял такое внимание, уже тогда отмечен был ужасающим грехом.

Жизнь Томаса Уэйнрайта вполне естественно укладывается в триаду, которую, говоря о нем, сформулировал Суинберн; надо лишь признать, что его репутация едва ли выглядела бы оправданной, если бы не достижения по части ядов.

Впрочем, только филистеры судят о человеке по грубым этим меркам «чего он достиг». Наш юный денди стремился не столько свершить нечто, сколько стать кем-то. Он находил, что сама жизнь есть искусство и ей присущ тот или иной стиль – в не меньшей степени, чем он присущ искусствам, дающим жизни ее выражение. Да и созданное им не лишено интереса. Существует рассказ о том, как перед одной его картиной, выставленной в Королевской академии, остановился Уильям Блейк^[108] и

оценил ее как «весьма милую». В его эссе предугадано немало из того, что с тех пор стало реальностью. Похоже, он предвосхитил кое-что в современной культуре, теперь признаваемое ее существенными свойствами. Он пишет о «Джоконде», о средневековых французских поэтах, об итальянском Ренессансе. Он восторгается греческими геммами и персидскими коврами, сделанными в елизаветинскую эпоху переводами «Амура и Психеи» и «Нупнеротомачии», тогдашними переплетами, старинными изданиями, широкими полями страниц. Он на удивление умеет чувствовать красоту пейзажей и неумомим, описывая дома, в которых жил или хотел бы жить. Его отличала странная приверженность к зеленому цвету, которая всегда свидетельствует о развитых художественных наклонностях, когда она свойственна индивиду и считается знаком духовной анемии, а то и просто упадка морали, когда ее выказывает целый народ. Подобно Бодлеру, он обожал кошек и, как Готье, был пленен тем «нежным мраморным дивом», которое все еще можно увидеть во Флоренции и в Лувре.

Разумеется, в его писаниях и декоративных эскизах найдется немало такого, что говорит о неспособности автора полностью освободиться от вкусов своей эпохи. Но ясно и другое: он был одним из первых, кто постиг истинную основу художественной многосоставности, иначе говоря, ту подлинную гармонию, в которой находится все прекрасное, независимо от того, когда и где оно создано, какой принадлежит школе и стилю. Он знал, что настоящий интерьер, если помещение предназначено не для любования, а для обитания, ни в коем случае не должен представлять собой археологическую реконструкцию, и незачем к ней стремиться, как и обременять себя докучными заботами об исторической точности. Художественное чутье ничуть его не обмануло. Все прекрасное принадлежит одной и той же эпохе.

И вот в комнате, служившей ему библиотекой, мы, согласно им самим составленному описанию, могли бы полюбоваться хрупкой греческой глиняной вазой с изумительно изящными рисунками фигур по бокам и едва заметной надписью KALOE^[109], а рядом с ней обнаружили бы гравюру, на которой репродуцирована «Дельфийская Сивилла» Микеланджело или «Пастораль» Джорджоне. Здесь вот немного флорентийской майолики, а там грубо сработанный светильник из какой-то римской гробницы. На столе лежит Часослов, «заключенный в тяжелый переплет из позолоченного серебра с инкрустированными маленькими бриллиантами и рубинами, которые образуют занятные линии», а рядом с книгой «присевшее на корточки крохотное чудовище-уродец, должно быть Лар,

извлеченный из земли солнечной Сицилии, где шумят спелые нивы». Потемневшая античная бронза резко оттенена «тусклым поблескиванием двух царственного вида распятий, одно из слоновой кости, другое из воска». И тут же россыпь драгоценных камней, выделанных Тасси, и крохотная бонбоньерка времен Людовика Четырнадцатого с миниатюрой Петито, и высокоценимые «чайнички цвета румяного бисквита, словно обшитые золотыми нитями», и сафьяновая, в лимонных тонах шкатулка для писем, и зеленое кресло, «кое подобало бы Помоне». Так и видишь его возлежащим среди всего этого великолепия книг, и гравюр, и слепков, истинного ценителя, тончайшего из знатоков – вот он рассматривает свою коллекцию изображений Марка Антония или листает тернеровский «*Liber Studiorum*»^[110], которым он так восхищался, а не то, вооружившись увеличительным стеклом, вглядывается в свои античные геммы и камеи, «голову Александра, сделанную из двуслойного оникса», или же «сердоликовый горельеф Юпитера Эгиоха в стиле древнейшей чеканки». Он всегда был восторженным почитателем гравюр и оставил исключительно важные рекомендации будущим коллекционерам. В полной мере отдавая должное современному искусству, он знал истинную цену воспроизведениям шедевров прошлого, и оттого бесконечно интересны его соображения о важности гипсовых слепков.

Как критика его более всего занимала многосложность отклика, вызываемого произведением искусства, а критика с того и начинается, что человек оказывается способен понять собственные впечатления. Ему дела не было до отвлеченных дискуссий насчет природы Прекрасного, а исторический метод, который с тех пор принес столь важные результаты, тогда еще не был выработан; однако Томас всегда помнил ту главнейшую из всех касающихся Искусства истин, которая состоит в том, что оно изначально апеллирует не к интеллекту и не к чувству, но исключительно к художественному инстинкту, и Уэйнрайт не устает повторять, что этот инстинкт, этот, как он говорил, «вкус», неосознанно совершенствующийся благодаря постоянному общению с лучшим, что создано художественным гением, в конце концов становится порукой верности суждений.

Спору нет, в искусстве тоже существует мода, как она существует в одежде, и, возможно, никому не дано совершенно освободиться от воздействия принятых стандартов или от культа новизны. Сам Томас этого не мог, и он честно признает, как трудно выработать справедливое отношение к современным художникам. Но в целом вкус его был хорошим и здравым. Он восхищался Тернером и Констеблем, хотя их ценили вовсе не так высоко, как ценят теперь, и понимал, что пейзажи действительно

высокого достоинства требуют от живописца большего, нежели «прилежание, соединенное с верностью изображения». Относительно «Пустоши под Норвичем» он пишет, что полотно Крома – свидетельство, «как много способны добавить совершенно невыразительному ландшафту тонкость понимания составляющих его элементов, в их капризных сочетаниях», а о наиболее распространенных в ту пору пейзажах говорит, что они представляют собой «просто опись холмов, лощин, древесных пней, кустов, прудов, лужаек, коттеджей и домов, не многим превосходя карту топографа и оставаясь всего лишь раскрашенной схемой, на которой напрасно искать всего, что наиболее нами ценимо у настоящего живописца, ибо нет здесь ни радуги, ни дождя, ни дымки, или отблесков, или света звезд, или следов пронесшейся бури, или перекинувшихся от облака к облаку громадных солнечных дуг». Ему ужасно не нравилось в искусстве все самоочевидное и плоское, и, хотя за обедом он мог с удовольствием беседовать с Уилки, картины сэра Дэвида вызывали у него энтузиазма ничуть не больше, чем стихи Крэбба. Он совсем не симпатизировал распространившимся в его время увлечениям подражательностью и реалистичностью, и Томас откровенно сообщает нам, что его восхищение Фюзели^[111] вызывалось, главным образом, тем упрямством, с каким маленький швейцарец доказывал: вовсе не обязательно, чтобы художник изображал лишь стоящее у него перед глазами. В живописи Томас ценил искусство композиции, красоту, достоинство линий, богатство колорита и силу воображения. Вместе с тем он был начисто лишен всего доктринерского. «Я утверждаю, что о произведении искусства надлежит судить лишь по законам, выведенным из него самого; вопрос лишь в том, достаточно ли полно оно этим законам соответствует». Вот один из прекрасных его афоризмов. И когда он пишет о столь друг с другом несхожих живописцах, как Лэндсир и Мартин, Стотард и Этти^[112], всякий раз удостоверяешься, что он, изъясняясь общепринятым ныне языком, стремится «воспринимать свой предмет таким, каков он в действительности».

Но, как сказано, имея дело с современной живописью, он никогда не чувствовал себя до конца уверенным. «Современное, – пишет он, – кажется мне столь же восхитительным сумбуром, как поэма Ариосто, когда ее листаешь в первый раз... Я им ослеплен. Мне нужно на него взглянуть при помощи телескопа, какой предоставляет время. Элиа говорит, что для него всегда сомнительны достоинства стихов, пока они не напечатаны; по его замечательному суждению, «все вопросы снимет типографщик. Пятьдесят

лет в галерее выполняют ту же задачу для картины». Куда свободнее ощущает он себя, имея дело с Ватто и Ланкре, Рубенсом и Джорджоне, Рембрандтом, Корреджо, Микеланджело, а еще того лучше – с греческим искусством. Готика трогала его очень мало, но классическое искусство, как и искусство Ренессанса, оставалось бесконечно дорого. Он понимал, как много может дать нашей английской школе изучение греческих образцов, и начинающим он неустанно повторяет, что эллинский мрамор, эллинское постижение сути искусства скрывают в себе огромные возможности. Де Квинси пишет, что высказывания Томаса о великих итальянских мастерах «неизменно одухотворены искренностью и органическим восприятием, словно человек говорит о самом себе, а не просто судит по прочитанным книгам». Самый большой комплимент, который мы можем ему сделать, состоит в том, что Томас пытался возродить чувство стиля как осознанного усвоения традиции. Впрочем, он сознавал, что этого не добиться никакими лекциями по истории живописи и встречами художников, сколько бы их ни устраивали, равно как и «проектами поощрения изящных искусств». В истинном духе Тойнби-Холла он очень разумно полагает необходимым совсем другое: чтобы «прекрасные образцы были всегда перед глазами».

Как и следует ожидать от человека, который сам был художником, его суждения об искусстве часто отмечены исключительно высокой профессиональной точностью. Он, например, писал о полотне Тинторетто «Св. Георгий освобождает египетскую царевну из объятий дракона» следующее: «Платье Сабры, выделенное теплыми тонами берлинской лазури, контрастирует с бледно-зеленым фоном благодаря ярко-красному шарфу; оба эти тона насыщенностью своей как бы соединены и чудесно повторяются в смягченном оттенке красок доспехов святого цвета озера на закате солнца, с голубоватым отливом; но самое главное – это слияние на переднем плане, где живая лазурь драпировки сочетается с индиговыми цветами дикого леса, окружившего дворец».

А в другом месте он со знанием дела пишет о «тонком Скъявоне, многоцветном, словно клумба цветущих тюльпанов, переливающихся яркими недовершенными тонами», о «скупом Марони, чьи портреты, примечательные своей *morbidezza*^[113], буквально светятся», еще об одной картине, «сочной, как букет гвоздик».

Чаще, однако, он передает впечатление от картины как художественного целого, пытаясь найти этим впечатлениям точные словесные соответствия, тем самым отыскав, так сказать, литературный эквивалент эффекту, созданному исключительно воображением и духом. Он был одним из творцов того, что принято называть литературой об

искусстве, этого порождения девятнадцатого века, особого рода прозы, чьими лучшими мастерами предстают Рескин и Браунинг. Описание «Итальянского завтрака» Ланкре, где «темноволосая девушка, «влюбленная в злодейство», возлежит на усыпанной маргаритками траве», во многих отношениях очаровательно. А вот его мнение о «Распятии» Рембрандта. Это замечательный образец его стиля: «Тьма – зловещая, с примесью копоты тьма – обволакивает всю сцену; лишь над проклятой рощей, словно через зловещую дыру в треснувшей крыше, хлещут струи дождя, яростным потоком несется «бесцветная, ледяная вода», от которой исходит сероватый отблеск, еще более ужасный, чем колорит этой нависшей ночи. Сама земля уже вздыхает прерывисто и тяжело, и колеблется окутанный мглою крест; утихли ветры – недвижим воздух – какое-то гуденье нарастает там, внизу, и толпа этих жалких людей обращается в бегство с горы. Лошади чуют приближившийся мар, от страха выйдя из повиновения. Быстро приближается миг, когда, разрываемый на части тяжестью тела, бредящий от потери крови, которая ручейками стекает из пробитых вен, с запавшими от пота висками и грудью, с запекшимся от смертной огненной лихорадки языком, воскликнет Он: «Я жажду!» И смертоносный уксус поднесут к устам Его.

Никнет голова Его, и священное тело повисает бесчувственным на кресте. Огненная полоса пламени проносится, исчезая; раскалываются скалы Кармельские и Ливанские; рокошующие волны морские высоко поднялись и накатывают из-за песков. Разверзлась земля, и могилы исторгли лежащих в них. Живые и мертвые смешались в причудливой толпе, которая несется по улицам града священного. Там ждут ее новые чудеса. Завеса храма, непроницаемая завеса, разорвана сверху донизу, и внушавшее ужас пристанище тайн народа еврейского, где хранился роковой ковчег со скрижалями и семисвечником, раскрылось при отблеске неземных огней пред богооставленным людским сонмищем.

Рембрандт ничего не использовал в своей картине из этого наброска и поступил совершенно правильно. Картина утратила бы почти всю свою мощь, утратив ту тревожащую неотчетливость, которая позволяет домысливать выраженное на полотне при помощи колеблющегося воображения, прибегая к ассоциациям столь широким. Полотно, каким оно написано, кажется не от мира сего. Меж ним и зрителем пролегла темная бездна. Оно недоступно одному лишь физическому восприятию. Приблизиться к нему возможно лишь усилием духа».

В этом отрывке, написанном, как признается сам автор, «с чувствами трепета и почтения», много пугающего, а много и такого, что пронзает

ощущением ужаса, но он не лишен какой-то грубой силы или, по меньшей мере, грубой энергии слов – качество, которое следовало бы высоко оценить в наш век, ибо этой-то энергии ему прежде всего и недостает. Тем не менее с облегчением переходишь от такого описания к характеристике картины Джулио Романо «Кефал и Прокрида»: «Стоило бы перечитать Мосха, его плач по милому пастушку Биону, прежде чем смотреть эту картину, а может быть, наоборот, картина подготовила бы нас к чтению плача. И там, и тут почти одни и те же образы. И там, и тут жертва, которую оплакивают холмы, долины, рощи; цветы источают грустный аромат; траурная песнь соловья доносится из расщелин в скалах, ласточки скорбят в извилистых оврагах; «и сатиры, и фавны в темных своих одеяньях вздыхают», и нимфы лесные льют слезы у своих ручьев. Покинули пастбища козы и овцы, а ореады, «которым кручи горные привычны», спешат вниз, не внемля соснам, которые шаловливо колеблет ветер; свесились с ветвей переплетшихся деревьев дриады, и реки оплакивают снежно-белую Прокриду «потоками рыдающих стремнин».

Замолкли золотые пчелы на благоухающем тимьяном Гимете, и на вершине Гимета уж более не прозвучит рог возлюбленного Авроры, рассеивая царящий там хладный полумрак. Передний план картины – иссушенные солнцем стебли травы на речном берегу, который напоминает волнорез, ибо сам он, словно волнами, покрыт пригорками и провалами, еще более рельефными оттого, что весь он порос цепляющимися за ноги низкими кустами и пнями рано погибших от топора деревьев, пускающих свежие зеленые побеги. Справа берег резко идет вверх к густой роще, куда не проникает свет звезд; на опушке виден окаменевший от горя фессалийский царь, а на коленях его возлежит ослепительное, точно из слоновой кости изваянное тело той, кто всего мгновение назад раздвигала ветви своей прелестной головкой, стопою, ужаленной ревностью, поправ и тернии, и цветы, – и вот тело это беспомощно, оно отяжелело, оно недвижно, и лишь налетевший ветерок шевелит, как бы в насмешку, густые волосы.

Из-за тесных деревьев выбегают вопящие нимфы,
и крики их к небу несутся.
И в оленьих шкурах сатиры подходят,
чело их цветами увито,
И тоскою полны звуки голоса их и рогатые лица.

Чуть ниже виден Лайлап, чье учащенное дыхание указывает, как быстро приблизилась смерть. Целомудренная Любовь, «чья опущены крылья», замыкает всю группу – стрела ее нацелена в движущихся навстречу лесных жителей, фавнов, козлиц, сатиров, сатиресс, в испуге крепко прижавших к себе детей; все они надвигаются на нас слева, по едва заметной тропе между передним планом картины и скалистой стеной, на нижнем уступе которой хранительница ручья изливает из урны воды, вещающие о несчастье. Над Эфидриадой и чуть дальше между заплетенными лозой деревьями неухоженной рощи виднеется еще одна фигура – женщины, рвущей на себе волосы. А центр полотна заполняют тенистые лужайки, спускающиеся прямо к реке; и совсем вдали – «океана царственный простор»: гасительница звезд Аврора бешено погоняет своих морскою влагою омытых коней, чтобы успеть собственными глазами увидеть, как соперница ее испустит последний вздох».

Если бы Уэйнрайт дал себе труд переписать этот пассаж, вышли бы две замечательные страницы. Сама мысль превратить рассказ о картине в стихотворение, написанное прозой, великолепно. Той же целью вдохновляются многие из лучших современных писателей. В наш крайне уродливый благоразумный век искусство черпает не из жизни, но из других искусств.

Надо еще сказать, что и художники, о которых Уэйнрайт отзывался с симпатией, на удивление разнообразны. Его, допустим, неизменно и сильно привлекало все, связанное со сценой; он требовал, чтобы и костюмы, и декорации были исторически безупречны. «В искусстве, – читаем у него где-то, – все, что стоит делать, должно быть сделано хорошо»; а далее он пишет, что, допустив анахронизм хотя бы один только раз, мы уже с трудом определим, когда допущения такого рода становятся нетерпимыми. И в литературе он, как лорд Биконсфилд по всем известному поводу, высказывался «в поддержку ангелов». Он был среди первых поклонников Китса и Шелли, этого «каждым нервом воспринимающего, поэтического Шелли», как он его называет. Его восхищение Вордсвортом глубоко и прочувствованно. Он высоко ценил Уильяма Блейка. Один из лучших сохранившихся экземпляров «Песен неведения и познания» был награвирован специально для него. Он любил Алена Шартье, и Ронсара, и драматургов-елизаветинцев, и Чосера, и Чапмена, и Петрарку. И все искусства были для него одно искусство. «Наши критики, – мудро замечает он, – кажется, вовсе не отдают себе отчета в том, что основания поэзии и живописи те же самые, а поэтому любой успех в серьезном овладении тем или другим искусством порождает точно такой же прогресс и в

остальных»; а еще где-то у него сказано, что человек, который не ценит Микеланджело, но рассуждает о своей приверженности Мильтону, должен либо обманывать слушателей, либо обманываться сам. К тем, кто вместе с ним печатался в «Лондон Мэгэзин», он всегда был в высшей степени благодушен, не скупясь на похвалы в адрес Барри Корнуолла, Аллана Каннингема, Хэзлитта, Элтона, Ли Ханта и не выказывая при этом задних мыслей, столь частых у друзей. Многие из написанного им о Чарлзе Лэме по-своему восхитительно; демонстрируя истинное дарование комического актера, Уэйнрайт в этих статьях имитирует стилистику того, кому они посвящены: «Что мне сказать о тебе, не повторяя известного всем и каждому? Ты жизнерадостен, как мальчик, и мудр, как подобает мужу; в сердце твоём нежность, навлекающая на глаза слезы, как мало кому до тебя удавалось».

До чего остроумно умеет он исказить смысл вами сказанного и подпустить шутку, когда к ней ничто не располагает. Как у любимых им елизаветинцев, речь его лишена всякой аффектации и своей краткостью затемняет смысл, грозя сделать его вовсе неясным. Фразы его подобны маленьким золотым слиткам – раскатайте их, и получится целый лист. К ложной славе он не испытывал милосердия, а мода на гениев была постоянным предметом язвительной его насмешки. «Закадычным другом» его сделался сэр Томас Браун, вслед ему также Бертон и старик Фуллер. В добром расположении духа он развлекался чтением многоречивых томов нашей Несравненной Герцогини; комедии Бомонта и Флетчера навевали на него сладкие грезы. Взявшись о них писать, он рассуждал непринужденно и вдохновенно, однако следовало его при этом предоставить самому себе; если же кто-то позволял себе прикоснуться к его любимцам, пристрастия к которым он не скрывал, тут же с его стороны начинались возражения, вернее, комментарии, относительно которых трудно сказать, чего в них больше – досады на непонимание или просто злости. Однажды у К. заговорили про этих драматургов-соавторов, которыми он так восторгался. Некто Х. с похвалой отзывался о страстности и возвышенном стиле одной их трагедии (не помню, какой именно), и Элиа тут же его прервал, заметив: «Ну *страстность* – это пустяки; самое там лучшее песенки, да-да, песенки».

Особо следует отметить одну сторону его литературной деятельности. Журналисты наших дней обязаны Уэйнрайту, пожалуй, не менее, чем любому иному литератору начала века. Он первым начал писать с восточным колоритом, наслаждаясь своими живописными эпитетами и помпезными гиперболами. Одним из высших свершений столь ценной и

признанной школы газетчиков с Флит-стрит^[114] оказался их не в меру пышный стиль, посредством которого удастся уйти от предмета, а отцом этой школы следует признать Януса Флюгера. К тому же он открыл, что совсем несложно, без конца повторяя одно и то же, заставить публику со вниманием присмотреться к твоей персоне, а поэтому в своих собственно журналистских статьях он оповещает, что ему подали на обед, где он сшил свой костюм, какие предпочитает вина, как обстоят дела с его здоровьем, – словом, пишет нечто вроде дневника, помещаемого в тогдашней популярной газете. Из всего им сделанного эти статьи менее всего ценны, однако именно они пользовались самой несомненной известностью. Теперешний журналист – это человек, донимающий публику подробными отчетами о том, как именно он нарушает нормы в своей частной жизни.

Как большинство людей, обитающих в искусственном мире, он питал нежную любовь к природе. «Три вещи ценю я особенно, – признается он, – возможность посидеть где-нибудь на холме, откуда открывается просторный вид, тень деревьев, когда все залито солнцем, и одиночество, если вокруг люди и ты это осознаешь. Деревенская жизнь дарит мне все это». И он пишет, как гулял по полям, покрытым вереском и утесником, декламируя Коллинза – «Оду к вечеру», просто чтобы еще глубже проникнуться красотой этого мига; как лежал на земле, «уткнувшись во влажный первоцвет и наслаждаясь майской росой»; какое наслаждение для него созерцать стадо, «медленно бредущее к дому в первых сумерках», и чувствовать его сладкое дыхание, и «издалека улавливать позвякивающие колокольцы, когда гонят отару». Обо всех такого рода переживаниях прекрасно говорит оброненная им фраза: «Белый подснежник, сияющий на своей холодной земляной подушке, как полотно Джорджоне, повешенное на стене из темного дуба». По-своему живописен и вот этот отрывок: «Маленькие побеги нежной травы и среди них маргаритки – “у нас ромашками их называют”; они крупные, как звезды в летнем небе. Резкие крики деловитых грачей, по счастью, смягчает пышно разросшаяся роща высоких вязов – она совсем неподалеку; иногда доносится голос мальчика, отгоняющего птиц от посевов, которые недавно взошли. Голубые бездны цвета самого темного аквамарина; тихий ветерок не приносит ни облачка; лишь на самом дальнем горизонте струится светлая, теплая дымка зарождающегося тумана, и на этом фоне отчетливы очертания близлежащей деревни с ее старым каменным собором, ослепительно сияющим белизной стен. Мне вспомнился Вордсворт, “Мартовские строфы”».

Не забудем, однако же, что высокопросвещенный молодой человек,

который начертал приведенные строки и так тонко чувствовал Вордсворта, снискал себе, как уже упомянуто, славу одного из самых изощренных и умеющих замечать за собой следы отравителей своей, да и любой прочей эпохи. Он не сообщает нам, каким образом впервые пленился этим странным греховным занятием, а его дневник, куда со всей тщательностью заносились результаты ужасных его экспериментов, а также методы, которыми он пользовался, к несчастью, утрачен. Уэйнрайт и в последние свои годы неизменно хранил молчание об этих делах, предпочитая рассуждать о поэтических прелестях «Прогулки» и «Стихов, выразивших различные страсти». Не приходится, впрочем, сомневаться в том, что ядом, которым он пользовался, был стрихнин. В одном из великолепных его перстней, которыми он так гордился, тем более что они подчеркивали тонкие очертания пальцев и рук, как бы выточенных из слоновой кости, хранились кристаллы индийского яда, отличающегося, по словам его биографа, тем, что «он почти не имеет вкуса, трудно распознаваем и способен растворяться едва ли не бесследно». Убил он, согласно свидетельству Де Квинси, гораздо больше людей, чем было выявлено следствием по его делу. Наверняка так и есть; некоторые его жертвы достойны особого упоминания. Первой из них оказался его дядя Томас Гриффитс. Уэйнрайт отравил его в 1829 году, чтобы завладеть усадьбой Линден-Хаус, к которой всегда был очень привязан. В августе следующего года он отравил миссис Аберкромби, свою тещу, а в декабре – миловидную Хелен Аберкромби, приходившуюся ему свояченицей. Какими мотивами он руководствовался, убивая миссис Аберкромби, так и осталось неустановленным. Может быть, то был просто каприз, а возможно, ему хотелось еще сильнее ощутить постыдное чувство собственного всевластия, которое в нем жило; не исключено, что она что-то заподозрила, а возможно, повода не было вовсе. Что же касается убийства Хелен Аберкромби, которое он осуществил совместно с женой, эта акция должна была принести им восемнадцать тысяч фунтов – сумму, на которую они в различных конторах застраховали ее жизнь. Обстоятельства были таковы. Двенадцатого декабря Томас с женой и ребенком приехали из Линден-Хаус в Лондон и остановились в отеле «Кондуит» на Риджент-стрит, 12. С ними были сестры Хелен и Мадлен Аберкромби. Вечером четырнадцатого числа все семейство отправилось в театр, а за ужином в тот же вечер Хелен почувствовала себя дурно. На следующий день положение ее сделалось крайне опасным, и с Гановер-сквер был вызван освидетельствовать больную доктор Локок. Она прожила до понедельника, двадцатого декабря, когда, после утреннего визита врача, мистер и миссис Уэйнрайт

попотчевали занемогшую отравленным джемом, а затем отправились погулять. По их возвращении Хелен Аберкромби была мертва. Ей было около двадцати лет, этой высокой изящной девушке с прекрасными волосами. По сей день сохранился на редкость прелестный эскиз ее портрета, сделанный красным мелом и ясно говорящий, что как живописец Уэйнрайт находился под влиянием сэра Томаса Лоуренса^[115], о чьих полотнах он всегда отзывается с глубокой почтительностью. Де Квинси утверждает, что на самом деле миссис Уэйнрайт непричастна к убийству. Хотелось бы думать, что так и есть. Грех – феномен индивидуальный, тут не нужны сообщники.

Страховые конторы, предполагая, какова могла быть истинная причина смерти, отказались выплачивать по полису на основании каких-то сугубо юридических моментов, а также по причинам невыгодности всего контракта, и тогда отравитель, выказав недюжинное самообладание, затеял в суде лорд-канцлера процесс, причем его исход должен был определить характер решения всех последующих споров такого же рода. Процесс, впрочем, не начинался целых пять лет, а потом, за вычетом одного пункта, был вынесен вердикт в пользу страховых компаний. Судьей был лорд Эбинджер. Эго Афоризм был представлен адвокатами Эрлом и сэром Уильямом Фоллетом; противоположная сторона располагала поддержкой генерального прокурора и сэра Фредерика Поллока. Истец, к сожалению, не имел возможности присутствовать ни на одном из судебных заседаний. Отказ компаний выплатить восемнадцать тысяч поставил его в крайне затруднительное финансовое положение. После убийства Хелен Аберкромби не прошло и нескольких месяцев, как его арестовали за долги прямо на лондонской улице, где он, сопровождая хорошенькую дочку одного из друзей, расточал ей комплименты. Эти неприятности удалось со временем уладить, однако Уэйнрайт счел за благо покинуть страну, пока не будет достигнуто какое-то соглашение с его кредиторами. Он отправился в Булонь, нанес визит отцу той очаровательной девушки и уговорил его застраховать свою жизнь на три тысячи фунтов, воспользовавшись услугами компании «Пеликан». Как только необходимые формальности остались позади и был подписан полис, Уэйнрайт как-то вечером, когда они беседовали за послеобеденным кофе, добавил в чашку собеседника несколько кристаллов стрихнина. Самому ему это не приносило никаких денежных выгод. Он просто желал отомстить компании, которая первой отказалась выплатить ту цену, что он требовал за собственные прегрешения. Друг его умер на следующий день в присутствии своего гостя, и последний поспешил тотчас же оставить Булонь, отправившись с

этюдником по самым живописным местам Бретани; одно время он гостил у старого француза-дворянина, владельца превосходного дома в Сент-Омере. Оттуда он уехал в Париж, где провел несколько лет, живя, по одним свидетельствам, в роскоши, по другим же, «таясь от всех, всеми, кто его знал, ненавидимый и всегда хранящий яд у себя в кармане». В 1837 году он, никого о том не ставя в известность, вернулся в Англию. Сделать это заставило его новое безумное увлечение. Он последовал за женщиной, в которую влюбился.

Был июнь, он остановился в одном из отелей Ковент-Гардена. Гостиная его находилась на первом этаже, и он предусмотрительно держал занавески опущенными, опасаясь, что его опознают. Тринадцатью годами ранее, собирая свою отменную коллекцию майолики и изображений Марка Антония, он подделал подписи поручителей, представив прокурору необходимые бумаги, посредством которых завладел частью денег, доставшихся ему в наследство от матери и являвшихся, согласно брачному контракту, собственностью семьи. Ему было известно, что подделка открылась и что, возвращаясь в Англию, он рискует свободой. Тем не менее он вернулся. Удивительно ли это? Говорят, женщина была необыкновенной красавицей. Кроме того, она оставалась к нему равнодушной.

О его приезде узнали по чистой случайности. Внимание его привлек поднявшийся на улице шум; снедаемый интересом художника ко всему происходящему, он на минуту раздвинул занавески. Тут же кто-то находившийся поблизости воскликнул: «Послушайте, да это же Уэйнрайт, подделавший бумаги». Эго был Форрестер, сыщик полицейского суда.

Пятого июля он был водворен в тюрьму Олд-Бейли. В «Тайме» появилось следующее сообщение: «Томас Гриффитс Уэйнрайт, человек сорока двух лет, по наружности принадлежащий к знатному роду, носящий усы, предстал перед судьями Воэном и бароном Олдерсоном по обвинению в том, что обманом и подделкой подписи присвоил 2259 фунтов, причинив ущерб управителю и компании Английского банка.

Обвинительное заключение включает в себя пять пунктов, по каждому из которых обвиняемый не признал себя виновным во время утреннего допроса, который проводил судебный пристав Эребин. В суде, однако, он просил позволения отозвать свои прежние показания, признавая себя виновным по двум пунктам, не являющимся наиболее важными.

Представитель совета банка отметил, что обвинение включает еще три пункта, однако его сторона не стремится к кровопролитию, так что в протоколе записали признание обвиняемого по двум остальным пунктам, и

суд вынес приговор, согласно которому ответчик высылается из страны пожизненно».

Уэйнрайт был помещен в Ньюгейт, где ожидал отправки в колонии. В цветистом отрывке из одного его раннего эссе читаем, как автор воображает себя «томящимся в Хорсмангерской тюрьме и приговоренным к смерти» за то, что не мог противиться искушению украсть нескольких Марков Антониев из Британского музея, чтобы собственная его коллекция обрела полноту.

Вынесенный ему приговор для человека такой культуры был подобен смерти. Он горько сетует на превратности судьбы в письмах друзьям, указывая, не без оснований, как можно было бы подумать, что деньги, по сути, принадлежали не кому иному, как ему самому, так как достались от матери, и подделка, насколько о ней можно говорить, совершена тринадцать лет назад, что должно бы послужить, как он выразился, *circonstance attenuante*^[116]. Неизменность человеческой индивидуальности – очень сложная метафизическая проблема, а английский закон, несомненно, решает эту проблему крайне прямолинейно. Есть, однако, нечто драматическое в том, что столь тяжкое наказание он понес за вину, которая, если воспользоваться языком нынешней прессы, столь многим ему обязанной, была вовсе не самой худшей его виной.

Пока он находился в тюрьме, с ним случайно познакомились Диккенс, Макреди и Хеблот Браун. Они ездили по лондонским тюрьмам в поисках сюжетов, и вот в Ньюгейте вдруг перед ними предстал Уэйнрайт. Форстер пишет, что держался он с ними вызывающе; Макреди пришел в ужас, «узнав в нем человека, с которым когда-то был коротко знаком и у которого обедал».

Другими двигало прежде всего любопытство, и камера Уэйнрайта на время стала напоминать модный салон. Многие литераторы являлись сюда с визитом к старому товарищу по ремеслу. Но перед ними был уже не тот простосердечный добрый Ян, которым восторгался Чарлз Лэм. Видимо, он сделался совершенным циником.

Агенту страховой компании, тоже нанесшему ему визит и полагавшему, что он сможет облегчить участь заключенного, уверив его, что преступные действия, в конце концов, не самое лучшее предприятие, он ответил: «Сэр, вы, люди из Сити, заняты собственными предприятиями со всем предполагаемым ими риском. Некоторые из них оказываются успешными, другие неудачны. Случилось так, что мои предприятия не принесли успеха, в отличие от ваших. Это единственное, сэр, что разделяет меня и моего гостя. Однако, сэр, должен вам заметить, что в одном

предприятии я преуспел полностью. Я вознамерился всю свою жизнь оставаться джентльменом и неизменно придерживался позиции, достойной этого звания. Я ее придерживаюсь и по сей день. Обычай данного учреждения таков, что каждый из обитателей камеры должен по очереди с утра ее подметать. Я занимаю камеру вместе с каменщиком и трубочистом, но им ни разу не пришло в голову предложить мне метлу!» Когда один из друзей принялся его упрекать за убийство Хелен Аберкромби, он пожал плечами, заметив: «Да, ужасная история, но у этой девицы были такие толстые икры».

Из Ньюгейта его привезли в Портсмут, поместив в казарме для матросов, а потом на борту «Сьюзен» вместе с тремястами другими каторжниками отправили на землю Ван-Димена^[117]. Дорога, видимо, была ему крайне в тягость, и другу он с горечью пишет, как унижительно для него, «причастного к сонму поэтов и художников», вынужденно водить компанию с «этими деревенскими олухами». Определение, которое он дал своим спутникам, не должно удивлять. В Англии преступление редко имеет своей причиной греховность. Почти всегда оно порождено голодом. На корабле, вероятно, не нашлось бы никого, кто выслушал бы его с сочувствием или хотя бы представлял собой психологически занятную личность.

Правда, любовь к искусству так и не покинула Томаса. В Хобарт-Тауне он открыл студию, снова стал писать этюды и портреты, а его обходительность в разговоре, кажется, осталась прежней. Не отрекся он и от своих познаний по части ядов; известны два случая, когда он пытался этим способом разделаться с людьми, его оскорбившими. Но рука, видимо, уже была нетверда. Обе попытки окончились полной неудачей, и в 1844 году, очень уж пресытившись тасманским обществом, он подал губернатору территории сэру Джону Эрдли Вилмоту меморандум, умоляя отослать его на родину. В этой записке он характеризует себя как человека, «мучимого идеями, которые не имеют возможности обрести форму и осуществление, а также лишенного возможности пополнять свои знания, равно как упражняться в искусстве ясной или хотя бы пристойной речи». В просьбе ему, однако, отказали, и этот знакомец Колриджа принужден был утешиться грезами в том магическом *Paradis Artificiels*^[118], тайны которого ведомы только познавшим опиум. В 1852 году он скончался от апоплексического удара, проведя последние свои годы лишь в обществе кота, к которому выказывал исключительную привязанность.

Преступления Уэйнрайта имели важные последствия для его

искусства. Они придали весьма ярко выраженную индивидуальность его стилю, чего не было в ранних его произведениях. В примечаниях к биографии Диккенса Форстер сообщает, что в 1847 году леди Блессингтон получила от своего брата майора Пауэра, служившего одно время в Хобарт-Тауне, написанный маслом портрет молодой женщины, принадлежавший умелой кисти Уэйнрайта; говорится, что ему «удалось придать облику премилей доброй девушки выражение озлобленности, отличавшей его самого». В одном из романов Золя повествуется о молодом человеке, который, совершив убийство, занялся живописью и создавал выполненные в зеленоватых тонах импрессионистские портреты вполне респектабельных людей, которые все до единого чем-то поразительно схожи с его жертвой. Впрочем, то, что произошло со стилем Уэйнрайта, на мой взгляд, дело намного более тонкое и таящее в себе множество ассоциаций. Речь идет о личности, необычайно полно развившейся из преступления.

Эта странная и влекущая к себе фигура, которая несколько лет после столь блестящего и жизненного, и художественного дебюта ослепляла весь литературный Лондон, несомненно, дает материал для исключительно интересной книги. Последний из биографов У. Кэрю Хэзлитт, которому я многим обязан по части фактов, вошедших в этот очерк, – его небольшая книга в чем-то поистине бесценна – держится того мнения, что любовь Уэйнрайта к природе и искусству была чистой воды притворством; другие отрицали за ним всякий литературный талант. Мне такие суждения представляются мелкими или, во всяком случае, ошибочными. Тот факт, что человек угодил в тюрьму, никак не меняет качества написанной им прозы. Обыденные добродетели не могут служить опорой в искусстве, хотя способны отлично поддерживать репутацию второстепенных художников. Быть может, Де Квинси переоценил его критический дар, я тоже не удержусь повторить еще раз, что в напечатанном им много слишком тривиального, слишком заурядного, слишком газетного, в скверном смысле этого слова.

Иной раз он изъясняется с явной вульгарностью, и ему вечно недостает способности себя сдерживать, что присуще истинному художнику. Но в некоторых его недостатках следует винить время, в которое он жил, и, в конечном счете, та его проза, в которой Чарлз Лэм находил «фундаментальные достоинства», действительно обладает немалым историческим интересом. Для меня вполне очевидно, что и природу, и искусство он любил искренне. Между культурой и преступлением нет несовместимости по существу. Нельзя переписывать историю, имея целью удовлетворить наше моральное чувство,

определяющее, каким все должно быть.

Разумеется, Уэйнрайт слишком близок к нашему времени, чтобы мы были способны высказать какую-то чисто художественную оценку им созданного. Невозможно не ощущать сильного предубеждения против человека, который мог бы отравить лорда Теннисона, мистера Гладстона и ректора Бейллиола. Но если бы этот человек носил не тот костюм, какие носим и мы, и говорил не на том же самом языке, если бы он жил в Древнем Риме, или во времена итальянского Ренессанса, или в Испании семнадцатого века – словом, в любой стране и в любой век, только не у нас в наше столетие, мы бы вполне могли прийти к совершенно непредвзятому суждению о нем – и о его позиции, и о ценности, какую представляет его наследие. Я знаю многих историков или, по меньшей мере, тех, кто пишет об истории, все еще полагая необходимым прилагать к ней моральные критерии; свои хвалы и хулы они произносят с торжественностью, которая пристала бы славному школьному наставнику. Но это лишь привычка недалеких людей; свидетельствует она только о том, что моральное чувство можно довести до такого совершенства, когда оно начинает себя выказывать и в обстоятельствах, где никакой нужды в нем нет. Никому из наделенных истинным пониманием истории и в голову не придет предъявлять негодующие упреки Нерону, порицать Тиберия или возмущаться Чезаре Борджиа. Эти люди сделались чем-то вроде персонажей пьесы, предназначенной для кукольного театра. Они могут вызывать у нас ужас, содрогание, изумление, но неспособны причинить нам никакого вреда. К нам они просто не имеют непосредственного отношения. Нам нечего опасаться с их стороны. Они теперь принадлежат искусству и науке, а искусству и науке дела нет ни до каких моральных одобрений или порицаний. Настанет день, когда то же самое произойдет с другом Чарлза Лэма. Пока же, по моему ощущению, он еще слишком современен, чтобы отнестись к нему с тем беспристрастным любопытством, которому мы обязаны столькими превосходными книгами о преступных личностях времен Возрождения в Италии, принадлежащими перу Джона Эддингтона Саймондса, Мэри Э. Робинсон, мисс Верной Ли и других достойных писателей. Искусство, однако, не предало его забвению. Он стал героем диккенсовского рассказа «Затравленный», с него списан Варней в бульверовской «Лукреции»; отрадно сознавать, что литература воздала должное тому, кто был так искусен по части «пера, полотна и отравы». Если человек стал интересен литературе, это куда важнее любых фактов его жизни.

Принц и Ласточка

То, о чем здесь будет рассказано, происходило очень давно.

У Короля Англии был прекрасный сын-наследник, которого прозвали Счастливым Принцем. И действительно, Принц был счастлив, потому что его все любили, потому что его никогда не посещали скука и горе.

Но счастье не вечно. Короля постигло неожиданное горе: его любимец наследник скончался... Смерть Счастливого Принца поразила всех.

Городское управление и представители народа постановили воздвигнуть Счастливому Принцу памятник-статую. Решено было украсить статую драгоценными камнями и золотом.

Прошел год. Счастливому Принцу был поставлен на городской площади памятник. Статуя стояла на высокой колонне. Плащ Принца был покрыт тончайшими листочками золота, глаза были сделаны из синего сапфира и сияли, как звезды, а рукоятка меча была украшена алым рубином.

– Должно быть, это единственный счастливец на свете, которого я знаю, – прошептал однажды горемыка бедняк, оглядывая прекрасную статую.

– Да, Принц красив, как ангел, – говорили выходящие из собора школьники.

Но прошло много лет с тех пор, как поставили памятник Счастливому Принцу. Однажды осенью над городом пролетала Ласточка.

Ее подруги давно уже улетели на юг в Египет. Ласточка же не отправилась с ними: ей не хотелось расставаться с нежной зеленой тростинкой. Она познакомилась с ней как-то весной. В погоне за желтым мотыльком она налетела на нее и пленилась ее стройностью.

После знакомства с тростинкой Ласточка почти не отлетала от нее. Порхая над водой вокруг тростинки, Ласточка задевала воду своими крылышками и разбрасывала по сторонам серебрившиеся на солнце брызги. И почти все лето она забавляла этим тростинку. Тростинке нравилось это, и она приветливо кивала Ласточке.

Когда подруги улетели, Ласточка почувствовала одиночество и охладела к тростинке.

«Напрасно я привязалась к ней, – думала Ласточка, – она и разговаривать-то не умеет; кроме того, она приветливо кивает головкой не только мне, но и каждому случайному ветерку».

Ласточка задумалась и решила улететь на юг.

– Послушайте, – спросила она в последний раз у тростинки, – согласны вы отправиться со мною в путь?

Тростинка покачала головой.

Тогда Ласточка сердито проговорила:

– Если вы так привязаны к дому и готовы променять его на нашу дружбу, то прощайте: между нами все кончено... Я улетаю в Египет к пирамидам. – С этими словами Ласточка вспорхнула и полетела на юг.

Целый день она летела и только к ночи стала думать о ночлеге. В это время она пролетала над городом, посредине которого высилась статуя Счастливого Принца. Ласточка заметила ее и тотчас же опустилась к подножию памятника.

– Да здесь чудное местечко! А какой простор!.. Конечно, я здесь и отдохну, – воскликнула она.

Осмотревшись кругом, Ласточка заметила блестящее золото на застёжках башмаков Принца и подумала: «Вот это славно! У меня будет золотая спальня...»

Ласточка хотела уж подвернуть голову под крылышко и забыться, как вдруг на нее упала капля.

– Это удивительно! – вскричала Ласточка, оглядевшись. – Небо чистое, блещут звезды, а откуда-то идет дождь!..

На Ласточку упала еще капля.

– Очевидно, статуя не защитит меня от дождя, – сказала Ласточка. – Надо поискать убежища где-нибудь в другом месте, под крышей.

Ласточка развернула крылья и хотела лететь дальше, но в это время на нее упала третья капля. Ласточка невольно подняла головку и увидела лицо Счастливого Принца. Его глаза были наполнены слезами, а по щекам струились капли. Свет месяца освещали его лицо, и оно было так грустно и в то же время прекрасно, что сердце Ласточки дрогнуло от жалости.

– Ты кто? – спросила она.

– Счастливый Принц.

– «Счастливый», а горько плачешь и меня всю вымочил... Расскажи же, что за причина твоих слез, – попросила Ласточка.

– Когда я имел сердце человека и жил во дворце, то не имел понятия о слезах, – начал Принц. – Мне не пришлось познакомиться с горем, так как ему не позволяют проникать во дворец. Днем я гулял в саду и играл, а вечером танцевал в роскошном зале. Крепкая высокая стена отделяла наш сад и дворец от городских домов, и я не знал, да и не старался узнать, что происходит за ней. Мне было хорошо, и я думал, что и всюду жизнь так же

прекрасна. Все звали меня Счастливым Принцем, и я на самом деле был счастлив, если считать счастьем только свои личные удовольствия. И вот, не зная горя, я умер. Очутившись теперь так высоко, я вижу всю нищету, все бедствия моего города, и мое даже свинцовое сердце не может удержаться от слез. Вон посмотри, например, туда, на маленькую улицу, где стоит бедный, плохонький домик. У окна я вижу сидящую за столом женщину. Она золотошвейка и вышивает затейливый узор на платье придворной дамы. Посмотри на ее бледное, усталое лицо, на ее исколотые иглой пальцы, взгляни, наконец, на ее ребенка, который болен и мечется в жару на кровати; он просит апельсинов, а мать может ему дать только простой воды, больше у нее ничего нет, – вот почему ребенок беспрестанно плачет. Быстрокрылая Ласточка, выключи из моего мечя рубин и отнеси его в эту бедную семью. Я сделал бы это и сам, да не могу шевельнуться: я весь прикреплен к пьедесталу.

– Мне некогда, – отвечала Ласточка, – мои друзья ждут меня в Египте. Они теперь порхают по берегам Нила и наслаждаются ароматом цветов. Скоро они направятся к гробнице великого фараона. Ты никогда не видел этой гробницы? Она очень любопытна. Раскрашенная снаружи, она красива и внутри. Сам фараон лежит обвернутым в тонкие ткани. Тело его умощено ароматными травами, и, несмотря на то что прошли тысячелетия, оно до сих пор еще сохранило свой вид, только как-то поблекло. На шее у фараона длинная цепь из бледно-зеленой яшмы...

– Ласточка, Ласточка, – сказал Принц, – будь моей посланницей, останься только на одну ночь! О, если бы ты знала, как страдает от жажды ребенок и как печальна его мать...

– Я как-то недолюбливаю мальчиков. Прошное лето я жила близ мельницы. Дети мельника – два мальчика – постоянно кидали в меня камнями. Правда, они ни разу не попали в меня, потому что как я, так и мои предки издавна славились ловкостью полета, но все же это – непочтение ко мне со стороны мальчиков.

Ласточка взглянула на Счастливого Принца. Он так грустно смотрел, что Ласточка сразу пожалела его.

– Хоть здесь и очень холодно, – сказала она, – но я останусь с тобой на одну ночь и исполню то, что ты желаешь.

– О милая птичка, как я благодарен тебе! – сказал Принц.

Ласточка выклевала красный рубин из мечя и, держа его в клюве, полетела к бедному домику. Достигнув его, она влетела в полуотворенную форточку комнаты золотошвейки и огляделась. Мальчик бредил и метался в жару на своей постельке, а мать так и заснула за работой, склонив голову на

руки. Видно, что ее утомила так непосильная работа. Ласточка осторожно положила рубин на стол и стала виться над кроваткой ребенка, навевая прохладу на его горящий лобик.

– Как прохладно, как хорошо стало; теперь мне должно быть лучше, – сказал мальчик и забылся сладким сном.

Ласточка прилетела обратно к Счастливому Принцу и поведала ему обо всем.

– И веришь ли, – закончила она, – мне стало так тепло и легко, что я не боюсь и стужи.

– Когда сделаешь доброе дело, – ответил ей Принц, – всегда становится как-то легче...

Ласточка задумалась и заснула.

На следующий день Ласточка искала корм и вернулась к Счастливому Принцу только вечером.

– Сейчас я отправляюсь в путь, – сказала она Принцу. – Может быть, у тебя будет какое-нибудь поручение в Египет?

– Милая Ласточка, – сказал Принц, – я хотел бы попросить тебя остаться еще на одну ночь...

– О нет, меня ожидают в Египте, – ответила Ласточка. – Завтра мои друзья направятся к островам Нила. В зарослях этих островов обитают бегемоты. В этом месте собираются из пустыни львы на водопой. Их зеленые глаза горят, как изумруды, а их рев наводит страх на все живое. Однако мы не боимся их...

– Ласточка, Ласточка, – грустно произнес Принц, – вон в отдалении я вижу в том домике юношу. Он нагнулся над столом и лихорадочно пишет. У него славное, задумчивое лицо. Он целый день ничего не ел, но неустанно пишет, хотя руки его и окоченели от холода. Если он к завтрашнему дню не окончит пьесу для директора театра, то опять будет голодать.

– Ну, хорошо, я останусь еще на ночь, – сказала добрая Ласточка. – Еще рубин ему снести?

– К сожалению, я не имею еще рубина, – ответил Принц. – У меня из драгоценных камней остались только глаза. Они – из дорогих сапфиров. Тебе придется выклевать один глаз и снести этому милому юноше. Он продаст камень, достанет себе дров и пищи и спокойно окончит пьесу.

Ласточка не хотела было выклевывать глаз принца, но принц так умолял ее, что она исполнила его просьбу. С этим прекрасным камнем она прилетала к дому, где жил юноша. В крыше было отверстие, и Ласточка без труда проникла в комнату юноши. Он сидел, обхватив голову руками, и не

слыхал шелеста крыльев. Когда юноша очнулся, то увидел близ себя на столе прекрасный сапфир.

– Это, наверное, от кого-нибудь из моих почитателей! – воскликнул он. – Как это вовремя. Теперь я спокойно окончу мою пьесу.

Осчастливив юношу, Ласточка полетела обратно. Ей так же хорошо спалось в эту ночь, как и в предыдущую.

Следующий день Ласточка пробыла в гавани и, возвратившись вечером к Принцу, сказала ему:

– Я должна распрощаться с тобой...

– Ласточка, милая Ласточка, побудь со мной еще ночку!

– Ведь зима уже; скоро выпадет холодный снег и начнутся морозы, – отвечала Ласточка. – Мне придется замерзнуть здесь, тогда как в Египте тепло и мои друзья уже устроили себе гнезда. Нет, дорогой Принц, я должна улететь, но ты не печалься: я не забуду тебя и, как только наступить весна, вернусь и принесу тебе два камня, которых ты лишился. Они будут прекраснее отданных тобою.

– Подожди, милая птичка, – сказал Принц. – Вон в саду на дорожке стоит девочка; она продает спички. Взгляни: она уронила нечаянно лоток в канаву, и весь товар испортился. Если она придет домой без спичек и без денег, отец накажет ее. И вот она стоит и плачет. Холодный ветер пронизывает ее, но она не замечает этого, хотя голова ее не покрыта, а сама девочка стоит босой. Выключи, пожалуйста, другой мой глаз и отнеси его ей; по крайней мере, она избавится от гнева и побоев отца.

– Пусть будет по-твоему: я проведу с тобой еще одну ночь, – сказала Ласточка. – Но мне тяжело вырывать твой единственный глаз: ведь тогда ты будешь совсем слепым.

– Миленькая Ласточка, – ответил Принц, – я прошу тебя сделать по-моему. Вспомни о несчастье девочки!

Ласточка исполнила его просьбу и полетела с сапфиром к девочке. Пролетая мимо нее, она вложила ей в руку драгоценный камень и полетела обратно.

– Вот так стеклышко; какое красивое! – воскликнула девочка и, улыбаясь сквозь слезы, побежала к дому.

Вернувшись к Принцу, Ласточка сказала:

– Теперь я волей-неволей должна остаться с тобой навсегда, потому что ты ослеп.

– О нет, добрая Ласточка, тебе надо скорей лететь в Египет.

– Я останусь с тобой навсегда, – снова повторила Ласточка, прижимаясь к его ногам и засыпая.

На следующий день Ласточка не отлетала от Принца. Она сидела у него на плече и рассказывала о том, что ей приходилось видеть в чужих странах. Ласточка говорила о розовых ибисах, вылавливающих золотых нильских рыбок; о караванах верблюдов, за которыми медленно следуют купцы; о черном короле Лунных гор, который молится куску хрусталя; о громадной змее, спящей на пальмовом дереве и сливающейся по цвету с его листьями, и о крошечных людях-пигмеях, которые плавают по озеру на лодках из широких листьев дерева.

– Добрая Ласточка, – сказал Принц, – твои интересные рассказы все-таки не так поражают меня, как людские страдания. Нищета и голод – великое горе. Не облетишь ли ты, милая Ласточка, этот город и не расскажешь ли мне о том, что увидишь?

Ласточка с радостью согласилась и полетела. Раньше она никогда не наблюдала так, как теперь. И вот она увидела богатые дома, в которых веселились в роскоши богачи, между тем как нищие сидели голодными и оборванными у их ворот. Ласточка полетела по грязным переулкам и сквозь тусклые стекла ветхих, низеньких домов увидела бледные и желтые лица голодных и больных детей. Пролетая под мостом, она заметила около его арки двух дрожащих мальчуганов в лохмотьях, которые, лежа, пытались согреть друг друга. «Теперь поесть бы!» – сказал один из них. «Марш отсюда!» – закричал на них полицейский, и мальчуганы испуганно бросились дальше, шлепая по грязи.

Прилетев обратно, Ласточка обо всем увиденном рассказала Принцу. Принц задумался, потом сказал:

– Меня покрыли тонкими листками золота; от времени они отстали и еле-еле держатся. Я буду очень благодарен тебе, если ты будешь снимать с меня листок за листком и раздавать их нуждающимся беднякам. Ведь почти все люди думают, что золото делает их счастливыми.

Ласточка стала снимать с Счастливого Принца листок за листком. Каждый листок она относила какому-нибудь бедняку или несчастному семейству. Наблюдая за ними, она замечала, что после этого много детских щечек порозовело, да и дети были веселее. «У нас есть теперь хлебушек! А у нас есть молоко!» – сообщали они друг другу.

Вскоре выпал снег и ударил мороз. Улицы покрылись серебристой пеленой; с карнизов крыш спускались ледяные хрустальные кинжалики; появились люди в шубах; мальчики, одетые в красное, резво катались на коньках.

Плохо пришлось маленькой птичке. Но она не бросила Принца, хотя он и был теперь слепым, ободраным, серым. С трудом добывала Ласточка

пищу. Когда она украдкой клевала крошки близ булочной, на нее смотрели, как на диковинку. А Ласточка хлопала крылышками, стараясь согреться. Но вот она почувствовала, что близок час ее смерти. Еле взлетев в последний раз на плечо Принца, она прошептала:

– Милый Принц, прощай!

– Прощай, милая Ласточка, ты теперь все сделала для меня, и я рад, что ты наконец-то улетаешь в Египет; но я боюсь, что ты очень долго была здесь... Поцелуй меня на прощанье. Я так тебя полюбил...

– Я отлетаю не в Египет, – тихо произнесла Ласточка, – а в Царство Смерти... Но мне сейчас хорошо и не холодно, только клонит ко сну. А ты знаешь, говорят, что Сон и Смерть – родные брат с сестрой, не правда ли?

Проговорив это, Ласточка поцеловала Счастливого Принца в губы и упала мертвой к его ногам.

В этот миг внутри статуи послышался странный треск, как будто свинцовое сердце Принца раскололось надвое...

Соловей и роза

– Если я достану алую розу, то та, которую я люблю, будет танцевать со мной... Но что же мне делать? В этом саду нет ни одной алой розы!.. – И на глазах молодого Студента появились слезы.

Соловей, сидевший поблизости на столетнем дубе, наблюдал за юношей и слышал его слова.

– Неужели я не найду ни одной алой розы?! – с отчаянием восклицал Студент. – Обидно ведь, от каких мелочей может зависеть счастье. Я изучил творения мудрецов, я знаю философию, и вдруг от одной алой розы рушится моя жизнь!

– Наконец я вижу человека, который истинно любит, – проговорил Соловей. – Сколько ночей я пел об искренней любви, скольким зорям я рассказывал о ней, но я не видел ее; и вот предо мной человек, любящий искренно, бескорыстно. Но какое горе отражается на его прекрасном лице.

– Завтра у Принца будет бал, – прошептал юноша, – на нем будет и та, которую я люблю. Ах, только бы достать алую розу, и я буду танцевать с ней до рассвета. Как жаль, что в моем саду нет алой розы. Придется быть одному на балу. Она подумает, что я недостаточно предан ей, а потому и не исполнил ее желания. Я чувствую: мое сердце разорвется на части...

– Да, этот человек истинно любит, – сказал Соловей. – Правду говорят: любовь дороже золота и драгоценных камней. Теперь мне это понятно; и вот почему любовь не продается в магазинах и не ценится на вес золота и серебра.

– Заиграет оркестр, – продолжал сетовать юноша, – и она будет танцевать под его звуки. Вокруг нее столпятся придворные, и она поочередно начнет с ними танцевать, а со мной нет. Она кинет на меня презрительный взгляд, потому что я не достал ей алой розы!..

Студент беспомощно опустил на траву и заплакал.

– Он плачет... о чем? – спросила проползавшая мимо Ящерица.

– А ведь и правда... О чем? – удивилась Бабочка, порхавшая на солнце.

– О чем, не знаешь? – прошептала своей соседке нежная Маргаритка.

– Ему нужна алая роза, и он о ней плачет, – громко сказал Соловей.

– Как?! О красной розе? Да ведь это смешно! – воскликнули все разом, а Ящерица залилась безудержным смехом.

Только один Соловей не смеялся; он понял горе Студента и молча

сидел на дереве, стараясь проникнуть в тайну истинной любви.

Но недолго он так сидел; вдруг он встрепенулся, взмахнул крылышками и быстро полетел через сад на середину зеленой луговины. Здесь рос красивый Розовый Куст. Соловей сел на одну из его ветвей и сказал Кусту:

– Послушай, дай мне из твоего букета одну розу; за это я спою тебе чудную песню...

– Я не могу исполнить твоей просьбы: каждая роза дорога мне, как матери дитя, – отвечал Куст и посоветовал Соловью пойти к брату, тоже Розовому Кусту, находившемуся недалеко.

Соловей прилетел к этому кусту и стал просить у него одну розу:

– Подари мне одну розу, и я спою тебе нежную песню...

Куст покачал головой и ответил:

– Мои розы для меня дороже всего, и я не могу тебе дать ни одной из них. Но обратись к моему брату под окном Студента. У него целое деревцо; быть может, он и даст тебе одну розу.

Соловей прилетел к окну Студента и сказал Розовому Деревцу:

– Дай мне одну розу, и я спою тебе восхитительную песенку!

Покачав головой, Деревцо ответило:

– О, если бы ты знал, как прелестны мои розы! Они алее кораллов и нежнее лапок молодой голубки. К сожалению, весенний мороз уничтожил мои бутоны, сковал мою кровь, и мне не придется цвести нынешним летом.

– Ты понимаешь, – с мольбой произнес Соловей, – я хочу только одну розу... Неужели я не добуду ее?!

– Только одним способом можно достать эту розу, – раздумчиво сказала Деревцо, – но мне не хотелось бы рекомендовать тебе этот способ...

– Скажи же, скажи его мне! – настойчиво стал просить Соловей.

– Хорошо, – ответило Деревцо. – Ты должен сам создать красную розу, окрасив ее кровью своего сердца при звуках музыки, во время лунного сияния. Вот мой завядший бутон. Его шипом ты должен пронзить свою грудь и петь всю ночь до зари. Шип вонзится в твое сердце и, проколов его, перельет твою кровь в меня... Твоя кровь оживит меня, и бутон расцветет... Согласен ли ты?

– Своей смертью я должен купить красную розу – это слишком дорогая цена!.. – воскликнул Соловей. – Разумеется, я, как и всякое создание, дорожу своей жизнью... Я люблю зеленый лес, золотое солнце и жемчужную луну. Мне сладок аромат леса и цветов. Но любовь дороже жизни, и сердце человека, который любит, несравненно ценнее сердца

птицы!..

Соловей развернул крылышки и поднялся в воздух. Бесшумно пролетев по саду, он сел недалеко от Студента, который все еще лежал на траве со слезами на глазах.

– Отбрось печаль: у тебя будет алая роза! – громко сказал ему Соловей. – При звуках музыки во время лунного сияния я воскрешу розу, окрасив ее кровью моего сердца. Но за это ты должен дать мне обещание верно любить. Истинная любовь ведь выше мудрости и несокрушима...

Студент, прислушавшись к чириканью Соловья, поднял голову, но тотчас же опять ее опустил.

Он не понимал языка птички, хотя и знал все, что было написано в книгах.

Один лишь столетний дуб понял слова птички и взгрустнул. Он сильно любил Соловья за его песни, который тот пел, сидя в своем гнезде.

– Милая птичка, пропой мне в последний раз песенку! – тихим трепетанием листьев прошептал он. – Мне будет так скучно без тебя!

Соловей сжалился над дубом и стал петь для него. Он начал тихо, и его голос был подобен журчанию ручейка, но потом его песнь переливалась все громче и громче... Наконец, сделав повышенную трель, Соловей сразу смолк...

Студент встал и пошел домой, размышляя о том, что та, которую он любит, хотя и имеет чудную внешность, но зато черства сердцем и не способна жертвовать собою для других. Придя в комнату, он лег и, продолжая думать о своей любви, заснул.

Между тем Соловей сидел на дубе и ждал, когда взойдет луна. С ее восходом он полетел к Розовому Кусту. Прижавшись грудью к острому шипу, он запел... Одна песня сменяла другую, острый шип все больше и больше вонзался в грудь Соловья, переливая его кровь в Розовый Куст. И всю ночь холодная серебряная луна слушала песни Соловья. А над шипом зацветала прекрасная роза; с каждой песней она разворачивала по лепестку. Сначала роза была бледна, как туманная утренняя заря. Но с проблесками рассвета она стала принимать нежно-розовую окраску.

– Прижимайся крепче, птичка, – сказал Куст Соловью, – иначе роза не расцветет с наступлением дня...

Соловей стал крепче жаться к шипу и еще звонче начал петь, восхваляя нежную любовь молодости. На лепестках розы появился легкий нежный румянец; но роза еще не окрасилась пурпуром, потому что шип не коснулся пока сердца Соловья.

– Ближе, крепче прижмись, иначе роза не расцветет до утра! –

потребовал опять Куст.

Соловей крепче прильнул к шипу, и шип коснулся его сердца. Острая боль зажглась в нем. Но еще звучнее стала песнь Соловья. Он пел о вечной любви, которая не боится даже смерти. И вдруг... роза зарделась и расцвела, как пурпурная заря востока. Ее лепестки стали подобны рубину.

Но что же с Соловьем? Его голос вдруг ослабел, глаза затуманились, крылышки затрепетали... Он издал последний слабый звук... Казалось, что бледная луна позабыла о рассвете и застыла...

– Гляди, гляди, – закричало Соловью Деревцо, – ведь роза расцвела!

Но Соловей уже не слышал этого восклицания: он был мертв и бездыханным лежал на траве.

Проснувшись утром, Студент отворил в сад окно.

– Какая чудная алая роза! Я никогда не видел такого дивного цветка! – воскликнул он и сорвал ее. Одевшись, он побежал к той, которую любил.

Юноша бережно держал розу в руке, твердя лишь: «Какое счастье! Какое счастье!...»

Молодая девушка, дочь профессора, сидела на террасе и разматывала клубок шелка. Поздоровавшись с ней, Студент, еще не доходя, закричал:

– Ну, вы должны танцевать со мной: я достал вам алую розу. Вы приколете ее на вечере к груди, и этот цветок расскажет вам о моей любви.

Но девушка сдвинула брови и сказала:

– Мне кажется, эта роза не под цвет к моему платью. А потом – племянник герцога подарил мне прекрасные настоящие драгоценности. Согласитесь, что они дороже вашей розы...

– Ах, как вы неблагодарны! – воскликнул Студент, с сердцем кидая розу на дорогу.

– Вы очень дерзки! – сердито крикнула девушка – Кто вы в сравнении с племянником герцога? У вас нет даже серебряных пряжек на башмаках, как у него...

С этими словами девушка поспешно встала и ушла в комнату.

– Как жалка несбыточная любовь, – сказал Студент. – Очевидно, в наш век заслуживает внимания только все практичное. Но все-таки я снова примусь за философию.

Уходя, Студент взглянул на дорогу. Проезжавший экипаж смял колесом розу и вдавил ее в пыльную колею.

Великан-эгоист

У одного Великана был чудный большой сад. Заросший зеленью и цветами, он представлял прекрасное зрелище. Самым прелестным местечком этого сада была большая зеленая лужайка, среди которой возвышались двенадцать персиковых деревьев. С наступлением весны деревья покрывались розовыми и белыми цветами. В ветвях порхали птички, которые неустанно чирикали и пели чудные песни.

Как только кончались занятия в школе, дети спешили в сад Великана поиграть и послушать певчих птичек.

– Ах, как здесь хорошо! – говорили они.

Дети не боялись Великана, потому что его никогда не было дома. Говорили, что он уже семь лет гостит у своего друга на севере и едва ли вернется домой.

Но вот в один прекрасный денек разнеслась весть, что Великан вернулся в свой замок. И действительно, когда дети пришли в сад, Великан страшно закричал на них:

– Как вы смаете ходить в чужой сад? Он принадлежит мне, и никто не имеет права распоряжаться в нем.

И Великан построил вокруг сада высокую стену, а на входных воротах сделал надпись: «Всех нарушителей права собственности я буду преследовать по закону».

Великан был страшным эгоистом, то есть любил только самого себя, а до других ему не было никакого дела.

С того времени у детей не стало хорошего местечка для игр. Игры на пыльной дороге им не нравились.

– Как хорошо было там! – грустно говорили они, смотря на высокую стену сада и вспоминая свои игры в нем.

С наступлением весны вся окрестность разукрасилась зеленью и красивыми цветами. Лишь в саду Великана не таял снег. Высокая каменная стена и густые вековые деревья сделали этот сад погребом. В саду было мертво. Птицы не оглашали его своим пением, дети не резвились в нем, и даже зелень не появлялась. Только снег да мороз радовались своему покою.

– Да, здесь хороший приют для нас! – говорили они.

Холодный ветер часто приходил к ним в гости и потешал хозяев своим пением и танцами, заывая по саду и кружась вихрем вокруг деревьев.

– Странно, почему это весна забыла мой сад, – говорил Великан-

эгоист, смотря на холодный сад из окна своего замка.

Великан был прав: весна не приходила в его сад, а наступившее лето только слегка покрыло зеленью некоторые деревья его сада.

Так прошел целый год; в саду Великана все время стояла зима. И Великан не мог понять, отчего это происходит.

Как-то весенним утром Великану почудилось, что где-то играет чудная музыка. «Наверное, королевский полк проходит мимо», – подумал Великан. Но на самом деле королевский полк не проходил и музыка не играла. Просто-напросто под окном Великана запела случайно залетевшая сюда коноплянка. Великан же так давно не слышал пения птиц, что оно теперь показалось ему прекраснейшей музыкой.

Великан отворил окно и выглянул. Обычного завыванья ветра не было, а через растворенное окно доносилось нежное благоухание весны.

– Наконец-то настала весна! – воскликнул Великан и вышел в сад.

Но только повернул он налево, как увидел следующее. Сквозь маленькое отверстие в стене дети пролезли в сад и засели на деревьях. Каждый малыш избрал себе по дереву. Сад как будто так обрадовался дорогим гостям, что, казалось, мгновенно расцвел. Деревья зазеленели, цветы улыбались из травы, а птицы весело защебетали. Это была чудная картина.

Великан ошеломлен. Он не мог оторваться от восхитительного зрелища. Случайно его взор упал на отдаленный уголок сада. Там, близ дерева, стоял маленький мальчик и плакал. Он никак не мог взобраться на дерево. И бедное дерево все еще было покрыто снегом. Великан был растроган. Его сердце вдруг растаяло.

– Неужели я был таким эгоистом, что не пускал детей в сад! – сказал он. – Теперь мне ясно, отчего весна не приходила сюда. Отныне я уничтожу эту стену и сделаю свой сад постоянным местом для детских игр.

Великан пошел к тому месту, где стоял плачущий Малютка. Дети увидели его и, испугавшись, бросились бежать. Великану показалось, что сад принял свой прежний зимний вид.

Тихо подкравшись к мальчику, Великан осторожно поднял его и посадил на дерево. В этот момент Великану показалось, что дерево зацвело, а вблизи запели птички. Малютка, обрадованный, что его посадили на дерево, протянул свои ручонки и поцеловал Великана. Дети в отверстие стены наблюдали за Великаном. Они были очень удивлены, что он не сердится на них, и опять полезли в сад. А с ними как будто вернулась и весна.

– Ну, детки, всегда играйте в этом саду: он ваш, – сказал Великан.

С этими словами он пошел ко двору и, взяв там громадную кирку, начал разрушать стену. Потом он стал играть с детьми и целый день провел с ними. Когда же прощался с детьми, то заметил, что того Малютки, которого он посадил на дерево, не было среди них.

– Где же тот мальчик, которого я подсаживал? – спросил Великан у детей.

– Мы не знаем, где он живет, и никогда его раньше не видели, – ответили дети.

Великан опечалился: он так любил Малютку.

С этого времени дети каждый день приходили играть в сад Великана. Добрый Великан играл с ними и забавлял их. Он тосковал только по своему первому другу – Малютке.

– Ах, как мне приятно было бы увидеть его! – говорил нередко Великан.

Прошло много лет. Великан постарел и потерял силы. С детьми он уже не играл, но, сидя в большом кресле, любовался их играми.

– Вы знаете, у меня много прекрасных цветов, но дети прекраснее их, и я больше всего люблю их, – говорил Великан своим знакомым.

Раз зимним утром Великан взглянул в окно, выходящее в сад. Вдруг он заметил, что в отдаленном углу сада стоит дерево, покрытое нежными белыми цветами. Великан изумился. Приглядевшись попристальнее, он увидел под деревом того самого Малютку, которого много лет тому назад подсаживал на дерево.

Сердце Великана встрепенулось. Обрадованный, он бросился к Малютке. Но, подбежав к нему, он остановился и гневно вскричал:

– Кто тебя ранил? Как смели обидеть тебя?

Ручонки ребенка были в крови. На его ножках также виднелась кровь.

– Кто, кто тебя ранил? – кричал взволнованно Великан. – Отвечай мне, я сейчас пойду и изрублю мечом того.

– Это – не настоящие раны, это – раны для испытания твоей любви ко мне, – тихо ответил Малютка.

– Кто ты? – спросил его Великан.

Малютка улыбнулся и ответил:

– Ты сделал доброе дело, позволив мне играть в твоём саду. Твое сердце растопилось, и с тех пор твой сад стал раем для детей. Сегодня же я возьму тебя в мой сад, который зовется раем. И мы будем там навсегда...

Великан благоговейно склонил колени пред Малюткой и пал ниц...

После уроков дети прибежали в сад Великана и стали играть. Один

мальчик забежал к цветущему дереву и споткнулся. Взглянув наземь, он вскрикнул. Дети бросились к нему и нашли под деревом мертвого Великана.

Преданный друг

Жил однажды маленький честный юноша, которого звали Гансом. У него было доброе сердце и добродушное лицо. Сирота, он жил совершенно один.

Каждый день с утра до вечера он неустанно работал в своем саду: копал гряды, ровнял их и ухаживал за цветами и овощами.

В округе не было сада лучше, чем у нашего Ганса. В его саду росли: душистая гвоздика, левкой, белоцвет, петуший гребешок, пышные розы, разноцветные крокусы, голубые фиалки, лилии, васильки, ирисы, нарциссы и майораны.

Все это цвело в продолжение нескольких месяцев; если один цветок отцветал, его сменял другой. И красота, и аромат сада не терялись ни на минуту.

Много имел друзей маленький Ганс, но лучшим из всех он считал мельника Гуго. Правда, маленького Ганса нередко смущало то обстоятельство, что мельник, когда бы только ни проходил мимо его сада, всегда нагибался через изгородь и рвал цветы или фрукты. Если Ганс заставлял его врасплох, то мельник без всякого смущения говорил:

– А, здорово, друг! Ты, конечно, не обижаешься? Ведь истинные друзья, как мы с тобой, должны все делить пополам.

Ганс улыбался и, разделяя мысли своего преданного друга, утвердительно кивал головою.

– Удивительное дело, – говаривали иногда соседи, – мельник еще ничем ни разу не отплатил Гансу за его цветы и фрукты; а ведь у него на мельнице сотни мешков муки лежат в запасе; а сколько у него молочных коров, а какое громадное стадо кудрявошерстных овец.

Но Ганс не размышлял об этом. Он все забывал, когда мельник заговаривал красноречиво о верной дружбе искренних друзей.

Работая в саду, Ганс был доволен своей судьбой и вполне счастлив. Временные неудачи не смущали его. И если он страдал зимой от холода и голода, то весной и летом с избытком вознаграждал себя продажей цветов и фруктов.

Зиму Ганс проводил в полном одиночестве. Иногда он раздумывал о том, почему же его не навестит «преданный ему друг» мельник Гуго.

Но эту мысль он тотчас же отбрасывал, когда вспоминал большое и сложное хозяйство мельника. «Надо бы мне навестить его, – думал Ганс, –

да жаль, что нет теплой одежды».

Между тем мельник Гуго, случайно вспомнив Ганса и его цветы, говорил жене:

– Зачем я пойду к нему, пока не сойдет снег? Когда человек находится в нужде, его нужно предоставлять самому себе. Посетитель может только надоесть ему. И даже друг не должен в это время докучать ему. Когда придет весна, я навещу Ганса и он, наверное, подарит мне ящик первоцвета, чем доставит себе большое удовольствие.

– Ты, мой друг, очень заботлив, – говорила мельнику его жена, удобно расположившаяся у камина. – Твои рассуждения о дружбе доставляют мне гораздо большее наслаждение, чем проповедь священника.

– Папа, а ты бы позвал маленького Ганса сюда, – говорил отцу его маленький сын. – Если он, бедный, плохо живет, я уделю ему половину моего кушанья и поведу его в сени, где находятся мои белые кролики.

– Вот глупый мальчишка! – восклицал мельник. – А еще учишься в школе; ведь если Ганс явится сюда и посмотрит на наше довольство, в нем может возгореться зависть; а зависть – порок, который портит всякое сердце. Я, как лучший друг Ганса, не должен допускать, чтобы его сердце испортилось. А потом Ганс может попросить у меня в долг и муки, придя сюда. Это может испортить наши отношения, потому что мука – одно, а дружба – другое.

– Ах, как ты хорошо говоришь! – одобряла мужа мельничиха.

С наступлением весны мельник однажды заявил жене, что навестит своего друга Ганса.

– Это хорошо, что ты думаешь о других и не покидаешь друзей. Только не забудь вон ту длинную корзину для цветов.

Мельник Гуго взял корзину и направился к садику Ганса.

– Здравствуй, друг, – приветливо сказал он.

– Доброго здоровья и вам, – ответил Ганс, облачиваясь на лопату и добродушно улыбаясь.

– Ну, как ты высидел зиму?

– Вы, право, очень добры, справляясь об этом, – ответил Ганс. – Да, мне было тяжело, но, слава богу, теперь это кончилось, наступила весна, и я опять с моими цветами. Вы знаете, они очень хорошо идут...

– Зимой мы не раз вспоминали тебя: как-то ты живешь...

– О, вы очень-очень добры! – воскликнул Ганс. – А я уж порешил было, что вы совсем забыли о моем существовании.

– Ганс, – вскричал мельник, – можно ли так думать?! В том и состоит дружба, что она никогда не забывается... Однако как красив твой

первоцвет...

– Да, он, и правда, хорош, – подтвердил Ганс, – я очень доволен, что у меня его много. По крайней мере, я могу отнести его на рынок, продать и на вырученные деньги купить нужную мне тачку.

– Тачку? – удивился мельник Гуго. – Да у тебя была хорошая тачка... Неужели ты дошел до такой глупости, что продал ее?

– Видите ли, меня вынудили к этому тяжелые обстоятельства. Зимой мне не на что было купить хлеба, и я продал сперва серебряный пуговицы моей праздничной куртки, потом отцову трубку – дорогое для меня наследство, а затем уж тачку. Но я уверен, что все это я опять верну.

– Вот что, Ганс, – сказал, подумав, мельник, – у меня есть тачка; хоть она и не совсем цела – у нее кое-что неисправно, но это пустяки! Я отдам тебе ее. Многие будут осуждать меня за это великодушие, но пусть – я не таков, как прочие. Преданный друг должен быть великодушным... Так вот, будь спокоен, я подарю тебе мою тачку, а у меня останется новая, которую я купил.

– Ах, как вы великодушны! – воскликнул Ганс, просияв от удовольствия. – У меня как раз есть новая доска, и я легко почию вашу тачку.

– У тебя есть доска? – радостно вскричал мельник Гуго. – Видишь ли, мне она очень нужна для крыши, иначе дождь многое у меня попортит. Это хорошо: ты дашь мне доску, а я отдам тебе тачку. Ты ведь понимаешь, что тачка дороже доски, но я не считаюсь: истинные друзья не ведут счета в мелочах. Так неси же мне сейчас твою доску, я сегодня же почию крышу.

– О, сию минуту! – воскликнул Ганс и побежал за доской.

Вернувшись с ней, он передал ее мельнику.

– Да, она не велика, – сказал мельник, – ну да ничего... А теперь, надеюсь, ты не откажешь мне в цветах. Помни: у тебя будет моя тачка... Бери-ка вот корзинку, да смотри – доверху наложи в нее цветов!

– Доверху? – озабоченно спросил Ганс.

Он взглянул на громадную корзинку и сейчас же сообразил, что, наложив ее доверху, тем самым лишится почти всех цветов. А ему очень хотелось продать их и выкупить свои пуговицы.

– Чего ж ты думаешь? – оскорбленно сказал мельник Гуго. – Неужели за тачку я не могу попросить у тебя цветов? Мне кажется, что ты заботишься больше о себе. Истинные друзья не должны так поступать.

– О нет, дорогой друг! – восторженно вскричал Ганс. – Я все, все цветы отдам вам, лишь не думайте обо мне дурно! – С этими словами Ганс стал срезать цветы и укладывать их в корзину.

Когда он наложил корзину доверху, мельник положил на плечо доску, поднял корзину и, небрежно проговорив:

– Прощай, Ганс, – пошел домой.

– Прощайте, до свиданья! – кланялся Ганс и стал продолжать работу, думая о тачке.

Подвязывая на другой день кусты жимолости, Ганс услышал вдруг из-за загородки голос мельника.

– Милый Ганс, – говорил он, – будь добр снести вот этот мешок на рынок и продать.

– Простите, – отвечал Ганс, – мне некогда сегодня: я должен подвязать все эти растения, полить цветы и выполоть гряды.

– Да ведь это не по-дружески, – недовольно проговорил мельник Гуго. – Я же обещал тебе тачку, а ты отказываешь мне в таких пустяках.

– О, что вы! Я никогда не стану поступать не по-дружески, – ответил Ганс и, надев фуражку, поднял здоровенный мешок и направился к городу.

Было очень жарко и пыльно. Ганс пришел в город усталым и разбитым.

Продав за хорошую цену муку, он вернулся только к вечеру и, утомленный, скоро лег.

На другой день мельник пришел к Гансу очень рано и застал его в постели.

– Вот так лентяй! – сказал он. – Я вовсе не хотел бы, чтобы мой друг лентяйничал или же любил долго спать. Ты прости за откровенность, но истинный друг всегда должен прямо высказываться.

– О, мне очень стыдно, но я так утомился вчера, – сказал Ганс, вскакивая с постели.

– Ну, ладно уж, – сказал снисходительно мельник, потрепав его по плечу. – Видишь ли, я пришел к тебе за вырученными деньгами, а потом хотел взять тебя сейчас на мельницу, чтобы ты исправил мою крышу. Я знаю: ты хороший мастер.

Бедный Ганс! Он так хотел поработать в саду, где были два дня не политы его цветы, и вдруг его опять отрывали... Но он не хотел обижать мельника отказом и робко спросил:

– Мне очень недосуг. Вы думаете, что это будет не по-дружески, если я откажусь?

– После того как я обещал подарить тебе тачку, я прошу очень немного. Но я не настаиваю; если ты отказываешь, я и сам хоть и плохо, но сделаю то, что мне нужно.

– О, что вы, я не допущу этого! – воскликнул Ганс.

Он быстро оделся и пошел с мельником к его дому. Там он проработал весь день. К вечеру мельник Гуго пришел к нему и весело спросил:

– Ну как?

– Я все окончил, – сказал Ганс, слезая с крыши.

Поговорив немного о погоде и о хорошем вечере, мельник проговорил:

– Ну, до свиданья. Ступай, отдохни у себя, а то ты и вправду устал. Завтра приходи опять: ты поведешь моих овец в горы.

Бедный Ганс ни слова не сказал и на следующее утро отправился с овцами мельника в горы. На это он потратил целый день и вернулся к вечеру очень утомленным. Проснувшись рано, он тотчас принялся за работу в саду. Но поработать как следует ему не удалось.

В полдень пришел мельник Гуго и уговорил его снести деньги к торговцу в соседнее поместье.

И так продолжалось почти изо дня в день: мельник то и дело отрывал Ганса для разных услуг себе.

Ганс страшно горевал о своем запущенном саде, но утешался лишь тем, что мельник – его преданный друг. При этом он вспоминал и о его великодушном обещании подарить тачку.

Мельник же продолжал рассуждать об истинной дружбе и посылать Ганса то туда, то сюда.

Как-то Ганс собирался уже в постель. Приятно потянувшись, он потушил свечу и сел на кровать. Его глаза слипались от дремоты. К этому располагала и ненастная погода, бушевавшая на улице. Весенний ветер выл и шумел. Было темно.

Вдруг раздался стук в дверь... Ганс подумал, что это от ветра. Но удары повторялись все чаще.

«Это какой-нибудь несчастный путник», – сообразил Ганс и пошел отпирать дверь.

На пороге стоял мельник с фонарем.

– Милый Ганс, – взволнованно произнес он, – у меня случилось большое горе. Мой сынишка нечаянно упал с лестницы и расшибся. Я иду за доктором. Но ты знаешь, как я медленно хожу. Я вспомнил о тебе, моем друге, и пришел просить тебя сходить за доктором. Он живет далеко, и ты гораздо скорее сбегаешь за ним, чем я. А это очень важно. Я прошу тебя ради нашей дружбы. Ты знаешь меня, и я пригожусь тебе: вспомни тачку...

– О, конечно, я так ценю то, что вы в этом несчастье обращаетесь именно ко мне, к вашему другу... Я сию же минуту отправлюсь за доктором. Дайте лишь ваш фонарь. Я боюсь в потемках свалиться в канаву.

– Ах как жаль, что я не могу исполнить твоей просьбы, потому что

фонарь новый и его можно разбить или потерять, а это – большой ущерб. Может быть, ты обойдешься без него?..

– Ну ладно, я и без него справлюсь, – сказал Ганс.

Он быстро оделся, надел теплую шапку, повязал платком горло и отправился. Ночь была ужасная. Дул страшный порывистый ветер, было темно. Ганс три часа боролся с бурей и кое-как достиг дома доктора.

На его стук вышел сам доктор и, расспросив о причине посещения, велел оседлать лошадь и подать фонарь. Через несколько минут доктор верхом направился к дому мельника, а Ганс последовал за ним.

Буря разыгралась вовсю. Ударил дождь. Следуя за лошастью, Ганс поскользнулся в темноте и упал. Пока он поднимался, доктор уехал вперед. Через полчаса Ганс сбился с дороги окончательно. Блуждая, он попал в топкое болото и завяз в нем. Как он ни бился, но не мог выбраться из него. Силы оставили его, и он утонул...

Через несколько дней пастухи нашли его тело и принесли домой. На похороны Ганса пришли все его соседи. Они страшно сожалели о нем. Но больше всех плакался мельник Гуго. Заняв первое место в похоронной процессии, он говорил:

– Я был его истинным и лучшим другом. Для меня это большая потеря. Вы понимаете: я обещал ему даже мою тачку. И теперь она попусту занимает у меня место. За это время она попортилась, и ее едва ли кто купит. В этом случае я наказан за свою доброту...

Кичливая Ракета

Наступило время бракосочетания сына Короля. Долго он ожидал приезда своей невесты, и вот теперь она приехала. Время было зимнее. Невеста – русская Принцесса – подъехала ко дворцу в санках, запряженных оленями. Санки имели форму золотого лебедя. Это было так красиво, что народ восторженно встретил Принцессу. Когда же заметили, что Принцесса – красавица, то все стали бросать ей цветы.

– Она точно роза, – говорили в толпе.

У подъезда дворца Принцессу встретил сам Принц. Он опустился на одно колено, поцеловал у своей невесты руку и помог ей выбраться из санок. Маленькая Принцесса зарделась. Когда с ней познакомились, весь двор восхищался ею.

Через три дня отпраздновали свадьбу. Свадебная церемония была торжественно-пышной. После свадьбы был устроен пир, а вечером – бал. Молодые исполнили «Танец роз», после которого сам Король сыграл несколько арий на флейте.

Бал должен был завершиться блестящим фейерверком, назначенным в полночь.

В самом конце сада на большой расчищенной площадке придворный пиротехник приготовил ракеты для фейерверка. Пока он дожидался, ракеты вступили между собой в беседу.

– Взгляните, как чуден мир! – воскликнула Шутиха-ракета. – Я очень рада, что отправлюсь в путешествие: вверх так дивно хорошо!

– Вы думаете, что чудеса мира находятся в одном королевском саду? – насмешливо спросила ее Римская Свеча.

– Для многих целый мир заключается только в том, что они любят, – со вздохом проговорило Огненное Колесо. – Любовь – это целый мир... Мир радостей и страданий.

– Гм... гм... Я доставлю сегодня величайшее наслаждение королевской семье, потому что пуск мой должен быть удачным. Я осчастливлю Принца... – так горделиво говорила одна Ракета, привязанная к палке. У нее были утонченные манеры, и она гордилась ими.

– Как? – воскликнула Шутиха. – Мне казалось, что все мы осчастливим Принца, а не только вы.

– Ну нет... Я не такая ракета, как вы. По матери я происхожу от знаменитейшего огненного колеса, а по отцу – от замечательной ракеты

французского происхождения, которая взлетала так высоко, что люди не дожидались ее возвращения. Вот такая я благородная особа.

И Ракета стала говорить о своих замечательных предках. Когда ее прерывали, она сердилась и называла это «невежеством».

Но вот на небосклоне показалась луна в форме серебряного круга. Засверкали звезды. Из дворца неслись звуки музыки. Там танцевали.

На башне часы пробили сперва десять раз, через час – одиннадцать и еще через час – двенадцать раз. Король вышел на террасу и послал за пиротехником. Когда тот пришел, Король приказал ему начать фейерверк. Пиротехник низко поклонился и снова направился в конец сада. Шесть его помощников держали по зажженному факелу. Пиротехник дал сигнал.

«Ззз!.. ззз!..» – зашумело в круговороте Огненное Колесо.

«Пум!.. пум!..» – взлетали Римские Свечи.

Шутихи завертелись по площадке, а Бенгальский Огонь озарил сад ярко-красным светом.

– До свиданья! – весело простился Воздушный Шар, рассеивая кругом голубые искры.

Все они с успехом взлетали или взрывались. Только одна кичливая Ракета оказалась никуда негодной. Порох в ней отсырел, и она не взорвалась.

«Должно быть, меня берегут», – подумала она.

На следующий день один из рабочих, прибиравших сад, схватил Ракету за палку и, как негодную, швырнул в ров.

Очутившись на новом болотистом месте, Ракета подумала: «Меня отправили сюда, по всей вероятности, для поправления здоровья».

Вскоре она познакомилась с лягушкой, уткой и стрекозой. Все время она рассказывала им о благородстве своего происхождения и о своем великом предназначении. Так проходили целые дни. Однажды ко рву прибежали два мальчика с хворостинками в руках.

– Это, вероятно, за мной посланные из дворца, – сказала горделиво Ракета.

– Гляди-ка, старая палка торчит; как она очутилась здесь? – сказал один из мальчиков и вытащил Ракету.

– Давай разведем ею огонь и вскипятим воду в твоём котелке, – сказал другой мальчик.

– Хорошо! – радостно проговорила Ракета. – Они думают пустить меня дном. Ну что ж, меня увидит весь мир.

Дети развели огонь, и, пока вода кипятилась, они растянулись на траве и заснули.

Сырая Ракета долго не могла разогреться. Когда огонь просушил ее, она почувствовала, что сейчас взлетит.

– Восхитительно! – вскричала она. – Сию минуту я взлечу выше облаков, выше луны, выше звезд, выше самого солнца...

«Ззз!.. ззз!..» – и Ракета слабо взвилась.

– Какое я чудо! – восторженно вскричала Ракета. – Я буду вечно лететь... Зажгу весь мир... И все живущие будут только обо мне говорить...

«Бум! бум!..» – выстрелил порох Ракеты, но так слабо, что даже не разбудил спавших мальчиков.

Пролетев несколько саженей кверху, палка Ракеты упала вниз и угодила прямо в спину Гуся, прогуливавшегося по берегу рва.

– О боги! – вскричал Гусь. – Давно ли с неба стали сыпаться палки!..

И он в испуге кинулся в воду.

– Я так и знала, что все живущие встрепаются от моего полета! – тихо прошептала умирающая Ракета.

Молодой Король

В ночь перед коронацией Молодой Король остался один в своей комнате. Все придворные давно уже простились с ним и отправились в главный зал для выслушивания наставлений от распорядителя дворца.

Юный шестнадцатилетний Король не жалел об уходе придворных; наоборот, он тяготился их присутствием. Облегченно вздохнув, Король кинулся теперь на свое роскошное мягкое ложе и, уставившись в одну точку, стал думать. О чем думал Король – неизвестно; но, по всей вероятности, мысли его сосредоточивались на том перевороте, который так неожиданно произошел в его жизни. А переворот был крупный, из ряда вон выходящий. В самом деле, Король не мог дать себе ясного отчета в том, как это он – еще на днях обитатель лесной чащи – стал теперь королем. Правда, ему говорили, что он вовсе не сын бедного пастуха, которого он считал отцом, а единственный сын Принцессы, дочери Старого Короля.

Когда он пытался расспрашивать придворных о своей матери, Принцессе, они смущенно говорили, что она скончалась. Больше придворные ничего не сообщали, а Молодой Король не настаивал. Но если бы он вздумал расспросить подробнее о своем прошлом, то узнал бы много интересного. Так, он узнал бы, что его мать, дочь Старого Короля, тайно вышла замуж за человека, низшего ее по происхождению. Молодой Король узнал бы, что от этого брака он и родился, что его отец был, по словам одних, иностранец, очаровавший Принцессу чудной игрой на лютне, а по словам других – художник, работавший в соборе. Молодому Королю сообщили бы далее, что его через неделю после рождения тайно, во время сна, похитили у матери и отдали на воспитание бедному крестьянину-пастуху, жившему одиноко в лесу. Придворный врач, если его порасспросить, мог бы тихонько рассказать и о странной смерти Принцессы, которая умерла вскоре после рождения ребенка от примешанного к бокалу вина яда. На ушко врач сообщил бы, что тело Принцессы было брошено на загородном кладбище в могилу, где лежал еще неостывший труп молодого красавца иностранца.

Но Молодой Король не доискивался до тайны своего рождения. Теперь он думал о том, как его нашли охотники, когда он шел за стадом и играл на свирели. Ему вспомнилось, как его, босого, привели к старому умирающему Королю, который в присутствии совета объявил его своим наследником. Вот о чем думал Король.

Между тем придворные, выслушав наставления распорядителя дворца, шли чинно в свои покои. Двое из них – один постарше, а другой молодой – о чем-то оживленно говорили.

– О, ты еще новичок и не знаешь Молодого Короля, – говорил старый придворный молодому. – С первого момента своего появления здесь Молодой Король, тогда еще Принц, почувствовал необыкновенное влечение к красоте. Он издавал крики восторга при виде красивых одежд и драгоценностей... А если бы ты видел, с какой радостью он сбросил с себя грубую рубашку и жесткий овечий плащ!.. Правда, придворный церемониал заставил его скучать и даже тосковать о свободной жизни в лесу; но стоило лишь принцу вырваться из заседания совета, как он сбегал вниз и принимался путешествовать из одной комнаты в другую. И с каким восхищением он бродил по комнатам один, без посторонних. Однажды к нему явился губернатор с приветствием от имени жителей своей провинции. Посланный придворными в Малую залу, губернатор застал принца коленопреклоненным перед большой картиной с изображением трех греческих богинь. А в другой раз Молодого Короля нашли, после немалых поисков, в маленькой башне. С каким благоговением стоял он здесь и созерцал мраморную статую прекрасного юноши – греческого бога Адониса!.. Часто он прикидал своими губами к холодному мрамору чудных изваяний и статуй. А раз Король провел почти всю ночь в саду, восхищаясь игрой лунных лучей на серебристых тополях и на посеребренных статуях. Все редкие ценности влекли к себе Короля, и он хотел обладать ими. Несколько месяцев тому назад Король призвал купцов и дал им наказ отправиться в далекие страны. И вот поехали купцы: один – на север за душистой амброй, другой – в Египет за зеленой бирюзой и красным редким рубином, который находится в руслах небольших речек, третий – в Персию за шелковыми товарами и шальями, четвертый – в Индию за морскими жемчужинами, слоновой костью и за голубой эмалью. Купцам строго-настрого приказано было вовремя вернуться ко дню коронации и привезти все в точности...

– Ну что же, все привезено?

– О да, все... и все уже готово: мантия, вытканная из золота, скипетр, обвитый кольцами жемчуга, и корона, украшенная ярко-красными рубинами. Коронация будет пышная, небывалая... Однако поздно... Пойдем спать...

Придворные простились и отправились на покой.

Королю же не спалось. Мысли его от воспоминаний прошлого перешли к предстоящему завтра торжеству. Король стал думать об уборах и о своем одеянии. Через несколько минут он встал и подошел к открытому

окну. За окном показались неясные очертания собора, гордо поднявшего шапку своего купола над темной массой домов. По набережной реки мерно ходили часовые. Из сада неслись переливы соловья. А сочный аромат цветов, в особенности жасмина, так и врывается в комнату. Очарование прекрасной таинственной ночи сразу охватило Короля... Он откинул со лба прядь темных кудрей, быстро взял лютню и заиграл, плавно перебирая струны.

Вскоре, однако, он почувствовал какое-то томление. Руки его опустились, и ему захотелось спать. Башенные часы пробили полночь. Король позвонил; пришли пажи. Они, как требовали того придворные правила, с разными церемониями раздели Короля, умыли его руки розовой водой, усыпали изголовье цветами и, низко поклонившись, вышли. Не успели они уйти, как Король уже уснул.

И приснилось ему вот что. Он, Король, находится будто бы в низкой темноватой комнате. Кругом стучат и визжат станки рабочих-ткачей. Слабый свет еле освещает бледные лица ткачей. Болезненные, истомленные дети сидят на корточках близ взрослых и помогают им. Видно, что дети голодны. Их руки дрожат и едва повинуются им. За столом сидят угрюмые, суровые женщины и шьют. В комнате стоит тяжелый воздух и отвратительный запах. Стены сырые. Рабочие угрюмо молчат. Король, подойдя к одному из рабочих, стал наблюдать за его работой. Ткачу эту не понравилось, и он сердито спросил:

– Чего тебе надо? Зачем ты на меня глядишь? Уж не приставлен ли ты нашим хозяином шпионить?

– А кто твой хозяин? – спросил Молодой Король.

– Да такой же человек, как и я, – отвечал Рабочий, – только та и разница между нами, что хозяин носит дорогие одежды, а я вот в лохмотьях, он тучен от пресыщения, а я едва не умираю от голода.

– Разве ты раб этого человека? – спросил с удивлением Король. – Ведь страна свободна?

– Да, но мы должны работать, чтобы жить и не умереть с голоду, но, работая на богатых, мы получаем от них такую жалкую плату, что от непосильных трудов и недоедания умираем.

– Неужели и все рабочие так?

– Да, все: как молодые, так и старые, как мужчины, так и женщины и дети. Никто о нас не заботится. По нашим жилищам ходит Бедность и всюду следит за нами своими голодными глазами, а вслед за нею спешит к нам Преступление. И всюду стерегут нас Нищета и Унижение... Но для чего тебе все это нужно? Очевидно, ты не наш, потому что у тебя такое

жизнерадостное лицо...

Ткач отвернулся и приготовился пустить свой челнок на станок. Приглядевшись ближе, Молодой Король заметил, что на челнок были намотаны золотые нити. Короля объял ужас... Предчувствуя недоброе, он глухо спросил:

– Что это за ткань, которую ты делаешь?

– К чему тебе это знать? Но, впрочем, удовлетворю твое любопытство: это одеяние для коронации нашего Короля...

– Как?.. – громко вскрикнул Молодой Король и... проснулся.

Поднявшись на своей постели, он взглянул в открытое окно. Медово-желтая луна как будто улыбнулась ему... На улице по-прежнему была тишина. Король успокоился и опять заснул. Но только он заснул, как вновь увидел сон. Ему снилось, что он находится на палубе галеры. Человек сто рабов гребли, а Король сидел на ковре рядом с хозяином галеры. Хозяин был черен, как ворон. На нем была красная шелковая чалма. В его ушах висели большие серебряные кольца. На рабах же болтались рваные передники; остальной одежды на них не было. Каждый раб был прикован железной цепью к другому рабу. Горячие лучи солнца жгли спины рабов, но они неустанно гребли. Если же какой-нибудь раб на несколько секунд приостанавливался для отдыха, надзиратели-негры хлестали его ремennыми бичами.

Вскоре галера достигла берега и вошла в маленький глубокий залив. Трое гребцов стали измерять глубину. Вдруг к берегу подъехали верхом на ослах три араба. Крикнув что-то угрожающее гребцам, они стали метать в галеру короткие копья. Хозяин судна поспешно схватил тугой лук и пустил в арабов стрелу. Стрела вонзилась одному арабу в горло. Он покачнулся и упал. Остальные арабы ускакали. Тогда гребцы кинули якорь, а негры принесли длинную веревочную лестницу с тяжелыми гирями. Хозяин ловко перекинул ее через край в воду, а концы ее привязал к железным скобам. После этого приготовления хозяин сказал что-то неграм; те схватили одного из молодых рабов, сняли с него оковы, залепили ему уши и ноздри мягким воском и привязали к его пояснице тяжелый камень.

Хозяин приказал рабу доставать из воды самые лучшие жемчужины. Раб еле-еле спустился по лестнице в воду и нырнул. На месте его погружения образовался небольшой круг и поднялось несколько пузырьков. В тихой, прозрачной воде показались прожорливые акулы. На нос судна сел укротитель акул и стал громко бить в барабан. Прошло немного более минуты. Раб вынырнул из воды и, неровно, тяжело дыша, схватился за лестницу. В правой руке он держал жемчужину. Негры не дали

ему отдохнуть, выхватили жемчужину и столкнули его обратно в пучину.

Рабы заснули над веслами... А раб-водолаз все нырял и всякий раз выныривал с прекрасной жемчужиной в руке. Хозяин брал жемчужины, взвешивал их на небольших весах из слоновой кости и опускал в кожаный зеленый мешочек. Но вот водолаз нырнул в последний раз и принес жемчужину прекраснее всех остальных. Формой она походила на полную луну, а цветом – на ясную утреннюю звезду. Передав эту жемчужину неграм, раб вытянул руки вверх, и его вытащили на палубу.

Лицо раба страшно побледнело; он не мог держаться на ногах и упал. Из его ноздрей полилась кровь. Дрогнув несколько раз, он затих навеки... Негры переглянулись и тотчас же выбросили его тело в море на съедение акулам. Хозяин не смутился, он только как-то странно усмехнулся и тотчас же взял принесенную из воды последнюю жемчужину. При виде ее он приятно осклабился и, проговорив: «Она будет украшением скипетра Короля», приказал неграм сниматься с якоря.

Молодой Король, все время находившийся в каком-то оцепенении, от последних слов хозяина судна пришел в себя, громко вскрикнул и... проснулся. В открытое окно было видно, как рассвет боролся с мраком ночи и тушил горевшие звезды. Вскоре очи Короля смежились опять, он заснул и вот что увидел в третьем сне.

Ему приснилось, что он идет дремучим тропическим лесом. На деревьях висели роскошные плоды и росли красивые ядовитые цветы. Вверху, громко болтая, перепархивали с дерева на дерево разноцветные попугаи, а внизу ползали с шипением ехидны. На полянах в горячей тине нежились черепахи. На больших деревьях сидели павлины и лазили обезьяны. Долго шел лесом Король, наконец он достиг опушки леса. Здесь ему представилась следующая картина.

Множество людей работало в русле отведенной в сторону реки. Рабочие рыли русло и спускались в глубокие колодцы. Одни из них кололи береговые скалы, а другие копались в песке. Береговая зелень была смешана с грязью, деревья вырыты с корнями, а цветы затоптаны. Все до одного рабочие были заняты, каждый из них суетился и спешил.

Король взглянул под гору. Оттуда, из мрака расселины, за рабочими приглядывали Смерть и Алчность.

И говорит Смерть Алчности:

– Я не могу оставаться без дела, мне надо что-нибудь похитить; отдай мне третью часть рабочих, и я уйду.

Алчность ответила:

– Ни за что. Они – мои слуги.

– А что ты держишь в руке? – вдруг спросила Смерть.
– Три хлебных зерна. Но зачем тебе это?
– Да мне скучно. Дай мне хоть одно зерно, – вскричала Смерть, – и я уйду отсюда!

– Ты ничего не получишь, – ответила Алчность, поспешно пряча руку в складки своего покрывала.

Смерть усмехнулась и, достав черную чашу, наполнила ее болотной водой. Из чаши поднялась испарением болотная лихорадка. Она окутала холодным сырým туманом толпу рабочих, и трети последних не стало: они были мертвы.

Алчность, лишившись трети своих людей, зарыдала, говоря Смерти:

– Уходи отсюда! Разве мало тебе добычи на белом свете? В Азии теперь война, и враждующие короли призывают тебя... Уходи же и не возвращайся!

– Я не уйду до тех пор, – отвечала Смерть, – пока ты не дашь мне хоть одного хлебного зерна.

Алчность злобно посмотрела на Смерть и, еще крепче зажав руку, со скрежетом сказала:

– Ничего, ничего я тебе не дам...

Смерть опять усмехнулась, махнула рукой, и из лесной чащи, где росла ядовитая цикута, вылетела пламенем лихорадка и прошла сквозь толпу людей. От ее прикосновения не стало еще трети людей.

Алчность посыпала пеплом голову и, бия себя в грудь, кричала:

– Ведь это жестоко, жестоко! В Туркестане, Индии и Египте царит голод. Ты там нужна. Иди туда и не трогай моих людей!..

– До тех пор не уйду, пока ты не дашь мне одного хлебного зернышка, – решительно проговорила Смерть.

– Ничего не получишь, – ответила Алчность и отвернулась от Смерти.

Смерть презрительно улыбнулась и свистнула сквозь пальцы. Поднялся вихрь, и в воздухе появилась гигантская черная женщина. На ее челе была красная надпись: «Чума». Она простерла свои крылья над долиной, где работали люди, и застыла в ожидании.

Вскоре на месте работ не осталось ни одного человека: все умерли. Алчность огласила долину громкими воплями и полетела за лес.

Смерть, погрозив ей вслед, свистнула и в кровавом вихре мгновенно умчалась.

Молодой Король заплакал и закрыл лицо руками.

– Не плачь, так всегда бывает, – сказал ему кто-то сзади.

Король обернулся и увидел человека в длинной, широкой одежде.

– Кто эти мертвецы рабочие и что они искали? – спросил Король.

– Они наняты купцом и искали рубины для короны Молодого Короля, – отвечал человек.

– Для какого короля? – спросил бледный Король.

– А вот взгляни в зеркало – и узнаешь его, – сказал человек и, достав небольшое серебряное зеркало, поднес его к лицу Короля.

Король, взглянув в зеркальце, увидел себя. Он вскрикнул и... проснулся.

В открытое окно рвались яркие лучи солнечного света. В саду распевали птицы...

Король позвонил. Вошли пажы, а за ними Распорядитель дворца и высшие сановники. Пажы принесли мантию, сотканную из золота, скипетр, обвитый жемчугом, и корону, украшенную кровавыми рубинами.

Молодой Король с восхищением посмотрел на свои прекрасные уборы, но, вспомнив сны, встрепенулся и сказал:

– Я не надену эти уборы; уберите их!

Придворные подумали, что он шутит, и засмеялись.

Но Король строго сказал:

– Я говорю: спрячьте эти вещи; я не надену их, хотя сегодня и день моего коронования. – Король встал и, указывая на уборы, скорбно продолжал: – О, если бы вы знали, как добыты эти вещи! Вот эта мантия выткана руками скорби и страдания, а в сердце этих драгоценных камней – рубина и жемчуга – таится смерть...

И Король тотчас же рассказал придворным виденные им три сна.

Выслушав рассказ Короля, придворные переглянулись и тихо проговорили:

– Ясное дело, он помешался, потому что сон – не действительность. Кто же верит снам? А потом, нам нет никакого дела до жизни работающих на нас. Мы платим им – и они работают. Если поступать так, как рассуждает Король, то, прежде чем съесть хлеб, надо повидать пахаря и поговорить с ним...

А Распорядитель выступил вперед и сказал:

– Король, все мы умоляем тебя не думать о снах и надеть уборы. Если же ты не наденешь эти царские одежды, то народ и не узнает тебя.

– Не может быть, чтобы народ не признал меня королем без царских одежд! – воскликнул Король.

– Да-да, народ не узнает тебя! – хором вскричали придворные.

– Как? – возражал Король. – Разве у меня не царственный вид? А впрочем, может быть, вы и правы. Однако я не надену мантии и короны.

Каким я сюда пришел когда-то, таким и выйду отсюда.

После этого Король велел уйти всем, кроме одного любимого паж. Выкупавшись при его помощи в ванне, Король достал из расписного сундучка свои прежние одежды: рубашку грубой ткани и жесткий овечий плащ. Все это он надел на себя и взял в руки простой посох пастуха.

Паж хотя и удивился, но с улыбкой сказал:

– Государь, ты при скипетре и в мантии, не хватает лишь короны...

Король вышел на балкон, сорвал ветку дикого шиповника и, сделав из нее венок, надел его на голову.

– Это будет моей короной, – сказал он.

Нарядившись так, Король вышел в Большую залу. Там его ждали собравшиеся придворные. Когда показался Король, они стали смеяться. Одни закричали: «Государь, ведь народ ждет не нищего, а короля». Другие негодовали: «Такой повелитель недостоин нас: он позорит государство».

Король молча прошел среди них, спустился вниз, сел на коня и медленно направился к собору. Паж шел рядом.

Народ не узнал Короля и насмешливо кричал:

– Смотрите, вот едет шут нашего Короля!

Король остановился и сказал:

– Не правда... я сам король. Выслушайте меня.

И он во всеуслышание рассказал виденные им сны. Когда Король замолк, из толпы выступил человек и с сожалением произнес:

– Эх, государь, тебе не изменить порядка в мире... Подумай только о том, что ваша пышность и роскошь кормят нас, бедняков. Не спорю, работать у жестокого хозяина тяжело, но совсем не иметь работы еще хуже. Ведь птицы нас кормить не будут. И ты не властен приказать продавцу и покупателю: «Продавай по такой-то цене!» или «Покупай на столько-то!» Наши страдания далеки от тебя, а потому поезжай обратно и надень свои уборы.

– Но ведь богатые и бедные – люди. И разве они не братья? – возразил Король.

– Да, – отвечал человек, – богатый и бедный такие же братья, как Каин и Авель.

На глазах Короля показались слезы. Но он не вернулся обратно, а поехал к собору. Паж около него уже не было: он испугался и убежал.

Подъехав к ступеням собора, Король слез с коня и хотел войти в собор. Но солдаты скрестили копья и сказали:

– Сюда нельзя. В эту дверь может пройти только один король.

Король гневно проговорил:

– Я – король... – и, отстранив копья, вошел в собор.

Старик Епископ, выступив к нему навстречу, удивленно сказал:

– Сын мой, эта пастушеская одежда – не наряд короля... Какой скипетр я дам тебе в руку и какой короной стану венчать тебя? Ведь нынешний день – день радости для тебя, а не день унижения.

– Но радость не должна облекаться в одежду страданий, – ответил Король и рассказал ему свои сны.

Когда Король закончил, Епископ гневно сказал:

– Сын мой, поверь умудренному опытом старику. Много зла в мире. Разбойники крадут чужое добро, похищают детей. Львы и дикие звери съедают слабых животных. Нищие голодают, и собаки более сытые, чем они. Ты бессилен все это изменить. Никто не будет повиноваться тебе. Тот, Кто создал нищету, мудрее тебя. Вернись во дворец, прими радостный вид, надень царские уборы – и я короную тебя. Сны же забудь, так как тяжесть и страдания мира непосильно тяжелы для сердца одного человека.

Король изумился.

– Как? – сказал он. – И ты говоришь мне это там, где витает дух Христа, объявшего своим чудным учением любви весь мир!

Сказав это, Молодой Король миновал Епископа, поднялся к алтарю и встал на колени перед изображением Христа. Большие свечи бросали яркий отблеск на золотые сосуды и ковчег, украшенный алмазами. Тонкие струйки ладана неслись кольцами вверх.

Король склонил голову и молился.

Священники, стоявшие около алтаря в роскошных мантиях, поспешно отошли.

Вдруг послышался шум, и в храм ворвались придворные с обнаженными мечами в руках. А за ними вошел и народ.

– Где он? Где сновидец? – кричали они. – Где этот нищий-король? Мы сейчас расправимся с ним! Он не должен править нами!

Молодой Король, нагнув голову, вдохновенно молился. Окончив молитву, он поднялся и печально взглянул на придворных. Сквозь узорчатые стекла храма на него пали потоки солнечных лучей.

Они заиграли на его одежде – и она стала прекраснее царской мантии. Они заставили расцвести его сухой посох – и он казался белее жемчуга. Они озарили увядшую на его голове ветку шиповника – и она расцвела розами алее рубинов короны.

В таком облачении он стоял, и Слава Творца наполнила храм. Звуки органа неслись к сводам, и дивный хор мальчиков пел хвалебную песнь.

Народ пал в трепете на колени, вельможи убрали мечи и низко

поклонились Королю.

Епископ побледнел...

– Более могущественный, чем я, венчает тебя! – сказал он и пал перед Королем на колени.

А Молодой Король медленно сошел со ступеней; его лицо сияло, как лик небесного ангела. Толпа расступилась перед ним, и он прошел во дворец.

День рождения Инфанты

Это был день рождения Инфанты. Ей исполнилось ровно двенадцать, и солнце ярко светило в дворцовых садах.

Хотя она была настоящая Принцесса, и притом наследная Принцесса Испанская, день рождения у нее был только один за весь год, как и у бедных детей, и потому, естественно, для всей страны было чрезвычайно важно, чтобы погода ради такого дня стояла хорошая. И погода действительно была очень хорошая.

Высокие полосатые тюльпаны стояли, вытянувшись на стеблях, как длинные шеренги солдат, и говорили розам, вызывая поглядывая на них через лужайку:

– Смотрите, теперь мы такие же пышные, как и вы.

Алые бабочки с золотой пыльцой на крылышках навещали по очереди все цветы; маленькие ящерицы выползали из трещин стены и грелись, недвижные, в ярком солнечном свете; гранаты лопались от зноя, обнажая свои красные, истекающие кровью сердца.

Даже бледно-желтые лимоны, которых столько свешивалось с полуразрушенных решеток и мрачных аркад, как будто сделались ярче от такого яркого солнца, а магнолии раскрыли шары своих больших цветов, наполняя воздух сладким и густым благоуханием.

Маленькая Принцесса прогуливалась по террасе со своими подругами, играла с ними в прятки вокруг каменных ваз и древних замшелых статуй. В обычные дни ей разрешалось играть только с детьми своего круга и звания, поэтому ей всегда приходилось играть одной; но день рождения был особенным днем, и Король позволил Инфанте пригласить кого угодно из ее юных друзей и поиграть с ними.

Была какая-то величавая грация в этих тоненьких и хрупких испанских детях, когда они скользили неслышной поступью по дворцовому саду, мальчики – в шляпах с огромными перьями и коротеньких развевающихся плащах, девочки – в тяжелых парчовых платьях с длинными шлейфами, которые они придерживали рукой, заслоняясь от солнца большими веерами, черными с серебром.

Но всех грациознее была Инфанта и всех изящнее одета, хотя мода тогда была довольно строгой. Ее платье было из серого атласа, юбка и рукава-буфы богато расшиты серебром, а тугий корсаж – мелким жемчугом. Когда она шла, из-под платья выглядывали крохотные туфельки с

пышными розовыми бантами. Большой газовый веер Инфанта тоже был розовый с жемчугом, а в ее волосах, которые, как венчик из тусклого золота, обрамляли ее бледное личико, красовалась дивная белая роза.

Из окна во дворце за ними следил грустный, унылый Король.

У него за спиной стоял его ненавистный брат, Дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его духовник, Великий Инквизитор Гренады. Король был даже грустнее обычного, потому что, глядя, как Инфанта с детской серьезностью отвечает на поклон придворных или, прикрывшись веером, смеется над мрачной герцогиней Альбукеркской, своей неизменной спутницей, он думал о юной Королеве, ее матери, которая, как казалось ему, еще совсем недавно приехала из веселой французской земли и завяла среди мрачного великолепия испанского двора. Она умерла ровно через полгода после рождения Инфанта и не дождалась, чтобы еще раз зацвел в саду миндаль, и осенью этого года уже не срывала плодов со старого фигового дерева, стоявшего среди двора, ныне густо заросшего травой.

Так велика была любовь Короля к ней, что он не позволил даже могиле скрыть возлюбленную от его взоров. Он велел набальзамировать ее мавританскому врачу, которого, как говорили, уже осудила на казнь святая инквизиция по обвинению в ереси и подозрению в магии и которому, в награду за эту услугу, была дарована жизнь. Тело ее и поныне лежало на устланном коврами ложе в черной мраморной часовне дворца – совсем такое же, каким внесли его сюда монахи в тот ветреный мартовский день почти двенадцать лет тому назад. Каждый месяц Король, закутанный в черный плащ и с потайным фонарем в руке, входил в часовню, опускался на колени перед катафалком и звал: «Моя Королева! Моя Королева!» И порой, забыв об этикете, который в Испании управляет каждым шагом человека и ставит предел даже королевскому горю, он в безумной тоске хватал бледные руки, униженные дорогими перстнями, и пробовал разбудить страстными поцелуями холодное раскрашенное лицо.

Сегодня ему кажется, что он снова увидел ее такой же, как тогда, в первый раз, в замке Фонтенбло. Ему было всего пятнадцать лет, а ей и того меньше. В тот же день в присутствии короля и всего двора они были официально обручены папским нунцием, и королевич вернулся в Эскуриал, унося с собой легкий завиток золотистых волос и память о прикосновении детских губок, прильнувших с поцелуем к его руке, когда он садился в карету.

Некоторое время спустя их наскоро повенчали в Бургосе, маленьком городке на границе Франции и Испании, а потом был торжественный въезд в Мадрид, где, по обычаю, отслужили торжественную мессу в церкви La

Atocha и устроили необычайно величественное аутодафе, для которого светским властям было передано на сожжение около трехсот еретиков, в том числе много англичан.

Он безумно любил ее, любил, как думали многие, на погибель своей стране, воевавшей тогда с Англией за обладание империей Нового Света. Он ни на шаг не отходил от нее; ради нее он готов был, казалось, забыть самые важные государственные дела и, ослепленный страстью, не замечал, что его церемонная вежливость, которой он пытался угодить ей, только усиливала странную болезнь, подтачивавшую ее здоровье. Когда она умерла, он на какое-то время почти лишился рассудка. Он бы даже отрекся от трона и удалился бы в большой траппистский монастырь в Гренаде, почетным приором которого состоял с давних пор, если бы не боялся оставить маленькую Инфанту на попечение своего брата, сумевшего даже в Испании прославиться своей жестокостью. Поговаривали, что это он стал причиной смерти Королевы, преподнеся ей пару отравленных перчаток во время посещения королевской четой его дворца в Араге. Даже когда истек срок трехгодичного траура, объявленного королевским указом во всех владениях испанской короны, Король не позволил своим министрам заводить речь о его новом браке; а когда сам Император заслал к нему сватов, предлагая в жены свою племянницу, прелестную эрцгерцогиню Богемскую, он попросил их передать своему господину, что он уже обвенчан с Печалью и, хотя эта супруга бесплодна, он все же предпочитает ее Красоте. Ответ этот стоил испанской короне богатых Нидерландских провинций, которые вскоре, по наущению Императора, восстали против Испании под предводительством нескольких фанатиков-протестантов.

Вся его супружеская жизнь, с ее неистовыми пылкими радостями, и страшная мука, которую он пережил, когда всему вдруг пришел конец, – все это как будто вернулось к нему теперь, когда он в окно наблюдал за Инфантой, резвящейся на террасе. В ней была милая живость ее матери, та же своевольная манера вскидывать головку, тот же гордый изгиб прекрасного рта, та же дивная улыбка – настоящая французская улыбка, когда она порой поглядывала на окно или протягивала какому-нибудь статному испанцу свою крохотную ручку для поцелуя. Но громкий детский смех резал его ухо; безжалостно яркое солнце словно издевалось над его горем, а свежий утренний воздух был пропитан, казалось, тяжелым запахом снадобий, какие употребляют при бальзамировании. Король закрыл лицо руками, и, когда Инфанта снова подняла глазки к окну, занавеси были уже спущены и Король исчез.

Инфанта сделала недовольную гримаску и пожала плечиками – уж мог

бы он с ней побыть в день ее рождения. Кому они нужны, эти глупые государственные дела! Или, может быть, он отправился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ей запрещают входить? Как это глупо с его стороны, ведь солнце светит так ярко и всем так весело! И вот теперь он не увидит шуточного боя быков, на который уже созывают трубы, не увидит марионеток и других удивительных забав. Ее дядя и Великий Инквизитор куда разумнее. Они пришли на террасу и были с ней так любезны.

Она тряхнула хорошенькой головкой и, взяв под руку Дона Педро, стала медленно спускаться по ступенькам к длинному, обтянутому алым шелком павильону, воздвигнутому в конце сада; остальные дети двинулись за ней следом один за другим – соответственно знатности рода. Те, у которых были самые длинные имена, шествовали впереди.

Навстречу Инфанте вышла процессия мальчиков из самых знатных семейств, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и юный граф Тьерра-Нуэва, изумительно красивый мальчик лет четырнадцати, обнажив голову с грацией прирожденного идадьго и испанского гранда, торжественно подвел ее к возвышению над ареной, где стояло небольшое золоченое кресло, инкрустированное слоновой костью. Дети собрались вокруг, перешептываясь между собой и обмахиваясь большими веерами, а Дон Педро и Великий Инквизитор, смеясь, остались у входа. Даже герцогиня – главная камерера, как ее называли, – тощая, суровая женщина, в желтых брыжах, не казалась такой сердитой, как обыкновенно, и что-то вроде холодной улыбки скользило по ее морщинистому лицу, кривя тонкие бескровные губы.

Это, бесспорно, был чудесный бой быков – гораздо красивее, по мнению Инфанты, настоящего, на который ее возили в Севилью, когда у ее отца гостил герцог Пармский. Некоторые из мальчиков гарцевали на палочках, покрытых роскошными чепраками, и размахивали длинными пиками с веселыми пучками ярких лент; другие прыгали перед быком, дразня его своими красными плащами и легко вскакивая на барьер, когда бык кидался на них; что касается самого быка, он был совсем как настоящий, хотя и сделан из ивовых прутьев, обтянутых кожей, и порой предпочитал бегать вдоль арены на задних ногах, что, конечно, никогда не взбрело бы в голову живому быку. Сражался он великолепно, и дети пришли в такое возбуждение, что вскакивали на скамейки, махали кружевными платочками и кричали: «Браво, торо! Браво, торо!» – совсем как взрослые.

Наконец, после продолжительного боя, во время которого бык

проколол своими рогами немало игрушечных лошадок и выбил из седла их наездников, юный граф Тьерра-Нуэва заставил быка стать на колени и, получив от Инфанты разрешение нанести ему *coup de grace*, с такою силой вонзил свою деревянную шпагу в шею животному, что голова отскочила, и все увидели смеющееся личико маленького мосье де Лоррэн, сына французского посланника в Мадриде.

Еще не смолкли громкие рукоплескания, а арена была уже очищена, и погибших лошадок торжественно уволокли со сцены два мавританских пажа в желтых с черным ливреях; и после краткой интермедии, во время которой француз-гимнаст плясал на туго натянутом канате, на сцене небольшого театрика, построенного именно для этого случая, была представлена итальянскими куклами полуклассическая трагедия «Софонисба». Они играли так чудесно и жесты их были так естественны, что к концу спектакля глазки Инфанты затуманились от слез. Некоторые из детей плакали во весь голос, и приходилось утешать их сладостями. Даже сам Великий Инквизитор был так растроган, что не удержался и сказал Дону Педро, как ему больно видеть, что простые куклы на проволоках, из дерева и крашеного носка, могут быть так несчастны и переживать такие тяжкие бедствия.

Затем появился африканец-фокусник, который принес с собой большую плоскую корзину, покрытую красным сукном, поставил ее посередине арены, достал из своего тюрбана какую-то чудную дудку из тростника и начал на ней играть. Немного спустя сукно зашевелилось, и, когда звуки дудки стали резче и пронзительнее, из-под него высоко подняли свои странные клинообразные головы две изумрудно-золотистых змеи и медленно стали раскачиваться под музыку, словно растения в воде. Детей, однако, пугали их пятнистые клобучки и проворные острые жала, им гораздо больше понравилось, когда у них на глазах, по воле фокусника, выросло из песка крохотное апельсиновое деревце, которое тут же покрылось хорошенькими белыми цветочками, а затем и настоящими плодами. Когда же фокусник взял у маленькой дочки маркизы де Лас-Торрес веер и превратил его в синюю птицу, которая стала с пением носиться по павильону, их изумление и восторг не знали границ.

Торжественный менуэт, исполненный маленькими танцовщиками из церкви Нуэстра Сеньора Дель Пилар, тоже понравился им. Инфанта никогда еще не видела этого удивительного обряда, совершаемого ежегодно в мае в честь Пресвятой Богородицы пред ее высоким престолом, потому что никто из членов испанского королевского дома ни разу не переступил порог большого сарагосского собора с тех пор, как сумасшедший

священник, подкупленный, как подозревали, королевой Елизаветой Английской, пытался причастить там принца Астурийского отравленной облаткой. Инфанта только понаслышке знала о «танце Богородицы» и нашла, что он действительно очень красив. Мальчики-танцоры были в старинных придворных костюмах из белого бархата и диковинных треуголках, обшитых серебряным галуном и увенчанных большими страусовыми плюмажами. Их смуглые лица и длинные черные волосы еще больше оттеняли ослепительную белизну костюмов. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они выполняли замысловатые фигуры танца, изысканной грацией их медлительных жестов и величавых поклонов, и в конце, когда они, сняв свои огромные, украшенные перьями шляпы, склонились перед Инфантой, она чрезвычайно любезно ответила на их поклон и мысленно дала себе обет поставить большую восковую свечу пред алтарем Пресвятой Девы Дель Пилар в благодарность за доставленное удовольствие.

А потом на арене появилась группа красавцев египтян, как в те дни называли цыган; они уселись в кружок, поджав под себя ноги, и тихонько заиграли на цитрах, раскачиваясь в такт музыке и едва слышно напевая что-то мечтательное и тягучее. Когда они заметили Дона Педро, они нахмурились и на лицах некоторых из них изобразился ужас, ибо всего лишь за несколько недель перед тем Дон Педро велел повесить в Севилье на рыночной площади двух человек из их племени за колдовство, но хорошенькая Инфанта, которая слушала их, откинувшись на спинку кресла, и мечтательно глядела большими голубыми глазами вверх своего веера, совсем их пленила. Они чувствовали уверенность, что такое прелестное существо не способно на жестокость. И они продолжали играть тихо и нежно, едва касаясь струн длинными ногтями и кивая головами, словно в полудремоте. И вдруг египтяне с пронзительным криком, таким, что все дети вздрогнули, а рука Дона Педро стиснула агатовую рукоять кинжала, вскочили на ноги и закружились, как бешеные, вокруг арены, ударяя в свои тамбурины и распевая какую-то дикую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем все разом кинулись на землю, и теперь только глухой звон цитр нарушал тишину. Повторив это несколько раз, они на миг исчезли и вывели на цепи косматого бурого медведя. На плечах у них сидело несколько крохотных барбарийских обезьянок. Медведь с необычайной серьезностью встал на голову, а обезьянки со сморщенными личиками стали проделывать всякие забавные штуки. Они фехтовали крохотными шпагами с двумя цыганами, по-видимому, их хозяевами, стреляли из ружей, а потом выстроились в ряд и начали делать солдатские

артикулы – совсем как на ученье королевской лейб-гвардии. Цыгане очень понравились детям.

Но самым забавным развлечением этого утра были, бесспорно, танцы маленького Карлика. Когда он ввалился на арену, ковыляя на кривых коротеньких ножках и мотая огромной безобразной головой, дети подняли восторженный крик, и даже сама Инфанта так смеялась, что Камеристка вынуждена была напомнить ей, что хотя в Испании не раз видели королевских дочерей, плачущих перед равными, однако неслыханное дело, чтобы Принцесса королевской крови веселилась так в присутствии тех, кто ниже ее по рождению.

Однако Карлик был действительно неотразим, и даже при испанском дворе, известном своим пристрастием ко всему ужасному и безобразному, такого фантастического маленького чудовища еще не видели. Да этот Карлик и не выступал прежде. Его нашли всего за день до того. Двое грандов, охотившихся в отдаленной части пробкового леса, окружавшего город, встретили его, когда он бежал опрометью через лес, и привезли с собою во дворец, чтоб устроить Инфанте сюрприз; отец его, бедный угольщик, был только рад избавиться от такого уродливого и бесполезного ребенка. Самое забавное в Карлике было, быть может, то, что сам он совершенно не сознавал, как уродлив и смешон. Напротив, он казался необычайно счастливым и веселым. Когда дети смеялись, и он смеялся так же непринужденно и радостно, и по окончании каждого танца отвечивал каждому из них в отдельности уморительнейшие поклоны, улыбаясь и кивая головою, словно сам был такой же, как они, а не маленький уродец, которого природа однажды под веселую руку создала на потеху другим. Инфантой он был очарован безмерно, не мог от нее глаз оторвать и, казалось, плясал для нее одной. И когда, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты Каффарелли, знаменитому итальянскому дисканту, которого Папа прислал в Мадрид из собственной домово́й церкви в надежде, что сладкие звуки его голоса исцелят тоску Короля, она вынула из волос красивую белую розу и, шутки ради, а также для того, чтобы позлить Камеристку, с очаровательной улыбкой бросила эту розу Карлику через всю арену. Тот принял это совершенно серьезно, прижал цветок к губам, уродливым и толстым, приложил руку к сердцу и опустился перед Инфантой на одной колено, причем радостная улыбка растянула рот его до ушей, а маленькие светлые глазки заискрились от удовольствия.

После этого Инфанта была не в состоянии оставаться серьезной и продолжала смеяться еще долго после того, как Карлик убежал с арены, и попросила дядю, чтобы танец немедленно был повторен. Камеристка,

однако, сославшись на чрезмерную жару, заявила, что для ее высочества лучше будет немедленно вернуться во дворец, где для нее уже приготовлен роскошный пир и стоит на столе настоящий именинный пирог, с инициалами новорожденной из крашеного сахара и красивым серебряным флагом на верхушке. Инфанта с большим достоинством поднялась с места, приказала, чтоб маленький Карлик еще раз проплясал перед нею после сиесты, и, поблагодарив юного графа Тьерра-Нуэва за чудесный прием, удалилась в свои апартаменты. За нею двинулись прочие дети в том же порядке, как пришли.

Когда маленькому Карлику сказали, что он будет еще раз танцевать перед Инфантой по ее личному особому приказу, он так обрадовался, что убежал в сад, в нелепом восторге покрывая поцелуями белую розу и выражая свое счастье самыми дикими и неуклюжими жестами.

Цветы пришли в негодование от дерзкого вторжения уродца в их прекрасную обитель; когда же они увидели, как он скачет по дорожкам, смешно и неуклюже размахивая руками над головой, они уже не в состоянии были дольше сдерживаться.

– Право, он слишком безобразен, чтобы позволять ему играть в тех местах, где находимся мы! – восклицали Тюльпаны.

– Напоить бы его маковым цветом, чтоб он уснул на тысячу лет, – проговорили высокие огненно-красные Лилии и от гнева запылали еще ярче.

– Ужас, прямо ужас, до чего он безобразен! – взвизгнул Кактус. – Он весь искривленный, приземистый, и голова у него несообразно велика по сравнению с ногами. При виде его у меня колючки встают дыбом, и, если он только подойдет ко мне, я его исколю своими шипами.

– И у него в руках к тому же один из лучших моих цветков, – воскликнул Куст Белых Роз. – Я сам подарил его нынче утром Инфанте ко дню рождения, а он его украл у нее. – И он закричал что было силы: – Вор! Вор! Вор!

Даже красные Герани, которые вообще-то из спесивых – у них у самих куча бедных родственников, – так и скручивались все от отвращения, и когда Фиалки скромно заметили, что хоть он и очень некрасив, но не по своей же вине, – Герани не без основания возразили, что в том-то и беда и что раз он неизлечим, нет оснований восхищаться им только за это. Да и некоторые из Фиалок сами чувствовали, что Карлик как будто даже кичится своим безобразием, выставляя его напоказ, и что он выказал бы гораздо больше вкуса, если бы принял печальный или хотя бы задумчивый вид, вместо того чтоб прыгать и скакать по дорожкам, принимая такие

причудливые и нелепые позы.

Что касается старых Солнечных Часов – особы выдающейся и некогда указывавшей время самому Императору Карлу Пятому, – то они до того были поражены видом маленького Карлика, что чуть не забыли отметить целых две минуты своим длинным тeneвым пальцем и не удержались, чтобы не сказать большому молочно-белому Павлину, гревшемуся на солнышке на балюстраде, что, мол, всем известно, что царские дети – это царские дети, а дети угольщика – это дети угольщика, и не к чему уверять, будто это не так, с чем Павлин всецело согласился и даже крикнул: «Несомненно! Несомненно!» – таким пронзительным и резким голосом, что Золотые Рыбки, жившие в бассейне фонтана, от которого веяло прохладой, высунули головки из воды и спросили у огромных каменных Тритонов, в чем дело и что произошло.

А вот птицам Карлик почему-то понравился. Они и раньше часто видели в лесу, как он плясал, подобно эльфу, гоняясь за подхваченными ветром листьями, или же, свернувшись клубочком где-нибудь в дупле старого дуба, делил с белками собранные им орехи. И они ничуть не возмущались его безобразием. Ведь и соловей, который по вечерам пел в апельсиновых рощах так сладко, что даже луна иной раз склоняла свой лик, чтобы послушать его, был не великий красавец; к тому же мальчик был добр к ним, и в жестокую зимнюю стужу, когда на деревьях нет ягод и земля становится тверда, как железо, а волки подходят в поисках пищи к самым городским воротам, он никогда не забывал о них, и всегда бросал им черные крошки от своего ломтя, и делил с ними свой завтрак, как бы он ни был скуден.

И птицы порхали вокруг него, задевая крылышками его щеки, и щебетали меж собою, и маленький Карлик был так счастлив, что не мог удержаться и похвастался перед ними пышною белою розой, сказав, что эту розу подарила ему сама Инфанта, потому что она любит его.

Птицы не поняли ни слова, но это не беда, потому что они с задумчивым видом склонили головки набок, а это все равно что понимать, да к тому же много легче.

Ящерицам он тоже очень понравился; и когда он устал бегать и прилег на траву отдохнуть, они подняли веселую возню вокруг него и на нем самом и всячески старались позабавить его.

– Не всем же быть такими красивыми, как ящерицы. Этого нельзя и требовать, – говорили они. – И, хотя это звучит нелепо, в сущности, он не так уж безобразен, если, конечно, закрыть глаза и не смотреть на него.

Ящерицы – прирожденные философы, и они часами способны сидеть

на одном месте и размышлять, когда им больше нечего делать или когда погода слишком дождливая.

Цветам, однако, очень не понравилось ни их поведение, ни поведение птиц.

– Это только показывает, – говорили они, – какими вульгарными становятся те, кто все время летает и бежит. Хорошо воспитанные создания, вроде нас, всегда стоят на одном месте. Кто видел, чтобы мы метались взад-вперед по дорожкам или же скакали, как безумные, по траве в погоне за какою-нибудь стрекозой? Когда мы испытываем потребность в перемене воздуха, мы посылаем за садовником, и он пересаживает нас на другую клумбу. Это – прилично, это вполне *comme il faut*, но ящерицы и птицы не ценят покоя, у птиц даже нет постоянного адреса. Они просто бродяги, вроде цыган, с ними и обращаться надо как с бродягами.

Цветы вздернули носики, приняли высокомерный вид и были очень довольны, когда немного погодя маленький Карлик встал с травы и заковылял к дворцовой террасе.

– Право, его следовало бы запереть до конца жизни, – говорили они. – Вы только посмотрите, какой у него горб на спине! А ноги какие кривые! – И они захихикали.

Но маленький Карлик не подозревал об этом. Он страшно любил птиц и ящериц и находил, что цветы – самое удивительное, что только есть на свете, конечно, за исключением Инфанти; но ведь Инфанта дала ему дивную белую розу, и она любит его, а это другое дело! Как ему хотелось быть опять вместе с нею. Она посадила бы его по правую руку от себя и улыбалась бы ему, и он никогда больше не ушел бы от нее, а сделал бы ее своим товарищем и научил бы ее всяким восхитительным штучкам. Ибо, хотя он никогда раньше не бывал во дворце, он знал множество удивительных вещей. Он умел, например, делать из тростника крохотные клетки для кузнечиков, чтоб они сидели и пели там, и превращать суставчатый длинный бамбук в такую свирель, которой заслушался бы сам Пан. Он умел подражать птичьим голосам и мог позвать скворца с верхушки дерева и цаплю с болота. Он знал, какое животное какие оставляет за собою следы, и умел выследить зайца по легким отпечаткам его лапок и кабана по растоптанным листьям. Ему были знакомы все пляски людей, живущих среди природы: и бешеный танец осени в одежде из багряницы, и легкая пляска в васильковых сандалиях среди спелых хлебов, и танец зимы с венками из сверкающего белого снега, и вешняя пляска в цветущих фруктовых садах.

Он знал, где вьют свои гнезда дикие голуби, и как-то раз, когда голубь

с голубкой попались в силки птицелова, он сам воспитал покинутых птенцов и устроил для них маленькую голубятню в трещине расколотого вяза. Голуби выросли совсем ручными и каждое утро кормились из его рук. Они, наверное, понравились бы Инфанте, как и кролики, шнырявшие в высоких папоротниках, и сойки с твердыми перышками и черными клювами, и ежи, умеющие свертываться в колючие шарики, и большие умные черепахи, которые медленно ползают, тряся головами и грызя молодые листочки. Да, она обязательно должна прийти к нему в лес поиграть вместе с ним. Он уступит ей свою постельку, а сам будет сторожить за окном до рассвета, чтобы ее не обидели дикие зубры и не подкрались слишком близко к хижине отощавшие с голоду волки. А на рассвете он постучится в ставни и разбудит ее, и вместе они пойдут в лес и будут плясать целый день. В лесу, право же, совсем не скучно. Иной раз епископ проедет на своем белом муле, читая книжку с картинками. А то пройдут сокольничие в зеленых бархатных шапочках, в камзолах из дубленой оленьей кожи, и у каждого на руке по соколу, а голова у сокола покрыта клубочком. В пору же уборки винограда проходят виноградари, руки и ноги у них красные от виноградного сока, а на головах венки из глянцевого плюща, и они несут мехи, из которых каплет молодое вино; а по вечерам вокруг больших костров усаживаются угольщики и смотрят, как медленно обугливаются в огне сухие поленья, и жарят в пепле каштаны, и разбойники выходят из своих пещер повеселиться вместе с ними.

Как-то он даже видел замечательную процессию, извивавшуюся, как змея, по длинной пыльной дороге, ведущей в Толедо. Впереди шли монахи, сладостно пели и несли яркие хоругви и золотые кресты, за ними в серебряных латах, с мушкетами и пиками шли солдаты, а посреди солдат – трое босоногих людей с зажженными свечами в руках и в странной желтой одежде, сплошь разрисованной какими-то удивительными фигурами. Уж в лесу-то есть на что посмотреть; а когда она устанет, он отыщет для нее мягкое ложе из мха или же понесет ее на руках, потому что он ведь очень сильный, хоть и сам знает, что невысок ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии, которые так же красивы, как те белые ягоды, что вышиты у нее на платье; а если ей надоест это ожерелье, она может его бросить, и он найдет ей другое. Он будет приносить ей чашечки от желудей, и покрытые росой анемоны, и крохотных светлячков, которые будут искриться, как звезды, в бледном золоте ее волос.

Однако где же она? Он спросил об этом Белую Розу, но та не ответила. Весь дворец, казалось, спал, и даже там, где ставни не были заперты, окна

были завешены от яркого солнца тяжелыми занавесями. Карлик обошел кругом весь дворец, ища, как бы пробраться внутрь, и наконец заметил небольшую открытую дверь. Он проскользнул туда и очутился в роскошном зале – увы! – гораздо более пышной, чем лес: там всюду было столько позолоты, и даже пол выстлан большими цветными камнями, уложенными в какие-то геометрические фигуры. Но маленькой Инфанти там не было; были только белые статуи на пьедесталах из яшмы, смотревшие на него с какой-то странной улыбкой печальными пустыми глазами.

В конце зала висела богато расшитая занавесь из черного бархата, усеянная солнцами и звездами – любимый узор короля, – да и черный цвет был его самый любимый. Может быть, она спряталась за этой занавесью? Во всяком случае, надо взглянуть.

Он тихонько подкрался к портьере и отдернул ее. Нет, за портьерой была только другая комната, и она показалась ему еще красивее той, откуда он только что вышел. Стены здесь были увешаны зелеными гобеленами со множеством фигур, изображавших охоту, – произведение фламандских художников, потративших больше семи лет на эту работу. Некогда это была комната Иоанна Безумного – помешанного короля, который так страстно любил охоту, что в бреду нередко пытался вскочить на огромного вздыбившегося коня, вытканного на гобелене, стащить со стены оленя, на которого кидались большие собаки, затрубить в охотничий рог и заколоть ножом убегающую лань. Ныне эта комната была превращена в зал совета, и на стоявшем посреди него столе лежали красные портфели министров с тисненными испанскими золотыми тюльпанами, а также гербами и эмблемами Габсбургов.

Маленький Карлик в изумлении озирался вокруг и даже немножко побаивался идти дальше. Станные, безмолвные всадники, скакавшие так быстро и бесшумно по длинным лесным дорогам, напоминали ему страшных призраков, – о них он слышал от угольщиков, – компрачикосов, которые охотятся только ночью и если встретят человека, то превратят его в оленя и затравят насмерть. Но он вспомнил о маленькой Инфанте, и это придало ему мужества. Ему хотелось застать ее одну и сказать ей, что он ее тоже любит. Быть может, она в смежной комнате?

По мягким мавританским коврам он неслышно перебежал через комнату и распахнул дверь. Нет, и там ее не было. Комната была совершенно пуста.

То был тронный зал, служивший для приема иностранных послов, когда Король – что в последнее время случалось нечасто – соглашался дать

им аудиенцию; в этом самом зале много лет назад были приняты посланники из Англии, явившиеся сватать свою Королеву, тогда одну из католических владык Европы, за старшего сына Императора. Стены здесь были обтянуты кордуанской золоченой кожей, а с черно-белого потолка свешивалась тяжелая люстра в триста восковых свечей. Под большим балдахином золотой парчи, на котором были вышиты мелким жемчугом кастильские львы и башни, стоял трон с наброшенным на него роскошным покрывалом из черного бархата, затканного серебряными тюльпанами и украшенного пышной бахромой из серебра и жемчуга. На второй ступени трона стояла скамеечка с подушкой из серебряной парчи, на которой преклоняла колена Инфанта, а еще пониже и уже не под балдахином – кресло для папского нунция – единственного, кто имел право сидеть в присутствии Короля во время публичных церемоний, и кардинальская шапка его с плетеными алыми кистями лежала спереди на красном табурете. Против трона на стене висел портрет Карла Пятого, изображенного во весь рост, в охотничьем костюме, с большою собакой; а всю середину другой стены занимал портрет Филиппа Второго, принимающего дары от Нидерландов. Между окон стоял шкафчик черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и резьбой, воспроизводившей гольбейновскую Пляску Смерти, которая, говорили, была сделана рукой самого знаменитого мастера.

Но Карлика не слишком занимало все это великолепие. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга балдахина, не отдал бы даже одного белого лепестка ее за сам трон. Ему нужно было совсем другое – повидать Инфанту прежде, чем она снова сойдет в павильон, и попросить ее уйти вместе с ним, когда он окончит танец. Здесь, во дворце, воздух тяжелый и спертый, а в лесу дует вольный ветер и солнечный свет играет на трепетных листьях, словно перебирая их золотыми руками. Там, в лесу, есть и цветы – быть может, не такие пышные, как в дворцовом саду, но зато аромат их нежнее: ранней весной – гиацинты, что заливают багряной волной прохладные доли и холмы, поросшие травой; желтые первоцветы, что гнездятся целыми семьями среди узловатых корней старого дуба; светлый чистотел и голубая вероника, золотые и лиловые ирисы. А на орешнике распускаются серенькие сережки, и наперстянка никнет под тяжестью своих пестрых чашечек, облепленных пчелами. Копья каштанов покрыты белыми звездочками, и луны боярышника бледны и прекрасны. Да она обязательно уйдет с ним – только бы ему найти ее. Она уйдет с ним в прекрасный лес, и он целыми днями будет плясать для ее удовольствия. При одной мысли об этом глаза его засветились улыбкой, и он перешел в

соседнюю комнату.

Из всех комнат эта была самая светлая и самая красивая. Стены ее были обтянуты алой камчой, расшитой птицами и хорошенькими серебряными цветочками; мебель была вся из литого серебра, с фестонами из цветочных гирлянд и раскачивающимися купидонами. Две большие ширмы, на которых были вышиты павлины и попугаи, отгораживали огромные камины, а пол из оникса цвета морской воды, казалось, уходил в бесконечность. И в этой комнате Карлик был не один. На другом конце зала, в дверях, стояла какая-то маленькая фигурка и наблюдала за ним. У него забилося сердце; крик радости сорвался с его уст, и он вышел на свет. Одновременно с ним вышла и фигурка, и теперь он ясно мог разглядеть ее.

Инфанта? Как бы не так! Это было чудовище – самое уморительное чудовище, когда-либо виденное им. Непропорционально сложенное, не так, как все прочие люди, с горбатой спиной, на кривых ногах, с огромной, мотающейся с боку на бок головой и спутанной гривой черных волос. Маленький Карлик нахмурился, и чудовище тоже нахмурилось. Он засмеялся, и оно засмеялось и уперлось руками в бока, копируя его жест. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон, и оно ответило ему таким же низким поклоном. Он пошел к нему, и оно пошло ему навстречу, повторяя все его шаги и движения и останавливаясь, когда он останавливался. С криком изумления он устремился вперед, протянул руку, и рука чудовища, холодная как лед, коснулась его руки. Он испугался, отдернул руку, и чудовище поспешило сделать то же. Он начал было наступать на него, но что-то гладкое и твердое загородило ему дорогу. Лицо чудовища было теперь совсем близко от его лица, и в лице этом он прочел ужас. Он отвел рукой волосы, падавшие ему на глаза. Чудовище сделало то же. Он ударил его, и оно отвечало ударом. Он начал его ругать – оно строило ему какие-то гадкие гримасы. Он отшатнулся назад, и оно отшатнулось.

Что же это такое? Карлик задумался на минуту, оглядел комнату. Странно, каждый предмет здесь как будто имеет своего двойника за этой невидимой стеной светлой воды. Здесь картина – и там картина; здесь канапе – и там канапе. Здесь спящий Фавн лежит в алькове у дверей – и там, за стеною, дремлет его двойник; и серебряная Венера, вся залитая солнцем, протягивает руки к другой Венере, такой же прелестной, как она.

Что это?.. Эхо? Однажды в долине он крикнул, и эхо откликнулось, повторило за ним все слова. Может быть, эхо умеет передразнивать и зрение, как оно умеет передразнивать голос. Может быть, оно умеет создать другой мир, совсем как настоящий. Но могут ли тени предметов иметь такие же, как предметы, краски, и жизнь, и движение? Разве могут?..

Он вздрогнул и, взяв со своей груди прелестную Белую Розу, повернулся и поцеловал ее. У чудовища оказалась в руках такая же роза, точно такая же – лепесток в лепесток. И оно точно так же целовало ее и прижимало к сердцу с безобразными жестами.

Когда истина вдруг открылась ему, он с диким воплем отчаяния кинулся, рыдая, на пол. Так это он сам – такой урод, горбатый, смешной, отвратительный? Это чудовище – он сам; это над ним так смеялись дети, и маленькая Принцесса тоже; он-то воображал, что она любит его, а она просто, как и другие, потешалась над его безобразием, над его уродливым телом. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, которое бы сказало ему, как он уродлив и гадок? Почему отец не убил его, вместо того чтобы продать его на позор? По щекам его струились горячие слезы. Он изорвал в клочки белый цветок; барахтавшееся на полу чудовище сделало то же и разбросало по воздуху лепестки. Оно пресмыкалось на земле, а когда он смотрел на него, оно тоже смотрело на него, и лицо его было искажено страданием. Он отполз подальше, чтобы не видеть его, и закрыл руками глаза. Как раненый зверек, он уполз в тень и лежал, тихо стеная.

В это время через дверь с террасы в комнату вошла Инфанта со своими гостями и увидела безобразного Карлика, который лежал на полу и колотил скрюченными пальцами; это было до того фантастически нелепо, что дети с веселым смехом обступили его – посмотреть, что он такое делает.

– Его пляски были забавны, – сказала Инфанта, – но представляет он еще забавнее. Почти так же хорошо, как и марионетки, только, разумеется, не так естественно.

И она обмахивалась своим огромным веером и хлопала в ладоши. Но маленький Карлик даже не взглянул на нее; его рыдания постепенно стихали. Вдруг он как-то странно подпрыгнул и схватился за бок. Потом упал и вытянулся без движения.

– Это у тебя очень хорошо получилось, – сказала Инфанта, подождав немного, – но теперь ты должен потанцевать для меня.

– Да, да, – закричали все дети, – теперь вставай и танцуй, потому что ты ничуть не хуже барбарийской обезьянки, даже забавнее.

Но маленький Карлик не откликнулся.

Инфанта топнула ножкой и кликнула дядю, который гулял с Камергером по террасе, читая депеши, только что полученные из Мексики, где недавно учреждена была святая инквизиция.

– Мой смешной маленький Карлик капризничает и не хочет вставать. Поднимите его и велите ему танцевать для меня.

С улыбкой переглянувшись, они вошли в комнату, и Дон Педро

нагнулся и потрепал Карлика по щеке своей вышитой перчаткой.

– Изволь плясать, маленький уродец, изволь плясать. Наследная Принцесса Испании и обеих Индий желает, чтоб ее забавляли.

Но маленький Карлик не шевелился.

– Его надо хорошенько отстегать, – устало молвил Дон Педро и опять ушел на террасу.

Но Камергер с озабоченным видом опустился на колени перед маленьким Карликом и приложил руку к его груди. А минуту спустя пожал плечами, поднялся и, низко поклонившись Инфанте, сказал:

– *Mi bella Princesa*, ваш забавный маленький Карлик никогда больше не будет плясать. Как жаль! Он так безобразен, что, пожалуй, рассмешил бы даже Короля.

– Но почему же он никогда больше не будет плясать? – смеясь, спросила Инфанта.

– Потому что у него разбилось сердце.

Инфанта нахмурилась, и ее прелестные розовые губки сложились в хорошенькую надменную гримаску.

– И на будущее, пожалуйста, сделайте так, чтобы у тех, кто приходит со мною играть, не было сердца! – крикнула она и убежала в сад.

Рыбак и его душа

Каждый вечер выходил в море молодой Рыбак и забрасывал сети.

Когда ветер был береговой, у Рыбака ничего не ловилось или ловилось, но мало, ибо береговой ветер есть злобный ветер – у него черные крылья, и буйные волны вздымаются навстречу ему. Но когда ветер был с моря, рыба поднималась из глубин, Рыбак относил ее на рынок и продавал ее.

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю. Однажды такой тяжелой ему показалась сеть, что трудно было поднять ее в лодку. Рыбак, усмехаясь, подумал: «Видно, я выловил из моря всю рыбу, или попало мне, на удивление людям, какое-нибудь глупое чудо морское. Но, может быть, моя сеть принесла мне такое страшилище, что великая наша королева пожелает увидеть его».

Напрягая силы, он налег на грубые канаты так, что длинные вены, точно нити голубой эмали на бронзовой вазе, обозначились у него на руках. Он потянул тонкие бечевки, все ближе и ближе большим кольцом подплыли к нему плоские пробки, и сеть наконец поднялась на поверхность воды.

Но в сети оказалась не рыба, не страшилище, не подводное чудо, а маленькая Морская Дева, которая крепко спала.

Ее волосы были подобны влажному золотому руно, и каждый отдельный волос был как тонкая нить из золота. Ее белое тело было словно изваяно из слоновой кости. Ее жемчужно-серебряный хвост обвивали зеленые водоросли. Уши были похожи на раковины, а губы – на морские кораллы. Об ее холодные груди бились холодные волны, и на ресницах ее искрилась соль.

Она была так прекрасна, что, увидев ее, исполненный восхищения юный Рыбак потянул к себе сети и, перегнувшись через борт челнока, охватил ее стан руками. Но как только он прикоснулся, она вскрикнула, будто испугнутая чайка, пробудилась от сна, в ужасе взглянула на него аметистово-лиловыми глазами и стала биться, стараясь вырваться. Но он не отпустил ее и крепко прижал к себе.

Видя, что ей не уйти, Морская Дева заплакала:

– Будь милостив, отпусти меня в море, я единственная дочь Морского царя, мой отец стар и одинок.

Но юный Рыбак ей отвечал:

– Я не отпущу тебя, пока ты не пообещаешь, что на первый зов ты поднимешься ко мне из глубины и будешь петь свои песни, потому что нравится рыбам пение обитателей моря и всегда будут полны мои сети.

– А ты и вправду отпустишь меня, если дам тебе такое обещание? – спросила Морская Дева.

– Клянусь, отпущу, – ответил молодой Рыбак.

Дева дала ему это обещание, и подкрепила его клятвой обитателей моря. Тогда разомкнул Рыбак объятия – и, все еще трепеща от какого-то странного страха, она опустилась на дно.

* * *

Каждый вечер выходил Рыбак в море и звал к себе Морскую Деву. И она поднималась из вод и пела ему свои песни. Вокруг резвились дельфины, и дикие чайки летали над ее головой.

Дева пела чудесные песни – о жителях моря, что гоняют свои стада из пещеры в пещеру и носят детенышей у себя на плечах; о зеленобородых тритонах с волосатой грудью, что трубят в витые раковины во время шествия Морского царя; о царском янтарном чертоге – у него изумрудная крыша, а полы из жемчуга. Пела о подводных садах, где колышутся широкие кружевные веера из кораллов, над ними проносятся рыбы, подобно серебряным птицам; о что, что льнут анемоны к скалам, и розовые пескари гнездятся в желтых бороздках песка. Пела она об огромных китах, приплывающих из северных морей, с колючими сосульками на плавниках; о сиренах, рассказывающих такие чудесные сказки, что купцы затыкают себе уши воском, чтобы не броситься в воду и не погибнуть в волнах. Пела о затонувших галерах, за снасти которых ухватились матросы, да так и закоченели навек, а в открытые люки всплывает макрель и свободно выплывает оттуда; о малых ракушках, великих путешественницах: они присасываются к килям кораблей и объезжают весь свет. Пела о каракатицах, живущих на склонах утесов: они простирают длинные черные руки, и стоит им захотеть, наступает ночь.

Пела Дева о моллюске-наутилусе: у него свой собственный опаловый ботик, управляемый шелковым парусом; и о счастливых тритонах, которые играют на арфе и чарами могут усыпить самого осьминога великого. Пела о детишках моря, которые поймают черепаху и со смехом катаются на ее скользкой спине. Пела о девах морских, что нежатся в белеющей пене и простирают руки к морякам; и о моржах с кривыми клыками; и о морских

конях, у которых развевается грива.

Пока она пела, стаи тунцов выплывали из морской глубины, и Рыбак ловил их, окружая своими сетями, а некоторых убивал острогой. Когда же челнок наполнялся, Морская Дева, улыбнувшись на прощание, исчезала в море.

И все же она избегала приближаться, боясь, как бы Рыбак не коснулся ее. Часто он ее молил, но она не подплывала ближе. Когда же он пытался схватить ее, она ныряла, и больше в тот день не показывалась. С каждым днем ее песни пленяли его все сильнее. Так был сладостен ее голос, что Рыбак забывал челнок, сети, и добыча уже не прельщала его. Мимо него проплывали стаями золотоглазые тунцы с алыми плавниками, но он их не замечал.

Праздно лежала острога у него под рукой, и оставались пустыми корзины, сплетенные из ивовых прутьев. С затуманенным от упоения взором, он неподвижно сидел в челноке и слушал, слушал, пока не подкрадывались к нему морские туманы и блуждающий месяц не пятнал серебром его загорелое тело.

В один из таких вечеров Рыбак сказал:

– Маленькая Морская Дева, я люблю тебя. Будь моей женой.

Но она покачала головой и ответила:

– У тебя человечья душа! Прогони прочь свою душу, и мне можно будет тебя полюбить.

Тогда спросил себя юный Рыбак:

– На что мне душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней, не знаю, какая она. И вправду, я прогоню ее прочь, и будет мне великая радость.

Он закричал от восторга, и, встав в своем расписном челноке, простер руки к Морской Деве.

– Я прогоню душу, – крикнул он, – ты будешь моей юной женой, а я буду тебе мужем. Мы поселимся в пучине, и ты покажешь мне все, о чем пела. А я сделаю все, что захочешь, и жизни наши буду навек неразлучны.

Засмеялась от радости Морская Дева, и закрыла лицо руками.

– Но как же мне прогнать душу? – вскричал молодой Рыбак. – Научи, как это сделать, и я выполню все, что ты скажешь.

– Я сама не знаю! – ответила Морская Дева. – У нас, обитателей моря, никогда не было души.

И, горестно взглянув на него на прощанье, она погрузилась в пучину.

На следующий день рано утром, едва солнце поднялось над холмом, юный Рыбак подошел к дому Священника и трижды постучался в дверь.

Послушник взглянул через решетку окна и, увидев, кто пришел, отодвинул засов:

– Войди!

Юный Рыбак вошел и преклонил колени на душистые тростники, покрывавшие пол, а затем сказал Священнику, читавшему Библию:

– Отец, я полюбил Морскую Деву, но между нами встала моя душа. Научи, как избавиться от души, ибо поистине она мне без надобности. Для чего душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

– Горе тебе, ты лишился рассудка! Или ты отравлен ядовитыми травами? Душа есть самое святое в человеке и дарована нам Господом Богом, чтобы мы достойно владели ею. Нет ничего драгоценнее, чем душа человеческая, никакие блага земные не могут сравняться с нею. Она стоит всего золота на свете и ценнее царских рубинов. Поэтому, сын мой, забудь свои помыслы, ибо это грех, которого не искупить. Обитатели же моря прокляты, и прокляты все, кто вздумает с ними знаться. Они, как дикие звери, не знают, где добро и где зло.

Выслушав жестокие слова Священника, Рыбак разрыдался и, поднявшись с колен, сказал:

– Отец, фавны обитают в чаще леса – и счастливы! На скалах сидят тритоны с арфами из червонного золота. Позволь мне быть таким, как они, – умоляю тебя! – ведь жизнь их, как жизнь цветов. А к чему мне моя душа, если встала она между мной и той, кого я люблю?

– Грязна плотская любовь! – нахмутив брови, воскликнул Священник. – И пагубны те твари языческие, которым Господь попустил блуждать по своей земле. Да будут прокляты фавны лесные, и да будут прокляты эти морские певцы! Я сам слыхал их по ночам: они старались меня обольстить и отторгнуть от молитвенных четок. Они стучатся ко мне в окно и хохочут. Они нашептывают мне в уши слова о своих погибельных радостях. Они искушают меня, и, когда я хочу молиться, они корчат мне рожи. Они погибшие, говорю я тебе, и воистину им никогда не спастись. Для них нет ни рая, ни ада, и ни в раю, ни в аду им не будет дано славословить имя Господне.

– Отец! – вскричал юный Рыбак. – Ты не знаешь, о чем говоришь. В

сети я изловил недавно Морскую царевну. Она прекраснее, чем утренняя звезда, она белее, чем месяц. За ее тело я отдал бы душу и за ее любовь откажусь от вечного блаженства в раю. Открой мне то, о чем я тебя молю, и отпусти меня с миром.

– Прочь! – закричал Священник. – Та, кого ты любишь, отвергнута Богом, и ты будешь отвергнут вместе с ней.

Не дав ему благословения, он прогнал его от своего порога. Пошел молодой Рыбак на торговую площадь: медленна была его поступь, а голова была опущена на грудь, как у того, кто печален.

Увидели его купцы, и стали меж собою шептаться, а один из них, окликнув его, спросил:

– Что ты принес продавать?

– Я продам тебе душу, – ответил Рыбак. – Будь добр, купи ее. К чему мне душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

Но посмеялись над ним купцы.

– На что нам человеческая душа? Она не стоит ломаного гроша. Продай нам в рабство твоё тело, мы облачим тебя в пурпур и украсим твой палец перстнем, и ты будешь любимым рабом королевы. Но не говори о душе: для нас она ничто и не имеет цены.

Задумался юный Рыбак:

– Как удивительно! Священник убеждает, что душа ценнее, чем все золото в мире, а купцы говорят, что она не стоит и гроша.

Он покинул торговую площадь, спустился на берег моря и стал размышлять о том, как ему поступить.

* * *

К полудню Рыбак вспомнил, что его товарищ, собиратель морского укропа, рассказывал ему о некой искусной юной Ведьме, живущей в пещере у входа в залив. Рыбак пустился бежать, так ему хотелось поскорее избавиться от своей души, а облако пыли бежало за ним по песчаному берегу. Юная Ведьма узнала о его приближении: у нее зачесалась ладонь. С хохотом она распустила свои рыжие волосы. Она встала у входа в пещеру, а в руке у нее была цветущая ветка дикой цикуты.

– Чего тебе надо? Чего тебе надо? – закричала она, когда, изнемогая от бега, Рыбак взобрался вверх и упал перед ней. – Не нужна ли твоим сетям рыба, когда буйствует яростный ветер? Есть у меня камышовая дудочка,

стоит мне дунуть в нее, голавли заплывают в залив. Но это недешево стоит, хорошенький мальчик, это недешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Не надобен ли тебе ураган, который разбил бы суда и выбросил бы на берег сундуки с богатым добром? Мне подвластно больше ураганов, чем ветру: я служу тому, кто сильнее, чем ветер, и одним только ситом и ведерком воды я могу отправить в пучину морскую самые большие галеры. Но это недешево стоит, мой хорошенький мальчик, это недешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я знаю цветок, что растет в долине. Никто не знает его, одна только я. У него пурпурные лепестки, и в его сердце звезда, и молочно-бел его сок. Прикоснись этим цветком к непреклонным устам королевы, и на край света пойдет за тобою она. Она покинет ложе короля и пойдет за тобой на край света. Но это недешево стоит, мой хорошенький мальчик, это недешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я могу в ступе истолочь жабу, и сварю из нее чудесное снадобье, и рукою покойника помешаю его. А когда твой недруг заснет, брызни в него этим снадобьем, и он обратится в черную ехидну, и родная мать раздавит его. Моим колесом я могу свести с неба луну и в кристалле покажу тебе Смерть. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Открой мне твое желание, и я исполню его, а ты заплатишь мне, мой хорошенький мальчик, ты заплатишь мне красную цену.

– Невелико мое желание, – ответил юный Рыбак, – но Священник разгневался на меня и прогнал прочь. Немногого я желаю, но купцы осмеяли и отвергли меня. Затем и пришел я к тебе, хоть люди и зовут тебя злой. Назначь цену – и я заплачу тебе.

– Чего же ты хочешь? – Ведьма подошла к нему ближе.

– Избавиться от своей души, – сказал он.

Ведьма побледнела, и стала дрожать, прикрыв лицо синим плащом.

– Хорошенький мальчик... Мой хорошенький мальчик, – пробормотала она, – страшного же ты захотел!

Он тряхнул темными кудрями и засмеялся в ответ.

– Я отлично обойдусь без души. Ведь мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

– Что же ты дашь мне, если я научу тебя? – спросила Ведьма, глядя на него сверху вниз своими прекрасными глазами.

– Я дам тебе пять золотых, и сети, и мой расписной челнок, а еще тростниковую хижину, в которой живу. Только скажи скорее, как избавиться мне от души, и я дам тебе все, что имею.

Ведьма захохотала насмешливо и ударила его веткой цикуты.

– Я умею обращать в золото осенние листья, лунные лучи могу превратить в серебро. Всех земных царей богаче тот, кому я служу, и ему

подвластны их царства.

– Что же дать тебе, если тебе не нужно ни золота, ни серебра?

Ведьма погладила его голову тонкой и белой рукой.

– Ты должен сплясать со мною, мой хорошенький мальчик, – тихо прошептала она и улыбнулась ему.

– Только и всего? – воскликнул юный Рыбак в изумлении и тотчас вскочил на ноги.

– Только и всего, – ответила она и снова улыбнулась.

– Тогда на закате солнца где-нибудь в укромном местечке мы спляшем с тобою вдвоем, – сказал он. – И как только закончится пляска, ты откроешь мне то, что я жажду узнать.

Она покачала головой.

– В полнолуние, в полнолуние, – прошептала она.

Потом оглянулась вокруг и прислушалась. Какая-то синяя птица с диким криком взвилась из гнезда и закружила над дюнами, три пестрые птицы зашуршали в серой жесткой траве и стали меж собой пересвистываться. Больше не было слышно ни звука, только волны плескались внизу, перекатывая у берега гладкие камешки. Ведьма протянула руку, привлекла своего гостя к себе и в самое ухо шепнула ему сухими губами:

– Ночью ты должен прийти на вершину горы. Нынче шабаш, и ОН будет там.

Вздрогнул юный Рыбак, поглядел на нее, она оскалила белые зубы и опять засмеялась.

– Кто это ОН, о ком говоришь ты? – спросил Рыбак.

– Не все ли тебе равно? Приходи нынче ночью, встань под ветвями белого граба и жди меня. Если на тебя набросится черный пес, ударь его ивовой палкой – и он убежит. И если скажет тебе что-то филин, не отвечай ему. В полнолуние я приду к тебе, и мы пропляшем вдвоем.

– Но можешь ли ты мне поклясться, что тогда ты научишь меня, как избавиться мне от души?

Она вышла из пещеры на солнечный свет, и рыжие ее волосы заструились под ветром.

– Клянусь тебе копытами козла! – ответила она.

– Ты самая лучшая ведьма! – закричал молодой Рыбак. – Конечно, я приду и буду с тобой танцевать нынче ночью на вершине горы. Поистине я предпочел бы, чтобы ты спросила с меня серебра или золота. Но, если такова твоя цена, ты получишь ее, ибо она невелика.

Сняв шапку, он низко поклонился колдунье и, переполняемый

радостью, побежал по дороге в город.

А Ведьма не спускала с него глаз, и, когда он скрылся из виду, вернулась в пещеру, и, вынув зеркало из резного кедрового ларчика, поставила его на подставку, и начала жечь перед зеркалом на горящих угольях вербену и вглядываться в клубящийся дым. Потом в бешенстве стиснула руки.

– Он должен быть моим, – прошептала она. – Я так же хороша, как и та.

* * *

Едва только показалась луна, взобрался юный Рыбак на вершину горы и стал под ветвями граба. Словно металлический полированный щит, лежало у ног его округлое море, и тени рыбацких лодок скользили вдали по заливу. Филин, огромный, с желтыми глазами, окликнул его по имени, но он ничего не ответил. Черный рычащий пес набросился на него; Рыбак ударил его ивовой палкой, и, взвизгнув, пес убежал.

К полночи, как летучие мыши, стали слетаться ведьмы.

– Фью! – кричали они, чуть только спускались на землю. – Здесь кто-то чужой, мы не знаем его!

Они нюхали воздух, перешептывались и делали какие-то знаки. Молодая Ведьма явилась последней, ее рыжие волосы струились по ветру. На ней было платье из золотой парчи, расшитое павлиньими глазками, и маленькая шапочка из зеленого бархата.

– Где он? Где он? – заголосили ведьмы, когда увидели ее, но она только засмеялась в ответ, и подбежала к белому грабу, схватила Рыбака за руку, вывела его на лунный свет, и принялась танцевать.

Они оба кружились вихрем, и так высоко прыгала Ведьма, что были ему видны красные каблочки ее башмаков. Вдруг до слуха танцующих донесся топот коня, но коня нигде не было видно, и Рыбак почувствовал страх.

– Быстрее! – кричала Ведьма и, обхватив его шею руками, жарко дышала в лицо. – Быстрее! Быстрее! – кричала она, и, казалось, земля завертелась у него под ногами.

В голове у него помутилось, великий ужас напал на него, будто под взором злобного дьявола, и наконец он заметил, что под сенью утеса скрывается тот, кого раньше там не было.

То был человек, одетый в бархатный черный испанский костюм. Лицо

у него было до странности бледно, но уста алели, как цветок. Он казался усталым и стоял, прислонившись к утесу, небрежно играя рукоятью кинжала. Невдалеке на траве виднелась его шляпа с пером и перчатки для верховой езды. Они были оторочены золотыми кружевами, и мелким жемчугом был вышит на них какой-то невиданный герб. Короткий плащ, обшитый соболями, свешивался с плеча, а холеные белые руки были украшены перстнями; тяжелые веки скрывали его глаза.

Как замороженный смотрел на него юный Рыбак. Наконец их глаза встретились, и потом, где бы юный Рыбак ни плясал, ему чудилось, что взгляд незнакомца неотступно следит за ним. Он слышал, как Ведьма засмеялась, он обхватил ее стан, и завертел в неистовой пляске.

Вдруг в лесу залаяла собака; танцующие остановились, и пара за парой пошли к незнакомцу. Преклоняя колена, они припадали к его руке. При этом на его гордых губах играла легкая улыбка, как играет вода от трепета птичьих крыльев. Но в той улыбке было презрение. И он продолжал смотреть только на молодого Рыбака.

– Пойдем же поклонимся ему! – шепнула Ведьма и повела его вверх.

Но когда он подошел к тому человеку, то внезапно, не зная и сам почему, осенил себя крестным знамением и призвал имя Господне.

Тотчас же ведьмы, закричав, словно ястребы, разлетелись, а бледное лицо, что следило за ним, передернулось судорогой боли.

Человек отошел к роще и свистнул. Испанский жеребец в серебряной сбруе выбежал навстречу ему. Человек вскочил на коня, оглянулся и грустно посмотрел на юного Рыбака.

Рыжеволосая Ведьма попыталась улететь вместе с ним, но юный Рыбак схватил ее за руки и крепко держал.

– Отпусти меня, дай мне уйти! – взмолилась она. – Ты назвал такое имя, которое не подобает называть, и сделал знамение, на которое не подобает смотреть.

– Нет, – ответил он ей, – не пущу я тебя, пока не откроешь мне тайну.

– Какую тайну? – спросила она, вырываясь от него, словная дикая кошка, и кусая запененные губы.

– Ты знаешь сама, – сказал он.

Зеленые, как полевая трава, ее глаза вдруг замутились слезами, и она сказала в ответ:

– Что хочешь проси, но не это!

Он засмеялся и сжал ее крепче.

И, увидев, что ей не вырваться, она прошептала ему:

– Я так же пригожа, как дочери моря, я так же хороша, как и те, что

живут в голубых волнах.

И она стала ласкаться к нему, и приблизила к нему свое лицо.

Но он нахмурился, оттолкнул ее и сказал:

– Если не исполнишь своего обещания, я убью тебя, Ведьма-обманщица.

Лицо у нее сделалось серым, как цветок иудина дерева. И, вздрогнув, она тихо ответила:

– Будь по-твоему. Душа не моя, а твоя. Делай с ней что хочешь.

Она вынула из-за пояса маленький нож и подала ему. Рукоятка у ножа была обтянута зеленой змеиной кожей.

– Для чего он мне? – спросил удивленный Рыбак.

Она помолчала недолго, а ужас исказил ее лицо. Потом откинула рыжие волосы и, странно улыбаясь, сказала:

– То, что люди называют своей тенью, не тень их тела, а тело их Души. Выйди на берег моря, стань спиной к луне и отрежь у самых своих ног свою тень, тело твоей Души. Повели ей покинуть тебя, и она повинуется.

Задрожал молодой Рыбак.

– Это правда? – прошептал он.

– Истинная правда, и лучше бы я не открывала ее, – воскликнула Ведьма, рыдая и цепляясь за его колени.

Он отстранил ее, и она осталась в буйных травах. Он же, дойдя до склона горы, сунул нож за пояс и, хватаясь за выступы, начал быстро спускаться вниз.

Живущая в нем Душа воззвала к нему:

– Слушай меня! Все эти годы жила я с тобой и верно служила тебе. Не гони же меня теперь. Какое зло я тебе причинила?

Но засмеялся юный Рыбак:

– Зла я от тебя не видел, но ты мне не надобна. Мир велик, и есть еще рай, есть и ад, есть и сумрачная серая обитель, которая между раем и адом. Иди же, куда хочешь, отстань, моя милая давно уже кличет меня.

Душа жалобно молила его, но он даже не слушал ее.

Он уверенно, как дикий козел, прыгал вниз со скалы на скалу. Наконец он спустился к желтому берегу моря. Стройный, как статуя, изваянная эллином из бронзы, он стоял на песке, повернувшись спиной к луне, а из пены уже простирались к нему белые руки, и вставляли из волн какие-то смутные призраки, и слышался их неясный привет.

Прямо перед ним лежала его тень, тело его Души, а позади висела луна в золотистом, как мед, воздухе.

Тут Душа сказала ему:

– Если и вправду ты должен прогнать меня прочь, дай мне твое сердце. Мир жесток, и без сердца я не хочу уходить.

Он улыбнулся и покачал головой.

– А чем же я буду любить мою милую, если отдам тебе сердце?

– Будь добр, – молила Душа, – дай мне с собой твое сердце: мир очень жесток, и мне страшно.

– Мое сердце отдано милой! – ответил Рыбак. – Не мешкай же и уходи поскорее.

– Разве я не любила бы вместе с тобою? – спросила его Душа.

– Уходи, ты мне без надобности! – крикнул юный Рыбак и, выхватив маленький нож с зеленой рукояткой из змеиной кожи, отрезал свою тень у самых ног. Она поднялась и предстала перед ним, во всем подобная ему, и взглянула в его глаза.

Он отпрянул, заткнул за пояс нож, и чувство ужаса охватило его.

– Ступай, – прошептал он, – и не показывайся мне на глаза!

– Нет, мы должны снова встретиться! – сказала Душа. Негромкий ее голос был как флейта, и губы ее чуть шевелились.

– Но как же мы встретимся? Где? Ведь не пойдешь ты за мной в морские глубины! – воскликнул юный Рыбак.

– Каждый год я буду являться на это самое место и призывать тебя, – ответила Душа. – Кто знает, ведь может случиться, что я понадобится тебе.

– Ну зачем ты мне будешь нужна? – воскликнул юный Рыбак. – Но будь по-твоему!

Он бросился в воду, тритоны затрубили в свои раковины, а маленькая Морская Дева выплыла навстречу, обвила его шею руками и поцеловала в губы.

А Душа осталась на пустынном берегу. Когда скрылись в волнах, она, рыдая, побрела по болотам.

* * *

Когда миновал первый год, Душа сошла на берег моря и стала звать юного Рыбака. Он поднялся из пучины и спросил:

– Зачем ты зовешь меня?

Тогда Душа ответила:

– Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного.

Он подошел ближе, лег на песчаной отмели и, опершись головой на

руку, стал слушать.

* * *

Вот что рассказала ему Душа:

– Когда я покинула тебя, я повернулась лицом к Востоку и отправилась в дальний путь. С Востока приходит все мудрое. Шесть дней была я в пути, и наутро седьмого дня я подошла к холму, что находится в землях Татарии. Чтобы укрыться от солнца, я уселась в тени тамариска. Почва была сухая и выжженная зноем. Как ползают мухи по медному гладкому диску, так двигались люди по этой равнине. В полдень багряное облако пыли поднялось от ровного края земли. Когда жители Татарии увидели его, они натянули расписные свои луки, вскочили на приземистых коней и галопом поскакали навстречу. Женщины с визгом побежали к кибиткам и спрятались за висящими войлоками.

В сумерки татары вернулись, но пятерых не хватало, а из вернувшихся немало было раненых. Они впрягли своих коней в кибитки и торопливо снялись с места. Три шакала вышли из пещеры и посмотрели им вслед. Потом они понюхали воздух и рысью побежали в обратную сторону. Когда же взошла луна, я увидела на равнине костер и пошла прямо на него. Вокруг костра на коврах сидели какие-то купцы.

Их верблюды были привязаны позади, а негры-прислужники разбивали палатки из дубленой кожи на песке и воздвигали высокую изгородь из колючего кактуса. Когда я приблизилась, их предводитель поднялся и, обнажив меч, спросил, что мне надо.

Я ответила, что была у себя на родине принцем, а теперь бегу от татар, которые хотели обратить меня в рабство. Предводитель усмехнулся и показал мне пять человеческих голов, насаженных на длинные бамбуковые шесты.

Потом он спросил меня, кто был пророк Бога на земле, и я ответила: «Магомет». Услышавши имя лжепророка, он склонил голову, взял меня за руку и посадил рядом с собою. Негр принес мне кумыса в деревянной чашке и кусок жареной баранины.

На рассвете мы двинулись в путь. Я ехала на рыжем верблюде рядом с предводителем отряда, а перед нами бежал скороход, и в руке у него было копье. Воины были и справа, и слева, а сзади следовали мулы, нагруженные разными товарами. Верблюдов в караване было сорок, а мулов было дважды столько.

Мы прошли из страны Татарики к тем, которые проклинали луну. Мы видели грифов, стерегущих свое золото в белых скалах, мы видели чешуйчатых драконов, которые спали в пещерах. Проходя через горные кряжи, мы боялись дохнуть, чтобы снеговые лавины не сверглись на нас, и каждый повязал глаза легкой вуалью из газа. Когда мы проходили по долинам, в нас метали стрелы пигмеи, таившиеся в дуплах деревьев, а по ночам мы слышали, как дикие люди бьют в барабаны. Подойдя к Башне Обезьян, мы положили перед ними плоды, и они не тронули нас. Когда же мы подошли к Башне Змей, мы дали им теплого молока в медных чашах, и они пропустили нас. Трижды во время пути выходили мы на берег. Мы переплывали его на деревянных плотках с большими мехами из воловьих шкур, надутых воздухом. Бегемоты яростно бросались на нас и хотели нас растерзать.

Верблюды дрожали, когда видели их.

Цари каждого города взымали с нас пошлину, но не впускали в городские ворота. Они бросали нам еду из-за стен – медовые оладьи из маиса и пирожки из мельчайшей муки, начиненные финиками. За каждую сотню корзин мы давали им по янтарному шарiku.

Когда обитатели сел видели, что мы приближаемся, они отравляли колодцы и убегали на вершины холмов. Мы должны были сражаться с магадаями, которые рождаются старыми и год от года становятся моложе, а умирают младенцами; мы сражались с лактроями, которые считают себя порождением тигров и раскрашивают себя черными и желтыми полосами. Мы сражались с аурантами, которые хоронят своих мертвецов на вершинах деревьев, а сами прячутся в темных пещерах, чтобы солнце, которое считается у них божеством, не убило их; и с кримнийцами, которые поклоняются крокодилу, и приносят ему в дар серьги из зеленой травы, и кормят его маслом и молодыми цыплятами; и с агазонбаями, у коих песьи морды; и с сибанами на лошадиных ногах, более быстрых, чем ноги коней. Треть нашего отряда погибла в битвах, а еще одна треть умерла от лишений. Прочие роптали на меня и говорили, что я принесла им несчастье. Я взяла из-под камня рогатую ехидну и дала ей ужалить меня. Увидев, что я невредима, они испугались.

На четвертый месяц мы достигли города Иллель. Была ночь, когда мы приблизились к роще за городскими стенами, и воздух был душный, ибо луна находилась в созвездии Скорпиона.

Мы срывали спелые гранаты с деревьев, и разламывали их, и пили их сладкий сок. Потом мы легли на ковры и дождались рассвета. И на рассвете мы встали и постучались в городские ворота. Из кованной красной меди

были эти городские ворота, и на них были морские драконы, а также драконы крылатые. Стража, наблюдавшая с бойниц, спросила, чего нам надо. Толмач каравана ответил, что мы с острова Сирии пришли сюда с богатыми товарами. Они взяли у нас заложников, сказали, что в полдень откроют ворота, и велели ждать до полудня.

В полдень они открыли ворота, и люди толпами выбегали из домов, чтобы поглядеть на пришельцев, и глашатай помчался по улицам города, крича в раковину о нашем прибытии. Мы остановились на базаре, и, едва только негры развязали тюки узорчатых тканей и раскрыли резные ларцы из смоковницы, купцы выставили напоказ свои диковинные товары: навощенные льняные ткани из Египта, крашеное полотно из земли Эфиопов, пурпурные губки из Тира, синие сидонские занавеси, прохладные янтарные чаши, тонкие стеклянные сосуды и еще сосуды из обожженной глины очень причудливой формы. С кровли какого-то дома женщины смотрели на нас. У одной на лице была маска из позолоченной кожи.

В первый день пришли к нам жрецы и выменивали наши товары. Во второй день пришли знатные граждане. В третий день пришли ремесленники и рабы. Таков их обычай со всеми купцами, пока те пребывают в их городе.

И в течение одной луны мы оставались там, и, когда луна пошла на убыль, торговля наскучила мне, и я стала скитаться по улицам города и приблизилась к тому саду, который был садом их бога. Жрецы, одетые в желтое, безмолвно двигались меж зеленью деревьев, и на черных мраморных плитах стоял красный, как роза, дворец, в котором и жил этот бог. Двери храма были покрыты глазурью, и их украшали блестящие золотые барельефы, изображавшие быков и павлинов. Изразцовая крыша была сделана из фарфора цвета морской воды, и по ее краям висели целые гирлянды колокольчиков. Белые голуби, пролетая, задевали колокольчики крыльями, и колокольчики от трепета крыльев звенели.

Перед храмом был бассейн, полный прозрачной воды, выложенный испещренным прожилками ониксом. Я легла у бассейна и бледными пальцами трогала широкие листья. Один из жрецов подошел ко мне и стал у меня за спиной. На ногах у него были сандалии: одна – из мягкой змеиной кожи, другая – из птичьих перьев. На голове у него была черная войлочная митра, украшенная серебряными полумесяцами. Семь узоров желтого цвета были вытканы на его одеянии, а курчавые волосы были выкрашены сурьмой.

Помолчав, он спросил, что мне угодно. Я ответила, что мне угодно

видеть бога.

– Бог на охоте, – ответил жрец, как-то странно глядя на меня узкими раскосыми глазами.

– Скажи мне, в каком он лесу, и я буду охотиться с ним.

Он расправил мягкую бахрому своей туники длинными и острыми ногтями.

– Бог спит!

– Скажи, на каком он ложе, и я буду охранять его сон.

– Бог за столом, он пирует.

– Если вино его сладко, я буду пить вместе с ним, а если оно горько, я также буду пить вместе с ним.

Он в изумлении склонил голову, и, взяв за руку, помог мне подняться, и ввел меня в храм. И в первом покое я увидела идола, сидящего на яшмовом троне, окаймленном крупными жемчугами Востока. Идол был из черного дерева, и рост его был в рост человека. На челе у него был рубин, и густое масло струилось с его волос на бедра. Его ноги были красны от крови только что убитого козленка, а чресла его были опоясаны медным поясом с семью бериллами. И я сказала жрецу:

– Это бог?

И он ответил:

– Это бог.

– Покажи мне бога! – крикнула я. – Или ты будешь убит!

Я коснулась его руки, и рука у него отсохла.

Взмолился жрец, говоря:

– Пусть повелитель исцелит раба своего, и я покажу ему бога.

Тогда ядохнула на руку жреца, и снова она стала живой. Он задрожал и ввел меня в соседний покой, и я увидела идола, стоявшего на нефритовом лотосе, который был украшен изумрудами. Он был выточен из слоновой кости, и рост его был как два человеческих роста. На челе у него был хризолит, а грудь его была умащена корицей и миррой. В одной руке у него был извилистый нефритовый жезл, а в другой – хрустальная держава. Его обувью были котурны из меди, а тучную шею обвивало селенитовое ожерелье.

И я сказала жрецу:

– Это бог?

Он ответил:

– Это бог.

– Покажи мне бога! – крикнула я. – Или ты будешь убит!

Я тронула рукой его веки, и глаза его тотчас ослепли. Взмолился жрец:

– Пусть исцелит повелитель раба своего, я покажу ему бога.

Тогда ядохнула на его ослепшие очи, и они опять стали зрячими. Вещ дрожа, он ввел меня в третий покой. Там не было идола, не было никаких кумиров, а было только круглое металлическое зеркало, стоящее на каменном жертвеннике.

И я сказала жрецу:

– Где же бог?

И он ответил:

– Нет никакого бога, кроме зеркала, которое ты видишь перед собой, ибо это Зеркало Мудрости. В нем отражается все, что в небе и что на земле. Только лицо смотрящего в него не отражается в нем, чтобы смотрящийся стал мудрецом. Много есть всяких зеркал, но те зеркала отражают лишь Мысли глядящего в них. Только это зеркало – Зеркало Мудрости. Кто обладает этим Зеркалом, тому ведомо все на земле, и ничто от него не скрыто. Кто не обладает этим зеркалом, тот не обладает и Мудростью. Посему это зеркало и есть бог, которому мы поклоняемся.

И я посмотрела в зеркало, и все было так, как говорил мне жрец.

И я совершила необычайный поступок, но что я совершила – не важно, и вот в долине, на расстоянии дня пути, спрятала я Зеркало Мудрости. Позволь мне снова войти в тебя и быть твоей рабыней – ты будешь мудрее всех мудрых, и вся Мудрость будет твоя.

Но юный Рыбак засмеялся.

– Любовь лучше Мудрости, – вскричал он, – а маленькая Морская Дева любит меня.

– Нет, Мудрость превышает всего, – сказала ему Душа.

– Любовь выше ее! – ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа, рыдая, побрела по болотам.

* * *

Прошел второй год. Душа снова пришла на берег моря и позвала Рыбака, и он вышел из глубины и сказал:

– Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

– Подойди ко мне ближе и послушай меня: видела я много чудесного.

Он подошел ближе, лег на песчаной отмели и, опершись головой на руку, стал слушать.

И Душа сказала ему:

– Когда я покинула тебя, я обратилась к Югу и отправилась в дальний путь. С Юга приходит все драгоценное, что есть на свете. Шесть дней я была в пути, шла по большим дорогам, ведущим и городу Аштер, по красным, пыльным дорогам, по которым бредут паломники, и наутро седьмого дня я подняла свои взоры, и вот у ног моих распростерся город, ибо этот город в долине.

У города девять ворот, и у каждого ворот стоит бронзовый конь. Кони эти ржут, когда бедуины спускаются с гор. Стены города обиты красной медью, и башни на этих стенах покрыты бронзой. В каждой башне стоит стрелок, и в руках у каждого лук. При восходе солнца каждый пускает стрелу в гонг, а на закате трубит в рог.

Когда я пыталась проникнуть в город, стража задержала меня. Я говорила, что я дервиш и теперь направляюсь в Мекку, где находится зеленое покрывало, на котором ангелы серебром вышили Коран. И стража исполнилась удивления, и просила меня войти в город.

Город был подобен базару. Поистине жаль, что тебя не было вместе со мной. В узких улицах веселые бумажные фонарики колышутся, как большие бабочки. Когда ветер проносится по кровлям, фонарики качаются под ветром, словно разноцветные пузыри. У входа в лавчонки на шелковых ковриках восседают купцы. У них прямые черные бороды, чалмы их усыпаны золотыми цехинами; длинные нити янтарных четок и точеных персиковых косточек скользят в их холодных пальцах. Иные торгуют гилбаном, и нардом, и какими-то неведомыми духами с островов Индийского моря, и густым маслом из красных роз, мирры и мелкой гвоздики. Если кто-нибудь остановится и вступит с ними в беседу, они бросают на жаровню щепотки ладана, и воздух становится сладостным. Я видела сирийца, который держал в руке прут, тонкий, подобный тростинке. Серые нити дыма выходили из этого прута, и его запах, пока он горел, был как запах розового миндаля по весне. Другие продают серебряные браслеты, усеянные млечно-голубой бирюзой, и запястья из медной проволоки, окаймленные мелким жемчугом, и тигровые когти и когти диких кошек – леопардов, оправленные в золото, и серьги из просверленных изумрудов, и кольца из выдолбленного нефрита. Из чайных слышатся звуки гитары, и бледнолицые курильщики опия с улыбкой глядят на прохожих.

Поистине жаль, что тебя не было вместе со мной. С большими черными бурдюками на спинах протискиваются там сквозь толпу продавцы вина. Чаще всего торгуют они сладким, как мед, вином шираз в маленьких металлических чашах и сыпят туда лепестки роз. На базаре стоят продавцы и продают все плоды, какие только есть на свете: спелые фиги с пурпурной мякотью; дыни, пахнущие мускусом и желтые, как топазы; померанцы, и розовые яблоки, и гроздья белого винограда; круглые красно-золотые апельсины и продолговатые зелено-золотые лимоны. Однажды я видела слона, проходящего мимо. Его хобот был расписан шафраном и киноварью, а на ушах сетка из шелковых алых шнурков. Он остановился у одного шалаша и стал пожирать апельсины, а торговец только смеялся. Ты и представить себе не можешь, какой это странный народ. Когда у них радость, они идут к торгующим птицами, покупают птицу, заключенную в клетку, и выпускают на волю, умножая радость; а когда у них горе, они бичуют себя терновником, чтобы скорбь их не стала слабее.

Однажды вечером мне навстречу попались негры; они несли по базару тяжелый паланкин из позолоченного бамбука. Ручки у него были красные, покрытые глазурью и украшенные медными павлинами. На окнах висели тонкие муслиновые занавески, расшитые крыльями жуков и усеянные мельчайшими жемчужинками, а когда паланкин поравнялся со мною, оттуда выглянула бледнолицая черкешенка и улыбнулась мне. Я последовала за паланкином. Негры ускорили шаг и сердито посмотрели на меня. Но я пренебрегла их угрозами. Небывалое любопытство охватило меня.

Наконец они остановились у четырехугольного белого дома. В этом доме не было окон, только маленькая дверь, словно дверь, ведущая в гробницу. Негры опустили паланкин на землю и медным молотком постучали три раза. Армянин в зеленом сафьяновом кафтане выглянул через решетку дверного окошечка и, увидев их, отпер дверь, разостлал на земле ковер, и женщина покинула носилки. У входа в дом она оглянулась и снова послала мне улыбку. Я никогда еще не видела такого бледного лица. Когда на небе показалась луна, я снова пришла на то место и стала искать тот дом, но его уже не было там. Тогда я догадалась, кто была эта женщина и почему она мне улыбнулась.

Воистину жаль, что тебя не было вместе со мной. На празднике новолуния юный Султан выезжал из дворца и следовал в мечеть для молитвы. Его борода и волосы были окрашены листьями розы, а щеки были напудрены мелким золотым порошком. Его ладони и ступни его ног были желты от шафрана. На восходе солнца он вышел из своего дворца в

серебряной одежде, а на закате вернулся в одежде из золота. Люди падали ниц перед ним и скрывали свое лицо, но я не упала ниц. Я стояла у лотка торговца финиками и ждала. Когда Султан увидел меня, он поднял крашенные брови и остановился. Но я стояла спокойно и не поклонилась ему. Люди удивлялись моей дерзости и советовали скрыться из города. Я пренебрегла их советами, и пошла, и села рядом с продавцами чужеземных богов: этих людей презирают, так как презирают их промысел. Когда я рассказала им о том, что я сделала, каждый подарил мне одного из богов и умолял удалиться.

В ту же ночь, едва я простерлась на ложе в чайном домике на улице Гранатов, вошли телохранители Султана и повели меня во дворец. Они запирали за мной каждую дверь и вешали на нее железную цепь. Внутри был обширный двор, весь окруженный аркадами. Стены были алебастровые, белые, с зелеными и голубыми изразцами, колонны были из зеленого мрамора, а мраморные плиты под ногою были такого же цвета, как лепестки персикового дерева. Подобного я не видела никогда.

Пока я проходила этот двор, две женщины, лица которых были закрыты чадрами, посмотрели на меня с балкона и послали мне вслед проклятие. Телохранители ускорили шаг, и их копья забряцали по гладкому полу. Наконец они открыли ворота, выточенные из слоновой кости, и я очутилась в саду, расположенном на семи террасах. Сад был обильно орошаем водой. В нем были посажены тюльпаны, ночные красавицы и серебристый алоэ. Как тонкая хрустальная тростинка, повисла во мгlistом воздухе струйка фонтана. И кипарисы стояли, точно догоревшие факелы. На ветвях одного кипариса распевал соловей.

В конце сада была небольшая беседка. Когда мы приблизились к ней, навстречу нам вышли два евнуха. Их тучные тела колыхались, и они с любопытством оглядели меня из-под желтых век. Один из них отвел начальника стражи в сторону и тихим голосом шепнул ему что-то. Другой продолжал все время жевать какие-то душистые лепешки, которые жеманным движением руки доставал из эмалевой овальной коробочки лилового цвета.

Через несколько минут начальник стражи велел солдатам уйти. Они пошли обратно во дворец, за ними медленно последовали евнухи, срывая по пути с деревьев сладкие тутовые ягоды. Тот евнух, который постарше, глянул на меня и улыбнулся зловещей улыбкой.

Затем начальник стражи подвел меня к самому входу в беседку. Я бестрепетно шагала за ним и, отдернув тяжелый полог, вошла.

Юный Султан возлежал на крашенных львиных шкурах, на руке у него

сидел сокол. За спиной Султана стоял нубиец в украшенном медью тюрбане, обнаженный до пояса и с грузными серьгами в проколотых ушах. Тяжелая кривая сабля лежала на столе у ложа.

Султан нахмурился, увидев меня, и сказал:

– Кто ты такой? Скажи свое имя. Или тебе неизвестно, что я властелин этого города?

Но я ничего не ответила.

Султан указал на кривую саблю, нубиец схватил ее и, подавшись вперед, со страшной силой ударил меня. Лезвие со свистом прошло сквозь меня, но я осталась жива и невредима. Нубиец растянулся на полу, и, когда поднялся, его зубы стучали от ужаса, и он спрятался за ложе Султана.

Султан вскочил на ноги и, выхватив дротик из оружейной подставки, метнул в меня. Я поймала его на лету и разломала пополам. Султан выстрелил в меня из лука, но я подняла руки, и стрела остановилась в полете. Тогда из-за белого кожаного пояса выхватил он кинжал и воткнул его в горло нубийцу, чтобы раб не мог рассказать о позоре своего господина. Нубиец стал корчиться, как раздавленная змея, и красная пена пузырями выступила у него на губах.

Как только он умер, Султан обратился ко мне и сказал, отирая платком из пурпурного расшитого шелка блестящую на челе испарину:

– Уж не пророк ли ты божий, ибо вот я не властен причинить тебе какое-нибудь зло, или, может быть, сын пророка, ибо мое оружие не в силах уничтожить тебя. Прошу тебя, удались отсюда, потому что, пока ты здесь, я не властелин моего города.

Я ответила ему:

– Я уйду, если ты мне отдашь половину твоих сокровищ. Отдай мне половину сокровищ, и я удалюсь отсюда.

Он взял меня за руку и повел в сад. Начальник стражи, увидев меня, изумился. Когда меня увидели евнухи, их колени дрогнули и они в ужасе пали на землю.

Есть во дворце восьмистенный зал из багряного порфира с чешуйчатым медным потолком, с которого свисают светильники. Султан коснулся стены; она разверзлась, и мы пошли каким-то длинным ходом, освещаемым многими факелами. В нишах, справа и слева, стояли винные кувшины, наполненные доверху серебряными монетами. Когда мы дошли до середины коридора, Султан произнес какое-то заветное слово, и на потайной пружине распахнулась гранитная дверь. Султан закрыл лицо руками, чтобы его глаза не ослепли.

Ты не поверишь, какое это было чудесное место. Там лежали большие

черепаховые панцири, полные жемчуга, и выдолбленные огромные лунные камни, полные красных рубинов. В сундуках, обитых слоновьими шкурами, было червонное золото, а в сосудах из кожи был золотой песок. Там были опалы и сапфиры: опалы – в хрустальных чашах, а сапфиры – в чашах из нефрита. Зеленые крупные изумруды рядами были разложены на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу стояли шелковые тюки, одни набитые бирюзой, другие – бериллами. Охотничьи рога из слоновой кости были полны до краев пурпурными аметистами, а рога из меди – халцедонами и карнерилами. Колонны из кедрового дерева были увешаны нитками из камней рысий глаз, на овальных плоских щитах там были груды карбункулов, иные такого цвета, как вино, другие – такого, как трава. И все же я описала едва ли десятую часть того, что было в этом тайном чертоге.

Тогда сказал мне Султан, отнимая руки от лица:

– Здесь хранятся все мои сокровища. Половина сокровищ твоя, как и было мной обещано. Я дам тебе верблюдов и погонщиков, которые будут покорны тебе и отвезут твою долю, куда только ты пожелаешь. Все это будет исполнено нынче же ночью, ибо я не хочу, чтобы отец мой, Солнце, увидел, что живет в моем городе тот, кого я не в силах убить.

Но я сказала Султану в ответ:

– Золото твое, и серебро тоже твое, и твои эти драгоценные камни и все несметные богатства. Такого ничего мне не надобно. Я ничего не возьму, только этот маленький перстень на пальце твоей руки.

Нахмурился Султан и сказал:

– Это простое свинцовое кольцо. Оно не имеет никакой цены. Бери же свою половину сокровищ и скорее покинь мой город.

– Нет, – ответила я, – я не возьму ничего, только этот свинцовый перстень, ведь я знаю, какие слова на нем начертаны и для чего они служат.

Вздвогнув и взмолился Султан:

– Бери все сокровища, какие только есть у меня, только покинь мой город. Я отдаю тебе и свою половину сокровищ.

Странное я совершила деяние, но о нем не стоит говорить – и вот в пещере, на расстоянии дня отсюда, я спрятала Перстень Богатства. Туда только день пути, и этот перстень ожидает тебя. Владеющий этим перстнем богаче всех на свете царей. Возьми же его, и все сокровища мира – твои.

Но юный Рыбак засмеялся.

– Любовь лучше Богатства! – крикнул он. – А маленькая Морская Дева любит меня.

– Нет, лучше всего Богатство! – сказала ему Душа.

– Любовь лучше! – ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа,

рыдая, побрела по болотам.

* * *

И снова, когда закончился третий год, Душа пришла на берег моря и позвала Рыбака, он вышел из пучины и сказал:

– Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

– Подойди ко мне ближе, чтобы я могла с тобой побеседовать, ибо я видела много чудесного.

Он лег на песчаной отмели и, опершись головой на руку, стал слушать.

Душа сказала:

– Я знаю один город. Там над рекой стоит харчевня. В ней я сидела с матросами. Они пили вина, ели мелкую соленую рыбу с лавровым листом и уксусом и хлеб из ячменной муки. Мы сидели и веселились, когда вошел какой-то старик, и в руках у него был кожаный коврик и лютня с двумя янтарными колышками. Разостлав на полу коврик, он ударил колышком по металлическим струнам своей лютни, и вбежала девушка, у которой лицо было закрыто чадрой, и стала плясать перед ними. Лицо ее было закрыто кисейной чадрой, а ноги у нее были нагие и порхали по этому ковру, как два голубя. Ничего чудеснее я никогда не видела, и тот город, где она пляшет, отсюда на расстоянии дня.

Услыхав эти слова Души, вспомнил юный Рыбак, что маленькая Морская Дева ног не имела и не могла танцевать.

Страстное желание охватило его, и он сказал себе самому: «Туда только день пути, и я могу вернуться к моей милой».

Он засмеялся, встал на отмели и шагнул к берегу. И когда он дошел до берега, то засмеялся опять и протянул руки к своей Душе. Душа громко закричала от радости, побежала навстречу ему, и вселилась в него, и молодой Рыбак увидел, что тень его тела простерлась опять на песке, а тень тела – это тело Души.

И сказала ему Душа:

– Не будем мешкать, нужно скорей удалиться, ведь боги морские ревнивы, и есть у них много чудовищ, которые повинуются им.

* * *

Они поспешно удалились, и шли под луной всю ночь и весь день. Когда же пал вечер, приблизились пустници к какому-то городу.

Сказала Душа Рыбаку:

– Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

Они вошли в этот город и пошли бродить по его улицам, и, когда проходили по улице Ювелиров, молодой Рыбак увидел прекрасную серебряную чашу, выставленную в какой-то лавчонке.

И Душа его сказала ему:

– Возьми эту серебряную чашу и спрячь.

И взял он серебряную чашу, и спрятал ее в складках своей туники, и они поспешно удалились из города. И когда они отошли на расстояние мили, молодой Рыбак насупился, и отшвырнул эту чашу, и сказал Душе:

– Почему ты велела мне украсть эту чашу и спрятать ее? Это было недоброе дело.

– Будь спокоен, – ответила Душа, – будь спокоен!

К вечеру следующего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак снова спросил у Души:

– Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа ответила ему:

– Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

Они вошли в этот город и пошли по улицам его, и, когда проходили по улице Продающих Сандалии, молодой Рыбак увидел ребенка, стоящего у кувшина с водой.

И сказала ему его Душа:

– Ударь этого ребенка.

Он ударил ребенка, и ребенок заплакал; тогда они поспешно покинули город.

А когда они отошли на милю от города, молодой Рыбак насупился и сказал Душе:

– Почему ты повелела мне ударить ребенка? То было недоброе дело.

– Будь спокоен, – ответила Душа, – будь спокоен!

К вечеру третьего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак сказал своей Душе:

– Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа сказала ему:

– Может быть, и тот, войдем в него.

Они вошли в город, пошли по улицам, но нигде не видел молодой Рыбак ни реки, ни харчевни. Жители города с любопытством взирали на него, и ему стало жутко, и сказал он своей Душе:

– Уйдем отсюда, ибо та, которая пляшет, мне думается, живет не здесь.
Но его Душа ответила ему:

– Нет, мы останемся здесь, ночь нынче темная и нам встретятся на дороге разбойники.

Он уселся отдыхать на площади рынка. И тут прошел мимо него купец, и голова его была закрыта капюшоном плаща, а плащ был из татарского сукна. На длинной камышине держал он фонарь из коровьего рога.

Сказал ему этот купец:

– Почему ты сидишь на базаре? Ты же видишь: все лавки закрыты и тюки обвязаны веревками.

Молодой рыбак ответил:

– Я не могу в этом городе отыскать заезжего двора, и нет у меня брата, который приютил бы меня.

– Разве не все мы братья? – сказал купец. – Разве мы созданы не единым Творцом? Пойдем со мной, у меня есть комната для гостей.

И встал молодой Рыбак, и пошел за купцом в его дом. И когда, пройдя через гранатовый сад, он вошел под кров его дома, купец принес ему в медной лохани розовую воду для омовения рук и спелые дыни для утоления жажды и поставил перед ним блюдо риса и жареного молодого козленка.

По окончании трапезы купец повел его в покой для гостей и предложил ему отдохнуть. И молодой Рыбак благодарил его, и облобызал кольцо, которое было у него на руке, и бросился на ковры из козьей крашеной шерсти.

Когда же он укрылся покровом из черной овечьей шерсти, сон охватил его.

За три часа до рассвета, когда была еще ночь, Душа разбудила его и сказала:

– Встань и войди в комнату, где почивает купец. Убей его и возьми у него его золото, ибо мы нуждаемся в деньгах.

И встал молодой Рыбак, и прокрался в опочивальню купца, и в ногах купца был какой-то кривой меч, и рядом с купцом, на подносе, было девять кошельков золота. Он протянул руку и коснулся меча, но, почувствовав это, вздрогнул купец и сам ухватился за меч, крикнув молодому Рыбаку:

– Злом платишь ты за добро и проливаешь кровь за милость, которую я оказал тебе?

Тогда сказала Рыбаку его Душа:

– Бей!

Он так ударил купца, так, что тот упал мертвый, а Рыбак схватил все девять кошельей золота и поспешно убежал через гранатовый сад, и к звезде обратил лицо, и была та звезда – Звезда Утренняя.

Отойдя от города, молодой Рыбак ударил себя в грудь и сказал Душе:

– Почему ты повелела убить этого купца и взять у него золото? Поистине ты злая Душа!

– Будь спокоен, – ответила она, – будь спокоен!

– Нет, – закричал молодой Рыбак, – я не могу быть спокоен, и все, к чему ты понуждала меня, для меня ненавистно. Ты ненавистна мне, и я прошу, чтобы ты мне сказала, зачем ты так поступила со мной?

Душа ответила ему:

– Когда ты отослал меня в мир и прогнал прочь, ты не дал мне сердца, потому и научилась я этим деяниям, и полюбила их.

– Что ты говоришь! – вскричал Рыбак.

– Ты знаешь, – ответила его Душа, – ты сам хорошо это знаешь. Или ты позабыл, что не дал мне сердца? Полагаю, что ты не забыл. И посему не тревожь ни себя, ни меня, но будь покоен, ибо не будет той скорби, от которой бы ты не избавился, и не будет того наслаждения, которого бы ты не изведal.

Когда же молодой Рыбак услышал эти слова, он задрожал и сказал:

– Ты злая, ты злая, ты заставила меня забыть мою милую, ты соблазнила меня искушениями и направила мои стопы на путь греха.

И его Душа отвечала:

– Ты помнишь, что, когда ты отсылал меня в мир, ты не дал мне сердца. Пойдем же куда-нибудь и будем веселиться, потому что мы обладаем теперь девятью кошельями золота.

Но молодой Рыбак бросил на землю эти девять кошельей золота и стал их топтать.

– Нет! – кричал он. – Мне нечего делать с тобой, я не пойду никуда, но как некогда я прогнал тебя, так прогоню и теперь, ибо ты причинила мне зло.

Он повернулся спиною к луне и тем же коротким ножом с рукоятью, обмотанной зеленой змеиной кожей, попытался отрезать свою тень у самых ног. Тень тела – это тело Души.

Но Душа не ушла от него и не слушала его повелений.

– Чары, данные тебе Ведьмой, – сказала она, – уже утратили силу: я не могу отойти от тебя, и ты не можешь меня отогнать. Только однажды за всю свою жизнь может человек отогнать от себя свою Душу, но тот, кто вновь обретает ее, сохранит ее во веки веков, и в этом его наказание, и в

этом его награда.

Стал бледен молодой Рыбак, сжал кулаки и воскликнул:

– Проклятая Ведьма обманула меня, ибо умолчала об этом!

– Да, – ответила Душа, – она была верна тому, кому служит и кому вечно будет служить.

Когда узнал молодой Рыбак, что нет ему избавления от Души и что она, злая Душа, останется с ним навсегда, он пал на землю и горько заплакал.

* * *

Когда был уже день, встал молодой Рыбак и сказал своей Душе:

– Я свяжу себе руки, чтобы не исполнять твоих повелений, и о сомкну о уста, чтобы не говорить твоих слов. Я вернусь к тому месту, где живет любимая мною, к тому самому морю вернусь я, к маленькой бухте, где поет она свои песни, и я позову ее и расскажу ей о зле, которое я совершил и которое внушено мне тобою.

Душа, искушая его, говорила:

– Кто она, любимая тобою, и стоит ли к ней возвращаться? Есть многие прекраснее ее. Есть танцовщицы из Самарии, которые в танцах своих подражают каждой птице и каждому зверю. Ноги их окрашены лавзонией, и в руках у них медные бубенчики. Когда они пляшут, они смеются, и смех у них звонок, подобно смеху воды. Пойдем со мною, и я покажу их тебе. Зачем сокрушаться тебе о грехах? Разве то, что приятно вкушать, не создано для вкушающего? И в том, что сладостно пить, разве заключается отравка? Забудь же твою печаль, и пойдем со мной в другой город. Есть маленький город неподалеку отсюда, и в нем есть сад из тюльпанных деревьев. В этом прекрасном саду есть павлины белого цвета и павлины с синею грудью. Хвосты у них, когда они распускают их при сиянии солнца, подобны дискам из слоновой кости, а также позолоченным дискам. И та, что дает им корм, пляшет, чтобы доставить им радость; порою она пляшет на руках. Глаза у нее насурьмленные; ноздри – как крылья ласточки. К одной из ее ноздрей подвешен цветок из жемчуга. Она смеется, когда пляшет, и серебряные браслеты звенят у нее на ногах бубенцами. Забудь же печаль, и пойдем со мной в этот город.

Но ничего не ответил молодой Рыбак своей Душе, на уста он наложил печать молчания, крепкой веревкой связал себе руки и пошел обратно к тому месту, откуда вышел – к той маленькой бухте, где обычно любимая

пела ему свои песни. Непрестанно Душа искушала его, но он не отвечал ничего и не совершил дурных деяний, к которым она побуждала его. Так велика была сила его любви.

Придя на берег моря, он снял с рук веревку, освободил уста от печати молчания, и стал звать маленькую Морскую Деву. Но она не вышла на зов, хотя он звал ее от утра до вечера и умолял ее выйти к нему.

И Душа насмеялась над ним:

– Мало же радостей приносит тебе любовь. Ты подобен тому, кто во время засухи льет воду в разбитый сосуд. Ты отдаешь, что имеешь, и тебе ничего не дается взамен. Лучше было бы тебе пойти со мною, ибо я знаю, где долина Веселий и что совершается в ней.

Но молодой Рыбак ничего не ответил Душе. В расселине утеса построил он себе из прутьев шалаш и жил там весь долгий год.

Каждое утро он звал Морскую Деву, каждый полдень он звал ее вновь, и каждую ночь призывал ее снова. Но она не поднималась из моря, и нигде не мог он найти ее, хотя искал и в пещерах, и в зеленой воде, и в оставленных приливом затонах, и в ключах, которые клокочут на дне.

Душа неустанно искушала его грехом и шептала о страшных деяниях, но не могла соблазнить его, так велика была сила его любви.

Когда же этот год миновал, Душа сказала себе: «Злом я искушала моего господина, и его любовь оказалась сильнее меня. Теперь я буду искушать его добром, и, может быть, он пойдет со мной».

Она сказала молодому Рыбаку:

– Я говорила тебе о радостях мира сего, но ты не слышал меня. Позволь мне теперь рассказать тебе о скорбях человеческой жизни, и, может быть, ты услышишь меня. Ибо поистине Скорбь есть владычица этого мира, и нет ни одного человека, кто избег бы ее сетей. Есть такие, у которых нет одежды, и такие, у которых нет хлеба. В пурпур одеты иные вдовицы, а иные одеты в рубище. Прокаженные бродят по болотам, и они жестоки друг к другу. По большим дорогам скитаются нищие, и суммы их пусты. В городах по улицам гуляет Голод, и Чума сидит у городских ворот. Пойдем же, пойдем – избавим людей от всех бедствий, чтобы в мире больше не было горя. Зачем тебе медлить здесь и звать свою милую? Ты ведь видишь: она не приходит. И что такое любовь, что ты ценишь ее так высоко?

Но ничего не ответил юный Рыбак, так велика была сила его любви. Каждое утро он звал Морскую Деву, каждый полдень он звал ее вновь, и по ночам он призывал ее снова. Но она не поднималась, и нигде не мог он ее отыскать, хотя искал ее в реках, впадающих в море, и в долинах, которые

скрыты волнами, и в море, которое становится пурпурным ночью, и в море, которое рассвет оставляет во мгле.

Так прошел еще один год, и как-то ночью, когда юный Рыбак одиноко сидел у себя в шалаше, его Душа обратилась к нему:

– Злом я искушала тебя, и добром я искушала тебя, но любовь твоя сильнее, чем я. Отныне я не буду тебя искушать, но я умоляю тебя: дай мне войти в твое сердце, чтобы я могла слиться с тобою, как и прежде.

– И вправду, ты можешь войти, – сказал юный Рыбак, – ибо мне сдается, что ты испытала немало страданий, когда скиталась по миру без сердца.

– Увы! – воскликнула Душа. – Я не могу найти входа, потому что окутано твое сердце любовью.

– И все же мне хотелось бы оказать тебе помощь, – сказал молодой Рыбак.

Как только он это сказал, послышался громкий вопль – тот вопль, который доносится к людям, когда умирает кто-то из обитателей моря. И вскочил молодой Рыбак, и покинул свой плетеный шалаш, и побежал на побережье. И черные волны быстро бежали к нему, и несли с собою какую-то ношу, которая была белее серебра. Бела, как пена, была эта ноша, и, подобно цветку, колыхалась она на волнах. И волны отдали ее прибою, и прибой отдал ее пене, и берег принял ее, и увидел молодой Рыбак, что тело Морской Девы простерто у ног его. Мертвое, оно было простерто у ног.

Рыдая, как рыдают пораженные горем, бросился Рыбак на землю, целовал холодные алые губы, и перебирал влажные янтарные волосы. Лежа рядом с ней на песке и содрогаясь, как будто от радости, он прижимал своими темными руками ее тело к груди. Губы ее были холодными, но он целовал их. Мед ее волос был соленым, но он вкушал его с горькою радостью. Он целовал ее закрытые веки, и бурные брызги на них не были такими солеными, как его слезы.

Мертвой принес он свое покаяние. Терпкое вино своих речей он влил в ее уши, подобные раковинам. Ее руками он обвил свою шею и ласкал тонкую, нежную трость ее горла. Горько было его ликование, и какое-то странное счастье было в скорби его.

Ближе придвинулись черные волны, и стон белой пены был как стон прокаженного. Белоснежными когтями своей пены море вонзалось в берег. Из чертога Морского царя снова донесся вопль, и далеко в открытом море тритоны хрипло протрубили в свои раковины.

– Беги прочь, – сказала Душа, – все ближе надвигается море. Если ты будешь медлить, оно погубит тебя. Беги, ибо я охвачена страхом. Ведь

сердце твое для меня недоступно, так как слишком велика твоя любовь. Беги в безопасное место. Не захочешь же ты, чтобы, лишенная сердца, я перешла в иной мир.

Но Рыбак все взывал к маленькой Морской Деве.

– Любовь, – говорил он, – лучше мудрости, ценнее богатства и прекраснее, чем ноги у дочерей человеческих. Огнями не сжечь ее, водами не погасить. Я звал тебя на рассвете, но ты не пришла на мой зов. Луна слышала имя твое, но ты не внимала мне. На горе я покинул тебя, на погибель свою я ушел от тебя. Но всегда любовь к тебе пребывала во мне, и была она так несокрушимо могуча, что все было над нею бессильно, хотя я видел и злое, и доброе. И ныне, когда ты мертва, я тоже умру с тобою.

Душа умоляла его отойти, но он не пожелал и остался, ибо так велика была его любовь. Море надвинулось ближе, стараясь покрыть его волнами. А когда он увидел, что близок конец, он поцеловал безумными губами холодные губы Морской Девы, и сердце у него разорвалось. От полноты любви разорвалось его сердце, и Душа нашла туда вход, и вошла в него, и стала с ним, как и прежде, единая. И море своими волнами покрыло его.

* * *

А наутро вышел Священник, чтобы осенить своею молитвою море, ибо оно сильно волновалось. И пришли с ним монахи, и клир, и прислужники со свечами, и те, что кадят кадильницами, и большая толпа молящихся.

И когда Священник приблизился к берегу, он увидел, что утонувший Рыбак лежит на волне прибоя, и в его крепких объятиях тело маленькой Морской Девы, и Священник отступил, и нахмурился, и, осенив себя крестным знаменем, громко возопил:

– Я не пошлю благословения морю и тому, что находится в нем. Проклятие обитателям моря и тем, которые водятся с ними! А этот, лежащий здесь со своей возлюбленной, отрекшийся ради любви от Господа и убитый правым Господним судом, – возьмите тело его и тело его возлюбленной и схороните их на Погосте Отверженных, в самом углу, и не ставьте знака над ними, дабы никто не знал о месте их упокоения. Ибо прокляты они были в жизни, прокляты будут и в смерти.

И люди сделали, как им было велено, и на Погосте Отверженных, в самом углу, где растут только горькие травы, они вырыли глубокую могилу и положили в нее мертвые тела.

И прошло три года, и в день праздничный Священник пришел во храм, чтобы показать народу раны Господни и сказать ему проповедь о гневe Господнем. И когда он облачился в свое облачение, и вошел в алтарь, и пал ниц, он увидел, что престол весь усыпан цветами, дотоле никем не виданными. Странными они были для взора, чудесна была их красота, и красота эта смутила Священника, и сладостен был их аромат. И безотчетная радость охватила его.

Он открыл ковчег, в котором была дарохранительница, покадил перед нею ладаном, показал молящимся прекрасную облатку и покрыл ее священным покровом, и обратился к народу, желая сказать ему проповедь о гневe Господнем. Но красота этих белых цветов волновала его, и сладостен был их аромат для него, и другое слово пришло на уста к нему, и заговорил он не о гневe Господнем, но о бoгe, чье имя – Любовь. И почему была его речь такова, он не знал.

Когда же он окончил свое слово, все в храме зарыдали, и пошел Священник в ризницу, и глаза его были полны слез. И дьяконы вошли в ризницу, и стали разоблачать его, и сняли с него стихарь, и пояс, и орарь, и епитрахиль. И он стоял как во сне.

Наконец он спросил:

– Что это за цветы на престоле и откуда они?

Отвечали ему:

– Что это за цветы, мы не можем сказать, но они с Погоста Отверженных.

Задрожал Священник, и вернулся в свой дом молиться. А утром, на самой заре, вышел он с монахами, и клиром, и прислужниками, несущими свечи, и с теми, которые кадят кадильницами, и с большой толпой молящихся, и пошел он к берегу моря, и благословил он море и дикую тварь, которая водится в нем. И фавнов благословил он, и гномов, которые пляшут в лесах, и тех, у которых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев. Всем созданиям Божьего мира дал он свое благословение – народ дивился и радовался. Но никогда уже не зацветают цветы на Погосте Отверженных, и по-прежнему Погост остается нагим и бесплодным.

А обитатели моря уже никогда не заплывают в залив, как бывало, горюя, они удалились в другие области моря.

Дитя-Звезда

Стояла зима. Была лютая стужа...

Большой сосновый лес застыл; снег окутал его толстым покровом и повис затейливыми клочьями на ветвях деревьев. Ледяной Царь приказал Горному Поток у остановиться, и тот, висая в воздухе, стал неподвижен.

Птицы и звери зябли и не знали, как укрыться от холода.

– Что за нестерпимая погода... Уф! – говорил Волк, поднимая хвост и крадучись между кустарниками.

– Куит! Куит! Куит! – жалобно стонала зеленая Коноплянка. – Земля замерла: на нее надели белый саван...

– Земля надела венчальный убор, должно быть, она выходит замуж... – говорили друг другу нежные Горлицы, не зная, куда девать закоченевшие от холода розовые лапки.

– Если вы будете говорить глупости, я вас съем, – сказал им сердито Волк.

– По-моему, не все ли равно, отчего холодно, – наставительно заметил Зеленый Дятел. – Ведь от ваших рассуждений теплее не будет...

Дятлу никто не возражал. И он был прав.

На самом деле холод был невероятный. Маленькие белочки зябли даже в дупле. Потираясь друг о друга мордочками, они все-таки не могли согреться. Кролики также зябли, хотя и лежали в своих норках клубочками. Только одни рогатые филины да совы не жаловались на погоду: они были очень тепло одеты. Поводя своими круглыми красными глазами, они аукались друг с другом и кричали на весь лес:

– Ту-вит! Ту-ву-у! Ту-вит! Ту-ву-у! Вот так славная погодка!

В эту-то холодную пору возвращались домой два Дровосека. Они шли сосновым бором, съездившись от холода. Не раз они падали и проваливались в глубокий сугроб, откуда вылезали белыми, осыпанными снегом. Как-то поскользнувшись, они уронили свои вязанки с хворостом, и те развязались. Большого труда стоило снова связать их окоченевшими руками. Вскоре они заблудились и страшно испугались, потому что снег уже протягивал к ним свои ледяные объятия. После долгого блуждания они достигли наконец края бора и увидели мелькавшие вдали огоньки своей деревни. Это их так обрадовало, что они стали веселы. Лишь подходя к деревне, они вспомнили о своей ужасной бедности, и сердца их наполнились печалью.

– Да, – сказал один из них, – жизнь нас не радует: она принадлежит только богачам. Право, было бы не так худо, если бы мы погибли в бору.

– Это верно, – ответил ему товарищ. – Мир разделен чересчур несправедливо: у одних очень много, а у других слишком мало.

Едва Дровосек проговорил эти слова, как впереди его блеснула яркая звезда. Скользя наискось горизонта, она упала. Дровосекам показалось, что звезда упала близ ив, недалеко от них.

– Эге! Да уж не клад ли это! – вскричал один Дровосек.

И оба товарища пустились наперегонки к месту, где, как им показалось, упала звезда.

Вскоре один Дровосек опередил своего товарища. Пробежав ивы, он и в самом деле увидел на снегу большой золотой сверток. Нагнувшись к нему, Дровосек заметил, что это был в несколько раз свернутый плащ из золотой ткани.

– Иди скорей смотреть упавшее сокровище! – закричал Дровосек своему товарищу.

– Наверное, тут золотые монеты, – сказал подошедший Дровосек.

Товарищи стали разворачивать плащ, предвкушая приятный раздел золота.

– Да здесь что-то мягкое и теплое, – сказал вдруг один из Дровосеков.

– Вот горькое разочарование! – воскликнули они разом, когда вместо золота увидели спавшего ребенка.

Дровосеки быстро прикрыли ребенка плащом и печально задумались.

– Да, не везет нам, – сказал один другому. – Куда мы денем этого ребенка? Придется оставить его здесь. Пойдем скорее домой, мы должны кормить своих детей, а не чужих.

– Я не могу оставить здесь ребенка для гибели: это нехорошо, – сказал другой Дровосек. – Я так же, как и ты, кормлю из пустого горшка полдюжины ртов, но все же я беру этого ребенка домой.

И Дровосек, нежно укутав в плащ ребенка, поднял его и пошел домой.

– Ведь это же безумие! – говорил ему шедший сзади товарищ.

Но, поразмыслив, он стал дивиться его мягкосердечию.

Когда они пришли в деревню, товарищ сказал Дровосеку, несшему ребенка:

– Мы должны поделиться: если ты берешь ребенка, то мне отдай плащ.

– Этого нельзя сделать, – отвечал Дровосек. – Плащ ни тебе, ни мне не принадлежит, он – собственность ребенка.

Дровосек простился с товарищем и пошел к дому. Жена очень обрадовалась его приходу, освободила его от вязанки хвороста, стряхнула с

него снег и тут только заметила сверток в его руках.

– Что это такое? – спросила она.

– А это ребенок; я нашел его в бору и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем так же, как и о наших детях.

И муж, развернув плащ, открыл жене спящего ребенка.

– Неужели тебе мало своих детей? – сказала с упреком жена. – Как мы будем его кормить и воспитывать, когда нет сил содержать и своих детей? Кто поручится, что этот ребенок не принесет нам несчастья!

– Это дитя должно принести нам счастье: оно – Дитя-Звезда. – И Дровосек стал рассказывать жене о дивной находке.

Но жену трудно было успокоить; она ворчала, что и так недостает пищи, а тут еще чужой ребенок.

– Бог заботится не только о людях, но даже о птицах; посмотри: Он и зимой кормит их, – говорил Дровосек.

– Как? – воскликнула жена. – Ты даже не знаешь того, что птицы умирают зимой с голоду? Стыдись и помни, что теперь зима!

Дровосек стоял близ открытой двери и не трогался с места.

Через открытую дверь потянул резкий ветер. Жене Дровосека стало холодно, и она сказала мужу:

– Прикрой дверь, в горницу дует резкий ветер!

– Там, где черствое сердце, всегда бывает холодно, – ответил Дровосек.

Жена молча присела к огню.

Через несколько минут она посмотрела на мужа. В ее глазах были слезы. Муж заметил это, подошел к ней и передал ей ребенка. Взяв его на руки, она отнесла его в кроватку, где спал ее младший сын.

На следующее утро Дровосек спрятал в сундук золотой плащ и янтарную цепочку, висевшую на шее ребенка.

– Надо это хранить до поры до времени, – сказал он жене.

Дитя-Звезда воспитывалось в семье Дровосека. С его детьми оно сидело за одним столом и с ними же вместе играло.

Время шло. Мальчик-Звезда становился все прекраснее и прекраснее. Все удивлялись его красоте: он был нежен и бел, у него были красивые кудри, коралловые губы и глаза, как фиалки.

Сознавая свое превосходство и свою красоту, Мальчик-Звезда загордился. А в своей гордости он стал жестоким и самолюбивым. Он с презрением относился к детям Дровосека и к другим деревенским детям, считая себя благородным, рожденным от Звезды, а их – низкими по происхождению. Он стал повелевать детьми и называть их своими слугами.

Бедных, калек, слепых и вообще слабых и несчастных он также презирал. Не имея к ним ни малейшей жалости, он кидал в них камнями, гнал на большую дорогу и угрожал им, чтобы они не появлялись в следующий раз. Зло издеваясь над слабыми, Мальчик-Звезда любил только самого себя, свою красоту. Нередко он спускался к ручью в усадьбе Священника и в его воде любовался отражением своего красивого лица.

Дровосек и его жена часто делали выговоры Мальчику-Звезде за его жестокое отношение к слабым и увечным. Они поучали его состраданию.

Старый Священник не раз подзывал его к себе и наставлял:

– Дитя, относись с любовью ко всему живущему. Не вноси страдания в Божий мир. Даже муху не обижай, потому что она, как и ты, создание Творца, следовательно, сестра тебе. Бог дал птицам свободу. Нехорошо ловить их в сети только для забавы. Помни, что не ты хозяин хотя бы земляного червя или крота. Их создал Бог и каждому из них предназначил свое место на земле. Каждая тварь славит своего Творца.

Мальчик-Звезда молча выслушивал эти наставления. Нагнув голову, он или хмурился, или же усмехался. Но стоило ему вернуться к товарищам, как он снова всеми повелевал и снова становился жестоким. Все дети слушались его, потому что он был ловок, красив, умел свистеть, играть на свирели и танцевать. Дети всегда послушно исполняли все, что он приказывал им. Когда он мучил крота, выкалывая ему глаза, дети смеялись. Когда же он кидал камнями в слепых или в прокаженных, они помогали ему. Его жестокость заражала их.

Случилось как-то бедной нищей проходить той деревней, где жил Мальчик-Звезда. Она была в рваной одежде и босая. От ходьбы по кремнистой дороге на ее ногах были кровавые ссадины. Разбитая, измученная, она села близ каштана. Заметив ее, Мальчик-Звезда крикнул своим сверстникам.

– Глядите-ка, вон под то дерево села нищенка в лохмотьях. Надо прогнать ее оттуда. Пойдемте!

Он подбежал ближе к нищенке и, ругаясь, бросил в нее камнем. Когда нищенка увидела его, в ее глазах отразился ужас и она не спускала взгляда с Мальчика-Звезды. Но он стал опять бросать в нее камни.

Увидав это, Дровосек выбежал из сарая, где колот дрова, и сердито сказал приемышу:

– В твоем сердце нет жалости, и ты жесток! Что дурного сделала тебе эта женщина и за что ты ее бьешь?

Мальчик-Звезда гордо посмотрел на него и гневно произнес:

– Я не обязан давать тебе объяснений моих поступков. Ты мне не отец,

чтобы приказывать!

– Это верно, – ответил Дровосек, – но все же я пожалел тебя и спас от гибели, когда ты замерзал близ леса; а потом вот и вырастил тебя.

Последние слова Дровосека так поразили женщину-нищенку, что она вскрикнула и лишилась чувств. Дровосек бросился к ней и перенес ее в свой дом. Жена Дровосека привела ее в чувство, накормила и успокоила.

Немного оправившись, женщина спросила Дровосека:

– Ты говорил, что этот мальчик замерзал близ леса и ты его нашел. Не прошло ли после этого лет десять?

– Да, это было десять лет тому назад, – ответил Дровосек.

– А не был ли он завернут в плащ из золотой ткани и не было ли на его шее янтарной цепочки? – спросила быстро женщина.

– Да, он был завернут в плащ и на его шее была янтарная цепочка, – ответил Дровосек.

И он достал из сундука золотой плащ и янтарную цепочку и показал их женщине.

Лишь только женщина увидела плащ и цепочку, как заплакала от радости и воскликнула:

– Верно! Это мой сын, которого я лишилась в лесу... Будь добр, сходи за ним: ведь я искала его по всему свету.

Дровосек тотчас же вышел и, найдя Мальчика-Звезду, сказал ему:

– Иди домой, к тебе пришла мать.

Мальчик-Звезда страшно удивился. Он с радостью побежал домой, но, увидав нищенку, с негодованием вскричал:

– Кроме этой нищенки, здесь никого нет. Покажите же мою мать!

Тогда женщина смущенно сказала ему:

– Твоя мать – это я...

– Как? Ты – моя мать! – злобно крикнул Мальчик-Звезда. – Нужно сойти с ума, чтобы так говорить! Кто же тебе поверит, чтобы я был сыном такой грязной нищенки. Я не хочу больше видеть тебя. Уходи отсюда!

– То, что я говорю, верно, – сказала женщина. – Ты мой сын, которого у меня похитили разбойники, а затем кинули. Приметы верные: золотой плащ и янтарная цепочка... Пойдем со мною, сын мой. Я люблю тебя, и ты будешь моим утешением!

Женщина пала на колени и протянула к нему руки.

Но Мальчик-Звезда бросил на нее презрительный взгляд и резко сказал:

– Если ты действительно моя мать, то лучше бы тебе не приносить позора мне. До сих пор меня называли сыном Звезды, а не нищей. Уходи же

отсюда: я не хочу тебя видеть!

– Милый мой сын, – с мольбой произнесла женщина, – я так много страдала в поисках тебя, что едва ли перенесу это новое страдание. Поцелуй же меня на прощанье перед уходом!

– Ты так безобразна, что я лучше поцелую змею или жабу, но только не тебя, – ответил Мальчик-Звезда и отвернулся от женщины.

Горько заплакав, женщина пошла в лес и скрылась. А Мальчик-Звезда вернулся к своим товарищам.

Но тут произошло что-то странное... Когда дети увидели Мальчика-Звезду, они стали насмехаться над ним:

– У-у! Какой ты гадкий, точно жаба или змея! Мы не станем играть с тобой. Уходи отсюда прочь!

И дети прогнали его.

Мальчик-Звезда страшно удивился этому. «Что это значит?» – подумал он и решил отправиться к ручью и посмотреть на себя в зеркале его вод.

Но когда он пришел к ручью и взглянул на свое отражение, то его лицо исказилось ужасом. Он увидел, что стал похож лицом на жабу, а телом – на змею. У него было плоское серое лицо, зеленые глаза и как бы змеино-го цвета кожа на теле.

Мальчик-Звезда пал наземь и залился слезами.

– О я несчастный! – воскликнул он. – Теперь я понял, что наказан за свою жестокость. Даже от матери я отрекся. Я буду теперь искать ее по белу свету и до тех пор не успокоюсь, пока не отыщу ее.

В это время ему кто-то положил на плечо руку и нежно сказал:

– Не плачь! Это неважно, что ты стал некрасив. Я не буду смеяться над тобой. Только ты оставайся с нами.

Он обернулся и увидел около себя маленькую дочь Дровосека.

– Нет, я должен уйти отсюда, – отвечал он – Я наказан за свою жестокость и должен отыскать мать и выпросить у нее прощение.

Проговорив это, Мальчик-Звезда вскочил на ноги и побежал в лес. Целый день он звал там свою мать, но никто не отвечал ему. С заходом солнца он прилег на траву. Птицы и звери, зная его жестокость, обегали его; и только одна жаба не боялась его, да ехидна без опасения проползала мимо.

С восходом солнца он встал, поел лесных ягод и с плачем побежал вперед. И кто бы ему ни попадался – животное ли, птица ли, – он всех расспрашивал, не встречали ли они его матери.

Первым попался ему навстречу Крот. Мальчик-Звезда спросил его:

– Ты живешь под землей и слышишь шаги проходящих по ней. Скажи,

не слышал ли ты шагов проходящей здесь и плачущей женщины?

– Ты для забавы выколол мне глаза, и я не могу отплатить тебе добром за твою жестокость, – отвечал Крот.

Мальчик-Звезда побежал дальше и, увидев Коноплянку, спросил ее:

– Ты паришь над верхушками деревьев и видишь всю землю. Скажи, не видела ли ты моей матери?

– Ты был так жесток, – отвечала Коноплянка, – что обрезал мне крылья, и я не могу теперь летать.

Мальчик-Звезда побрел дальше и, встретив маленькую Белку, спросил ее:

– Не видела ли ты моей матери?

– Я не отвечу тебе на этот вопрос, – сказала Белка, – потому что ты убил мою мать. Я боюсь, что ты и свою мать ищешь для того, чтобы убить ее.

Мальчик-Звезда пал тогда на колени и со слезами на глазах стал просить прощенья у Божьих творений. И опять пошел искать женщину-нищую.

Пройдя лес, он пришел в какую-то деревню. Но как только деревенские дети увидели его, то стали бросать в него камнями и гнать прочь. Никто не относился к нему с сожалением: и крестьяне, и рабочие смеялись над его безобразием и гнали, не давая ему даже ночлега. Так он бродил по свету три года, не встречая нигде пощады или участия. К нему относились так же, как и он когда-то к несчастным во дни своей гордости.

Раз вечером он пришел к воротам большого города. Этот город был обнесен каменной стеной. У ворот стояли на страже солдаты. Когда Мальчик-Звезда хотел войти в город, солдаты загородили ему вход и спросили:

– Зачем идешь в город?

– Мне нужно найти свою мать, – отвечал он, – пустите: быть может, она там.

Но солдаты стали насмехаться над ним, а один из них сказал:

– Не думаю, чтобы твоя мать обрадовалась тебе. Ведь ты безобразнее жабы и змеи. Уходи прочь отсюда! В городе нет твоей матери.

И солдаты стали отталкивать его от ворот. Как он ни умолял их, они оставались непреклонны. Он уже хотел уходить. Вдруг появился человек в военной форме.

– Что тут случилось? – спросил он у солдат.

– Вот этот бродяга, сын нищей, шел в город, но мы не пустили его.

– Подождите его гнать, – сказал человек, – давайте продадим его в

рабство. Такое безобразие – редкость. Найдется, быть может, чудака, который и купить его. Мы же на эту выручку выпьем по чаше сладкого вина.

И человек, задержав Мальчика-Звезду, стал предлагать его в продажу некоторым проходящим. Но никто не покупал его.

Мальчик-Звезда стал радоваться этому, а военные хотели уже бросить свою затею. В это время проходил мимо старик со злым лицом.

– Вон идет Маг, – сказал один из солдат, – давайте предложим ему этого урода.

На предложение военных Маг ответил:

– Я согласен купить его за эту цену. Вот деньги.

Маг расплатился, взял своего новоприобретенного раба за руку и повел его в город.

Долго они шли по улицам. Наконец достигли каменной стены под сенью гранатовых деревьев. В стене была небольшая дверь. Маг приложил к двери снятый с руки перстень, и она отворилась. Маг свел Мальчика-Звезду по пяти бронзовым ступеням в сад, где было много зеленых глиняных чаш, наполненных черными маками. Потом завязал шелковым шарфом глаза Мальчику-Звезде и втолкнул его в какую-то дверь. После того как шарф был снят, Мальчик-Звезда заметил, что он находится в темнице, слабо освещенной светом, лившимся из стеклянного рога.

Маг положил на стол кусок черствого хлеба, поставил чашку соленой воды и сказал Мальчику-Звезде:

– Ешь и пей!

Пока Мальчик-Звезда подкреплял свои силы, Маг незаметно вышел и закрыл за собой дверь на цепь.

На следующее утро Маг прибыл в темницу и, обратившись к Мальчику-Звезде, грозно проговорил:

– Близ этого города в лесу скрыты три золотые монеты: одна сделана из белого золота, другая – из желтого и третья – из красного. Сегодня ты пойдешь в лес, отыщешь там монету из белого золота и принесешь ее мне. К закату солнца ты должен прийти к двери сада: там я буду ожидать тебя. Если же ты не принесешь мне эту монету, то помни: получишь сто ударов. Отныне ты мой раб, потому что я купил тебя за три чаши вина.

Маг завязал шарфом глаза Мальчику-Звезде и повел его через сад к пяти бронзовым ступеням. Открыв дверь своим перстнем, Маг выпустил Мальчика-Звезду на улицу.

Выйдя из города, Мальчик-Звезда направился в лес. Роскошный лес казался с виду раем. В нем пели певчие птицы и болтали красивые попугаи;

повсюду были прекрасные цветы, издававшие благоуханный аромат. Но лишь только Мальчик-Звезда вошел в этот лес, как на него набросились острые терновники, злая крапива и иглистый чертополох. Они кололи и обжигали его босые ноги и руки, и он претерпевал от них страшные мучения.

С самого утра и до заката солнца он искал в лесу монету из белого золота и не находил.

Когда зашло солнце, он отправился домой. Горькие слезы текли из его глаз, так как он знал, какая участь его ожидает.

Выйдя на опушку леса, Мальчик-Звезда вдруг услышал жалобный крик. Прислушавшись, он заметил, что крик исходит из чащи леса. Мальчик-Звезда позабыл о своей горе и бросился в чащу. Там он нашел маленького Зайца, попавшего в капкан охотника. Освобождая его из тисков капкана, Мальчик-Звезда сказал:

– Хотя я и сам раб, но могу даровать тебе свободу.

– Благодарю тебя, – отвечал неожиданно человеческим голосом Заяц. – Ты вернул мне свободу, и я хотел бы чем-нибудь отплатить тебе за это.

– Мне приказано найти монету из белого золота, – сказал Мальчик-Звезда. – Я искал ее весь день и не смог найти. Теперь меня прибудут за это.

– Иди за мною! – ответил Заяц. – Я знаю, где она находится и на что тебе пригодится.

Заяц привел Мальчика-Звезду к дуплу большого дуба.

– Вот в этой расселине ты найдешь монету из белого золота, – сказал он.

Мальчик-Звезда бросился к расселине дуба и нашел там монету из белого золота. Обрадованный находкой, он стал благодарить Зайца.

– За мою услугу ты платишь мне с избытком! – воскликнули он.

– Да нет же, – отвечал Заяц, – я сделал тебе то же, что и ты мне: за добро плачу добром.

Заяц быстро скрылся, а Мальчик-Звезда направился в город.

У городских ворот сидел человек, пораженный проказой. Его лицо было покрыто серым полотном. Сквозь отверстия для глаз выглядывали, подобно раскаленным углям, зрачки. Когда Мальчик-Звезда проходил мимо прокаженного, последний громко ударил по дну деревянной чашки и, позвонив в колокольчик, сказал:

– Меня изгнали из города, никто не имеет жалости ко мне, и вот я умираю с голоду. Дай мне денег – я буду спасен.

– Я не могу тебе помочь, – отвечал Мальчик-Звезда, – в моем кармане всего-навсего одна монета, и ту я обязан принести своему господину. Если

я не принесу ее, он прибьет меня как своего раба.

Но прокаженный с такой мольбой начал упрашивать Мальчика-Звезду отдать ему монету, что тот наконец сжалился над ним и отдал ему монету из белого золота.

Тяжело было ему возвращаться к дому Мага. Подойдя к двери, он заметил, что Маг с нетерпением поджидал его.

– Ну, давай же монету из белого золота! – крикнул Маг, быстро втолкнув Мальчика-Звезду в дверь сада.

– У меня ее нет, – отвечал Мальчик-Звезда.

– Вот как! – зловеще сказал Маг и, набросившись на него, стал бить.

Потом он поставил перед ним пустой столик, на него – пустую чашку и, сказав: «Ешь, пей», опять заключил его в темницу.

Утром Маг пришел в темницу и, сердито стуча перстнем по столу, сказал:

– Если ты не найдешь мне сегодня монету из желтого золота, я жестоко накажу тебя: ты получишь триста ударов.

Он повел Мальчика-Звезду к выходу и выпустил его на улицу.

Мальчик-Звезда опять направился в лес и стал искать монету из желтого золота. Целый день он искал ее, но нигде не нашел.

Вечером он выбрался из лесу и, присев на опушке леса, стал плакать.

– О чем ты плачешь? – спросил его неожиданно подбежавший Заяц.

– Да я искал целый день монету из желтого золота и нигде не нашел ее, – отвечал Мальчик-Звезда. – Теперь мой господин жестоко избьет меня, потому что я – его раб – не исполнил данного мне поручения.

– Следуй за мною! – проговорил Заяц и побежал в лес к ручью. – Там, – сказал он, – на дне ручья, близ камня лежит монета из желтого золота.

– Я не знаю, как и благодарить тебя! – вскричал обрадованный Мальчик-Звезда.

– Да ведь ты первый пожалел меня, – сказал ему Заяц и скрылся.

Мальчик-Звезда, достав монету из желтого золота, поспешно направился в город. Но лишь только он подошел к воротам, прокаженный протянул к нему руки и прокричал:

– Я умираю с голода, дай мне денег!

– Но у меня только одна монета из желтого золота. Если я не передам ее своему господину, он станет бить меня, как раба, – отвечал Мальчик-Звезда.

Прокаженный стал умолять отдать ему монету. Мальчик-Звезда был растроган его жалобами и отдал монету.

Между тем Маг давно уже поджидал Мальчика-Звезду. Отворив ему дверь, он сурово спросил:

– Принес монету из желтого золота?

– Нет, – отвечал Мальчик-Звезда.

Маг схватил его и стал бить. Потом он заключил его в темницу и надел на него тяжелые железные цепи.

С наступлением утра маг пришел в темницу и сказал Мальчику-Звезде:

– Ты должен сегодня принести монету из красного золота. Если исполнишь мое поручение, я отпущу тебя на волю, если нет, то убью тебя.

Отправившись в лес, Мальчик-Звезда с утра до вечера искал монету из красного золота, но все напрасно. Усталый, измученный, он опустился на землю и залился слезами. И опять появился маленький Заяц и спросил:

– О чем плачешь?

– Нигде не найду монеты из красного золота, – отвечал сквозь слезы Мальчик-Звезда.

– Обернись назад... Вон в том ущелье ты найдешь монету из красного золота. Не плачь и будь весел, – сказал Заяц.

– Я не знаю, как и благодарить тебя! – воскликнул обрадованный Мальчик-Звезда. – Ведь ты уж в третий раз помогаешь мне.

– Ты первый сжалился надо мною, – ответил Заяц и убежал.

Мальчик-Звезда без труда нашел в ущелье монету из красного золота.

Когда он подходил к городским воротам, прокаженный опять стал просить у него денег. Мальчик-Звезда сначала отказывал, но потом не выдержал и, сжалившись над прокаженным, отдал ему монету.

– Ты нуждаешься более меня, – сказал он и, тяжело вздохнув, пошел по городу.

«Маг убьет меня», – думал он.

Когда Мальчик-Звезда подходил к главной городской башне, его встретила военная охрана. Она воздала ему почести и приветствовала его. Тотчас же появилась и толпа горожан.

– Как прекрасен наш господин! Лучше его нет никого на свете! – восклицала она.

Мальчик-Звезда с удивлением глядел на все это и с горестью думал: «Они издеваются над моим уродством».

Толпа народа все росла и росла. Избегая ее, Мальчик-Звезда свернул на Королевскую площадь, где был дворец Короля. Но как только он показался на площади, ворота дворца раскрылись и показались священники и высшие сановники. Они вышли для встречи Мальчика-Звезды и, подойдя к нему, почтительно сказали:

– Ты сын нашего Короля и наш господин, мы приветствуем тебя!

Изумленный Мальчик-Звезда отвечал:

– Вы ошибаетесь. Я сын нищей, а не сын Короля. И я не прекрасен, а безобразен.

В это время выступил вперед начальник отряда и сказал:

– Ваше величество, вы прекрасны и не можете этого отрицать.

Мальчик-Звезда придвинулся к его блестящему шлему, обитому золотом, взглянул в нем на отражение своего лица и увидел, что красота снова вернулась к нему. Только глаза были другими: в них не было прежней гордости и жестокости, а было что-то новое.

Священники и сановники склонились пред ним и сказали:

– Наш Король стар и передает тебе эти корону и скипетр. Возьми их, будь нашим Королем, и да сопутствуют тебе правосудие и милосердие.

– Но я не достоин быть королем: я обидел свою мать и должен ее найти, чтобы получить прощение, – отвечал Мальчик-Звезда.

И он повернул назад, чтобы идти. Взгляд его нечаянно упал на толпу, и среди нее он заметил нищенку – свою мать, а рядом с ней – прокаженного. Радостно вскрикнув, Мальчик-Звезда бросился к матери, пал на колени и поцеловал раны на ее ногах. Рыдая, он говорил:

– Прости меня! Когда я был горд, то оттолкнул тебя. Прими же меня теперь, в дни моего унижения. Мне нужна твоя любовь. Забудь о моей ненависти и не оттолкни свое дитя!

Нищая молчала.

Мальчик-Звезда обернулся к прокаженному и, протянув к нему руки, сказал:

– Я три раза жалел тебя. Упроси один раз мою мать сжалиться надо мною.

Но прокаженный тоже молчал.

Мальчик-Звезда зарыдал сильнее и, обернувшись к матери, сказал:

– Мать, мои страдания превышают мои силы. Прости меня, и я уйду снова странствовать по свету.

Нищая опустила свою руку на его голову и тихо проговорила:

– Встань!

– Встань! – проговорил и прокаженный.

Мальчик-Звезда приподнялся и посмотрел на мать и на прокаженного. Вместо них стояли Королева и Король.

И сказала Королева, указывая на преобразившегося прокаженного:

– Это твой отец. Ты помогал ему.

И сказал Король, указывая на преобразившуюся нищую:

– Это твоя мать. Ты целовал ее раны.

Король и Королева обняли Мальчика-Звезду и поцеловали его. После этого все направились во дворец. Там Мальчика-Звезду нарядили в лучшие одежды и короновали на царство. И стал он править городом.

Как повелитель, он был добр и справедлив. Злого Мага он изгнал, а Дровосека и его жену одарил подарками, детей же Дровосека взял во дворец на службу.

Юный Король не выносил жестокости. Он постоянно учил своих подданных любви и милосердию. Каждый бедняк мог свободно обратиться к Королю за помощью. И юный Король всем помогал: голодных кормил, а нагих одевал. И воцарился в той стране мир. Но славное царствование юного Короля было кратковременно. Прошлое мучило его, и он страдал. Но еще больше он страдал при виде людских страданий. Спустя три года он скончался, не выдержав своих страданий.

Как важно быть серьезным

Легкомысленная комедия для серьезных людей



Действующие лица

Джон Вординг, почетный мировой судья.

Алджернон Монкриф.

Его преподобие каноник Чезюбл, доктор богословия.

Мерримен, дворецкий.

Лэйн, лакей.

Леди Брэкнелл.

Гвендолен Фейрфакс, ее дочь.

Сесили Кардью.

Мисс Призм, гувернантка.

Место действия

Действие первое – квартира Алджернона Монкрифа на Хаф-Мун-стрит, Вест-Энд.

Действие второе – сад в поместье мистера Вординга, Вултон.

Действие третье – гостиная в поместье мистера Вординга, Вултон.

Время действия – наши дни.

Действие первое

Гостиная в квартире Алджернона на Хаф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно и со вкусом. Из соседней комнаты слышатся звуки фортепьяно.

Лэйн накрывает стол к чаю. Музыка умолкает, и входит Алджернон.

АЛДЖЕРНОН. Вы слышали, что я играл, Лэйн?

ЛЭЙН. Я считаю, что подслушивать невежливо, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Очень жаль. Вас жаль, Лэйн. Я играю не очень точно – точность доступна всякому, – я играю с удивительной экспрессией: чувство, вот в чем моя сила. Научную точность я приберегаю для жизни.

ЛЭЙН. Да, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Если уж говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили сэндвичи с огурцом для леди Брэкнелл?

ЛЭЙН. Да, сэр. *(Протягивает блюдо с сэндвичами.)*

АЛДЖЕРНОН *(осматривает их, берет два и садится на диван)*. Кстати, Лэйн, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедали лорд Шормэн и мистер Вординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского.

ЛЭЙН. Да, сэр, восемь бутылок и пинта пива.

АЛДЖЕРНОН. Почему у холостяков шампанское, как правило, выпивают лакеи? Я спрашиваю просто из интереса.

ЛЭЙН. Полагаю, из-за высокого качества вина, сэр. Я часто отмечал, что в семейных домах шампанское редко бывает хороших марок.

АЛДЖЕРНОН. Боже мой, Лэйн! Неужели семейная жизнь так развращает нравы?

ЛЭЙН. Возможно, в семейной жизни много приятного, сэр. Правда, в этом отношении у самого меня опыт невелик – я был женат только один раз. И то из-за недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой.

АЛДЖЕРНОН *(томно)*. Право, ваша семейная жизнь меня не очень интересует, Лэйн.

ЛЭЙН. Да, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не вспоминаю.

АЛДЖЕРНОН. Вполне естественно! Можете идти, Лэйн, благодарю вас.

ЛЭЙН. Благодарю вас, сэр.

Лэйн уходит.

АЛДЖЕРНОН. Взгляды Лэйна на семейную жизнь не весьма нравственны. Если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая же от них польза? По-видимому, у них нет никакого чувства моральной ответственности.

Входит Лэйн.

ЛЭЙН. Мистер Эрнест Вординг.

Входит Джек. Лэйн уходит.

АЛДЖЕРНОН. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?

ДЖЕК. Развлечения, конечно развлечения! Что же еще? А ты, как всегда, жуешь, Алджи?

АЛДЖЕРНОН (сухо). Насколько мне известно, в обществе в пять часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга?

ДЖЕК (располагается на диване). За городом.

АЛДЖЕРНОН. А что ты делал за городом?

ДЖЕК (снимает перчатки). В городе развлекаешься сам, за городом развлекаешь других. Такая скука!

АЛДЖЕРНОН. И кого именно ты развлекаешь?

ДЖЕК (небрежно). А! Соседей, соседей.

АЛДЖЕРНОН. И симпатичные у вас в Шропшире соседи?

ДЖЕК. Невыносимые. Я с ними никогда не разговариваю.

АЛДЖЕРНОН. Да, этим ты им, не сомневаюсь, доставляешь большое удовольствие. (Подходит к столу и берет сэндвич.) Кстати, я не ошибся, это и в самом деле Шропшир?

ДЖЕК. Что? Шропшир? Да, конечно. Но послушай. К чему этот сервиз? Почему сэндвичи с огурцами? Откуда такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь к чаю?

АЛДЖЕРНОН. Никого, кроме тети Августы и Гвендолен.

ДЖЕК. Отлично!

АЛДЖЕРНОН. Да, все это очень хорошо, но боюсь, тетя Августа не одобряет твое присутствие.

ДЖЕК. Собственно, почему?

АЛДЖЕРНОН. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолен совершенно неприлична. Не меньше, чем манера Гвендолен флиртовать с тобой.

ДЖЕК. Я люблю Гвендолен. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей предложение.

АЛДЖЕРНОН. Ты же говорил – чтобы развлечься... А ведь это серьезное дело.

ДЖЕК. В тебе нет ни капли романтики.

АЛДЖЕРНОН. Не нахожу в предложении никакой романтики. Быть влюбленным – это действительно романтично. Но предложить руку и сердце? Предложение могут принять. Да обычно и принимают. Тогда прощай все очарование. Суть романтики в неопределенности. Если мне суждено жениться, я сразу же постараюсь позабыть, что женат.

ДЖЕК. В этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был создан специально для людей с плохой памятью.

АЛДЖЕРНОН. А! Что толку рассуждать о разводах. Разводы совершаются на небесах.

Джек протягивает руку за сэндвичем.

(Одергивает Джека.) Пожалуйста, не трогай сэндвичи с огурцом. Они специально для тети Августы. *(Берет сэндвич и ест.)*

ДЖЕК. Но ты же все время их ешь.

АЛДЖЕРНОН. Это совсем другое дело. Она моя тетка. *(Достает другое блюдо.)* Вот хлеб с маслом. Он для Гвендолен. Гвендолен обожает хлеб с маслом.

ДЖЕК *(придвигается к столу и берется за хлеб с маслом)*. А хлеб действительно очень вкусный.

АЛДЖЕРНОН. Но только, дружище, не вздумай уплести все до последнего. Ты ведешь себя так, словно Гвендолен уже твоя жена. А она еще не твоя жена, да и вряд ли будет.

ДЖЕК. Почему ты так думаешь?

АЛДЖЕРНОН. Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем флиртуют. Они считают, что это не принято.

ДЖЕК. Какая чушь!

АЛДЖЕРНОН. Вовсе нет. Истинная правда. И в этом разгадка, почему вокруг столько холостяков. А кроме того, я не дам разрешения.

ДЖЕК. Ты не дашь разрешения?!

АЛДЖЕРНОН. Милый Джек, Гвендолен – моя кузина. И я разрешу

тебе жениться на ней, только когда ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с Сесили. *(Звонит.)*

ДЖЕК. Сесили! О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой Сесили.

Входит Лэйн.

АЛДЖЕРНОН. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Вординг забыл у нас в курительной на той неделе.

ЛЭЙН. Слушаю, сэр. *(Уходит.)*

ДЖЕК. Значит, мой портсигар все это время был у тебя? Но почему ты меня не известил об этом? А я бомбардирую Скотленд-Ярд запросами, уже готов был предложить большую награду тому, кто найдет его.

АЛДЖЕРНОН. Ну что же, выплати награду мне. Деньги мне сейчас нужны как никогда.

ДЖЕК. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь?

Лэйн вносит портсигар на подносе. Алджернон сразу берет его. Лэйн уходит.

АЛДЖЕРНОН. Не слишком благородно с твоей стороны, Эрнест. *(Раскрывает портсигар и разглядывает его.)* Впрочем, судя по надписи, это вовсе не твой портсигар.

ДЖЕК. Разумеется, мой. *(Протягивает руку.)* Ты сотни раз видел его у меня в руках и, в любом случае, не должен читать, что там написано. Джентльмену не следует читать надписи в чужом портсигаре!

АЛДЖЕРНОН. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует читать, просто нелепы. Современная культура более чем наполовину зиждется на том, чего не следует читать.

ДЖЕК. Пусть будет по-твоему. Я вовсе не собираюсь дискутировать о современной культуре. Это не предмет для частной беседы. Я просто хочу получить свой портсигар.

АЛДЖЕРНОН. Да, но портсигар вовсе не твой. Это подарок какой-то Сесили, а ты сказал, что не знаешь никакой Сесили.

ДЖЕК. Ну, если хочешь знать, у меня есть тетка, которую зовут Сесили.

АЛДЖЕРНОН. Тетка!

ДЖЕК. Да. Чудесная старушка. Живет в Тэнбридж Уэллс. Ну, давай сюда портсигар, Алджернон.

АЛДЖЕРНОН (*отступает за диван*). Но почему она называет себя маленькой Сесили, если она твоя тетка и живет в Тэнбридж Уэллс? (Читает.) «От маленькой Сесили. В знак нежной любви...»

ДЖЕК (*подступает к дивану и упирается в него коленом*). Ну что в этом непонятного? Есть тетки большие, есть тетки маленькие. Уж это, кажется, можно оставить на усмотрение самой тетки. Ты думаешь, что все тетки непременно похожи на твою? Какая ерунда! А теперь отдай мой портсигар! (*Преследует Алджернона*.)

АЛДЖЕРНОН. Пусть так. Но почему это твоя тетка зовет тебя дядей? «От маленькой Сесили. В знак нежной любви к дорогому дяде Джеку». Допустим, тетушка может быть маленькой, но почему тетушке, независимо от ее размера и роста, называть собственного племянника дядей – этого я понять не могу. И, кроме того, тебя зовут вовсе не Джек, а Эрнест.

ДЖЕК. Вовсе не Эрнест, а Джек.

АЛДЖЕРНОН. А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнест? Я представлял тебя всем как Эрнеста. Ты отзывался на имя Эрнест. Ты серьезен, как настоящий Эрнест. Никому на свете так не подходит имя Эрнест как тебе. Какая нелепость отказываться от такого имени! Наконец, оно стоит на твоих визитных карточках. Вот. (*Берет визитную карточку из портсигара*.) «Мистер Эрнест Вординг, Б-4, Олбени». Я сохраняю это как доказательство, что тебя зовут Эрнест, на случай, если ты вздумаешь отпираться при мне, при Гвендолен или при ком угодно. (*Кладет визитную карточку в карман*.)

ДЖЕК. Ну что ж, в городе меня зовут Эрнест, в деревне – Джек, а портсигар мне подарили в деревне.

АЛДЖЕРНОН. И все-таки это не объясняет, почему твоя маленькая тетушка Сесили из Тэнбридж Уэллс называет тебя дорогим дядей Джеком. Давай, дружище, лучше уж выкладывай все сразу.

ДЖЕК. Дорогой Алджи, ты уговариваешь меня как дантист. Что может быть пошлее, чем говорить как дантист и не быть дантистом при этом. Это вводит в заблуждение.

АЛДЖЕРНОН. Дантисты именно это и делают. Ну, не упрямысь, расскажи все. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и усердного бенбериста и теперь окончательно убедился в этом.

ДЖЕК. Бенберист? А что это значит?

АЛДЖЕРНОН. Я тебе объясню, что значит этот незаменимый термин, как только ты мне объяснишь, почему ты Эрнест в городе и Джек в деревне.

ДЖЕК. Отдай сначала портсигар.

АЛДЖЕРНОН. Возьми. *(Передает ему портсигар.)* А теперь объясняй, только постарайся как можно неправдоподобнее. *(Садится на диван.)*

ДЖЕК. Дорогой мой, здесь нет ничего неправдоподобного. Все очень просто. Покойный мистер Томас Кардью, который усыновил меня, когда я был совсем маленьким, в завещании назначил меня опекуном своей внучки мисс Сесили Кардью. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, которое ты, видимо, неспособен оценить, и живет в моем загородном доме под надзором почтенной гувернантки мисс Призм.

АЛДЖЕРНОН. Между прочим, где этот твой загородный дом?

ДЖЕК. Тебе это не к чему знать, мой милый. Не надейся на приглашение... Во всяком случае, это не в Шропшире.

АЛДЖЕРНОН. Я так и думал, мой милый. Я два раза бенберировал по всему Шропширу. Но все-таки, почему же ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

ДЖЕК. Дорогой Алджи, я не надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты для этого недостаточно серьезен. Когда вдруг оказываешься опекуном, приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе – это становится твоим долгом. А так как высоконравственный дух вовсе не способствует ни здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю, что еду к своему младшему брату Эрнесту, который живет в Олбени и раз за разом попадает в страшные передрыги. Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом чистая.

АЛДЖЕРНОН. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была бы невыносимо скучна, а современная литература и вообще не смогла бы существовать.

ДЖЕК. И мы ничего бы от этого не потеряли.

АЛДЖЕРНОН. Литературная критика вовсе не твое призвание, дружище. Не становись на этот путь. Предоставь это тем, кто не обучался в университете. Они с таким успехом занимаются этим в газетах. По натуре ты прирожденный бенберист. Теперь я в этом убежден. Ты один из самых законченных бенберистов на свете.

ДЖЕК. Объясни, бога ради, что ты хочешь сказать.

АЛДЖЕРНОН. Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнест, для того чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Я выдумал неоценимого вечно больного мистера Бенбери для того, чтобы навещать его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери – это суцкая находка. Если бы не его слабое здоровье, я не мог бы, например, сегодня пообедать с тобой у Виллиса, хотя тетя Августа

пригласила меня на сегодня еще неделю назад.

ДЖЕК. Да я и не приглашал тебя обедать.

АЛДЖЕРНОН. Ну еще бы, ты удивительно забывчив. И напрасно. Нет ничего хуже, как не получать приглашений.

ДЖЕК. Ты бы лучше отобедал у тети Августы.

АЛДЖЕРНОН. Не имею ни малейшего желания. Во-первых, я обедал у нее в понедельник, а обедать с родственниками достаточно и один раз в неделю. А кроме того, когда я там обедаю, со мной обращаются как с родственником, и я оказываюсь то вовсе без дамы, то сразу с двумя. И наконец, я прекрасно знаю, с кем меня собираются посадить сегодня. Сегодня меня посадят с Мэри Фарквер, а она все время флиртует через стол с собственным мужем. Это очень неприятно. Я сказал бы – даже неприлично... И, между прочим, это входит в моду. Просто безобразие, сколько женщин в Лондоне флиртует с собственными мужьями. Это очень противно. Все равно что на людях стирать чистое белье. Кроме того, теперь, когда я убедился, что ты заядлый бенберист, я, естественно, хочу с тобой поговорить об этом. Изложить тебе все правила?

ДЖЕК. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолен даст согласие, я тут же прикончу своего братца; впрочем, я покончу с ним в любом случае. Сесили что-то слишком заинтересовалась им. Это несносно. Так что от Эрнеста я отделаюсь. И тебе я искренне советую сделать то же с мистером... ну с твоим больным другом, забыл, как его там.

АЛДЖЕРНОН. Ничто не заставит меня расстаться с мистером Бенбери. Если ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятным, то советую и тебе познакомиться с мистером Бенбери. Женатый человек, если он не знаком с мистером Бенбери, готовит себе очень скучную жизнь.

ДЖЕК. Глупости. Если я женюсь на такой очаровательной девушке, как Гвендолен, а она единственная девушка, на которой я хотел бы жениться, то, поверь, я и знать не захочу никакого мистера Бенбери.

АЛДЖЕРНОН. Тогда твоя жена захочет. Ты, должно быть, не отдаешь себе отчета в том, что в семейной жизни вдвоем скучно, а втроем весело.

ДЖЕК (назидательно). Мой дорогой Алджи, безнравственная французская драма насаждает эту теорию уже полвека.

АЛДЖЕРНОН. Да, и счастливая английская семья за четверть века уже усвоила ее.

ДЖЕК. Ради бога, не старайся быть циником. Это так просто.

АЛДЖЕРНОН. Ничто не просто в наши дни, мой друг. Во всем такая жестокая конкуренция. *(Слышен продолжительный звонок.)* Вот, должно

быть, тетя Августа. Только звонки родственников и кредиторов звучат так по-вагнеровски. Так вот, если я займу ее на десять минут, чтобы ты на свободе смог сделать предложение Гвендолен, могу я рассчитывать сегодня на обед у Виллиса?

ДЖЕК. Если так – конечно.

АЛДЖЕРНОН. Но только без твоих шуточек. Ненавижу, когда несерьезно относятся к еде.

Входит Лэйн.

ЛЭЙН. Леди Брэкнелл и мисс Фейрфакс.

Алджернон идет встречать их. Входят леди Брэкнелл и Гвендолен.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Здравствуй, мой милый Алджернон. Надеюсь, ты хорошо себя ведешь?

АЛДЖЕРНОН. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Это вовсе не то же самое. Более того, это редко совпадает... *(Замечает Джека и весьма холодно кивает ему.)*

АЛДЖЕРНОН *(к Гвендолен)*. Черт возьми, как ты элегантна.

ГВЕНДОЛЕН. Я всегда элегантна. Не правда ли, мистер Вординг?

ДЖЕК. Вы просто совершенство, мисс Фейрфакс.

ГВЕНДОЛЕН. Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности совершенствоваться, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях.

Гвендолен и Джек усаживаются в уголке.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер бедный ее муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит на двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чашку чаю и отведала сэндвичей с огурцом.

АЛДЖЕРНОН. Ну разумеется, тетя Августа. *(Идет к столику.)*

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Иди к нам, Гвендолен.

ГВЕНДОЛЕН. Но, мама, мне и тут хорошо.

АЛДЖЕРНОН *(при виде пустого блюда)*. Силы небесные! Лэйн! Где же сэндвичи с огурцом? Я ведь их специально заказывал!

ЛЭЙН *(невозмутимо)*. Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я

ходил два раза.

АЛДЖЕРНОН. Не было огурцов?

ЛЭЙН. Нет, сэр. Даже за наличные.

АЛДЖЕРНОН. Хорошо, Лэйн, благодарю.

ЛЭЙН. Благодарю вас, сэр. (*Уходит.*)

АЛДЖЕРНОН. К моему величайшему сожалению, тетя Августа, огурцов не оказалось, даже за наличные.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ну, ничего, Алджернон. Леди Харбери меня угостила пышками. Она, по-видимому, сейчас ни в чем себе не отказывает.

АЛДЖЕРНОН. Я слышал, что волосы у нее стали совсем золотые от горя.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Да, цвет волос у нее изменился, хотя, не скажу, от чего именно.

Алджернон подает ей чашку чаю.

Спасибо, мой милый. А у меня для тебя сюрприз. За обедом я хочу посадить тебя с Мэри Фарквер. Такая прелестная женщина и так внимательна к своему мужу. Приятно смотреть на них.

АЛДЖЕРНОН. Боюсь, тетя Августа, что я вынужден буду пожертвовать удовольствием сегодня обедать у вас.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*нахмурилась*). Надеюсь, ты передумаешь, Алджернон. Это расстроит мне весь стол. Ведь твоему дядюшке придется обедать у себя. К счастью, он уже к этому привык.

АЛДЖЕРНОН. Мне очень досадно, но я только что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно болен. (*Переглянувшись с Джеком.*) Там все ждут моего приезда.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб здоровьем.

АЛДЖЕРНОН. Да, бедный мистер Бенбери совсем инвалид.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном вопросе просто глупо. Я, по крайней мере, не увлекаюсь современной модой на инвалидов. Более того, я считаю ее нездоровой. Поощрять болезни едва ли следует. Быть здоровым – это наш первейший долг. Я не устаю повторять это твоему бедному дяде, но он не обращает на мои слова никакого внимания... по крайней мере, судя по состоянию его здоровья. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе. Я рассчитываю на твою помощь в

составлении музыкальной программы. Это последний вечер в сезоне, надо же дать какие-то темы для разговора, особенно в конце сезона, когда все уже выговорилось, высказали все, что у них было за душой, а ведь чаще всего запас этот весьма невелик.

АЛДЖЕРНОН. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбери, тетя Августа, если только он еще в сознании, и могу держать пари, что он поправится к субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая – ее никто не слушает, а если плохая – невозможно вести разговор. Но я покажу вам программу, которую уже наметил. Пройдемте в кабинет.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Спасибо, Алджернон, что помнишь о своей тетке. *(Встает и идет за Алджерноном.)* Я уверена, что программа будет прелестная, если ее слегка почистить. Французских шансонеток я не допущу: гости всегда либо находят их неприличными, и это такое мещанство, либо смеются, а это еще хуже. Я пришла к убеждению, что немецкий язык звучит гораздо приличнее. Гвендолен, идем со мной.

ГВЕНДОЛЕН. Иду, мама.

Леди Брэкнелл и Алджернон выходят. Гвендолен остается на месте.

ДЖЕК. Полагаю, сегодня чудесная погода, мисс Фейрфакс.

ГВЕНДОЛЕН. Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Вординг. Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них совсем другое. И это действует мне на нервы.

ДЖЕК. Я и хочу сказать о другом.

ГВЕНДОЛЕН. Ну вот видите. Я никогда не ошибаюсь.

ДЖЕК. Мне хотелось бы воспользоваться отсутствием леди Брэкнелл, чтобы...

ГВЕНДОЛЕН. И я бы вам это посоветовала от всей души: у мамы есть привычка неожиданно появляться в комнате. Об этом мне уже приходилось ей говорить.

ДЖЕК *(нервничает)*. Мисс Фейрфакс, с той самой минуты, как я вас увидел, я восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой... какую я встречал... с тех пор как я встретил вас.

ГВЕНДОЛЕН. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что хотя бы на людях вы не показываете этого более явно. Мне вы всегда очень нравились. Еще до того, как мы с вами встретились, я была к вам равнодушна.

Джек смотрит на нее с изумлением.

Мы живем, как вы, надеюсь, знаете, в век идеалов. Это постоянно утверждают самые уважаемые журналы, и, насколько я могу судить, это стало темой проповедей в самых захолустных церквях. Так вот, моей мечтой всегда было полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом имени есть нечто, внушающее абсолютное доверие. Как только Алджернон сказал мне, что у него есть друг Эрнест, я сейчас же поняла, что мне суждено полюбить вас.

ДЖЕК. Вы действительно любите меня, Гвендолен?

ГВЕНДОЛЕН. Страстно!

ДЖЕК. Милая... Вы не знаете, какое это для меня счастье!

ГВЕНДОЛЕН. Мой Эрнест!

ДЖЕК. Скажите, вы действительно не смогли бы полюбить меня, если бы меня звали не Эрнест?

ГВЕНДОЛЕН. Но вас ведь зовут Эрнест.

ДЖЕК. Да, конечно. Но если бы меня звали как-нибудь иначе? Неужели вы меня не полюбили бы?

ГВЕНДОЛЕН (*не задумываясь*). Это ведь только метафизическое рассуждение, и, как прочие метафизические рассуждения, оно не имеет никакой связи с реальной жизнью. С той жизнью, какую мы знаем.

ДЖЕК. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя Эрнест... По-моему, оно мне совсем не подходит.

ГВЕНДОЛЕН. Оно подходит вам больше, чем кому-либо. Чудесное имя. В нем есть какая-то музыка. Оно вызывает вибрации.

ДЖЕК. Но право же, Гвендолен, по-моему, есть много имен гораздо лучше. Джек, например, – прекрасное имя.

ГВЕНДОЛЕН. Джек? Нет, оно вовсе не музыкально. Джек – нет, это не волнует, не вызывает никаких вибраций... Я была знакома с несколькими Джеками, и все они были невероятно скучны. А кроме того, Джек – ведь это уменьшительное от Джон. И мне искренне жаль всякую женщину, которая вышла бы замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытает упоительного наслаждения – побыть хоть минутку одной. Нет, единственное надежное имя – Эрнест.

ДЖЕК. Гвендолен, мне необходимо сейчас же креститься... то есть я хотел сказать – жениться. Нельзя терять ни минуты.

ГВЕНДОЛЕН. Жениться, мистер Вординг?

ДЖЕК (*в изумлении*). Ну да... конечно. Я люблю вас, и вы дали мне основание думать, мисс Фейрфакс, что вы не совсем равнодушны ко мне.

ГВЕНДОЛЕН. Я обожаю вас. Но вы еще не делали мне предложения. О женитьбе не было ни слова. Этот вопрос даже не поднимался.

ДЖЕК. Но... но вы разрешите сделать вам предложение?

ГВЕНДОЛЕН. Я думаю, сейчас для этого самый подходящий момент. И чтобы избавить вас от возможного разочарования, мистер Вординг, я должна вам заявить с полной искренностью, что я твердо решила ответить вам согласием.

ДЖЕК. Гвендолен!

ГВЕНДОЛЕН. Да, мистер Вординг, так что же вы хотите мне сказать?

ДЖЕК. Вы же знаете все, что я могу вам сказать.

ГВЕНДОЛЕН. Да, но вы не говорите.

ДЖЕК. Гвендолен, вы согласны стать моей женой? (*Становится на колени.*)

ГВЕНДОЛЕН. Конечно, согласна, милый. Как долго вы собирались! Думаю, вам нечасто приходилось делать предложение.

ДЖЕК. Дорогая, я никого на свете не любил, кроме вас.

ГВЕНДОЛЕН. Иногда мужчины делают предложение просто для практики. Вот, например, мой брат Джералд. И все мои подруги говорят мне это. Какие у вас чудесные голубые глаза, Эрнест. Совершенно, совершенно голубые. Надеюсь, вы всегда будете смотреть на меня вот так, особенно при людях.

Входит леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Мистер Вординг! Встаньте! Что за полусогбенное положение! Это в высшей степени неприлично!

ГВЕНДОЛЕН. Мама! (*Джек пытается встать. Она его удерживает.*) Пожалуйста, подождите в той комнате. Вам здесь нечего делать. Кроме того, мистер Вординг еще не закончил.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Чего не закончил, осмелюсь спросить?

ГВЕНДОЛЕН. Я помолвлена с мистером Вордингом, мама.

Оба встают.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Извини, пожалуйста, но ты еще ни с кем не помолвлена. Когда придет время, я или твой отец, если только здоровье ему позволит, сообщим тебе о твоей помолвке. Помолвка для девушки должна быть неожиданностью, приятной или неприятной – это уже другой вопрос. Кроме того, нельзя позволять молодой девушке решать его самостоятельно... Теперь, мистер Вординг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь меня внизу в карете.

ГВЕНДОЛЕН (с упреком). Мама!
ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. В карету, Гвендолен!

Гвендолен идет к двери. На пороге они с Джеком обмениваются воздушным поцелуем за спиной у леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (озирается в недоумении, пытаясь понять, что это за звук. Потом оборачивается). В карету!

ГВЕНДОЛЕН. Да, мама. (Уходит, оглядываясь на Джека.)

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (усаживается). Вы можете сесть, мистер Вординг. (Роется в кармане, ища записную книжечку и карандаш.)

ДЖЕК. Благодарю вас, леди Брэкнелл, я лучше постою.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (вооружившись книжкой и карандашом). Вынуждена отметить: вы не значитесь в моем списке женихов, хотя он в точности совпадает со списком герцогини Болтон. Мы с ней в этом смысле работаем вместе. Но я готова внести вас в список, если ваши ответы будут соответствовать требованиям заботливой матери. Вы курите?

ДЖЕК. Должен признаться, курю.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Рада слышать. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. В Лондоне и так уже слишком много бездельников. Сколько вам лет?

ДЖЕК. Двадцать девять.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Самый подходящий возраст. Я всегда была уверена, что мужчина, желающий вступить в брак, должен знать все или ничего. Что знаете вы?

ДЖЕК (после некоторого колебания). Ничего, леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Рада слышать. Я не одобряю всего, что нарушает естественное неведение. Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет. Все теории современного образования в корне порочны. К счастью, у нас в Англии, образование не оставляет никаких следов. Иначе оно было бы чрезвычайно опасно для высших классов и, быть может, привело бы к террористическим актам на Гровенор-сквер. Ваш доход?

ДЖЕК. От семи до восьми тысяч в год.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (делает в книжке пометки). В акциях или в земельной ренте?

ДЖЕК. Главным образом в акциях.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Это лучше. Всю жизнь платишь налоги, и после смерти с тебя их берут, а в результате земля не дает ни дохода, ни

удовольствия. Правда, она дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им.

ДЖЕК. У меня есть загородный дом, ну и при нем земля – около полутора тысяч акров; но не это основной источник моего дохода. Мне кажется, что пользу из моего поместья извлекают только браконьеры.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Загородный дом! А сколько в нем спален? Впрочем, это мы выясним позднее. Надеюсь, у вас есть дом и в городе? Такая простая неиспорченная девушка, как Гвендолен, не может жить в деревне.

ДЖЕК. У меня дом на Белгрэйв-сквер, но его из года в год арендует леди Блоксхэм. Конечно, я могу отказать ей, предупредив за полгода.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Леди Блоксхэм? Я такой не знаю.

ДЖЕК. Она редко выезжает. Она уже довольно пожилая.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией порядочного поведения. А какой номер на Белгрэйв-сквер.

ДЖЕК. Сто сорок девять.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*покачивая головой*). Не модная сторона. Так я и знала, что не обойдется без дефекта. Но это легко изменить.

ДЖЕК. Что именно – моду или сторону?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*строго*). Если понадобится – и то и другое. Каковы ваши политические взгляды?

ДЖЕК. Признаться, у меня их нет. Я либерал-юнионист.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ну, их можно считать консерваторами. Их даже приглашают на обеды. Во всяком случае, на вечера. А теперь перейдем к менее существенному. Родители ваши живы?

ДЖЕК. Нет. Я потерял обоих родителей.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Потерю одного из родителей можно рассматривать как несчастье, но потеря обоих, мистер Вординг, похожа на небрежность. Кто был ваш отец? Видимо, человек состоятельный. Был ли он, как выражаются радикалы, представителем крупной буржуазии или происходил из аристократической семьи?

ДЖЕК. Боюсь, не смогу ответить вам на этот вопрос. Дело в том, леди Брэкнелл, что я неточно выразился, сказав, что я потерял родителей. Было бы вернее сказать, что родители меня потеряли... По правде говоря, я не знаю своего происхождения. Я... найденыш.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Найденыш!

ДЖЕК. Покойный мистер Томас Кардью, весьма добросердечный и щедрый человек, нашел меня и дал мне фамилию Вординг, потому что у него в кармане тогда был билет первого класса до Вординга. Вординг, как

вы знаете, это морской курорт в Сассексе.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. И где же этот добросердечный джентльмен с билетом первого класса до Вордига нашел вас?

ДЖЕК (*серьезно*). В саквояже.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. В саквояже?

ДЖЕК (*очень серьезно*). Да, леди Брэкнелл. Я был найден в саквояже – довольно большом черном кожаном саквояже с прочными ручками – в самом обыкновенном саквояже.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. И где именно этот мистер Джеймс или Томас Кардью нашел этот самый обыкновенный саквояж?

ДЖЕК. В камере хранения на вокзале Виктория. Ему выдали этот саквояж по ошибке вместо его собственного.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. В камере хранения на вокзале Виктория?

ДЖЕК. Да, на Брайтонской платформе.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Платформа не имеет значения. Мистер Вординг, должна признаться, я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Родиться или пусть даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки, я бы хотела назвать забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие эксцессы времен Французской революции. Полагаю, вам известно, к чему привело это злосчастное возмущение. Что касается места, где был найден саквояж, то хотя камера хранения и может хранить тайны нарушения общественной морали – что, вероятно, и бывало не раз, – но едва ли она может обеспечить прочное положение в обществе.

ДЖЕК. Но что же мне делать? Не сомневайтесь, что я готов на все, лишь бы обеспечить счастье Гвендолен.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Я настоятельно рекомендую вам, мистер Вординг, как можно скорей обзавестись родственниками – постараться во что бы то ни стало обрести хотя бы одного из родителей – все равно, мать или отца, – и сделать это еще до окончания сезона.

ДЖЕК. Но право, я не знаю, как за это взяться. Саквояж я могу предъявить в любую минуту. Он у меня в гардеробной, в деревне. Может быть, этого вам будет достаточно, леди Брэкнелл?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Мне, сэр! Какое это имеет отношение ко мне? Неужели вы воображаете, что мы с лордом Брэкнеллом допустим, чтобы наша единственная дочь – девушка, на воспитание которой положено столько забот, – была отдана в камеру хранения и обручена с саквояжем? Прощайте, мистер Вординг! (*В негодовании величаво выплывает из комнаты.*)

ДЖЕК. Прощайте!

В соседней комнате Алджернон играет свадебный марш.

(В бешенстве подходит к дверям.) Бога ради, прекрати эту идиотскую музыку, Алджернон! Ты совершенно невыносим.

Марш обрывается, улыбаясь, вбегает Алджернон.

АЛДЖЕРНОН. А что, разве не вышло, дружище? Неужели Гвендолен отказала тебе? С ней это бывает. Она всем отказывает. Такой уж у нее характер.

ДЖЕК. Нет! С Гвендолен все в порядке. Что касается Гвендолен, то мы можем считать себя помолвленными. Ее мамаша – вот в чем загвоздка. Никогда не видывал такой мегеры... Я, собственно, не знаю, что такое мегера, но леди Брэкнелл – сущая мегера. Во всяком случае, она чудовище, и вовсе не мифическое, а это гораздо хуже... Прости меня, Алджернон, я, конечно, не должен был так отзываться при тебе о твоей тетке.

АЛДЖЕРНОН. Дорогой мой, обожаю, когда так отзываются о моих родных. Это единственный способ как-то примириться с их существованием. Родственники – скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и никак не могут догадаться, когда им следует умереть.

ДЖЕК. Ну, это чепуха!

АЛДЖЕРНОН. Нисколько.

ДЖЕК. Я совершенно не намерен с тобой спорить. Ты всегда обо всем споришь.

АЛДЖЕРНОН. Да все на свете для этого и создано.

ДЖЕК. Ну, знаешь ли, если так считать, то лучше застрелиться... (Пауза.) Ты не думаешь, Алджи, что лет через полтора Гвендолен станет очень похожа на свою мать?

АЛДЖЕРНОН. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его трагедия.

ДЖЕК. Это что, остроумно?

АЛДЖЕРНОН. Это отлично сказано и настолько же верно, насколько верен любой афоризм нашего цивилизованного века.

ДЖЕК. Я сыт по горло остроумием. Просто шага нельзя ступить, чтобы не встретить умного человека. Это становится поистине общественным бедствием. Чего бы я не дал за нескольких настоящих

дураков. Но их нет.

АЛДЖЕРНОН. Они есть. Сколько угодно.

ДЖЕК. Хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят?

АЛДЖЕРНОН. Дураки? Само собой, об умных людях.

ДЖЕК. Какие дураки!

АЛДЖЕРНОН. А кстати, ты сказал Гвендолен всю правду о том, что ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

ДЖЕК (покровительственным тоном). Дорогой мой, вся правда – это совсем не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Что у тебя за превратные представления о том, как вести себя с женщиной?

АЛДЖЕРНОН. Единственный способ вести себя с женщиной – это ухаживать за ней, если она красива, или за другой, если она некрасива.

ДЖЕК. Какая чепуха!

АЛДЖЕРНОН. Но все же, как быть с твоим братцем? С беспутным Эрнестом?

ДЖЕК. Не пройдет недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что он умер в Париже от апоплексического удара. Ведь многие скоропостижно умирают от удара, не так ли?

АЛДЖЕРНОН. Да, но это наследственное, друг мой. Это поражает целые семьи. Не лучше ли острая простуда?

ДЖЕК. А ты уверен, что острая простуда – это не наследственное?

АЛДЖЕРНОН. Ну конечно, уверен.

ДЖЕК. Хорошо. Мой бедный брат Эрнест скоропостижно скончался в Париже от острой простуды. И кончено.

АЛДЖЕРНОН. Но мне казалось, ты говорил... Ты говорил, что мисс Кардью не на шутку заинтересована твоим братом Эрнестом? Как она перенесет такую утрату?

ДЖЕК. Это не важно. Сесили, смею тебя уверить, не мечтательница. У нее превосходный аппетит, она любит долгие прогулки и вовсе не примерная ученица.

АЛДЖЕРНОН. Хотелось бы мне познакомиться с Сесили...

ДЖЕК. Постараюсь этого не допустить. Она очень хорошенькая, и ей только что исполнилось восемнадцать.

АЛДЖЕРНОН. А ты сказал Гвендолен, что у тебя есть хорошенькая воспитанница, которой только что исполнилось восемнадцать?

ДЖЕК. К чему разглашать такие подробности. Сесили и Гвендолен непременно подружатся. Поручусь чем угодно, что через полчаса после встречи они назовут друг друга сестрами.

АЛДЖЕРНОН. Женщины приходят к этому только после того, как обзовут друг друга совсем иными словами. Ну а теперь, дружище, надо переодеться. Иначе мы не захватим хорошего столика у Виллиса. Ведь уже скоро семь.

ДЖЕК (*раздраженно*). У тебя постоянно скоро семь.

АЛДЖЕРНОН. Ну да, я голоден.

ДЖЕК. А когда ты бываешь неголоден?

АЛДЖЕРНОН. Куда мы после обеда? В театр?

ДЖЕК. Нет, ненавижу слушать глупости.

АЛДЖЕРНОН. Ну тогда в клуб.

ДЖЕК. Ни за что. Ненавижу болтать глупости.

АЛДЖЕРНОН. Ну тогда к десяти в варьете.

ДЖЕК. Не выношу смотреть глупости!

АЛДЖЕРНОН. Ну так что же нам делать?

ДЖЕК. Ничего.

АЛДЖЕРНОН. Это очень трудное занятие. Но я не против потрудиться, если только это не ради какой-то цели.

Входит Лэйн.

ЛЭЙН. Мисс Фейрфакс.

Входит Гвендолен. Лэйн уходит.

АЛДЖЕРНОН. Гвендолен! Какими судьбами?

ГВЕНДОЛЕН. Алджи, пожалуйста, отвернись. Я должна по секрету поговорить с мистером Вордингом.

АЛДЖЕРНОН. Знаешь, Гвендолен, в сущности я не должен разрешать тебе этого.

ГВЕНДОЛЕН. Алджи, ты всегда занимаешь аморальную позицию по отношению к самым простым вещам. Ты еще слишком молод для этого.

Алджернон отходит к камину.

ДЖЕК. Любимая!

ГВЕНДОЛЕН. Эрнест, мы никогда не сможем пожениться. Судя по выражению маминого лица, этому не бывать. Теперь родители очень редко считаются с тем, что говорят им дети. Былое уважение к юности быстро отмирает. Самое минимальное влияние на маму я утратила уже в

трехлетнем возрасте. Но даже если она помешает нам стать мужем и женой и я выйду еще за кого-нибудь, и даже не один раз, – ничто не сможет изменить моей вечной любви к вам.

ДЖЕК. Гвендолен, дорогая!

ГВЕНДОЛЕН. История вашего романтического происхождения, которую мама рассказала в самом непривлекательном виде, потрясла меня до глубины души. Ваше имя стало теперь для меня еще дороже. А ваше простодушие для меня просто непостижимо. Ваш городской адрес в Олбени у меня есть. А какой ваш адрес в деревне?

ДЖЕК. Поместье Вултон. Хартфордшир.

Алджернон, который прислушивался к разговору, улыбается и записывает адрес на манжете.

Потом берет со стола железнодорожное расписание.

ГВЕНДОЛЕН. Надеюсь, почтовая связь у вас налажена. Возможно, нам придется прибегнуть к отчаянным мерам. Это, конечно, потребует серьезного обсуждения. Я буду сноситься с вами ежедневно.

ДЖЕК. Душа моя!

ГВЕНДОЛЕН. Сколько вы еще пробудете в городе?

ДЖЕК. До понедельника.

ГВЕНДОЛЕН. Прекрасно! Алджи, можешь повернуться.

АЛДЖЕРНОН. Я уже повернулся.

ГВЕНДОЛЕН. Можешь позвонить.

ДЖЕК. Вы позволите мне проводить вас до кареты, дорогая?

ГВЕНДОЛЕН. Само собой.

ДЖЕК (*вошедшему Лэйн*). Я провожу мисс Фейрфакс.

ЛЭЙН. Слушаю, сэр.

Джек и Гвендолен уходят. Лэйн держит на подносе несколько писем. Видимо, это счета, потому что Алджернон, взглянув на конверты, рвет их на кусочки.

АЛДЖЕРНОН. стакан хереса, Лэйн.

ЛЭЙН. Слушаю, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Завтра, Лэйн, я отправлюсь бенберировать.

ЛЭЙН. Слушаю, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Вероятно, я не вернусь до понедельника. Уложите фрак, смокинг и все для поездки к мистеру Бенбери.

ЛЭЙН. Слушаю, сэр. *(Подает херес.)*

АЛДЖЕРНОН. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, Лэйн.

ЛЭЙН. Погода никогда не бывает хорошей, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Лэйн, вы законченный пессимист.

ЛЭЙН. Стараюсь по мере сил, сэр.

Входит Джек. Лэйн уходит.

ДЖЕК. Вот разумная, мыслящая девушка. Единственная в моей жизни.

Алджернон хохочет.

Чего это ты так веселишься?

АЛДЖЕРНОН. Просто вспомнил о бедном мистере Бенбери.

ДЖЕК. Если ты не одумаешься, Алджи, помяни мое слово, попадешь ты с этим Бенбери в переделку!

АЛДЖЕРНОН. А мне это как раз нравится. Иначе скучно было бы жить на свете.

ДЖЕК. Какая чушь, Алджи. От тебя слышишь одни глупости.

АЛДЖЕРНОН. От кого их не услышишь?

Джек с возмущением глядит на него, потом выходит. Алджернон закуривает папиросу, читает адрес на манжете и улыбается.

Занавес.

Действие второе

Сад в поместье мистера Вординга. Серая каменная лестница ведет к дому. По-старомодному распланированный сад полон роз. Время – июль. В тени большого тиса соломенные стулья, стол, заваленный книгами. Мисс Призм сидит за столом. Сесили в глубине поливает цветы.

МИСС ПРИЗМ. Сесили, Сесили! Такое утилитарное занятие, как поливка цветов, это скорее обязанность Мольтона, чем ваша. Особенно сейчас, когда вас ожидают интеллектуальные наслаждения. Ваша немецкая грамматика у вас на столе. Раскройте страницу пятнадцатую. Мы повторим вчерашний урок.

СЕСИЛИ (*подходя очень медленно*). Но я ненавижу немецкий. Противный язык. После немецкого урока у меня всегда ужасный вид.

МИСС ПРИЗМ. Дитя мое, вы же знаете, как ваш опекун озабочен тем, чтобы вы продолжали свое образование. Уезжая вчера в город, он особенно обращал мое внимание на немецкий язык. Каждый раз, уезжая в город, он напоминает о немецком языке.

СЕСИЛИ. Дорогой дядя Джек такой серьезный! Иногда я боюсь, что он не совсем здоров.

МИСС ПРИЗМ (*выпрямляясь*). Ваш опекун совершенно здоров, и строгость его поведения особенно похвальна в таком сравнительно молодом человеке. Я не припомню никого, кто превосходил бы его в сознании долга и ответственности.

СЕСИЛИ. Может быть, поэтому он и скучает, когда мы остаемся тут втроем.

МИСС ПРИЗМ. Сесили! Вы меня удивляете. У мистера Вординга много забот. Праздная и легкомысленная болтовня ему не к лицу. Вы же знаете, какие огорчения доставляет его несчастный младший брат.

СЕСИЛИ. Я хотела бы, чтобы дядя позволил этому несчастному младшему брату погостить у нас. Мы бы могли оказать на него хорошее влияние, мисс Призм. Я уверена, что вы, во всяком случае, могли бы. Вы знаете немецкий и геологию, а такие познания могут перевоспитать любого. (*Записывает в своем дневнике.*)

МИСС ПРИЗМ (*покачивает головой*). Не думаю, чтобы даже я могла оказать влияние на человека, который, по словам собственного брата, обладает таким слабым и неустойчивым характером. К тому же, я не

уверена, что взялась бы за его исправление: не одобряю современной мании мгновенно превращать дурного человека в хорошего. Что он посеял, пускай и пожнет. Закройте ваш дневник, Сесили. Вообще вам совсем не следует вести дневник.

СЕСИЛИ. Я веду дневник для того, чтобы поверять ему самые удивительные тайны моей жизни. Без записей я, вероятно, позабыла бы их.

МИСС ПРИЗМ. Память, моя милая, – дневник, которого у нас никто не отнимет.

СЕСИЛИ. Да, но обычно запоминаются события, которых на самом деле не было и не могло быть. Я думаю, именно памяти мы обязаны трехтомными романами, которые нам присылают из библиотеки.

МИСС ПРИЗМ. Не хулите трехтомные романы, Сесили. Я сама когда-то сочинила такой роман.

СЕСИЛИ. Нет, в самом деле, мисс Призм? Какая вы умная! И, надеюсь, конец был несчастливый. Я не люблю романов со счастливым концом. Они меня положительно угнетают.

МИСС ПРИЗМ. Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих – плохо. Это и называется беллетристикой.

СЕСИЛИ. Может быть, и так. Но это несправедливо. А ваш роман был напечатан?

МИСС ПРИЗМ. Увы! Нет. Рукопись, к несчастью, была утрачена.

Сесили делает удивленный жест.

Я хочу сказать – забыта, потеряна. Но примемся за работу, дитя мое, время уходит у нас на пустые разговоры.

СЕСИЛИ (с улыбкой). А вот и доктор Чезюбл идет к нам.

МИСС ПРИЗМ (встав навстречу). Доктор Чезюбл! Как приятно вас видеть!

Входит каноник Чезюбл.

ЧЕЗЮБЛ. Ну, как мы сегодня поживаем? Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Призм?

СЕСИЛИ. Мисс Призм только что жаловалась на головную боль. Мне кажется, ей помогла бы небольшая прогулка с вами, доктор.

МИСС ПРИЗМ. Сесили! Но я вовсе не жаловалась на головную боль.

СЕСИЛИ. Да, мисс Призм, но я чувствую, что голова у вас болит. Когда вошел доктор Чезюбл, я думала как раз об этом, а не об уроке

немецкого языка.

ЧЕЗЮБЛ. Надеюсь, Сесили, что вы внимательно относитесь к вашим урокам?

СЕСИЛИ. Боюсь, что не очень.

ЧЕЗЮБЛ. Не понимаю. Если бы мне посчастливилось быть учеником мисс Призм, я бы не отрывался от ее уст.

Мисс Призм смотрит негодующе.

Я говорю метафорически – метафора заимствована у пчел. Да! Мистер Вординг, я полагаю, еще не вернулся из города?

МИСС ПРИЗМ. Мы ждем его не раньше понедельника.

ЧЕЗЮБЛ. Да, верно, он предпочитает проводить воскресные дни в Лондоне. Не в пример его несчастному младшему брату, он не из тех, для кого единственная цель – развлечения. Не стану больше мешать Эгерии и ее ученице.

МИСС ПРИЗМ. Эгерия? Меня зовут Летиция, доктор.

ЧЕЗЮБЛ (*отвешивая поклон*). Классическая аллюзия, не более того; заимствована из языческих авторов. Без сомнения, я увижу вас вечером в церкви?

МИСС ПРИЗМ. Все-таки, пожалуй, я пройду с вами, доктор. Голова действительно побаливает, и прогулка мне поможет.

ЧЕЗЮБЛ. С удовольствием, мисс Призм, с величайшим удовольствием. Мы пройдем до школы и обратно.

МИСС ПРИЗМ. Восхитительно! Сесили, в мое отсутствие приготовьте политическую экономию. Главу о падении рупии можете опустить. Это чересчур злободневно. Даже финансовые проблемы имеют драматический резонанс. (*Уходит по дорожке вместе с доктором Чезюблом.*)

СЕСИЛИ (*хватает одну книгу за другой и швыряет их обратно на стол*). Ненавижу политическую экономию! Ненавижу географию. Ненавижу, ненавижу немецкий!

Входит Мерримен с визитной карточкой на подносе.

МЕРРИМЕН. Сейчас со станции прибыл мистер Эрнест Вординг. С ним его чемоданы.

СЕСИЛИ (*берет карточку и читает*). «Мистер Эрнест Вординг, Б-4, Олбени, зап». Несчастный брат дяди Джека! Вы ему сказали, что мистер Вординг в Лондоне?

МЕРРИМЕН. Да, мисс. Он, по-видимому, очень огорчился. Я заметил, что вы с мисс Призм сейчас в саду. Он сказал, что хотел бы побеседовать с вами.

СЕСИЛИ. Просите мистера Эрнеста Вординга сюда. Думаю, надо сказать экономке, чтобы она приготовила для него комнату.

МЕРРИМЕН. Слушаю, мисс. (*Уходит.*)

СЕСИЛИ. Никогда в жизни не встречала по-настоящему беспутного человека! Мне страшно. А вдруг он такой же, как все?

Входит Алджернон, очень веселый и добродушный.

Да, такой же!

АЛДЖЕРНОН (*приподнимая шляпу*). Так это вы моя маленькая кузина Сесили?

СЕСИЛИ. Тут какая-то ошибка. Я совсем не маленькая. Напротив, для своих лет я даже слишком высока.

Алджернон несколько смущен.

Но я действительно ваша кузина Сесили. А вы, судя по визитной карточке, брат дяди Джека, кузен Эрнест... мой беспутный кузен Эрнест.

АЛДЖЕРНОН. Но я вовсе не беспутный, кузина. Пожалуйста, не думайте, что я беспутный.

СЕСИЛИ. Если это не так, то вы самым непозволительным образом вводили нас в заблуждение. Надеюсь, вы не ведете двойную жизнь, прикидываясь беспутным, хотя на самом деле вы добродетельны. Это было бы лицемерием.

АЛДЖЕРНОН (*глядя на нее с изумлением*). Гм! Конечно, я бывал весьма легкомысленным.

СЕСИЛИ. Рада, что вы это признаете.

АЛДЖЕРНОН. Если вы уж заговорили об этом, должен признаться, что шалил я достаточно.

СЕСИЛИ. Не думаю, что вам следует этим хвастаться, хотя, вероятно, это доставляло вам удовольствие.

АЛДЖЕРНОН. Для меня гораздо большее удовольствие быть здесь, с вами.

СЕСИЛИ. Я вообще не понимаю, как вы здесь очутились. Дядя Джек вернется только в понедельник.

АЛДЖЕРНОН. Очень жаль. Я должен буду уехать в понедельник

первым же поездом. У меня деловое свидание, и мне очень хотелось бы... избежать его.

СЕСИЛИ. А вы не могли бы избежать его где-нибудь не в Лондоне?

АЛДЖЕРНОН. Нет, свидание назначено в Лондоне.

СЕСИЛИ. Конечно, я понимаю, как важно не выполнить деловое обещание, если хочешь сохранить чувство красоты и полноты жизни, но все же вам лучше дожидаться приезда дяди Джека. Я знаю, он хотел поговорить с вами о вашей эмиграции.

АЛДЖЕРНОН. О чем?!

СЕСИЛИ. Вашей эмиграции. Он поехал покупать вам дорожный костюм.

АЛДЖЕРНОН. Никогда не поручил бы Джеку покупать мне костюм. Он неспособен выбрать даже галстук.

СЕСИЛИ. Но вам едва ли понадобятся галстуки. Ведь дядя Джек отправляет вас в Австралию.

АЛДЖЕРНОН. В Австралию! Лучше на тот свет!

СЕСИЛИ. Да, в среду за обедом он сказал, что вам предстоит выбирать между этим светом, тем светом и Австралией.

АЛДЖЕРНОН. Вот как! Но сведения, которыми я располагаю об Австралии и о том свете, не очень заманчивы. Для меня и этот свет хорош, кухня.

СЕСИЛИ. Да, но достаточно ли вы хороши для него?

АЛДЖЕРНОН. Боюсь, что нет. Поэтому я и мечтаю, чтобы вы взялись за мое исправление. Это могло бы стать вашим призванием – конечно, если б вы этого захотели, кухня.

СЕСИЛИ. Боюсь, что сегодня у меня на это нет времени.

АЛДЖЕРНОН. Ну тогда хотите, чтобы я сам исправился сегодня же?

СЕСИЛИ. Едва ли это вам по силам. Но почему не попробовать?

АЛДЖЕРНОН. Непременно попробую. Я уже чувствую, что становлюсь лучше.

СЕСИЛИ. Но вид у вас стал хуже.

АЛДЖЕРНОН. Это потому, что я голоден.

СЕСИЛИ. О, как это мне не пришло в голову! Конечно, тот, кто собирается возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом питании. Пройдемте в дом.

АЛДЖЕРНОН. Благодарю вас. Но можно мне цветок в петлицу? Без цветка в петлице мне кусок в горло не полезет.

СЕСИЛИ. Маршал Ниель^[119]? (Берется за ножницы.)

АЛДЖЕРНОН. Нет, лучше пунцовую.

СЕСИЛИ. Почему? (*Срезает пунцовую розу.*)

АЛДЖЕРНОН. Потому что вы похожи на пунцовую розу, Сесили.

СЕСИЛИ. Думаю, вам не следует так говорить со мной. Мисс Призм никогда со мной так не разговаривает.

АЛДЖЕРНОН. Значит, мисс Призм просто близорукая старушка. (*Сесили вдевает розу ему в петлицу.*) Вы на редкость хорошенькая девушка, Сесили.

СЕСИЛИ. Мисс Призм говорит, что красота – это только ловушка.

АЛДЖЕРНОН. Это ловушка, в которую с радостью попался бы любой здравомыслящий человек.

СЕСИЛИ. Но я вовсе не хотела бы поймать здравомыслящего человека. О чем с ним разговаривать?

Они уходят в дом. Возвращаются мисс Призм и доктор Чезюбл.

МИСС ПРИЗМ. Вы слишком одиноки, дорогой доктор. Вам следовало бы жениться. Мизантроп – это я еще понимаю, но женотропа понять не могу.

ЧЕЗЮБЛ (*филологическое чувство которого потрясено*). Поверьте, я не заслуживаю такого неологизма. Как теория, так и практика церкви первых веков христианства высказывалась против брака.

МИСС ПРИЗМ (*нравоучительно*). Поэтому церковь первых веков христианства и не дожила до нашего времени. И вы, должно быть, не отдаете себе отчета, дорогой доктор, что, упорно отказываясь от женитьбы, человек становится всеобщим соблазном. Мужчинам следует быть осмотрительнее: слабых духом безбрачие способно сбить с пути истинного.

ЧЕЗЮБЛ. Но разве женатый мужчина менее привлекателен?

МИСС ПРИЗМ. Женатый мужчина привлекателен только для своей жены.

ЧЕЗЮБЛ. Увы, даже для нее, говорят, не всегда.

МИСС ПРИЗМ. Это зависит от интеллектуального уровня женщины. Зрелый возраст в этом смысле надежнее. Спелости можно довериться. А молодые женщины – это еще зеленый плод.

Доктор Чезюбл делает удивленный жест.

Я говорю агрикультурно. Моя метафора заимствована из садоводства. Но где же Сесили?

ЧЕЗЮБЛ. Может быть, она тоже пошла пройтись до школы и обратно?

Из глубины сада медленно приближается Джек. Он облачен в глубокий траур, с крепом на шляпе и в черных перчатках.

МИСС ПРИЗМ. Мистер Вординг!

ЧЕЗЮБЛ. Мистер Вординг!

МИСС ПРИЗМ. Какой сюрприз! А мы вас не ждали раньше понедельника.

ДЖЕК (*с трагическим выражением лица жмет руку мисс Призм*). Да, я вернулся раньше, чем предполагал. Доктор Чезюбл, здравствуйте.

ЧЕЗЮБЛ. Дорогой мистер Вординг. Надеюсь, это скорбное одеяние не означает какой-нибудь ужасной утраты?

ДЖЕК. Мой брат.

МИСС ПРИЗМ. Новые долги и безрассудства?

ЧЕЗЮБЛ. В тенетах зла и наслаждения?

ДЖЕК (*качая головой*). Умер.

ЧЕЗЮБЛ. Ваш брат Эрнест умер?

ДЖЕК. Да, умер. Совсем умер.

МИСС ПРИЗМ. Надеюсь, это ему пойдет на пользу.

ЧЕЗЮБЛ. Мистер Вординг, приношу вам мои искренние соболезнования. Для вас остается, по крайней мере, утешением, что вы были самым великодушным и щедрым из братьев.

ДЖЕК. Брат Эрнест! У него было много недостатков, но это тяжкий удар.

ЧЕЗЮБЛ. Весьма тяжкий. Вы были с ним до конца?

ДЖЕК. Нет. Он умер за границей! В Париже. Вчера вечером пришла телеграмма от управляющего «Гранд-отеля».

ЧЕЗЮБЛ. И в ней упоминается причина смерти?

ДЖЕК. По-видимому, острая простуда.

МИСС ПРИЗМ. Что посеешь, то и пожнешь.

ЧЕЗЮБЛ (*воздевая руки*). Милосердие, дорогая мисс Призм, милосердие! Никто из нас не совершенен. Я сам в высшей степени подвержен простуде. А погребение предполагается здесь, у нас?

ДЖЕК. Нет. Он, кажется, завещал, чтобы его похоронили в Париже.

ЧЕЗЮБЛ. В Париже! (*Покачивает головой.*) Да! Значит, он до самого конца не проявил достаточной серьезности. Вам, конечно, желательно, чтобы я упомянул об этой семейной драме в моей воскресной проповеди.

Джек горячо пожимает ему руку.

Моя проповедь о манне небесной в пустыне пригодна для любого события, радостного или, как в данном случае, печального. *(Все вздыхают.)* Я произносил ее на празднике урожая, при крещении, конфирмации, в дни скорби и в дни ликования. В последний раз я произнес ее в соборе на молебствии в пользу Общества предотвращения недовольства среди высших классов. Присутствовавший при этом епископ был поражен злободневностью некоторых моих аналогий.

ДЖЕК. А кстати! Вы, кажется, упомянули крещение, доктор Чезюбл. Вы, конечно, умеете крестить?

Доктор Чезюбл смотрит с недоумением.

Я хочу сказать, вам приходится часто крестить?

МИСС ПРИЗМ. К сожалению, в нашем приходе это одна из главных обязанностей пастора. Я часто говорила по этому поводу с беднейшими из прихожан. Но они, как видно, понятия не имеют об экономии.

ЧЕЗЮБЛ. Смею спросить, мистер Вординг, вы заинтересованы в судьбе какого-то определенного ребенка? Ведь насколько мне известно, брат ваш был холост?

ДЖЕК. Да.

МИСС ПРИЗМ *(с горечью)*. Таковы обычно все живущие исключительно ради собственного удовольствия.

ДЖЕК. Дело касается не ребенка, дорогой доктор. Хотя я и очень люблю детей. Нет! В данном случае я сам хотел бы подвергнуться обряду крещения, и не позднее чем сегодня – конечно, если вы свободны.

ЧЕЗЮБЛ. Но, мистер Вординг, ведь вас уже крестили.

ДЖЕК. Не помню.

ЧЕЗЮБЛ. Значит, у вас на этот счет имеются сомнения?

ДЖЕК. Если нет, так будут. Но, конечно, я не хотел бы затруднять вас. Может быть, мне уже поздно креститься?

ЧЕЗЮБЛ. Нисколько. Окропление и даже погружение взрослых предусмотрено каноническими правилами.

ДЖЕК. Погружение?

ЧЕЗЮБЛ. Не беспокойтесь. Окропления будет достаточно – оно даже предпочтительнее. Погода у нас такая ненадежная. И в котором часу вы предполагаете совершить обряд?

ДЖЕК. Я мог бы заглянуть часов около пяти, если вам удобно.

ЧЕЗЮБЛ. Вполне. Вполне! Как раз около этого часа я собираюсь

совершить еще два крещения. Это двойня, недавно родившаяся у одного из ваших арендаторов. У Дженкинса, того, знаете, возчика и весьма работающего человека.

ДЖЕК. Мне совсем не улыбается креститься заодно с другими младенцами. Это было бы ребячество. Не лучше ли тогда в половине шестого?

ЧЕЗЮБЛ. Чудесно! Чудесно! *(Вынимая часы.)* А теперь, мистер Вординг, позвольте мне покинуть сию обитель скорби. Я от всей души посоветовал бы вам не сгибаться под бременем горя: то, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом деле – скрытое благо.

МИСС ПРИЗМ. Мне оно кажется очень даже явным благом.

Из дома выходит Сесили.

СЕСИЛИ. Дядя Джек! Как хорошо, что вы вернулись. Но что за ужасный костюм? Скорее идите переодеваться!

МИСС ПРИЗМ. Сесили!

ЧЕЗЮБЛ. Дитя мое! Дитя мое!

Сесили подходит к Джеку, он с грустью целует ее в лоб.

СЕСИЛИ. В чем дело, дядя? Улыбнитесь. У вас такой вид, словно зубы болят, а у меня для вас есть сюрприз. Кто, как вы думаете, сейчас у нас в столовой? Ваш брат!

ДЖЕК. Кто?

СЕСИЛИ. Ваш брат, Эрнест. Он приехал за полчаса до вас.

ДЖЕК. Что за чушь! У меня нет никакого брата.

СЕСИЛИ. О, не надо так говорить! Как бы дурно он ни вел себя в прошлом, он все-таки ваш брат. Зачем вы так суровы? Не надо отрекаться от него. Я сейчас позову его сюда. И вы пожмете ему руку, не правда ли, дядя Джек? *(Бежит в дом.)*

ЧЕЗЮБЛ. Какое радостное известие!

МИСС ПРИЗМ. Теперь, когда мы уже примирились с утратой, его возвращение вызывает особую тревогу.

ДЖЕК. Мой брат в столовой? Ничего не понимаю. Какая-то нелепость.

Входит Алджернон за руку с Сесили. Они медленно идут к Джеку.

Силы небесные! *(Делает знак Алджернону, чтобы тот ушел.)*

АЛДЖЕРНОН. Дорогой брат, я приехал из Лондона, чтобы сказать тебе, что я очень сожалею о всех причиненных тебе огорчениях и что я намерен в будущем жить совсем по-иному.

Джек бросает на него грозный взгляд и не берет протянутой руки.

СЕСИЛИ. Дядя Джек, неужели вы оттолкнете руку вашего брата?

ДЖЕК. Ничто не заставит меня пожать ему руку. Его приезд сюда – просто безобразие. Он знает сам, почему.

СЕСИЛИ. Дядя Джек, будьте снисходительны. В каждом есть крупица добра. Эрнест сейчас рассказывал мне о своем бедном больном друге Бенбери, которого он часто навещает. И конечно, есть доброе чувство в том, кто отказывается от всех удовольствий Лондона для того, чтобы сидеть у одра больного.

ДЖЕК. Как! Он тебе рассказывал о Бенбери?

СЕСИЛИ. Да, он рассказал мне о бедном Бенбери и его ужасной болезни.

ДЖЕК. Бенбери! Я не желаю, чтобы он говорил с тобой о Бенбери и вообще о чем бы то ни было. Это слишком!

АЛДЖЕРНОН. Признаюсь, виноват. Но я не могу не сознаться, что холодность брата Джона для меня особенно тяжела. Я надеялся на более сердечный прием, особенно в мой первый приезд сюда.

СЕСИЛИ. Дядя Джек, если вы не протянете руку Эрнесту, я вам этого никогда не прощу!

ДЖЕК. Никогда не простишь?

СЕСИЛИ. Никогда, никогда, никогда!

ДЖЕК. Ну хорошо, в последний раз. *(Пожимает руку Алджернону и угрожающе смотрит на него.)*

ЧЕЗЮБЛ. Как утешительно видеть такое искреннее примирение. Теперь, я думаю, нам следует оставить братьев наедине.

МИСС ПРИЗМ. Сесили, идемте со мной.

СЕСИЛИ. Сейчас, мисс Призм. Я рада, что помогла их примирению.

ЧЕЗЮБЛ. Сегодня вы совершили благородный поступок, дитя мое.

МИСС ПРИЗМ. Не будем поспешны в наших суждениях.

СЕСИЛИ. Я очень счастлива!

Все, кроме Джека и Алджернона, уходят.

ДЖЕК. Алджи, перестань озорничать. Ты должен убраться отсюда

сейчас же. Здесь я не разрешаю бенбериговать!

Входит Мерримен.

МЕРРИМЕН. Я поместил вещи мистера Эрнеста в комнате рядом с вашей, сэр.

ДЖЕК. Что?

МЕРРИМЕН. Чемоданы мистера Эрнеста, сэр. Я внес их в комнату рядом с вашей спальней и распаковал.

ДЖЕК. Его чемоданы?

МЕРРИМЕН. Да, сэр. Три чемодана, несессер, две шляпные картонки и большая корзина с провизией.

АЛДЖЕРНОН. Боюсь, на этот раз я не смогу пробыть больше недели.

ДЖЕК. Мерримен, велите сейчас же подать кабриолет. Мистера Эрнеста срочно вызывают в город.

МЕРРИМЕН. Слушаю, сэр. (*Уходит в дом.*)

АЛДЖЕРНОН. Какой ты выдумщик, Джек. Никто меня не вызывает в город.

ДЖЕК. Нет, вызывает.

АЛДЖЕРНОН. Понятия не имею, о чем ты.

ДЖЕК. Тебя вызывает твой долг джентльмена.

АЛДЖЕРНОН. Мой долг джентльмена никогда не мешает моим удовольствиям.

ДЖЕК. Готов тебе поверить.

АЛДЖЕРНОН. А Сесили – прелестна.

ДЖЕК. Не смей говорить в таком тоне о мисс Кардью. Мне это не нравится.

АЛДЖЕРНОН. А мне, например, не нравится твой костюм. Ты просто смешон. Почему ты не переоденешься? Глупое ребячество носить траур по человеку, который собирается целую неделю провести у тебя в гостях. Это просто нелепо!

ДЖЕК. Ты не пробудешь у меня целую неделю – ни в качестве гостя, ни в ином качестве. Ты должен уехать поездом в четыре ноль пять.

АЛДЖЕРНОН. Я не оставлю тебя, пока ты в трауре. Это было бы не по-дружески. Если бы я был в трауре, ты, полагаю, не покинул бы меня? Я бы счел тебя после этого черствым человеком.

ДЖЕК. А если я переоденусь, тогда ты уедешь?

АЛДЖЕРНОН. Да, если только ты не будешь очень копать. Ты всегда страшно копаешься перед зеркалом, и всегда без толку.

ДЖЕК. Уж во всяком случае, это лучше, чем быть всегда расфуфыренным, как ты.

АЛДЖЕРНОН. Если я слишком хорошо одет, я искупаю это тем, что слишком хорошо воспитан.

ДЖЕК. Твое тщеславие смехотворно, твоё поведение оскорбительно, а твоё присутствие в моем саду – нелепо. Однако ты еще поспеешь на поезд в четыре ноль пять и, надеюсь, совершишь приятную поездку в город. В этот раз твоё бенберирование не увенчалось успехом. *(Идет в дом.)*

АЛДЖЕРНОН. А по-моему, увенчалось, да еще каким. Я влюблен в Сесили, а это самое главное.

В глубине сада появляется Сесили. Она берет лейку и начинает поливать цветы.

Но я должен повидать ее до отъезда и условиться о следующей встрече. А, вот она!

СЕСИЛИ. Я пришла полить розы. Я думала, вы с дядей Джеком.

АЛДЖЕРНОН. Он пошел распорядиться, чтобы мне подали кабриолет.

СЕСИЛИ. Вы поедете с ним кататься?

АЛДЖЕРНОН. Нет, он хочет отослать меня.

СЕСИЛИ. Так, значит, нам предстоит разлука?

АЛДЖЕРНОН. Боюсь, что да. И мне это очень грустно.

СЕСИЛИ. Грустно расставаться с теми, с кем только что познакомился. С отсутствием старых друзей можно легко примириться. Но даже недолгая разлука с теми, кого только что узнал, почти невыносима.

АЛДЖЕРНОН. Спасибо за эти слова.

Входит Мерримен.

МЕРРИМЕН. Экипаж подан, сэр.

Алджернон умоляюще глядит на Сесили.

СЕСИЛИ. Пусть подождет, Мерримен, ну, минут... минут пять.

МЕРРИМЕН. Слушаю, мисс. *(Уходит.)*

АЛДЖЕРНОН. Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вы зримое воплощение предельного совершенства.

СЕСИЛИ. Ваша искренность делает вам честь, Эрнест. Если вы позволите, я запишу ваши слова в свой дневник (*Идет к столу и начинает записывать.*)

АЛДЖЕРНОН. Так вы действительно ведете дневник? Много бы я отдал за то, чтобы заглянуть в него. Можно?

СЕСИЛИ. О нет! (*Прикрывает его рукой.*) Видите ли, это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки, и, следовательно, это предназначено для печати. Вот когда мой дневник появится отдельным изданием, тогда непременно купите его. Но прошу вас, Эрнест, продолжайте. Я очень люблю писать под диктовку. Я дописала до «предельного совершенства». Продолжайте. Я готова.

АЛДЖЕРНОН (*несколько озадачен*). Хм! Хм!

СЕСИЛИ. Не кашляйте, Эрнест. Когда диктуешь, надо говорить медленно и не кашлять. И к тому же я не знаю, как записать кашель. (*Записывает, по мере того как Алджернон говорит.*)

АЛДЖЕРНОН (*говорит очень быстро*). Сесили, как только я увидел вашу поразительную и несравненную красоту, я осмелился полюбить вас безумно, страстно, преданно, безнадежно.

СЕСИЛИ. По-моему, вам не следует говорить мне, что вы любите меня безумно, страстно, преданно, безнадежно. А кроме того, безнадежно сюда вовсе не подходит.

АЛДЖЕРНОН. Сесили!

Входит Мерримен.

МЕРРИМЕН. Экипаж ожидает вас, сэр.

АЛДЖЕРНОН. Скажите, чтобы его подали через неделю в это же время.

МЕРРИМЕН (*смотрит на Сесили, та не опровергает слов Алджернона*). Слушаю, сэр.

Мерримен уходит.

СЕСИЛИ. Дядя Джек будет сердиться, когда узнает, что вы уедете только через неделю.

АЛДЖЕРНОН. Мне нет дела до Джека. Мне нет дела ни до кого, кроме вас. Я люблю вас, Сесили. Согласны вы быть моей женой?

СЕСИЛИ. Какой вы глупый! Конечно. Мы ведь обручены уже около трех месяцев.

АЛДЖЕРНОН. Около трех месяцев?!

СЕСИЛИ. Да, в четверг будет ровно три месяца.

АЛДЖЕРНОН. Но каким образом это произошло?

СЕСИЛИ. С тех пор как дядя Джек признался, что у него есть младший брат, беспутный и порочный, вы, конечно, стали предметом наших разговоров с мисс Призм. А тот, о ком так много говорят, становится особенно привлекательным. Должно же в нем быть хоть что-то выдающееся. Может быть, это очень глупо с моей стороны, но я полюбила вас, Эрнест.

АЛДЖЕРНОН. Милая! Но все-таки когда состоялось обручение?

СЕСИЛИ. Четырнадцатого февраля. Не в силах больше вынести того, что вы даже не знаете о моем существовании, я решила так или иначе уладить этот вопрос и после долгих колебаний обручилась с вами под этим старым милым деревом. На другой день я купила вот это колечко, ваш подарок, и этот браслет с узлом верности и дала обещание не снимать их.

АЛДЖЕРНОН. Так, значит, это мои подарки? А ведь недурны, правда?

СЕСИЛИ. Да, у вас очень хороший вкус, Эрнест. За это я вам всегда прощала ваш беспутный образ жизни. А вот шкатулка, в которой я храню ваши милые письма. *(Нагибается за шкатулкой, открывает ее и достает пачку писем, перевязанных голубой лентой.)*

АЛДЖЕРНОН. Мои письма? Но, дорогая моя Сесили, я никогда не писал вам писем.

СЕСИЛИ. Не надо напоминать мне об этом. Я слишком хорошо помню, что мне пришлось писать ваши письма за вас. Я писала их три раза в неделю, а иногда и чаще.

АЛДЖЕРНОН. Позвольте мне прочитать их, Сесили.

СЕСИЛИ. Ни в коем случае. Вы слишком возгордились бы. *(Убирает шкатулку.)* Три письма, которые вы написали мне после нашего разрыва, так хороши и в них так много орфографических ошибок, что я до сих пор не могу удержаться от слез, когда их перечитываю.

АЛДЖЕРНОН. Но разве наша помолвка расстроилась?

СЕСИЛИ. Ну конечно. Двадцать второго марта. Вот, можете посмотреть дневник. *(Показывает дневник.)* «Сегодня я расторгла нашу помолвку с Эрнестом. Чувствую, что так будет лучше. Погода по-прежнему чудесная».

АЛДЖЕРНОН. Но почему, почему вы решились на это? Что я сделал? Я ничего такого не сделал, Сесили! Меня в самом деле очень огорчает то, что вы расторгли нашу помолвку. Да еще в такую чудесную погоду.

СЕСИЛИ. Какая же это по-настоящему прочная помолвка, если ее не

расторгнуть хоть раз? Но я простила вас на той же неделе.

АЛДЖЕРНОН (*подходя к ней и становясь на колени*). Вы ангел, Сесили!

СЕСИЛИ. Мой милый сумасброд!

Он целует ее, она ерошит его волосы.

Надеюсь, волосы у вас вьются сами?

АЛДЖЕРНОН. Да, дорогая, с небольшой помощью парикмахера.

СЕСИЛИ. Я так рада.

АЛДЖЕРНОН. Больше вы никогда не расторгнете нашей помолвки, Сесили?

СЕСИЛИ. Мне кажется, что теперь, когда я вас узнала, я этого не смогла бы. А к тому же ваше имя...

АЛДЖЕРНОН (*нервно*). Да, конечно.

СЕСИЛИ. Не смейтесь надо мной, милый, но моей девической мечтой всегда было выйти за человека, которого зовут Эрнест.

Алджернон встает, Сесили тоже.

В этом имени есть нечто, внушающее абсолютное доверие. Я так жалею бедных женщин, мужа которых носят другие имена.

АЛДЖЕРНОН. Но, дорогое дитя мое, неужели вы хотите сказать, что не полюбили бы меня, если бы меня звали по-другому?

СЕСИЛИ. Как, например?

АЛДЖЕРНОН. Ну, все равно, хотя бы – Алджернон...

СЕСИЛИ. Но мне вовсе не нравится имя Алджернон.

АЛДЖЕРНОН. Послушайте, дорогая, милая, любимая девочка. Я не вижу причин, почему бы вам возражать против имени Алджернон. Это вовсе не плохое имя. Более того, это довольно аристократическое имя. Половина ответчиков по делам о банкротстве носит это имя. Нет, шутки в сторону, Сесили... (*Подходя ближе.*) Если бы меня звали Алджи, неужели вы не могли бы полюбить меня?

СЕСИЛИ (*вставая*). Я могла бы уважать вас, Эрнест. Я могла бы восхищаться вами, но, боюсь, что не смогла бы все свои чувства безраздельно отдать только вам.

АЛДЖЕРНОН. Гм! Сесили! (*Хватаясь за шляпу.*) Ваш пастор, вероятно, сведущ по части церковных обрядов и церемоний?

СЕСИЛИ. О конечно, доктор Чезюбл весьма сведущий человек. Он не

написал ни одной книги, так что вы можете себе представить, сколько у него всяких сведений в голове.

АЛДЖЕРНОН. Я должен сейчас же повидаться с ним... и поговорить о неотложном крещении... я хочу сказать – о неотложном деле.

СЕСИЛИ. О!

АЛДЖЕРНОН. Я вернусь не позже чем через полчаса.

СЕСИЛИ. Принимая во внимание, что мы с вами обручены с четырнадцатого февраля и что встретились только сегодня, я думаю, что вам не следовало бы покидать меня на такой продолжительный срок. Нельзя ли через двадцать минут?

АЛДЖЕРНОН. Я мигом вернусь! *(Целует ее и убегает через сад.)*

СЕСИЛИ. Какой он порывистый! И какие у него волосы! Нужно записать, что он сделал мне предложение.

Входит Мерримен.

МЕРРИМЕН. Некая мисс Фейрфакс хочет видеть мистера Вординга. Говорит, что он нужен ей по очень важному делу.

СЕСИЛИ. А разве мистер Вординг не у себя в кабинете?

МЕРРИМЕН. Мистер Вординг недавно отправился в сторону дома доктора Чезюбла.

СЕСИЛИ. Попросите эту леди сюда. Мистер Вординг, вероятно, скоро вернется. И принесите, пожалуйста, чаю.

МЕРРИМЕН. Слушаю, мисс. *(Выходит.)*

СЕСИЛИ. Мисс Фейрфакс? Вероятно, одна из тех пожилых дам, которые вместе с дядей Джеком занимаются благотворительными делами в Лондоне. Не люблю дам-филантропок. Они слишком много на себя берут.

Входит Мерримен.

МЕРРИМЕН. Мисс Фейрфакс.

Входит Гвендолен. Мерримен уходит.

СЕСИЛИ *(идя ей навстречу)*. Позвольте вам представиться. Меня зовут Сесили Кардью.

ГВЕНДОЛЕН. Сесили Кардью? *(Идет к ней и пожимает руку.)* Какое милое имя! Я уверена: мы с вами подружимся. Вы мне и сейчас ужасно нравитесь. А первое впечатление меня никогда не обманывает.

СЕСИЛИ. Как это мило с вашей стороны, мы ведь с вами так

сравнительно недавно знакомы. Пожалуйста, садитесь.

ГВЕНДОЛЕН (*все еще стоя*). Можно мне называть вас Сесили?

СЕСИЛИ. Ну конечно!

ГВЕНДОЛЕН. А меня зовите просто Гвендолен.

СЕСИЛИ. Если вам это приятно.

ГВЕНДОЛЕН. Значит, решено? Не так ли?

СЕСИЛИ. Надеюсь.

Пауза. Обе одновременно садятся.

ГВЕНДОЛЕН. Теперь, я думаю, самое подходящее время объяснить вам, кто я такая. Мой отец – лорд Брэкнелл. Вы, должно быть, никогда не слышали о папе, не правда ли?

СЕСИЛИ. Нет, не слыхала.

ГВЕНДОЛЕН. К счастью, он совершенно неизвестен за пределами тесного семейного круга. Это вполне естественно. Сферой деятельности для мужчины, по-моему, должен быть домашний очаг. И как только мужчины начинают пренебрегать своими семейными обязанностями, они становятся такими изнеженными. А я этого не люблю. Это делает мужчин слишком привлекательными. Моя мама, которая смотрит на воспитание крайне сурово, развила во мне большую близорукость: это входит в ее систему. Так что вы не возражаете, Сесили, если я буду смотреть на вас в лорнет?

СЕСИЛИ. Нет, что вы, Гвендолен, я очень люблю, когда на меня смотрят!

ГВЕНДОЛЕН (*тщательно обзрев Сесили через лорнет*). Вы здесь гостите, не так ли?

СЕСИЛИ. О нет. Я здесь живу.

ГВЕНДОЛЕН (*строго*). Вот как? Тогда здесь находится, конечно, ваша матушка или хотя бы какая-нибудь пожилая родственница?

СЕСИЛИ. Нет. У меня нет матери, да и родственниц никаких нет.

ГВЕНДОЛЕН. Что вы говорите?

СЕСИЛИ. Мой дорогой опекун с помощью мисс Призм взял на себя тяжкий труд заботиться о моем воспитании.

ГВЕНДОЛЕН. Ваш опекун?

СЕСИЛИ. Да, я воспитанница мистера Вординга.

ГВЕНДОЛЕН. Странно! Он никогда не говорил мне, что у него есть воспитанница. Какая скрытность! Он становится интереснее с каждым часом. Но я не сказала бы, что эта новость вызывает у меня восторг.

(*Встает и направляется к Сесили.*) Вы мне очень нравитесь, Сесили. Вы мне понравились с первого взгляда, но должна сказать, что сейчас, когда я узнала, что вы воспитанница мистера Вординга, я бы хотела, чтобы вы были... ну, чуточку постарше и чуточку менее привлекательной. И знаете, если уж говорить откровенно...

СЕСИЛИ. Говорите! Я думаю, если собираются сказать неприятное, надо говорить откровенно.

ГВЕНДОЛЕН. Так вот, говоря откровенно, Сесили, я хотела бы, чтобы вам было не меньше чем сорок два года, а с виду и того больше. У Эрнеста честный и прямой характер. Он воплощенная искренность и честь. Неверность для него так же невозможна, как и обман. Но даже самые благородные мужчины до чрезвычайности подвержены женским чарам. Новая история, как и древняя, дает тому множество плачевных примеров. Если бы это было иначе, то историю было бы невозможно читать.

СЕСИЛИ. Простите, Гвендолен, вы, кажется, сказали – Эрнест?

ГВЕНДОЛЕН. Да.

СЕСИЛИ. Но мой опекун вовсе не мистер Эрнест Вординг – это его брат, старший брат.

ГВЕНДОЛЕН (*снова усаживаясь*). Эрнест никогда не говорил мне, что у него есть брат.

СЕСИЛИ. Как ни грустно, но они долгое время не ладили.

ГВЕНДОЛЕН. Тогда понятно. А к тому же я никогда не слыхала, чтобы мужчины говорили о своих братьях. Эта тема для них, по-видимому, крайне неприятна. Сесили, вы успокоили меня. Я уже начинала тревожиться. Ужасно было бы, если бы облако недоверия омрачило такую дружбу, как наша. Но вы совершенно-совершенно уверены, что ваш опекун не мистер Эрнест Вординг?

СЕСИЛИ. Совершенно уверена. (*Пауза.*) Дело в том, что я сама собираюсь его опекать.

ГВЕНДОЛЕН (*не веря ушам*). Что вы сказали?

СЕСИЛИ (*смущенно и как бы по секрету*). Дорогая Гвендолен, у меня нет никаких оснований держать это в тайне. Ведь даже наша местная газета объявит на будущей неделе о моей помолвке с мистером Эрнестом Вордингом.

ГВЕНДОЛЕН (*вставая, очень вежливо*). Милочка моя. Тут какое-то недоразумение. Мистер Эрнест Вординг обручен со мной. И об этом будет объявлено в «Морнинг Пост» не позднее субботы.

СЕСИЛИ (*вставая и не менее вежливо*). Боюсь, вы ошибаетесь. Эрнест сделал мне предложение всего десять минут назад. (*Показывает дневник.*)

ГВЕНДОЛЕН (*внимательно читает дневник сквозь лорнет*). Очень странно. Он просил меня быть его женой не далее как вчера в пять тридцать пополудни. Если вы хотите удостовериться в этом, пожалуйста. (*Достает свой дневник.*) Я никуда не выезжаю без дневника. В поезде всегда надо иметь для чтения что-нибудь захватывающее. Весьма сожалею, дорогая Сесили, если это вас огорчит, но боюсь, что я первая.

СЕСИЛИ. Я была бы очень огорчена, дорогая Гвендолен, если бы причинила вам душевную или физическую боль, но все же приходится разъяснить вам, что Эрнест явно передумал, после того как сделал вам предложение.

ГВЕНДОЛЕН (*размышляя вслух*). Если кто-то вынудил моего бедного жениха дать какие-то опрометчивые обещания, я считаю своим долгом немедленно и со всей решимостью прийти к нему на помощь.

СЕСИЛИ (*задумчиво и грустно*). В какую бы предательскую ловушку ни попал мой дорогой мальчик, я никогда не попрекну его этим после свадьбы.

ГВЕНДОЛЕН. Не на меня ли вы намекаете, мисс Кардью, упоминая о ловушке? Вы чересчур самонадеянны. Говорить правду в подобных случаях не только моральная потребность. Это удовольствие.

СЕСИЛИ. Не меня ли вы обвиняете, мисс Фейрфакс, в том, что я вынудила у Эрнеста признание? Как вы смеете? Теперь не время носить маску внешних приличий. Если я вижу лопату, я и называю ее лопатой.

ГВЕНДОЛЕН (*насмешливо*). Рада довести до вашего сведения, что я никогда в жизни не видела лопаты. Совершенно ясно, что мы возвращаемся в различных социальных сферах.

Входит Мерримен, за ним лакей с подносом, скатертью и подставкой для чайника. Сесили уже готова возразить, но присутствие слуг заставляет ее сдержаться, так же как и Гвендолен.

МЕРРИМЕН. Чай накрывать здесь, как всегда, мисс?

СЕСИЛИ (*сурово, но спокойно*). Да, как всегда.

Мерримен начинает освобождать стол и накрывать к чаю. Продолжительная пауза. Сесили и Гвендолен яростно глядят друг на друга.

ГВЕНДОЛЕН. Есть у вас тут интересные прогулки, мисс Кардью?

СЕСИЛИ. О да, сколько угодно. С вершины одного из соседних холмов видно пять графств.

ГВЕНДОЛЕН. Пять графств! Я бы этого не вынесла. Ненавижу тесноту!

СЕСИЛИ (*очень любезно*). Именно поэтому вы, вероятно, живете в Лондоне.

ГВЕНДОЛЕН (*закусывает губу и нервно постукивает зонтиком по ноге, озираясь*). Очень милый садик, мисс Кардью.

СЕСИЛИ. Рада, что он вам нравится, мисс Фейрфакс.

ГВЕНДОЛЕН. Я и не предполагала, что в деревне могут быть цветы.

СЕСИЛИ. О, цветов тут столько же, сколько в Лондоне людей.

ГВЕНДОЛЕН. Лично я не могу понять, как можно жить в деревне – конечно, если ты не полное ничтожество. На меня деревня всегда наводит скуку.

СЕСИЛИ. Да? Это как раз то, что газеты называют сельскохозяйственной депрессией. Мне кажется, аристократы именно сейчас особенно часто страдают от этой болезни. Как мне рассказывали, среди них это своего рода эпидемия. Не угодно ли чаю, мисс Фейрфакс?

ГВЕНДОЛЕН (*с подчеркнутой вежливостью*). Благодарю вас. (*В сторону.*) Несносная девчонка! Но мне хочется чаю.

СЕСИЛИ (*очень любезно*). Сахару?

ГВЕНДОЛЕН (*надменно*). Нет, благодарю вас. Сахар сейчас не в моде.

СЕСИЛИ (*сердито смотрит на нее, берет щипцы и кладет в чашку четыре куса сахара, сурово*). Вам пирог или хлеб с маслом?

ГВЕНДОЛЕН (*со скучающим видом*). Хлеба, пожалуйста. В хороших домах сейчас не принято подавать сладкие пироги.

СЕСИЛИ (*отрезает большой кусок сладкого пирога и кладет на тарелочку*). Передайте это мисс Фейрфакс.

Мерримен выполняет приказание и уходит, сопровождаемый лакеем.

ГВЕНДОЛЕН (*пьет чай и морщится. Отставив чашку, она протягивает руку за хлебом и видит, что это пирог; вскакивает в негодовании*). Вы наложили мне полную чашку сахару, и хотя я совершенно ясно просила у вас хлеба, вы подсунули мне пирог. Всем известны моя деликатность и мягкость характера, но предупреждаю вас, мисс Кардью: вы заходите слишком далеко.

СЕСИЛИ (*в свою очередь вставая*). Чтобы спасти моего бедного, ни в чем не повинного, доверчивого мальчика от происков коварной женщины, я готова на все!

ГВЕНДОЛЕН. С той самой минуты как я увидела вас, вы внушили мне

недоверие! Я почувствовала, что вы притворщица и обманщица. Меня вам не провести. Мое первое впечатление никогда меня не обманывает.

СЕСИЛИ. Мне кажется, мисс Фейрфакс, я злоупотребляю вашим драгоценным временем. Вам, вероятно, предстоит сделать еще несколько таких же визитов в нашем графстве.

Входит Джек.

ГВЕНДОЛЕН (*заметив его*). Эрнест! Мой Эрнест!

ДЖЕК. Гвендолен!.. Милая! (*Хочет поцеловать ее.*)

ГВЕНДОЛЕН (*отстраняясь*). Минуточку! Могу ли я спросить: обручены ли вы с этой молодой леди? (*Указывает на Сесили.*)

ДЖЕК (*смеясь*). С милой крошкой Сесили? Ну конечно нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

ГВЕНДОЛЕН. Благодарю вас. Теперь можно. (*Подставляет щеку.*)

СЕСИЛИ (*очень мягко*). Я так и знала, что тут какое-то недоразумение, мисс Фейрфакс. Джентльмен, который сейчас обнимает вас за талию, это мой дорогой опекун, мистер Джон Вординг.

ГВЕНДОЛЕН. Как вы сказали?

СЕСИЛИ. Да, это дядя Джек.

ГВЕНДОЛЕН (*отступая*). Джек! О!

Входит Алджернон.

СЕСИЛИ. А вот это Эрнест!

АЛДЖЕРНОН (*никого не замечая, идет прямо к Сесили*). Любимая моя! (*Хочет ее поцеловать.*)

СЕСИЛИ (*отступает*). Минуточку, Эрнест. Могу ли я спросить вас: вы обручены с этой молодой леди?

АЛДЖЕРНОН (*озираясь*). С какой леди? Силы небесные, Гвендолен!

СЕСИЛИ. Вот именно, силы небесные, Гвендолен. С этой самой Гвендолен!

АЛДЖЕРНОН (*смеясь*). Ну конечно нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

СЕСИЛИ. Благодарю вас. (*Подставляет щеку для поцелуя.*) Теперь можно.

Алджернон целует ее.

ГВЕНДОЛЕН. Я чувствовала, что тут что-то не так, мисс Кардью. Джентльмен, который сейчас обнимает вас, мой кузен, мистер Алджернон Монкриф.

СЕСИЛИ (*отстраняется от Алджернона*). Алджернон Монкриф? О!

Девушки идут друг к другу и обнимаются за талию, как бы ища защиты друг у друга.

СЕСИЛИ. Так вас зовут Алджернон?

АЛДЖЕРНОН. Не могу отрицать.

СЕСИЛИ. О!

ГВЕНДОЛЕН. Вас действительно зовут Джон?

ДЖЕК (*горделиво*). При желании я мог бы это отрицать. При желании я мог бы отрицать все что угодно. Но меня действительно зовут Джон. И уже много лет.

СЕСИЛИ (*обращаясь к Гвендолен*). Мы обе жестоко обмануты.

ГВЕНДОЛЕН. Бедная моя оскорбленная Сесили!

СЕСИЛИ. Дорогая обиженная Гвендолен!

ГВЕНДОЛЕН (*медленно и веско*). Называй меня сестрой, хочешь?

Они обнимаются. Джек и Алджернон вздыхают и прохаживаются по дорожке.

СЕСИЛИ (*спохватывается*). Есть один вопрос, который я хотела бы задать моему опекуну.

ГВЕНДОЛЕН. Прекрасная идея! Мистер Вординг, я хотела бы задать вам один вопрос. Где ваш брат Эрнест? Мы обе обручены с вашим братом Эрнестом, и нам весьма важно знать, где сейчас находится ваш брат Эрнест.

ДЖЕК (*медленно и запинаясь*). Гвендолен, Сесили... Я первый раз в жизни оказался в таком затруднительном положении, мне никогда не приходилось говорить правду. Но я признаюсь вам по чистой совести, что у меня нет никакого брата Эрнеста. У меня вообще нет брата. Никогда в жизни у меня не было брата, и у меня нет ни малейшего желания обзаводиться им в будущем.

СЕСИЛИ (*с изумлением*). Никакого брата?

ДЖЕК (*весело*). Ровно никакого.

ГВЕНДОЛЕН (*сурово*). И никогда не было?

ДЖЕК (*сияя*). Никогда.

ГВЕНДОЛЕН. Боюсь, Сесили, что обе мы ни с кем не обручены.

СЕСИЛИ. Как неприятно для молодой девушки оказаться в таком положении, не правда ли?

ГВЕНДОЛЕН. Пойдемте в дом. Они едва ли осмелятся последовать за нами.

СЕСИЛИ. Ну что вы, мужчины так трусливы.

Полные презрения, они уходят в дом.

ДЖЕК. Так это безобразие и есть то, что ты называешь бенберированием?

АЛДЖЕРНОН. Да, и притом исключительно удачным. Так замечательно бенберировать мне еще ни разу в жизни не приходилось.

ДЖЕК. Так вот, бенберировать здесь ты не имеешь права.

АЛДЖЕРНОН. Но это же нелепо. Каждый имеет право бенбериовать там, где ему вздумается. Всякий серьезный бенберист знает это.

ДЖЕК. Серьезный бенберист! Бог мой!

АЛДЖЕРНОН. Надо же в чем-то быть серьезным, если хочешь наслаждаться жизнью. Я, например, бенберирую серьезно. В чем ты серьезен, этого я не успел установить. Полагаю – во всем. У тебя такая ординарная натура.

ДЖЕК. Что мне нравится во всей этой истории – это то, что твой друг Бенбери лопнул. Теперь тебе не удастся так часто спасаться в деревне, дорогой мой. Оно и к лучшему.

АЛДЖЕРНОН. Твой братец тоже слегка полинял, дорогой Джек. Теперь тебе не удастся пропадать в Лондоне, как ты это проделывал раньше. Это тоже неплохо.

ДЖЕК. А что касается твоего поведения с мисс Кардью, то я должен тебе заявить, что обольщать такую милую, простую, невинную девушку совершенно недопустимо. Не говоря уже о том, что она под моей опекой.

АЛДЖЕРНОН. А я не вижу никакого оправдания тому, что ты обманиваешь такую блестящую, умную и многоопытную молодую леди, как мисс Фейрфакс. Не говоря уже о том, что она моя кузина.

ДЖЕК. Я хотел обручиться с Гвендолен, вот и все. Я люблю ее.

АЛДЖЕРНОН. Ну и я просто хотел обручиться с Сесили. Я ее обожаю.

ДЖЕК. Но у тебя нет никаких шансов жениться на мисс Кардью.

АЛДЖЕРНОН. Еще менее вероятно то, что тебе удастся обручиться с мисс Фейрфакс.

ДЖЕК. Это не твое дело.

АЛДЖЕРНОН. Будь это моим делом, я бы и говорить не стал. *(Принимается за сдобные лепешки.)* Говорить о собственных делах очень вульгарно. Этим занимаются только биржевые маклеры, да и то больше на званых обедах.

ДЖЕК. И как тебе не стыдно преспокойно уплетать лепешки, когда мы оба попали в такую беду? Бессердечный эгоист!

АЛДЖЕРНОН. Но не могу же я есть лепешки волнуясь. Я бы запачкал маслом манжеты. Лепешки надо есть спокойно. Это единственный способ есть лепешки.

ДЖЕК. А я говорю, что при таких обстоятельствах вообще бессердечно есть лепешки.

АЛДЖЕРНОН. Когда я расстроен, единственное, что меня успокаивает, это еда. Люди, которые меня хорошо знают, могут засвидетельствовать, что при крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья. Вот и сейчас я ем лепешки потому, что несчастлив. Ну, и, кроме того, я очень люблю деревенские лепешки. *(Встает.)*

ДЖЕК *(встает)*. Но это еще не причина, чтобы уничтожить их все без остатка. *(Отнимает у Алджернона блюдо с лепешками.)*

АЛДЖЕРНОН *(подставляет ему пирог)*. Может быть, ты возьмешь пирога? Я не люблю пироги.

ДЖЕК. Черт возьми! Неужели человек не может есть собственные лепешки в собственном саду?

АЛДЖЕРНОН. Но ты только что утверждал, что есть лепешки – бессердечно.

ДЖЕК. Я говорил, что при данных обстоятельствах это бессердечно с твоей стороны. А это совсем другое дело.

АЛДЖЕРНОН. Может быть. Но лепешки-то ведь те же самые. *(Отбирает у Джека блюдо с лепешками.)*

ДЖЕК. Алджи, прошу тебя, уезжай.

АЛДЖЕРНОН. Ты не можешь выпроводить меня без обеда. Это просто невозможно, я никогда не ухожу, не пообедав. На это способны лишь вегетарианцы. А кроме того, я только что договорился с доктором Чезюблом. Он окрестит меня, и без четверти шесть я стану Эрнестом.

ДЖЕК. Дорогой мой, чем скорей ты выкинешь из головы эту блажь, тем лучше. Я сегодня утром договорился с доктором Чезюблом: в половине шестого он окрестит меня и, разумеется, даст мне имя Эрнест. Гвендолен этого требует. Не можем же мы оба принять имя Эрнест! Кроме того, я

имею право креститься. Нет никаких доказательств, что меня когда-то уже крестили. Весьма вероятно, что меня и не крестили, доктор Чезюбл того же мнения. А с тобой дело обстоит совсем иначе. Ты-то уж наверняка был крещен.

АЛДЖЕРНОН. Да, но с тех пор меня ни разу не крестили.

ДЖЕК. Положим, но один раз ты был крещен. Вот что важно.

АЛДЖЕРНОН. Это верно. И теперь я знаю, что могу это перенести. А если ты не уверен, что уже подвергался этой операции, то это для тебя очень рискованно. Это может причинить тебе большой вред. Не забывай, что всего неделю назад твой ближайший родственник чуть не скончался в Париже от острой простуды.

ДЖЕК. Да, но ты сам сказал, что простуда – болезнь не наследственная.

АЛДЖЕРНОН. Так считали прежде, это верно, но так ли это сейчас? Наука идет вперед гигантскими шагами.

ДЖЕК (*отбирает блюдо с лепешками*). Глупости, ты всегда говоришь глупости!

АЛДЖЕРНОН. Джек, ты опять принялся за лепешки! А как же я? Там только две и остались. (*Берет лепешки.*) Я же сказал тебе, что люблю лепешки.

ДЖЕК. А я ненавижу сладкий пирог.

АЛДЖЕРНОН. С какой же стати ты позволяешь угощать твоих гостей пирогом? Странное у тебя представление о гостеприимстве.

ДЖЕК. Алджернон, я уже говорил тебе – уезжай. Я не хочу, чтобы ты оставался. Почему ты не уходишь?

АЛДЖЕРНОН. Я еще не допил чай, и надо же мне доесть лепешку.

Джек со стоном опускается в кресло. Алджернон продолжает есть.

Занавес.

Действие третье

Гостиная в поместье мистера Вординга. Гвендолен и Сесили, стоя у окна, смотрят в сад.

ГВЕНДОЛЕН. То, что они не пошли за нами, как можно было бы ожидать, доказывает, что, по-моему, у них еще сохранилась капля стыда.

СЕСИЛИ. Они едят лепешки. Это похоже на раскаяние.

ГВЕНДОЛЕН (*помолчав*). Они, видимо, не замечают нас. Может быть, вы попробуете кашлянуть?

СЕСИЛИ. Но у меня нет кашля.

ГВЕНДОЛЕН. Они смотрят на нас. Какая дерзость!

СЕСИЛИ. Они идут сюда. Как самонадеянно с их стороны!

ГВЕНДОЛЕН. Будем хранить молчание.

СЕСИЛИ. Конечно. Ничего другого не остается.

Входит Джек, за ним Алджернон. Они насвистывают мотив какой-то ужасающей арии из английской оперы.

ГВЕНДОЛЕН. Наше молчание приводит к печальным результатам.

СЕСИЛИ. Очень печальным.

ГВЕНДОЛЕН. Но мы не можем заговорить первыми.

СЕСИЛИ. Конечно нет.

ГВЕНДОЛЕН. Мистер Вординг, у меня к вам личный вопрос. Многое зависит от вашего ответа.

СЕСИЛИ. Гвендолен, ваш здравый смысл меня просто восхищает. Мистер Монкриф, будьте добры ответить мне на следующий вопрос. Для чего вы пытались выдать себя за брата моего опекуна?

АЛДЖЕРНОН. Чтобы иметь предлог познакомиться с вами.

СЕСИЛИ (*обращаясь к Гвендолен*). Мне кажется, это удовлетворительное объяснение. Как по-вашему?

ГВЕНДОЛЕН. Да, моя дорогая, если только можно ему верить.

СЕСИЛИ. Я не верю. Но это не умаляет удивительного благородства его ответа.

ГВЕНДОЛЕН. Это так. В важных вопросах главное не искренность, а стиль. Мистер Вординг, чем вы объясните вашу попытку выдумать себе брата? Не затем ли вы на это пошли, чтобы иметь предлог как можно чаще

бывать в Лондоне и видеть меня?

ДЖЕК. Неужели вы можете сомневаться в этом, мисс Фейрфакс?

ГВЕНДОЛЕН. У меня на этот счет большие сомнения. Но я решила ими пренебречь. Сейчас не время для скептицизма. *(Подходит к Сесили.)* Их объяснения кажутся мне удовлетворительными, особенно объяснение мистера Вординга. Оно звучит правдиво.

СЕСИЛИ. Мне более чем достаточно того, что сказал мистер Монкриф. Один его голос внушает мне абсолютное доверие.

ГВЕНДОЛЕН. Так вы думаете – мы можем простить их?

СЕСИЛИ. Да. То есть нет.

ГВЕНДОЛЕН. Верно! Я совсем позабыла. На карту поставлен принцип, и нам нельзя уступать. Но кто из нас скажет им это? Обязанность не из приятных.

СЕСИЛИ. А не можем ли мы сказать это вместе?

ГВЕЙДОЛЕН. Прекрасная идея! Я почти всегда говорю одновременно со своим собеседником. Только держите такт.

СЕСИЛИ. Хорошо.

Гвендолен отбивает такт рукой.

ГВЕНДОЛЕН И СЕСИЛИ *(говорят вместе)*. Неодолимым препятствием по-прежнему являются ваши имена. Так и знайте!

ДЖЕК И АЛДЖЕРНОН *(отвечают вместе)*. Наши имена? И только-то? Но нас окрестят сегодня же.

ГВЕНДОЛЕН *(Джеку)*. И вы ради меня идете на такое испытание?

ДЖЕК. Иду!

СЕСИЛИ *(Алджернону)*. Чтобы сделать мне приятное, вы согласны это перенести?

АЛДЖЕРНОН. Согласен!

ГВЕНДОЛЕН. Как глупы все разговоры о равенстве полов. Когда дело доходит до самопожертвования, мужчины неизмеримо выше нас.

ДЖЕК. Вот именно! *(Пожимает руку Алджернону.)*

СЕСИЛИ. Да, порой они проявляют такое физическое мужество, о каком мы, женщины, и понятия не имеем.

ГВЕНДОЛЕН *(Джеку)*. Милый!

АЛДЖЕРНОН *(Сесили)*. Милая!

Все четверо обнимаются. Входит Мерримен. Поняв ситуацию, он вежливо покашливает.

МЕРРИМЕН. Хм! Хм! Леди Брэкнелл.
ДЖЕК. Силы небесные!..

Входит леди Брэкнелл. Влюбленные испуганно отстраняются друг от друга. Мерримен уходит.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Гвендолен! Что это значит?

ГВЕНДОЛЕН. То, что я помолвлена с мистером Вордингом. Только и всего, мама.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Поди сюда. Сядь. Сядь сейчас же. Нерешительность – это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у пожилых. (*Повернувшись к Джеку.*) Поставленная в известность о внезапном исчезновении моей дочери ее доверенной горничной, чье усердие я раз и навсегда обеспечила посредством небольшой денежной mzды, я последовала за ней в товарном поезде. Ее бедный отец воображает, что она находится сейчас на несколько затянувшейся популярной лекции. И это очень хорошо. Я не намерена разуверять его. Я стараюсь никогда не разуверять его ни в чем. Я бы считала это недостойным себя. Но вы, конечно, понимаете, что обязаны отныне прекратить всякие отношения с моей дочерью. И немедленно! В этом вопросе, как, впрочем, и во всех других, я не пойду ни на какие уступки.

ДЖЕК. Я обручен с Гвендолен, леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ничего подобного, сэр. А что касается Алджернона... Алджернон!

АЛДЖЕРНОН. Да, тетя Августа?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Скажи мне, не в этом ли доме обитает твой больной друг мистер Бенбери?

АЛДЖЕРНОН (*запинаясь*). Да! Нет. Бенбери живет не здесь. Сейчас Бенбери здесь нет. По правде говоря, Бенбери умер.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Умер? А когда именно скончался мистер Бенбери? Судя по всему, он умер скоропостижно.

АЛДЖЕРНОН (*беззаботно*). О, Бенбери я сегодня убил. Я хочу сказать – бедняга Бенбери умер сегодня днем.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. А что было причиной его смерти?

АЛДЖЕРНОН. Бенбери?... Он... он лопнул, взорвался...

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Взорвался? Может быть, он стал жертвой террористического акта? Я не предполагала, что мистер Бенбери

интересуется социальными проблемами. Но если так, поделом ему за такие нездоровые интересы.

АЛДЖЕРНОН. Дорогая тетя Августа, я хочу сказать, что его вывели на чистую воду. То есть доктора установили, что жить он больше не может, вот Бенбери и умер.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. По-видимому, он придавал слишком большое значение диагнозу врачей. Во всяком случае, я рада, что наконец-то он избрал какую-то определенную линию поведения и до конца не был лишен медицинской помощи. Теперь, когда мы наконец избавились от этого мистера Бенбери, могу я спросить, мистер Вординг, что это за молодая особа, которую сейчас держит за руку мой племянник Алджернон совершенно неподобающим, с моей точки зрения, образом?

ДЖЕК. Эта леди – мисс Сесили Кардью, моя воспитанница.

Леди Брэкнелл холодно кланяется Сесили.

АЛДЖЕРНОН. Я помолвлен с Сесили, тетя Августа.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Как ты сказал?

СЕСИЛИ. Мистер Монкриф и я помолвлены, леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*вздвигнув, проходит к дивану и садится*). Не знаю, может быть, воздух этой части Хартфордшира действует как-то особенно возбуждающе, но только число обручений, здесь заключенных, кажется мне много выше той нормы, которую предписывает нам статистическая наука. Я считаю, с моей стороны уместно будет задать несколько предварительных вопросов. Мистер Вординг, мисс Кардью тоже имеет отношение к одному из главных лондонских вокзалов? Мне нужны только факты. До вчерашнего дня я не предполагала, что есть фамилии или лица, происхождение которых ведет начало от конечной станции.

ДЖЕК (*вне себя от ярости, но сдерживается, звонко и холодно*). Мисс Кардью – внучка покойного мистера Томаса Кардью – Белгрэйв-сквер 149, Ю.-3; Джервезпарк, Доркинг в Сэррее; и Спорран, Файфшир, Северная Англия.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Это звучит внушительно. Три адреса всегда вызывают доверие к их обладателю, даже если это поставщик. Но где гарантия, что адреса не вымышлены?

ДЖЕК. Я нарочно сохранил «Придворный альманах» за те годы. Они доступны для вашего обозрения, леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*угрюмо*). Мне попадались странные опечатки в этом издании.

ДЖЕК. Делами мисс Кардью занимается фирма «Маркби, Маркой и Маркой».

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. «Маркой, Маркби и Маркой» – фирма, пользующаяся авторитетом в своем кругу. Мне даже говорили, что одного из господ Маркби иногда встречают на званных обедах. Ну что ж, пока это весьма удовлетворительно.

ДЖЕК (*крайне раздраженно*). Как это мило с вашей стороны, леди Брэкнелл. К вашему сведению могу добавить, что я располагаю свидетельствами о рождении мисс Кардью и ее крещении, справками о кори, коклюше, прививке оспы, принятии причастия, а также о краснухе и желтухе.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. О, какая богатая приключениями жизнь, даже, может быть, слишком бурная для такой молодой особы. Я, со своей стороны, не одобряю преждевременной опытности. (*Встает, смотрит на часы.*) Гвендолен, время нашего отъезда приближается. Нам нельзя терять ни минуты. Хотя это всего-навсего проформа, мистер Вординг, но я должна еще осведомиться: располагает ли мисс Кардью каким-либо состоянием?

ДЖЕК. Да. Около ста тридцати тысяч фунтов в государственной ренте. Вот и все. Прощайте, леди Брэкнелл. Очень приятно было поговорить с вами.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*снова усаживается*). Минуточку, минуточку, мистер Вординг. Сто тридцать тысяч! И в государственной ренте. Мисс Кардью при ближайшем рассмотрении представляется мне весьма привлекательной особой. В наше время немногие девушки обладают по-настоящему солидными качествами, долговечными и даже улучшающимися от времени. К сожалению, должна сказать, что мы живем в поверхностный век. (*Обращаясь к Сесили.*) Подойдите, милочка.

Сесили подходит.

Бедное дитя, платье у вас такое простенькое и волосы почти такие же, какими их создала природа. Но это все поправимо. Опытная французская камеристка в очень короткий срок добьется удивительных результатов. Помню, я рекомендовала камеристку леди Лансинг-младшей, и через три месяца ее не узнавал собственный ее муж.

ДЖЕК. А через шесть месяцев ее уже никто не мог узнать.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*бросает грозный взгляд на Джека, а потом с заученной улыбкой обращается к Сесили*). Пожалуйста, повернитесь, дитя мое.

Сесили поворачивается к ней спиной.

Нет, нет, в профиль.

Сесили становится в профиль.

Именно этого я и ожидала. В вашем профиле есть данные. С таким профилем можно иметь успех в обществе. Два наиболее уязвимых пункта нашего времени – это отсутствие принципов и отсутствие профиля. Подбородок чуть повыше, дорогая моя. Стиль в значительной степени зависит от того, как держать подбородок. Теперь его держат очень высоко. Алджернон!

АЛДЖЕРНОН. Да, тетя Августа?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. С таким профилем мисс Кардью может рассчитывать на успех в обществе.

АЛДЖЕРНОН. Сесили – самая милая, дорогая, прелестная девушка во всем свете. И какое мне дело до ее успехов в обществе.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Никогда не говори неуважительно об обществе, Алджернон. Так поступают только те, кому закрыт доступ в высший свет. (*Обращается к Сесили.*) Дитя мое, вы, конечно, знаете, что у Алджернона нет ничего, кроме долгов. Но я не сторонница браков по расчету. Когда я выходила за лорда Брэкнелла, у меня не было никакого приданого. Однако я и мысли не допускала, что это может послужить препятствием. Поэтому я думаю, что могу благословить ваш брак.

АЛДЖЕРНОН. Благодарю вас, тетя Августа!

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Сесили, поцелуйте меня, дорогая.

СЕСИЛИ (*целует*). Благодарю вас, леди Брэкнелл.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Можете впредь называть меня тетя Августа.

СЕСИЛИ. Благодарю вас, тетя Августа.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Свадьбу, я думаю, не стоит откладывать.

АЛДЖЕРНОН. Благодарю вас, тетя Августа.

СЕСИЛИ. Благодарю вас, тетя Августа.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. По правде говоря, я не одобряю длительных помолвок. Это дает возможность узнать характер другой стороны, что, совершенно излишне.

ДЖЕК. Прошу прощения, что прерываю вас, леди Брэкнелл, но ни о какой помолвке в данном случае не может быть и речи. Я опекун мисс Кардью, и до совершеннолетия она не может выйти замуж без моего

согласия. А дать такое согласие я решительно отказываюсь.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. По какой причине, смею вас спросить? Алджернон вполне подходящий, более того – завидный жених. У него нет ни гроша, а с виду он кажется миллионером. Чего же лучше?

ДЖЕК. Мне очень жаль, но приходится говорить в открытую, леди Брэкнелл. Дело в том, что я решительно не одобряю моральный облик вашего племянника. Я подозреваю, что он двуличен.

Алджернон и Сесили смотрят на него изумленно и негодуя.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Двуличен? Мой племянник Алджернон? Немыслимо! Он учился в Оксфорде!

ДЖЕК. Боюсь, что в этом не может быть никакого сомнения. Сегодня, во время моей недолгой отлучки в Лондон по весьма важному для меня личному делу, он проник в мой дом, прикинувшись моим братом. Прикрываясь вымышленным именем, он выпил, как мне только что стало известно от дворецкого, целую бутылку моего «Перье-Жуе-Брю» тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, вино, которое я хранил специально для собственного пользования. Продолжая свою недостойную игру, он в один день покорила сердце моей единственной воспитанницы. Оставшись пить чай, он уничтожил все лепешки до единой. И поведение его тем более непростительно, что все время прекрасно он знал, что у меня нет брата, что у меня никогда не было брата и что я не имею ни малейшего желания обзаводиться каким бы то ни было братом. Я совершенно определенно сказал ему об этом еще вчера.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Гм! Мистер Вординг, всесторонне обсудив этот вопрос, я решила оставить без всякого внимания обиды, нанесенные вам моим племянником.

ДЖЕК. Весьма великодушно с вашей стороны, леди Брэкнелл. Но мое решение неизменно. Я отказываюсь дать согласие.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*обращаясь к Сесили*). Подойдите ко мне, милое дитя.

Сесили подходит.

Сколько вам лет, дорогая?

СЕСИЛИ. По правде говоря, мне только восемнадцать, но на вечерах я всегда говорю, что уже двадцать.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Вы совершенно правы, внося эту маленькую

поправку. Женщина никогда не должна быть слишком точной в определении своего возраста. Это отдает педантством... *(Раздумчиво.)* Восемнадцать, но двадцать на вечерах. Ну что ж, не так уж долго ждать совершеннолетия и полной свободы от опеки. Не думаю, чтобы согласие вашего опекуна имело бы такое значение.

ДЖЕК. Простите, я снова прерву вас, леди Брэкнелл. Но я считаю своим долгом сообщить вам, что по завещанию деда мисс Кардью срок опеки над нею установлен до тридцатипятилетнего возраста.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ну, это не кажется мне серьезным препятствием. Тридцать пять – это возраст расцвета. Лондонское общество полно женщин самого знатного происхождения, которые по собственному желанию много лет кряду остаются тридцатипятилетними. Леди Дамблтон, например. Насколько мне известно, ей все еще тридцать пять с тех самых пор, как ей исполнилось сорок, а это было уже много лет назад. Я не вижу причин, почему бы нашей дорогой Сесили не быть еще более привлекательной в указанном вами возрасте. К тому времени ее состояние значительно увеличится.

СЕСИЛИ. Алджи, вы сможете дождаться, пока мне исполнится тридцать пять?

АЛДЖЕРНОН. Ну конечно, смогу, Сесили. Вы знаете, что смогу.

СЕСИЛИ. Да, я так и чувствовала, но я-то не смогу ждать. Я не люблю ждать когда-нибудь даже пять минут. Это меня всегда раздражает. Сама я не отличаюсь точностью, это правда, но в других люблю пунктуальность и ждать – пусть даже нашей свадьбы – для меня невыносимо.

АЛДЖЕРНОН. Так что же делать, Сесили?

СЕСИЛИ. Не знаю, мистер Монкриф.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Дорогой мистер Вординг, так как мисс Кардью положительно утверждает, что она не может ждать до тридцати пяти лет, – замечание, которое, должна сказать, свидетельствует о несколько нетерпеливом характере, – я просила бы вас пересмотреть ваше решение.

ДЖЕК. Но, дорогая леди Брэкнелл, вопрос этот всецело зависит от вас. В ту самую минуту, как вы согласитесь на мой брак с Гвендолен, я с великой радостью разрешу вашему племяннику сочетаться браком с моей воспитанницей.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ *(встает и горделиво выпрямляется)*. Вы прекрасно знаете: то, что вы предложили, – немыслимо.

ДЖЕК. Тогда безбрачие – вот наш удел.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Не такую судьбу мы готовили для Гвендолен. Алджернон, конечно, может решать за себя. *(Достает часы.)* Идем,

дорогая.

Гвендолен встает.

Мы уже пропустили пять, а то и шесть поездов. Если мы пропустим еще один, это может вызвать нежелательные толки на станции.

Входит доктор Чезюбл.

ЧЕЗЮБЛ. Все готово для обряда крещения.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Крещения, сэр? Не преждевременно ли?

ЧЕЗЮБЛ (*со смущенным видом указывая на Джека и Алджернона*). Оба эти джентльмена выразили желание немедленно подвергнуться крещению.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. В их возрасте? Это смехотворная и безбожная затея. Алджернон, я запрещаю тебе креститься. Я даже слышать не хочу о таких авантюрах! Лорд Брэкнелл был бы весьма недоволен, если бы узнал, на что ты тратишь время и деньги.

ЧЕЗЮБЛ. Значит ли это, что сегодня крещения не будет?

ДЖЕК. Судя по тому, как обернулись обстоятельства, досточтимый доктор, я не считаю, что это имело бы практическое значение.

ЧЕЗЮБЛ. Меня весьма огорчает, что вы это говорите, мистер Вординг. Это отдает еретическими взглядами анабаптистов, взглядами, которые я полностью опроверг в четырех моих неопубликованных проповедях. Однако, так как вы сейчас, по-видимому, полностью погружены в заботы мира сего, я тотчас же возвращусь в церковь. Меня только что известили, что мисс Призм уже полтора часа дожидается меня в ризнице.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*вздрагивая*). Мисс Призм? Вы, кажется, упомянули о мисс Призм?

ЧЕЗЮБЛ. Да, леди Брэкнелл. Мне сейчас предстоит встреча с мисс Призм.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Позвольте задержать вас на одну минуту. Этот вопрос может оказаться чрезвычайно важным для лорда Брэкнелла и для меня самой. Не является ли упомянутая вами мисс Призм женщиной отталкивающей наружности, но притом выдающей себя за воспитательницу?

ЧЕЗЮБЛ (*со сдержанным негодованием*). Это одна из самых воспитанных леди и само воплощение респектабельности.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Ну, значит, это она и есть! Могу ли я

осведомиться, какое положение занимает она в вашем доме?

ЧЕЗЮБЛ (сурово). Я холост, сударыня.

ДЖЕК (вмешиваясь). Мисс Призм, леди Брэкнелл, вот уже три года является высокочтимой гувернанткой и высоко ценимой компаньонкой мисс Кардью.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Несмотря на все ваши отзывы, я должна с ней немедленно повидаться. Пошлите за ней!

ЧЕЗЮБЛ (оглядываясь). Она идет; она уже близко.

Поспешно входит мисс Призм.

МИСС ПРИЗМ. Мне сказали, что вы ждете меня в ризнице, дорогой каноник. Я ожидала вас там почти два часа. *(Замечает леди Брэкнелл, которая пронизывает ее взглядом. Мисс Призм бледнеет и вздрагивает. Она боязливо озирается, словно готовясь к бегству.)*

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (суровым прокурорским тоном). Призм!

Мисс Призм смиренно опускает голову.

Сюда, Призм!

Мисс Призм крадучись приближается.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Призм! Где ребенок?

Всеобщая растерянность. Доктор Чезюбл в ужасе отступает. Алджернон и Джек заслоняют Сесили и Гвендолен, подчеркнуто стараясь оградить их слух от подробностей ужасающего разоблачения.

Двадцать восемь лет назад, Призм, вы оставили дом лорда Брэкнелла, 104 по Гровенор-стрит, имея на попечении детскую коляску, содержащую младенца мужского пола. Вы не вернулись. Через несколько недель усилиями уголовной полиции коляска была обнаружена однажды ночью в уединенном уголке Бэйсуотера. В ней нашли рукопись трехтомного романа, до тошноты сентиментального.

Мисс Призм негодуя вздрагивает.

Но ребенка там не было!

Все смотрят на мисс Призм.

Призм, где ребенок?

Пауза.

МИСС ПРИЗМ. Леди Брэкнелл, я со стыдом признаю, что я не знаю. О! Если бы я знала! Вот как все это произошло. В то утро, навсегда запечатлевшееся в моей памяти, я по обыкновению собиралась вывезти дитя в коляске на прогулку. Со мной был довольно старый, объемистый саквояж, куда я намеревалась положить рукопись беллетристического произведения, сочиненного мною в редкие часы досуга. По непостижимой рассеянности, которую я до сих пор не могу себе простить, я положила рукопись в коляску, а ребенка в саквояж.

ДЖЕК (*слушавший ее с большим вниманием*). Но куда же вы дели саквояж?

МИСС ПРИЗМ. Ах, не спрашивайте, мистер Вординг!

ДЖЕК. Мисс Призм, это для меня чрезвычайно важно. Я настаиваю, чтобы вы сказали, куда девался саквояж с ребенком.

МИСС ПРИЗМ. Я оставила его в камере хранения одного из самых крупных вокзалов Лондона.

ДЖЕК. Какого вокзала?

МИСС ПРИЗМ (*в полном изнеможении*). Виктория. Брайтонская платформа. (*Падает в кресло.*)

ДЖЕК. Я должен вас на минуту покинуть. Гвендолен, подождите меня.

ГВЕНДОЛЕН. Если вы ненадолго, я готова ждать вас всю жизнь.

Джек убегает в крайнем волнении.

ЧЕЗЮБЛ. Что все это может означать, как вы думаете, леди Брэкнелл?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Боюсь что-нибудь предположить, доктор Чезюбл. Едва ли надо говорить вам, что в аристократических семьях не допускают странных совпадений. Они считаются нереспектабельными.

Над головой у них слышен шум, словно кто-то передвигает сундуки. Все смотрят вверх.

СЕСИЛИ. Дядя Джек необычайно взволнован.

ЧЕЗЮБЛ. У вашего опекуна очень эмоциональная натура.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Весьма неприятный шум. Как будто он там с кем-то дерется. Я ненавижу драки, независимо от повода. Они всегда вульгарны и нередко доказательны.

ЧЕЗЮБЛ (*глядя вверх*). Вот, все прекратилось.

Шум раздается с новой силой.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Хотела бы я, чтобы он пришел наконец к какому-нибудь выводу.

ГВЕНДОЛЕН. Это ожидание ужасно. Я не хочу, чтобы оно кончалось.

Входит Джек. В руках у него черный кожаный саквояж.

ДЖЕК (*подбегая к мисс Призм*). Этот, мисс Призм? Поглядите получше, прежде чем ответить. От вашего ответа зависит судьба нескольких человек.

МИСС ПРИЗМ (*спокойно*). Похоже, что мой. Да. Вот царапина, полученная при катастрофе с омнибусом на Гауэр-стрит в лучшие дни моей юности. А вот на подкладке пятно от лопнувшей бутылки безалкогольного напитка – это случилось со мной в Лимингтоне. А вот на замочке мои инициалы. Я и забыла, что из каких-то экстравагантных побуждений велела выгравировать их на замке. Да, саквояж действительно мой. Очень рада, что он так неожиданно нашелся. Мне все эти годы так его не хватало!

ДЖЕК (*торжественно*). Мисс Призм, нашелся не только саквояж. Я – младенец, которого вы в нем потеряли!

МИСС ПРИЗМ (*пораженная*). Вы?

ДЖЕК (*обнимая ее*). Да... мама!

МИСС ПРИЗМ (*вырываясь и в полном негодовании*). Мистер Вординг! Я девица!

ДЖЕК. Девица? Признаюсь, это для меня большой удар. Но, в конце концов, кто посмеет бросить камень в женщину, которая столько выстрадала? Неужели раскаяние не искупает минуты увлечения? Почему должен быть один закон для мужчин и другой для женщин? Мама, я прощаю тебя. (*Снова пытается обнять ее.*)

МИСС ПРИЗМ (*в еще большем негодовании*). Мистер Вординг, здесь какое-то недоразумение. (*Указывая на леди Брэкнелл.*) Ее сиятельство может сказать вам, кто вы такой на самом деле.

ДЖЕК (*помолчав*). Леди Брэкнелл! Простите, что докучаю вам, но скажите мне, кто я такой.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Боюсь, эти сведения придутся вам не по вкусу. Вы

сын моей покойной сестры, миссис Монкриф, и, следовательно, старший брат Алджернона.

ДЖЕК. Старший брат Алджи! Так, значит, у меня все-таки есть брат! Я так и знал, что у меня есть брат. Я всегда говорил, что у меня есть брат. Сесили, как могла ты сомневаться, что у меня есть брат? (*Хватает Алджернона за плечи.*) Доктор Чезюбл, это мой беспутный братец. Мисс Призм, мой беспутный братец. Гвендолен, мой беспутный братец. Алджи, негодник, ты теперь обязан относиться ко мне с большим уважением. Ты никогда в жизни не относился ко мне как к старшему брату.

АЛДЖЕРНОН. Да, каюсь, дружище. Я старался, но у меня не было практики. (*Пожимает руку Джеку.*)

ГВЕНДОЛЕН (*Джеку*). Родной мой! Но кто же вы, если стали кем-то другим? Как вас теперь зовут?

ДЖЕК. Силы небесные!.. Про это я совсем забыл. Ваше решение относительно моего имени остается неизменным?

ГВЕНДОЛЕН. Я неизменна во всем, кроме своих чувств.

СЕСИЛИ. Какой у вас благородный характер, Гвендолен.

ДЖЕК. С этим вопросом надо покончить сейчас же. Минуточку, тетя Августа. К тому времени, как мисс Призм потеряла меня вместе со своим саквояжем, я, вероятно, был уже крещен?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Все жизненные блага, которые можно приобрести за деньги, были вам предоставлены вашими любящими и заботливыми родителями, в том числе, конечно, и крещение.

ДЖЕК. Значит, я был крещен! Это ясно. Но какое же мне дали имя? Я готов к самому худшему.

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Как старший сын вы, разумеется, получили имя отца.

ДЖЕК (*сердится*). Да, но как звали моего отца?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ (*задумчиво*). Сейчас не могу припомнить, как звали вашего батюшку, генерала Монкрифа. Не сомневаюсь, однако, что его все же как-то звали. Он был чужак, это правда. Но только в преклонных летах. И то – только под влиянием индийского климата, женитьбы, несварения желудка и прочего в этом роде.

ДЖЕК. Алджи, ты-то можешь вспомнить, как звали нашего отца?

АЛДЖЕРНОН. Дорогой мой, мне ни разу не пришлось беседовать с ним. Он умер, когда мне еще и года не было.

ДЖЕК. Его имя должно быть в армейских справочниках того времени. Не так ли, тетя Августа?

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Генерал был человеком весьма мирного характера

во всем, кроме семейной жизни. Но я не сомневаюсь, что имя его значится в любом военном альманахе.

ДЖЕК. Армейские списки за последние сорок лет – это украшение моей библиотеки. Мне бы надо было без усталости штудировать эти воинские скрижали. *(Бросается к книжным полкам и выхватывает одну книгу за другой.)* Значит, М... генералы... Магли, Максбом, Маллам – какие ужасные фамилии – Маркой, Миксби, Моббз, Монкриф! Лейтенант – в тысяча восемьсот сороковом. Капитан, подполковник, полковник, генерал – в тысяча восемьсот шестьдесят девятом. Зовут – Эрнест-Джон. *(Не торопясь ставит книгу на место; очень спокойно.)* Я всегда говорил вам, Гвендолен, что меня зовут Эрнест, не так ли? Ну, я и на самом деле Эрнест. Как и следовало ожидать!

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Да, теперь я припоминаю, что генерала звали Эрнест. Я так и знала, что у меня есть особая причина не любить это имя.

ГВЕНДОЛЕН. Эрнест! Мой Эрнест! Я с самого начала чувствовала, что у вас не может быть другого имени.

ДЖЕК. Гвендолен! Как это ужасно для человека – вдруг узнать, что всю свою жизнь он говорил правду, сущую правду. Вы прощаете мне этот грех?

ГВЕНДОЛЕН. Прощаю. Потому что вы непременно изменитесь.

ДЖЕК. Милая!

ЧЕЗЮБЛ *(к мисс Призм)*. Летиция! *(Обнимает ее.)*

МИСС ПРИЗМ *(восторженно)*. Фредерик! Наконец-то!

АЛДЖЕРНОН. Сесили! *(Обнимает ее.)* Наконец-то!

ДЖЕК. Гвендолен! *(Обнимает ее.)* Наконец-то!

ЛЕДИ БРЭКНЕЛЛ. Дорогой мой племянник, вы, кажется, проявляете признаки легкомыслия.

ДЖЕК. Что вы, тетя Августа, наоборот, впервые в жизни я понял, как важно Эрнесту быть серьезным!

Немая картина.

Занавес.



notes

Примечания

1

Калибан – персонаж драмы Шекспира «Буря», символ дикости, невежества, темных сил.

Лорд Фермор-старший находился в Испании, когда малолетняя Изабелла была под опекой; ему пришлось покинуть страну после буржуазной революции, одним из деятелей которой был генерал Прим.

Синие книги появились в Англии в XVII в. Они представляли собой собрания дипломатических документов или иных материалов, издаваемых правительством для представления парламенту.

«Сто новелл» (фр.).

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Джон Уэбстер (1578–1634) – английский драматург, современник Шекспира, мастер так называемой «кровавой трагедии»; Джон Форд (1586–1649) – один из крупнейших английских драматургов шекспировской плеяды; Сирил Тернер (1575–1626) – английский драматург, его пьесы также относят к жанру «кровавой трагедии».

Утешение в искусстве (*фр.*).

Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) – выдающийся немецкий теоретик искусства.

«Сатирикон» – произведение древнеримской литературы, автор которого называет себя Петронием Арбитром. Это произведение принято считать первым романом в истории литературы. Время написания точно не установлено, но наиболее вероятен I в., т. е. эпоха Нерона.

Законодатель мод (*лат.*).

Гостия – евхаристический хлеб в виде маленькой лепешки.

Антиномизм – пренебрежение законами Ветхого Закона, проявившееся или практически, под видом мнения, что возрожденный человек не нуждается ни в каком внешнем законе, так как все его поступки хороши, или же теоретически, в учении, что человек евангельским учением приведен к покаянию и поэтому ему не нужно изучение законов Ветхого Завета.

«Наставления для клириков» (*лат.*).

Эматия – в древности так называлась прибрежная песчаная равнина, низменная и болотистая, при устье рек Аксия, Галиакмона и Лудия (Ройдия), считавшаяся исконной территорией македонской ветви эллинов.

«Мадам, я очень счастлив» (*фр.*).

Перевод Н. Гумилева.

Кампанила – отдельно стоящая колокольная башня при соборе Святого Марка в Венеции на площади Сан-Марко.

Ньюпорт – некогда модный курорт в штате Род-Айленд.

Котильон – сложный фигурный танец для нескольких пар, из которых первая пара – ведущая.

«Звездно-полосатый» – название государственного флага США.

Английские ученые Ф. Майерс (1843–1901) и Э. Подмор (1856–1910) способствовали созданию Общества парапсихологических исследований и в соавторстве написали книгу «Духи живых людей» (1886).

Уильям Уайти Галл (1816–1890) – известный английский невропатолог.

Крокфордз – игорный дом в Лондоне.

Одно из направлений в американской протестантской церкви, отличающееся упрощенными религиозными обрядами и не признающее иерархии священнослужителей.

Имеется в виду Елизавета I (1533–1603).

Шантеклер – имя петуха в памятнике французского средневекового эпоса «Роман о Ренаре». Далее в тексте это возвышенное название противопоставляется обыденному названию «петух» и даже уничижительным словам «жалкая птица».

Гретна-Грин – пограничная с Англией шотландская деревня, где ранее заключались браки между приезжавшими из Англии молодыми парами; в Гретна-Грин бракосочетание совершалось без соблюдения установленных английским законом формальностей, а учитывалось лишь желание жениха и невесты стать мужем и женой.

Тенбридж-Уэллс – курортный городок с минеральными источниками к югу от Лондона.

Аркебуза – старинное фитильное ружье, заряжаемое с дула.

Наполеон Сарони (1821–1896) – американский фотограф, литограф и художник.

Лакросс – канадская национальная игра в мяч, распространенная также и в США.

Юкер – карточная игра.

Брыжи – воротник, жабо или манжеты, собранные в виде оборок, как украшение старинной женской или мужской одежды.

«Право мертвой руки» – норма феодального права в Западной Европе. Согласно ему, феодал имел право изъять после смерти крестьянина часть его имущества или ее стоимость в деньгах. В отношении церкви оно означало запрет отчуждения ее земельного имущества.

Справочник Дебретта – генеалогический справочник английской аристократии, издается ежегодно с 1802 г. Назван по фамилии первого издателя Дж. Дебретта.

Так уж устроен мир (*фр.*).

Жорж Буланже (1837–1891) – французский генерал, политический деятель и вождь антиреспубликанского движения, известного как буланжизм.

Танагра – район Греции, центр производства терракотовых статуэток, датируемых III–I вв. до н. э. Терракотовые фигурки высотой 10–12 см покрывали прозрачной глазурью с примесью окиси металла и после обжига раскрашивали акварелью.

Справочник Раффа – справочник по конному спорту, содержит информацию о скачках, жокеях, известных скаковых лошадях. Издается ежегодно с 1842 г., назван по имени первого составителя.

Досадное недоразумение (*фр.*).

Господин повеса (*фр.*).

В меня влюблялись до безумия (*фр.*).

Блумсбери – традиционный центр интеллектуальной жизни Лондона.

Сохо – район, в котором селились в основном иммигранты и низшие слои населения.

Блэкфрайарз – район Лондона на северном берегу Темзы, названный по монастырю черных монахов ордена доминиканцев.

«Гейети» – театр в Вест-Энде, основанный в 1864 г. и вскоре ставший одним из популярнейших мюзик-холлов.

Джеймс Макферсон (1736–1796) – шотландский поэт, прославился «переводом» с гэльского поэм легендарного кельтского барда Оссиана, которые на самом деле написал сам; Уильям Генри Айрленд (1775–1835) – английский литератор, известный своими подделками рукописей Шекспира; Томас Чаттертон (1752–1770) – английский поэт, его стихи – одна из первых мистификаций под литературу Средневековья.

Франсуа Клуэ (1515–1572) – крупнейший французский художник-портретист эпохи Возрождения при дворе королей Франциска I, Генриха II, Франциска II и Карла IX.

Уильям Герберт (1580–1630) – 3-й граф Пемброк; по одной из версий, «Сонеты» Шекспира, помеченные «Mr. W. H.», посвящены именно ему.

Пенхерст – поместье в графстве Кент, которое принадлежало многим известным семьям. Знаменит роскошной коллекцией гобеленов, картин, старинной мебели, фарфора и др.

Актóвый день – ежегодная встреча профессорско-преподавательского и студенческого состава учебного заведения. Проводится в день престольного праздника храма учебного заведения.

«Как вам это понравится» – одна из ранних комедий У. Шекспира. Предположительно создана в 1599 или 1600 г.

Перевод В. Мазуркевича.

Перевод С. Маршака.

Стихи без сносок даны в переводе С. Силищева.

Перевод В. Лихачева.

«Уильям Самолично» на английском – W (illiam) H (imself), то есть У.
Г.

Майкл Дрейтон (1563–1631) – английский поэт и драматург, автор сонетов и терцин.

Джона Дэвиса из Херефорда (ок. 1565–1618) – английский поэт, каллиграф и учитель чистописания.

Перевод С. Маршака.

Перевод С. Маршака.

Слово «цвет» по-английски звучит так же, как имя «Гюз».

«Пользование» и «ростовщичество» – оба слова созвучны имени «Гьюз».

Джордж Чапмен (ок. 1559–1634) – английский поэт, драматург и переводчик.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Перевод С. Маршака.

Английское слово «use» (здесь: «затея») созвучно имени Гьюз (Hughes).

Эдуард Аллен (1566–1626) – известнейший актер елизаветинской Англии, руководитель ряда актерских трупп, в том числе лондонского театра «Роза», где начинал свою карьеру драматург Шекспир. В 1619 г. Аллен основал в Далидже колледж Божьей Благодати.

Унциал – каллиграфический вариант письма, характеризующийся крупными ровными округлыми буквами. Использовался в христианских книгах и в рукописях с античными текстами.

Перевод С. Маршака.

То есть «образ», «отображение», «сценический персонаж».

Перевод С. Маршака.

Перевод А. Федорова.

Перевод С. Маршака.

Перевод С. Маршака.

Перевод Н. Гербея.

Перевод С. Маршака.

Перевод С. Маршака.

Кристофер Марло (1564–1593) – английский поэт, переводчик и драматург-трагик, наиболее выдающийся из предшественников Шекспира.

Перевод С. Маршака.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Перевод С. Маршака.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Перевод С. Маршака.

Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, основоположник немецкой классической литературы; Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803) – немецкий писатель и теолог, историк культуры.

Фридрих Людвиг Шредер (1744–1816) – немецкий актер, театральный директор и драматург; реформатор масонства.

Лицедеев из Британии (*лат.*).

Чаринг-Кросс – железнодорожный вокзал в центральной части Лондона.

Пьер Жюстен Уврие (1806–1879) – французский живописец, известен пейзажами и серией портретов.

Просто находка, мой милый! (*фр.*)

Каждому свое (*фр.*).

Ну что вы хотите? Причуды миллионера! (фр.)

Деньги других – его профессия (*фр.*).

«Месье Гюстав Ноден по поручению барона Хаусберга» (*фр.*).

Чарлз Лэм (1775–1834) – английский поэт, публицист и литературный критик эпохи романтизма.

«Мансли Ревью» – журнал-обозрение, в котором публиковался обзор событий в области культуры, отчасти политики, издавался в 1749–1815 гг.

Оливер Голдсмит (1730–1774) – английский прозаик, поэт и драматург ирландского происхождения, яркий представитель сентиментализма; Джозайя Уэджвуд (1730–1795) – английский художник-керамист и дизайнер, самый известный мастер декоративно-прикладного искусства своего времени.

«Джентльмен Мэгэзин» – ежемесячный журнал, содержал новости и комментарии на любые темы, интересовавшие образованных читателей, издавался в 1731–1907 гг.

Уильям Хэзлитт (1778–1830) – один из классиков английской эссеистики.

Джон Клэр (1793–1864) – английский поэт, сын батрака, воспевал традиционную английскую деревню и оплакивал ее исчезновение.

Бенджамин Дизраэли (1804–1881) – английский государственный деятель, писатель, представитель «социального романа»; в своих произведениях развил теорию «героя, которому все позволено».

Люсьен де Рюбампре – герой цикла сочинений О. де Бальзака «Человеческая комедия».

Жюльен Сорель – герой романа Ф. Стендаля «Красное и черное».

Томас Де Квинси (1785–1859) – английский писатель, автор знаменитой «Исповеди англичанина, употребляющего опиум».

Уильям Блейк (1757–1827) – английский поэт, художник и гравёр, представитель романтизма.

Благородный (гр.).

«Книга для занятий» (*лат.*) – альбом британского живописца Уильяма Тернера (1775–1851) для начинающих художников. Гравюры в нем сгруппированы по тематическим разделам: живопись архитектурная, историческая, пасторальная, пейзажи морские и горные.

Генри Фюзели (1741–1825) – швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства, известен серией картин на тему кошмара.

Генри Лэндсир (1802–1873) – английский художник, изображавший животных; Джон Мартин (1789–1854) – английский художник, основоположник романтизма, гравер и иллюстратор; Томас Стотард (1755–1834) – английский художник и график, занимался декорированием помещений; Уильям Этти (1787–1849) – английский живописец, главная тема его творчества – обнаженная женская натура.

Мягкостью (*ut.*).

Флит-стрит – улица в лондонском Сити, с XVI века здесь стали появляться офисы основных лондонских газет, а позднее – и информационных агентств; цитадель британской прессы.

Томас Лоуренс (1769–1830) – английский художник, получивший известность как фешенебельный портретист эпохи Регенства.

Смягчающим обстоятельством (*фр.*).

Земля Ван-Димена – первоначальное название острова Тасмания, которое использовали европейские исследователи.

Искусственном раю (*фр.*).

119

Сорт роз желтого цвета.